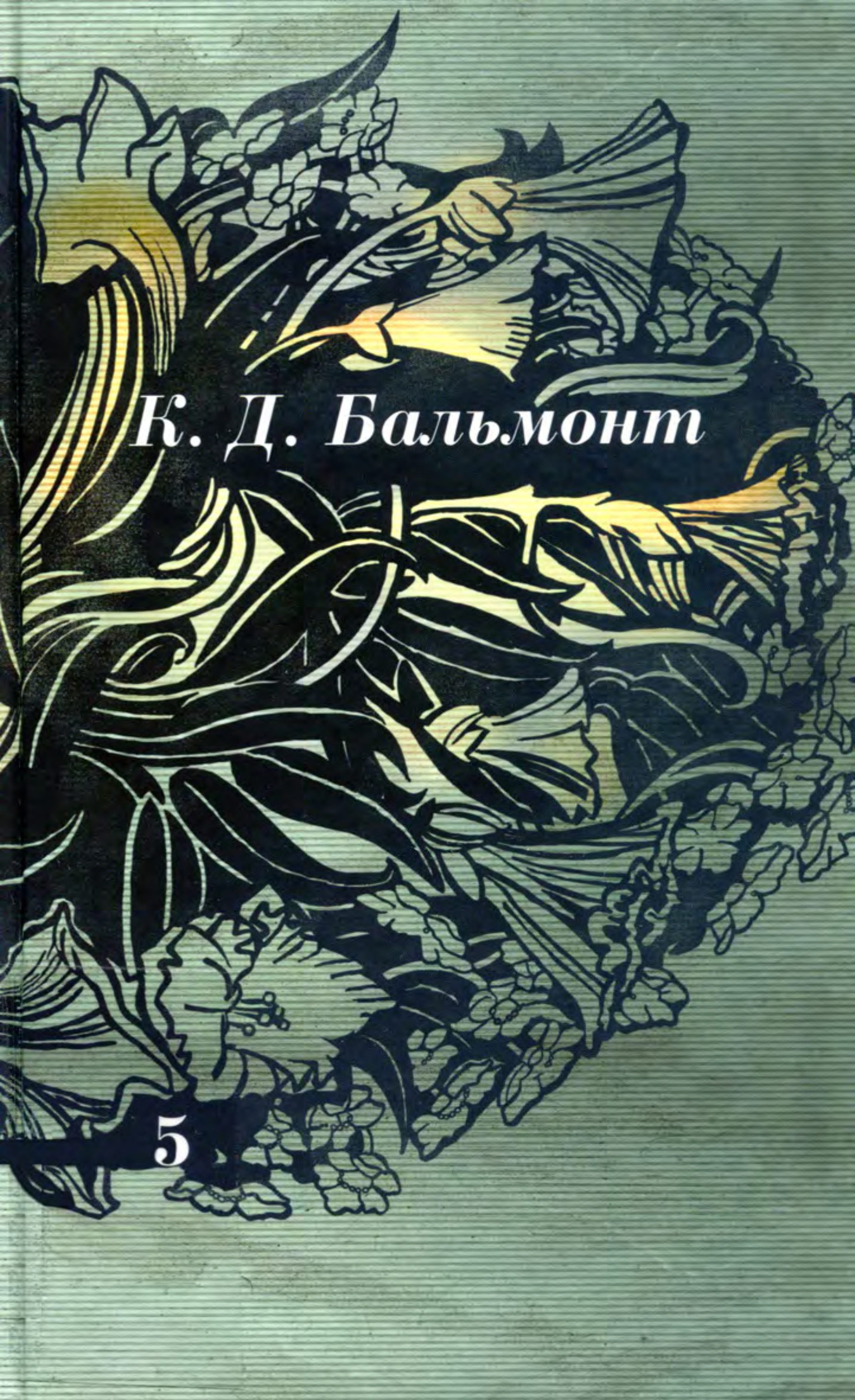

К. Д. Бальмонт
5

Константин Дмитриевич

Бальмонт

Собрание сочинений в семи томах

Константин Дмитриевич
Бальмонт

Собрание сочинений
в семи томах



Константин Дмитриевич

Бальмонт

Собрание сочинений
ТОМ 5

Сонеты солнца, меда
и луны: песня миров

Голубая подкова

Под новым серпом

Воздушный путь

Три расцвета

Москва 2010



УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)1
Б21

Оформление художника
Е. БЕРЕЗИНА

Бальмонт К. Д.

Б21 Собрание сочинений: В 7 т. Т. 5: Сонеты солнца, меда и луны: Песня миров; Голубая подкова: Стихи о Сибири; Под новым серпом: Роман; Воздушный путь: Рассказы; Три расцвета: Драма; Вступ. ст. И. Владимирова. — М.: Книжный Клуб Книговек, 2010. — 528 с.

ISBN 978-5-904656-87-4 (т. 5)
ISBN 978-5-904656-82-9

Константин Дмитриевич Бальмонт (1867—1942) — русский поэт-символист и переводчик, виднейший представитель Серебряного века. Именно с него начался русский символизм.

Стихи Бальмонта удивительно музыкальны, недаром его называли «Паганини русского стиха». Его поэзия пронизана романтичностью, духовностью, красотой. Она свободна от условностей, любовь и жизнь воспеваются даже в такие страшные годы как 1905 или 1914.

Собрание сочинений Константина Дмитриевича — изысканная коллекция самых значительных и самых красивых творений метра русской поэзии, принесших ему российскую и мировую славу. Произведения, включенные в Собрание сочинений, дают самое полное представление о всех гранях творчества Бальмонта — волшебника слова.

Уникальными являются первые три тома — в них без сокращений воспроизведено «Полное собрание стихов К. Бальмонта в 10 томах», изданное в 1904—14 гг. В пятый и шестой тома вошли прозаические произведения Бальмонта, очерки, заметки, впечатления и мысли. Заключительный том Собрания сочинений включает в себя лучшие образцы его художественных — поэтических и прозаических — переводов.

В пятый том собрания вошли «Сонеты солнца, меда и луны», стихи о Сибири «Голубая подкова», роман «Под новым серпом», «Воздушный путь» и драма «Три расцвета».

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)1

ISBN 978-5-904656-87-4 (т. 5)
ISBN 978-5-904656-82-9

ПАМЯТНОЕ ПРИ ЛУННОМ СВЕТЕ

Детство Константина Бальмонта прошло в поместье отца, начальника уездной земской управы. В русской деревне даже после отмены крепостного права еще долго сохранялись патриархальные отношения между помещиками и крестьянами, существовала удивительная стихия устного народного творчества, насыщенная волшебными сказочными образами и мелодиями русских песен. Вера Николаевна (урожденная Лебедева), мать будущего поэта, была музыкально и литературно одаренным человеком, устроительницей любительских спектаклей, сумевшей привить своим детям творческие навыки. Уже в зрелом возрасте Константином Бальмонтом были написаны такие строки: «Не потому ли, что ребенок, еще не родившись, познает через мать такое богатство отъединенных царств, художественно законченную смену времен года, в нашей великой стране возникли такие писатели, равным которым нет на Земле, возникли поэты, которым дарованы сладчайшие и звучавшие песни, возникли миллионы душ, которые умеют любить не только легкое удовольствие радости и счастья, но и великий искусительный восторг боли и страдания, восторг добровольной жертвы, который приводит к грозе и к радуге»[1].

Скончался Константин Бальмонт на 76 году жизни в небольшом местечке Нуази-ле-Гран под Парижем «в бедности и заброшенности, после долгого пребывания в клинике, откуда вышел уже полуживым», как свидетельствовал его современник[2].

---

[1] *Бальмонт К.* Под новым серпом. Книгоиздательство «Слово». Берлин, 1923, с. 98.

[2] *Зайцев Б.* Далекое. Inter language Literary Associates. Вашингтон, 1965, с. 38—47.

Довольно рано Бальмонт увлекся радикальными идеями — уже в 16-летнем возрасте был исключен из Шуйской гимназии за принадлежность к «революционному» кружку, а в 20 лет — из Московского университета как один из организаторов студенческих беспорядков. Началом его литературной карьеры принято считать выход в 1894 году в Петербурге поэтического сборника «Под северным небом», хотя до этого была книжечка, изданная в Ярославле. Весьма скоро его имя становится желанным на страницах «прогрессивных» изданий, а таковыми было преобладающее большинство газет и журналов в тогдашней России. После появления стихотворных книг «Горящие здания» (1900) и «Будем как Солнце» (1903) к поэту приходит всероссийская слава. Историк Серебряного века Александр Биск отмечал: «Нынешнее поколение и представить себе не может, чем был Бальмонт для тогдашней молодежи. <...> Безраздельно царил Бальмонт»[1]. Следует отметить, что впервые в русской поэзии именно Бальмонтом столь широко были использованы звуковые интонации русской речи в сочетании с песенными ритмами и мелодиями. Чувственность стиха порой достигла степени экзальтации более присущей языческим или сектантским радениям.

Будучи в зените популярности Бальмонт пишет небольшое стихотворение «Маленький султан» (1901), которое было сперва опубликовано в русской зарубежной печати социалистического толка, а затем многократно читалось автором в поездках-гастролях по России. Такие строки: «Там царствует кулак, нагайка, ятаган, / Два-три нуля, четыре негодяя / И глупый маленький султан» — не уступали в действенности револьверным выстрелам террористов-революционеров. Революция 1905 года была встречена поэтом с необычайным воодушевлением. Он сближается с Максимом Горьким, сотрудничает в большевистской газете «Новая жизнь», спешно выпускает два сборника «ультрареволюционных» стихотворений, один из которых — «Песни мстителя» (1907) — был впоследствии охарактеризован английским исследователем Д. С. Мирским как «сборник тенденциозных и крикливых партийных стихов».

После поражения революции 1905 года Бальмонт эмигрирует из России. Во время семилетнего пребывания за границей он много путешествует по миру — Испания, Англия, Норвегия, Египет, Балеарские острова, затем предпринимает кругосветное путешествие, продолжавшееся без малого год. После амнистии для политических эмигрантов Бальмонт возвращается в Россию, где его встречают с большим энтузиазмом.

---

[1] *Биск А.* Русский Париж. 1906—1908 гг. «Современник», Торонто, 1963, № 7, с. 59—68.

Все эти годы, вплоть до октябрьского переворота 1917 года, Бальмонт ведет безбедное существование в определенной степени за счет зарубежных инвестиций в дело разрушения российской государственности. Нельзя сказать, что Бальмонт бедствовал и при большевистском режиме. Его стихи и очерки печатаются в газетах и журналах, Госиздат купил у него права на издание двух стихотворных сборников, книги путевых очерков об Океании, с ним заключили договора издательства Сабашниковых и «Задруга». И все же он начинает хлопотать об отъезде за границу и в 1920 году через Прибалтику выезжает сначала в Берлин, затем в Париж. В отличие от Гиппиус и Мережковского, которым, как и Блоку с Соллогубом, в выезде отказывали, выезжает легально.

Двух с лишнем лет, проведенных в Советской России, хватило для того, чтобы осознать истинные цели тех людей, которые под прикрытием революционной риторики готовили захват власти в стране. Пришло понимание того, что эта его эмиграция последняя, окончательная и что Родину свою он никогда больше не увидит. И первый труд, к которому сразу приступает Бальмонт, — автобиографический роман. Однако эта проза весьма необычного свойства: при чтении ее сразу вспоминается эпатирующая строка из его вершинной книги «Будем как солнце» — «Я — изысканность русской медлительной речи». Роман «Под новым серпом» вышел в свет в 1923 году в Берлине и сразу же был переведен на французский язык. В этой книге, как некогда в лучших его поэтических сборниках, вновь возникает «певучие чарование» великорусской речи и «красноречивое молчание» родной природы. Можно с уверенностью сказать, что, работая над этим романом, Константин Бальмонт перечитывал книги Сергея Тимофеевича Аксакова. «Любимец моего детства, вновь ставший моим любимцем теперь»[1], — писал в это время Бальмонт.

В 1924 году в толстом парижском журнале появляется очерк Бальмонта «Русский язык (Воля как основа творчества)» — хвалебный гимн родной речи, в котором приводятся знаменитые слова Ломоносова и Пушкина о русском языке, цитируется протопоп Аввакум, поминаются Карамзин, Мельников-Печерский, Достоевский, Тургенев, Толстой... При воспоминании об языковедческих статьях, публикуемых в Совдепии он срывается буквально на крик: «Пресвятой Николай угодник, помоги мне! Вывези меня на купринских пегих лошадях из царства нежитей и адского окружения!

---

[1] Здесь и далее цитаты из статьи К. Д. Бальмонта «Русский язык» (Воля как основа творчества)» даются по журналу «Современные записки», Париж, № XIX, с. 206—234.

Этот сатанинский набор слов, притязающий быть научным и в самоослеплении полагающий являть из себя словосочетание языка русского...», «...это не русский язык, это — воровской шурум-бурум, у которых в обширной торбе много настоящего добра, но, говоря лишь о слове, лишь о святыне языка, всего больше — старых поношенных негодных тряпок, затасканных кафтанов с чужого плеча». Далее автор утверждал: «Безумно злое дело и дело непостижимонеумное — повседневно вводить в русский язык целое сонмище иностранных слов», а о насаждаемых совластью новых языковых нравах: «Разве можно обворовывать и забрасывать грязью, и сором, и шелухой, и неуклюжими обломками чужого мертвого дерева нашу честь, наше достоинство, нашу жизнь, нашу душу, залог самого бытия нашего на Земле, русский язык?»

Чтение романа «Под новым серпом» сродни неспешному созерцанию полотен Федора Васильева и Михаила Нестерова, восприятию музыки Петра Ильича Чайковского, постижению единого, неразрывно-целого и вечно живого, того, что зовется великой русской культурой. И возвращению к началу всех начал — подлинной русской речи, которая с удивительной полнотой сумела выразить Божественное начало в человеке и в окружающей нас природе.

В 1942 году, исповедуясь перед кончиной, Константин Бальмонт произвел на священника «глубокое впечатление искренностью и силой покаяния считал себя неисправимым грешником, которого нельзя простить»[1], — свидетельствовал Борис Зайцев и, помянуя об особой милости Господа к грешникам, которые считают себя недостойными прощения, закончил свои воспоминания словами уверенности в обретении такой милости и русским поэтом Константином Бальмонтом, сумевшим сохранить на чужбине единственные свои сокровища — русский язык и сыновнюю любовь и память о Родине.

Игорь Владимиров

[1] *Зайцев Б.* Указ. соч.

СОНЕТЫ СОЛНЦА, МЕДА И ЛУНЫ: ПЕСНЯ МИРОВ

Слово песни — капля меда,
Что пролился через край
Переполненного сердца.

Испанская песня

ЧЕРТОГ

Из пламеней и лепестков червонных,
Из быстрых искр от скока конских ног,
Из тех боев, где бьется рог о рог,
Из рева бурь и гласа гудов звонных,

Из фимиамов сине-благовонных,
Из слов, которых вымолвить не мог,
Я принял весть и выстроил чертог
Из тайновестей этих раскаленных.

В чертоге, где прядет моя мечта,
Сплетаются несчетные покои.
В намек скрестилась в нем с чертой черта.

Огнями созревает темнота.
В углах сосуды, где в густом настое
Хмелеет сказка и цветет алоэ.

ПОЭТ

Решает миг, но предрешает час,
Три дня, неделя, месяцы, и годы.
Художник в миге — взрыв в жерле природы,
Просветный взор вовнутрь Господних глаз.

Поэты. Братья. Увенчали нас
Не люди. Мы древней людей. Мы своды
Иных планет. Мы духа переходы.
И грань — секунда, там где наш алмаз.

Но, если я поэт, да не забуду,
Что в творчестве подземное должно
Вращать, вращать, вращать веретено.

Чтоб вырваться возможно было чуду,
Чтоб дух цветка на версты лился всюду,
Чтоб в душу стих глядел и пал на дно.

КОТЛОВИНА

Пожар — мгновенье первое Земли,
Пожар — ее последнее мгновенье.
Два кратера в безумстве столкновенья,
Несясь в пустотах, новый мир зажгли.

В туманной и пылающей пыли,
Размерных вихрей началось вращенье.
И волей притяженья-отторженья
Поплыли огневые корабли.

В безмерной яме жгучих средоточий,
Главенствующих сил ядро легло,
И алым цветом Солнце расцвело.

Планеты — дальше, с сменой дня и ночи.
Но будет час. Насмотрятся все очи,
И все планеты рушатся в жерло.

ОГНЕННЫЙ МИР

Там факелы, огневзнесенья, пятна,
Там жерла пламеносных котловин.
Сто дней пути — расплавленный рубин.
И жизнь там только жарким благодатна.

Они горят и дышут непонятно.
Взрастает лес. По пламени вершин
Несется ток пылающих лавин.
Вся жизнь Огня сгущенно-ароматна.

Как должен быть там силен аромат,
Когда, чрез миллионы верст оттуда,
Огонь весны душистое здесь чудо.

Как там горит у Огнеликих взгляд,
Коль даже мы полны лучей и гуда,
И даже люди, полюбив, горят.

ПЛАМЕННИК

Пора мне начертать псалом ночам и дням,
Пора отобразить желание созвучий,
Которое всегда сквозит в растущей туче,
Узорчато ее меняя по краям.

Из капелек росы, из черноокиx ям,
Из бочагов, прудков, с полей, лугов и кручи
В неуловимости незримый, но певучий,
Восходит медленно до солнца фимиам.

До Солнца не дойдет. Но, выманен лучами,
Сгустится дымами. Придвинет к хоти хоть.
Да в слово плоть войдет, и слово станет плоть.

Вот молния дрожит. Грозит и жжет очами.
Дозволь упиться мне и днями, и ночами.
Я пламенник, я твой, дозволь сверкнуть, Господь.

ЖЕРТВА

Когда зажглась кроваво, свет взвивая,
Полнеба охватившая заря,
Казалось, на высотах алтаря
Небесного там жертва есть живая.

Был зноен день. Всю влагу испивая,
Жара дымилась, деланье творя.
И каждый лист рабом был для царя
Единого, чья воля — огневая.

Озер и рек обильный водоем
И каждая росинка от побега
Поникших трав вспоили хлопья снега —

Поток лавин в объеме тучевом.
Весь мир застыл. В той душной пытке нега.
И огнь, вещая ливень, рушил гром.

ЗВЕЗДНЫЕ ЗНАКИ

Творить из мглы, расцветов и лучей,
Включить в оправу стройную сонета
Две капельки росы, три брызга света
И помысел, что вот еще ничей.

Узнать в цветах огонь родных очей,
В журчаньи птиц расслышать звук привета,
И так прожить весну, и грезить лето,
А в стужу целоваться горячей.

Не это ли Веселая Наука,
Которой полный круг в расцвете лет
Пройти повинен мыслящий поэт?

И вновь следить в духовных безднах звука,
Не вспыхнул ли еще не бывший след
От лета сказок, духов и комет.

ГОРНОЕ ОТКРОВЕНИЕ

Безмолвие нагорной высоты,
Молчания узорные хоромы,
Провалы, светояры, крутоемы,
Противоглыбы разной остроты.

Дойди до самой сказочной черты,
Взнеси свой дух на крайние изломы,
Туда, где дома — молнии и громы,
Где резок свет стремнинной пустоты.

Смотри. Где вся природа чрезвычайна,
Какой она не может быть везде,
Где небо ближе к озерной воде,

Где бездна звезд в тиши ночей безкрайна,
Над пропастью глядит цветок к звезде,
Чтоб даже здесь благоухала тайна.

ТА, КОТОРОЮ ДВИЖУТСЯ ЗВЕЗДЫ

Из раковины музыка морская,
И музыка из горла соловья.
Условие и краска бытия.
Всегда одна. Всегда везде другая.

В простом венке. Всем жаждам дорогая.
Хотящая промолвить: «Я твоя».
Кто к ней пришел? Он я и он не я.
В ней дышит Вечность, в миге пробегая.

Цветок, который ждет, чтоб развернуть
Непознанность красивой пышной чаши.
Звезда, где чары наши и не наши.

Дремучий лес, в котором будет путь.
Она когда-то и когда-нибудь.
Желанье Солнца грезу сделать краше.

РАССВЕТ

Едва озарены верхушки гор.
Еще не вышло гордое светило,
В котором всем земным восторг и сила.
Сейчас оно начнет дневной дозор.

Под белой дымкой зеркало озер.
Цветы еще закрытые кадила.
Долины спят. Но тьма уж уступила.
И только знака ждет старинный бор.

Купавы, словно дремлющие луны.
Все шире свет. Все ярче горный храм.
Расплавленный рубин по ледникам.

Весь мир земной – натянутые струны.
Скорей. Скорей. Мы снова будем юны.
И ток огней ударил по струнам.

ЧТО СО МНОЙ?

Что сделалось со мной? Я весь пою.
Свиваю мысли в тонкий строй сонета.
Ласкаю зорким взором то и это.
Всю Вечность принимаю как мою.

Из черных глыб я белое кую.
И повесть чувства в сталь и свет одета.
Во всем я ощущаю только лето,
Ветров пьянящих теплую струю.

О, что со мной? Я счастлив непонятно.
Ведь боль я знаю так же, как и все.
Хожу босой по стеклам в росе

Ищу душой того, что невозвратно.
Я знаю: это — Солнце ароматно
Во мне поет. Я весь в его красе.

ПИР

Пир огненный вверху уже готов.
Горячий ток дошел до нижних далей.
Повесил по ветвям наряд вуалей,
Так скоро после дней разлома льдов.

На вербе кучки пахнущих цветов.
Зима разбила скрепы всех скрижалей.
Взамену вьюг, взамен свинца печалей
Качанье золотых колокольцов.

Мой лютик. Лютик. Ты совсем не лютый.
Купальницы. Бубенчик. Ты звенишь.
Упоеваюсь ласковой минутой.

Пред пиршеством торжественная тишь.
Синее синь. И с громом в туче вздутой
Расцвел Огонь лозою перегнутой.

ОНО ПРЕКРАСНО

Оно прекрасно ласкою привета.
Всегда слепые смотрят на него.
И чувствуют. И любят. Оттого,
Что в нем огонь есть нежный кроме света.

Оно в сознаньи расцвечает лето.
Кто счастлив здесь, он счастлив чрез него.
Лишь им живое в мире не мертво.
Лишь с ним мечта рубинами одета.

Я опускаю веки и смотрю,
Я вижу. Сказка крови бьется ало.
В моих глазах я чувствую зарю.

Какое слово в Вечность побежало?
Я с Тем, пред Кем не властны яд и жало.
От Солнца к Солнцу я свечой горю.

УМЕЙ ТВОРИТЬ

Умей творить из самых малых крох.
Иначе, для чего же ты, кудесник?
Среди людей ты Божества наместник,
Так помни, чтоб в словах твоих был Бог.

В лугах расцвел кустом чертополох,
Он жесток, но в лиловом он прелестник.
Один толкачик знойных суток вестник.
Судьба в один вместиться может вздох.

Маэстро итальянских колдований
Приказывал своим ученикам
Провидеть полный пышной славы храм

В обломках камня и в обрывках тканей.
Умей хотеть, и силою желаний
Господень дух промчится по струнам.

ЦВЕТОК

Цветок — мечта расцветшего растенья,
Пробившего свой путь из тьмы земли,
Цветок — костер, что духи нам зажгли,
Верховный знак творящего хотенья.

Веселых красок в пляске восхожденье,
Победа грезы в прахе и в пыли,
Блеск радуг, пронизавших хрустали,
Путь в Вечность чрез минутное виденье.

Цветок с цветком ведет душистый спор,
Волнуя, убеждая и влюбляя,
Цветок цветку — планета молодая.

Таинственный о счастье разговор.
И вестники цветов в их звездном храме —
Лишь существа с звенящими крылами.

СОНЕТЫ СОЛНЦА

Сонеты солнца, меда, и луны.
В пылании томительных июлей.
Бросали пчелы рано утром улей,
Заслыша дух цветущей крутизны.

Был гул в горах. От солнца ход струны,
И каменный баран упал с косулей,
Сраженные одной и той же пулей.
И кровью их расцвечивал я сны.

От плоти плоть питал я, не жалея
Зверей, которым смерть дала рука.
Тот мед, что пчелы собрали с цветка,

Я взял. И вся пчелиная затея
Сказала мне, чтоб жил я не робея,
Что жизнь смела, безбрежна и сладка.

ПОЛДЕНЬ

С утра до полдня в духе я певучем,
Со всем земным я все же не земной.
Я восхожу с растущею волной,
До полдня, к солнцу, к тем горнилам жгучим.

Найдем, сверкнем, полюбим и замучим,
Занежим семицветной пеленой.
К черте расцвета. К музыке. За мной.
Взнесем дары и приобщим их к тучам.

Но вдруг в душе означится излом.
Пронзит предел восторженность сгоранья.
Двенадцать. Солнце кончило игранье.

Хоть вы придите, молния и гром.
До завтра мгла и ощупь собиранья.
Но завтра утро вновь качнет крылом.

ОГНЕВЗНЕСЕНЬЕ

Луна была сгущенной чернотой,
Она являлась диском строго-черным.
А над чертой ее, огнем узорным
Сияла алость, млея красотой.

Вокруг — венец лучисто-молодой
С сребристым излиянием повторным,
Нежней, чем свет зари по высям горным,
Костер, зажженный огненной мечтой.

Воздушных роз расплавленность и мленье,
Сто тысяч верст циклонная игра
Живого серебра, его свеченья.

Но вот луне содвинуться пора.
И солнце потопило выявленье
Священной пляски, пир огневзнесенья.

ИЗ ПРОПАСТЕЙ

Я знаю, что в начале было Слово,
Что было у Предвечного оно,
С которым было мысли суждено
Расстаться, чтоб к Нему стремиться снова.

Из пропастей эфира неземного,
Из областей, где невозможно дно,
Идет к звену блестящее звено,
Куя чертог, крепя сапфиры крова.

Вскрываются безмерные цветы,
Чтоб было легче в тягостях разлуки,
Чтоб протянуть к чему нам было руки.

Извечна млечность круглой высоты,
В ночной душе звездятся к Небу звуки,
Все миги дней — кануны Красоты.

СРЕДИ ВИДЕНИЙ

Среди видений разных вещества
Упился Дух несчетностью уборов.
Я здесь люблю не будни разговоров,
А празднично-размерные слова.

Лишь полнотой признанья мысль жива,
Вся музыка согласий и раздоров.
Мне нравится в лесах тяжелый боров
И быстрая в лесной реке плотва.

И джунглях тигр, и слон многообъемный,
И длинный червь, что в кучку строит грязь,
Не те же ль это знаки сказки темной?

Не та же ли в них Божеская связь?
Есть миг в часах, когда все мысли кротки,
И вяжет ум рассыпанные четки.

ДРЕВО

Ствол древа кряжист. В светах изумруда
Вершина ускользает в синеву.
Все сны его я вижу наяву
И слышу миллионный голос гуда.

Уходят корни в глубь ночей, откуда
Я в сказке листьев ввысь всегда плыву.
День жаворонка манит, ночь – сову,
Но голос их – все тот же шорох чуда.

Из-под ушедших вплоть до звезд корней
Бьют родники и выползают змеи,
Вверху, внизу ли звездные затеи.

И вкось ствола на всем пространстве дней
Бег золота, – не знаю, белка или
Зыбь грезы молодой на Игдразиле.

МИР

Как каждый лист, светясь, живет отдельным
Восторгом влаги, воздуха, тепла,
И рад, когда за зноем льется мгла,
Но с древом слит существованьем цельным —

Так я один в пространстве беспредельном,
Но с миром я, во мне ему хвала,
Ему во мне поют колокола,
Через него я стал певцом свирельным.

В течениях причинностей плыву,
Как степь плывет под ветром ковылями.
Молюсь в ночах в многозвездистом храме.

Пью жадными глотками синеву.
И ствол растет из звезд, умножен нами,
Любовью, делом, подвигом, и снами.

ИГРА

Играет солнце, вкруг меняя луны,
И проводя бесчисленность планет.
Играет в ночь всегда победный свет.
Назавтра вновь лучи протянут струны.

Моря в игре баюкают буруны,
Вот снова тишь, движенья в море нет.
И любит Вечность смену дней и лет,
Но это все – лишь часть единой руны.

Сознание, понять тебе пора,
Что все твои несчетные виденья –
Суть два лица того же наслажденья,

Что в Вечности всегда идет игра.
Но, чтоб в мирах глубоки были игры,
Должны быть в мире молнии и тигры.

МЫСЛЬ

Мысль человека любит забывать.
Чтоб вновь припоминать свои извивы.
Кто был кентавром, тот движенье гривы
Порою любит как родную мать.

Я был конем. И больше утверждать
Могу, свои припомнив переливы.
Металлы и кристаллы так же живы,
Как всех крылатых веющая рать.

Слагая, раздвигая, рдея, рея,
Я пробежал бесчисленность миров.
Нет большего на свете чародея,

Чем мысль. Играя числами веков,
Путь от медузы в звон — моя затея.
Лишь изменяю сплав колоколов.

ЗВЕНЬЯ

В морях лазоревых усеяно все дно
Неисчислимыми слоями звездной пыли.
Влияние планет в подводном скрыто иле,
Земля закована в небесное звено.

Когда в ночах, кружась, жужжит веретено,
В душе встают черты давно увядшей были.
Есть в сердце комнатки, где мы не позабыли
Все, с нами бывшее, не здесь, давным давно.

Необъяснимые в нас царствуют пристрастья,
Пред тем или иным непостижимый страх.
А изъяснение записано в зрачках.

Увидит взор души идущее несчастье.
И радость зыбится в неясных письменах,
Слагая ряд примет в желанное запястье.

ОБРАТНЫЙ ПУТЬ

Пройди от фиолетовых до красных
Все красочные в радуге пути.
Чтоб тайное вещание найти,
Взгляни в живой венец расцветов страстных.

Влюбись в фиалку. Незабудок ясных,
Осок нарви. И лютик расцвети.
Настурций куст меж маков помести.
И роз возьми, из самых полновластных.

Приблизься к ним. Читай глазами их.
Вдыхай. Пьянись всей тайной их загадок.
Пчеле миг встречи с венчиками сладок.

От лепестков струится вихрем стих.
Ты к молниям пришел. Подслушай их.
Они поют сонетами из радуг.

ПОЛНАЯ ЧАША

Цветок с цветком, цветы поют цветам,
Всей силой посылаемых дыханий,
Струей пыльцы, игрой восточных тканей,
Приди, любовь, я все тебе отдам.

И слышно здесь, как пламенеет там,
За гранями, кадильница сгораний,
Жасмины, розы, головни гераней,
Пожары, посвященные звездам.

Пока на дне небес проходят токи,
Певучие ряды, к звезде звезда,
Влюбилась в берег здешняя вода.

Два облика. Они зеленооки.
И слышен вздох: «Тобою счастлив я».
И вторит нежный вздох: «Твоя. Твоя».

РОЖДЕНИЕ ЛЮБВИ

Любить живых учила красногрудка.
Вся серая была она в раю.
Сидела на утесе, на краю.
А мир кругом был смех и всклик и шутка.

И думала крылатая малютка:
«О чем они? О чем и я пою?
Любить не нужно все. А лишь мою».
И в этот миг у ней зарделась грудка.

И птичка полетела по кустам.
Тогда впервые заалели розы,
Гвоздики, маки, целый алый храм.

И кровь любовью брызнула к сердцам.
И молния, узор небесной грезы,
Велела быть грозе и лить дождям.

УДЕЛ КРЫЛАТЫХ

Две птички видеть — нежно и досадно.
Их две, так, значит, нет здесь ни одной,
А будет третья, чтоб опять весной
Вдвоем единый лик разрушить жадно.

Когда жь одна — как жалко, безотрадно.
Она в тревоге. Сердце шепчет: «Пой!»
И вот поет, чтоб взятой быть судьбой,
И, здесь пожив, лететь к чужбине стадно.

Люблю я все же более — одну,
Когда она поет, дрожа, тоскуя,
Душа к душе, в желанье поцелуя.

Высокий миг — создать свою струну,
Струить жемчужный дождь, сердца волнуя.
Свой жемчуг лить в чужую глубину.

ЗАКОН ПРИРОДЫ

Природа — прихотливейший творец.
От простоты всегда уходит в сложность.
Ей побеждать желанно невозможность,
Повсюду рассыпать дожди колец.

Нигде не говорит она: «Конец».
Чуть сотворит, и тотчас, осторожность
С мечтой слияв, крепит свой храм Всебожность,
Играя миллионами сердец.

По клавишам несчетных ощущений
Бегут персты, легчайшие, чем сон.
Гудит от звезд дрожащих небосклон.

Еще цветов, зверей, и снов, и рдений.
И лестница всемирных расхождений
Ростет, а прихоть — строгий здесь закон.

ЗНАНИЕ ВНЕ ЗНАНЬЯ

Есть знание вне знанья в существах.
Внушаемость. Открытость вечным чарам.
Мир никогда, живя, не будет старым,
Пока есть сердце, жгучий есть размах.

В животных, в рыбах, в птицах и жуках
Есть власть светится тем цветным пожаром,
Что, рдея, по зеленым льется ярам
И искрится алмазами в снегах.

Соотношенье красок. Здесь не только
Самозащита от зловражьих глаз,
Но просто лад, втекающий в рассказ.

Когда порхает маленькая молька,
Она изображает Смерть и Ночь.
Ты жил? Усни. Ты был? Уйдем же прочь.

ЗЕРКАЛО В ЗЕРКАЛО

Чтоб дух горел в чарующем алмазе
И мысль играла в радугу и гром,
Идут пиры в пространстве мировом,
Различья форм, цветных разнообразий.

Светло лететь по зову звездных связей,
Красиво каплей, чей так мал объем,
Упасть с высот в звенящий водоем.
Быть звуком в убедительном разсказе.

Мне чудится, что, если любим мы,
И милой сердцем ткем наряд венчальный,
В пустыне звезд, как в музыке зеркальной,

В тот час поют всезвонные псалмы,
Как здесь снежинки в светлый миг зимы
В душе у нас рождают стих кристальный.

БРОНЗОВКА

У бронзовки, горячего жука,
Блестящего в дни майского горенья,
Полдневней, чем у майских, власть влюбленья,
И цвет зеленых крыл — как лист цветка.

В нем краска изумруда глубока
С игрою золотого оттененья.
Здесь солнцем и землею завлеченье,
Здесь долгая влюбленность в свет листка.

Сознание гармонии окраски,
Упорно ощущаемое тем,
Кто пламенно живет, хоть с виду нем.

Внушаемость теченьем общей сказки.
Так у детей горят как звезды глазки:
Ведь дух детей открыт созвездьям всем.

ПАВЛИН

Как исполинский веер, хвост павлина,
С большим числом изящнейших зрачков,
Раскроется, как россыпь синих ков,
Чарует, как лазурная картина.

Самец с покорным ликом властелина,
Бросающего множество даров,
Быть красочным еще и вновь готов,
Чтоб породить с царицей дочь и сына.

Но в таинство рождения вступить
Чрез таинство любовного слиянья.
Таинственная чувств и мыслей нить.

Порабощенье волею сиянья.
Созданье красок, грез и расцветанья,
Чтобы один глоток любви испить.

ТАЙНА РАКОВИН

Есть в очертаньи раковин морских
Извив волны лазурной океана.
Есть отсвет в них огней зари, что рано
И поздно льет в волну жемчужный стих.

В них есть и лунный свет, что нежно тих
И чародеен в час, когда Светлана
Восходить розовата и медвяна,
И ворожит теченье чар густых.

Глубинные — приемлют трепетанья,
Покорно подчиняясь без конца
И раскрывая створки, как сердца.

А в той, что всех открытей пьет влиянье,
Слиянный поцелуй созвучных сил
Себя, как грезу, жемчугом явил.

ТАНЕЦ ЛЮБВИ

Над той чертой, где льнет до суши море,
Я видел: в дне сентябрьском пронеслось
Сто тысяч обнимавшихся стрекоз,
Летя попарно в этом дружном хоре.

Как рой счастливых душ вились в просторе.
К закату, выше моря, трав, и рос,
Как будто звал их лучевой откос,
И подчинились нежные, не споря.

До солнца. К тем расплавленным огням.
К рубинам, утопающим в опале.
Неслись. Взнеслись. Растаяли. Пропали.

Летя по лучезарным ступеням
К горнилу зорь. Завлечены багрянцем.
Циклоном огневым. Любовным танцем.

КАБАРГА

Хранит самец пьянящий дух в мешочке,
И, как цветок, приманивает мух,
Так кабарга-самец для молодух
Таит духи в волшебном пузыречке.

Идет, роняя мускусные точки.
Неволящий, несущий чары дух,
Любовь чрез запах размышляет вслух,
Набат к любви струят кусты и кочки.

Плывет, зовет, звонит и ранит мгла.
Как дождь жемчужный, цвет повис черемух.
Сосна, и та от страсти расцвела.

И там, где орхидеи на изломах
Утесы расцветили, как снега,
В безумном духе любит кабарга.

ШЕСТВИЕ КАБАРГИ

Влюбленная проходит кабарга,
Средь диких коз колдунья аромата.
Вослед нее пахучая утрата,
Под ней душисты горные луга.

Пьянящий мускус. Смыты берега
Бесстрастия. Любовь здесь будет плата.
И любятся с рассвета до заката.
Но прежде — бой. В любви сразить врага.

Самец самцу противоставит бивни.
Алеют у сильнейшего клыки.
Сперва гроза. Лишь за грозою ливни.

Ждет самка. В мире бродят огоньки.
В одном любовном запахе и рае
Сибирь, Китай, Тибет и Гималаи.

ЦВЕТ СТРАСТИ

Багряный, нежно-алый, лиловатый,
И белый-белый, словно сон в снегах,
И льющий зори утра в лепестках,
И жаркие лелеющий закаты, —

Пылает мак, различностью богатый,
Будя безумье в пчелах и жуках,
Разлив огня в цветочных берегах,
С пахучей грезой сонно-сладковатой.

Когда же он роняет лепестки,
Ваяет он кувшинчик изумрудный,
Где семя накопляет с властью чудной.

Сны навевать. В тех снах — объем реки.
Дневное — в зыбях, в дали многогудной.
И хмель густой вместил века в цветки.

ПЧЕЛА

Мне нравится существенность пчелы,
Она, летя, звенит не по-пустому,
От пыльника цветов дорогу к грому
Верней находит в мире, чем орлы.

Взяв нектар в зобик свой, из этой мглы
Там в улье, чуя сладкую истому,
Мед отдает корытцу восковому,
В нем шестикратно утвердив углы.

Из жала каплю яда впустит в соты,
Чтоб мед не забродил там. Улей — дом.
Цветы прошли — пчела забылась сном.

Ей снится храм. В сияньи позолоты
Иконы. Свечи. Горния высоты,
И хор поет. И колокол — как гром.

НЕЗРИМЫЕ ИСПОЛИНЫ

Огромная объемность инфузорий,
Незримая среди безвестных троп,
Мгновенно зрима, лишь взгляни в потоп,
Чрез волшебство побудь в кишащем хоре.

Вот, капля влаги — бешеное море.
У каждой твари есть и рот, и лоб.
Одна другой — живой и жадный гроб.
Их мчит циклон. Их жизнь — в горячем споре.

Одна — как некий исполинский зонт.
Другая — конь в кошмарном сновиденье.
Какой у них безмерный горизонт.

Нет, малы не они, а наше зренье, —
Как лишь размерно грузен мастодонт
В ликующих пирах миротворенья.

ЗВЕРЬ

Сто сорок саженей чудовищной длины,
Приди в четырнадцать размерного сонета.
Тот земноводный зверь, он ведал только лето
И смену летних дней на пламени весны.

Левиафан морей, где грузный ход волны
Был продвижением тяжелого предмета.
И воздух был густой. И мало было света.
Но жаркие пары пыланьем пронзены.

Здесь мало что уму. Но все для сладострастья.
Хранилище любви, спинной его хребет
Был длительная хоть, где размышленья нет.

Он в летописи дней – одна страница счастья.
Я думаю о нем, когда погаснет свет,
И за стеной моей, и в сердце стон ненастья.

ЛУНА И СОЛНЦЕ

Луна, через меня, струит мечту,
А солнце через свет творит созданья.
Но сердцу что виднее, чем мечтанье?
Напев луне наряднее сплету.

Как солнечную встретить красоту?
Немею в ослепленьи обаянья.
Я с солнцем знаю счастие ваянья,
С луной горю и гасну налету.

Всего видней летучее горенье.
Ваянья ломки. Устает рука.
Ручей поет звучнее, чем река.

Мечта – правдиво-нежное влюбленье.
Она прядет из зыби огонька.
Огонь погас. Но зыбь живет века.

ЧЕЛОВЕК

Весь человек есть линия волны.
Ток крови в руслах жил, как по ложбинам.
Строенье губ, бровей, зрачок с орлиным
Полетом к Солнцу. Волны. Струи. Сны.

Мы влагой и огнем воплощены.
И нашу мысль всегда влечет к глубинам.
И тот же знак ведет нас по вершинам.
Нам любо знать опасность крутизны.

От Солнца мы, но мы из Океана.
Индийский сон. На влаге мировой,
На вечном мигу лик являя свой, —

С зарей, велящей просыпаться рано,
Раскрылся чашей лотос голубой.
И бог в цветке. А жизнь цветка медвяна.

СОН ДЕВУШКИ

Она заснула под слова напева.
В нем слово «мой», волнение струя,
Втекало в слово нежное «твоя».
И в жутко-сладком сне застыла дева.

Ей снилось: нежно у нея из чрева
Росла травинка, брызгал плеск ручья.
Красивая не страшная змея
Ласкалась к ней. И стебель вырос в древо.

Ушли густые ветви в небеса.
В них золотились яблоки и птицы.
Качались громы, молнии, зарницы.

И вырос лес. И выросли леса.
И кто-то перстень с блеском огневицы
Надел на палец избранной царицы.

РЕБЕНОК

Ребенок, пальчик приложив к губам,
Мне подарил волшебную картинку.
Он тонкую изобразил былинку,
Которая восходит к небесам.

Горело солнце желтым шаром там.
Былинка, истончившись в паутинку,
Раскрыла алый цветик, котловинку,
Тянувшуюся к солнечным огням.

Цветок, всем лепестковым устремленьем,
Был жадно к лику солнца наклонен.
Но не с любовью, а с мятежным рденьем.

Хочу тебя превосходить гореньем.
И солнце, чтоб рубин был побежден,
Спустилось книзу с заревым смиреньем.

ПЕЧАТИ

Смотреть печати давних прохождений,
Расчислить спектр, пронзивший хрустали,
Читать страницы прошлого Земли,
Следы зверей, листы иных растений,

Почуять сонмы диких привидений,
Прозреть объем существ, как корабли,
Как грузные утесы, что могли
Сходиться для любленья и борений.

В застывшей янтарем цветной смоле
Увидеть четко маленькую мушку,
Вот как она гнала свою подружку,

Чтобы ее обнять в любовной мгле.
И чувствовать, что так же ты лишь строчка
В Поэме Мира. Всклик, вопрос и точка.

В ТЕ ДНИ

В те дни, когда весь мир был Океан
Среди морских неисчислимых лилий,
На празднике первичных изобилий
Бродил горячий творческий туман.

Еще не возникало разных стран.
Поденки-исполины, взмахом крылий,
Носились в полумраке без усилий,
И каждый хвощ был дикий великан.

Да папоротник в мертвенном болоте,
Что пресекало море кое-где,
Многосаженный, тень ронял к воде.

И тишь существ, беззвучных даже в лете,
Передалась красивейшей звезде,
Спустившей зерна жизни в позолоте.

НА ОГНЕННОМ ПИРУ

Когда я думаю, что предки у коня
В бесчисленных веках, чьи густы вереницы,
Являли странный лик с размерами лисицы,
Во мне дрожит восторг, пронзающий меня.

На огненном пиру творящего Огня,
Я червь, я хитрый змей, а быстрокрылость птицы.
Ум человека я, чья мысль быстрей зарницы,
Сознание миров живет во мне, звеня.

Природа отошла от своего Апреля,
Но наслоеньями записаны слова.
Меняется размер, но песня в нем жива.

И Божья новая еще нас ждет неделя.
Не так уж далеки пред ликом Божества.
Акульи плавники и пальцы Рафаэля.

ДВА ДОСТИЖЕНИЯ

Два раза человек был в мудром лике змея:
Когда он приручил к своим делам огонь,
Когда им укрощен был дико ржущий конь, —
И покорить коня гораздо мудренее.

Огонь постигнутый горит, грозя и рдея,
Но подчиняется, лишь в плоть его не тронь.
А сделать, чтобы зверь был бег твоих погонь
Стократно трудная и хитрая затея.

В сказанье о Брингильде мы видим, кто сильней.
Оплотом сна ее служил не дуб, не камень,
А зачарованный непогасавший пламень.

Но проскакал Сигурд сквозь изгородь огней.
Был победителем, сказаньем званый Грани,
Ведомый духом конь в сверканье состязаний.

В ЖЕРЛЕ

Всей роскошью измен не вовсе смыт
Лик прошлого с уступами крутыми.
И я люблю прозреть, как в неком дыме,
В жерле столетий бывший ярким быт.

Прильнул к земле застывший следопыт.
Он знает, что лощинами лесными
Пройдет табун. Кобылы, а за ними
Строй жеребцов. Чу! Дальний гул копыт.

Но нет. Но нет. Идут иные ноги.
Звук конских ног стройней. Он не таков.
Товарищи, скорее на быков.

Они идут, размерны, крутороги.
Аркан со мной. Лук со стрелой готов.
Еще крутится пыль на той дороге.

ЗВЕРОЛОВ

Когда царил тот сильный зверолов,
Что миру явлен именем Немврода,
Чуть зачинала сны времен природа,
И раем был любой лесистый ров.

Не кроликов и не перепелов
Он в сети уловлял. Иного рода
Ловить зверей была ему угода.
Взлюбил он коготь, клык, и рог, и рев.

Когда громадой в любострастном миге
Шел мастодонт мохнатый, разъярен,
Навстречу шел и улыбался он.

На зверя сбоку вдруг бросал вериги,
И записали в слове древней книги:
«Сей начал быть могучим в сне времен».

ПЕЩЕРНИК

В пещере начертал он на стене
Быков, коней. И чаровали гривы.
Он был охотник смелый и счастливый.
Плясали тени сказок при огне.

Жена, смеясь, склонялася к жене.
Их было семь. Семьею говорливой,
Порою дружной, а порой бранчливой,
Все были только с ним в любовном сне.

Сидел поодаль он. И дух мечтанья
Его увел в безвестную страну.
Он был там бледен. И любил одну.

В том крае были сказочные зданья.
Он был в них царь. И вдруг в его сознанье
Мечта вонзила звонкую струну.

МЛАДШИЙ

Ватага наохотилась и ела,
Хрустели кости лошадей и коз,
Вокруг костров. Там дальше был откос,
И он сидел у самого предела.

Он с краю был. Меньшой. Такое дело,
Как бить зверей, в нем не будило грез.
Он съел кусок добычи. Кость поднес.
Там дырка. Глянул. Дунул. Кость запела.

Обрадован, он повторял тот звук.
Журчащий свист. Он был похож на птицу.
Кругом смеялись. Но уж он цевницу

Почувствовал. Движенье ловких рук,
Отверстья умножали голос мук.
Всклик счастья. Он зажег свою зарницу.

ПОСВЯЩЕННЫЕ

Колебля легкий в воздухе убор,
Папирус молча смотрит в воды Нила.
На влаге белоснежное кадило,
Заводит лотос с утром разговор.

Изиде, Озирису и Гатор
Возносит песнь — живых сердец горнило.
Дабы в столетьях Солнце сохранило
Тех верных, не вступивших с богом в спор.

Познавшие все тайны смертной ямы,
И все пути, по коим ходит страсть,
Глядят жрецы, являя ликом власть.

Аллеи сфинксов. Обелиски. Храмы.
И разнимая розовую пасть,
Как идолы в воде — гиппопотамы.

КРАЙ ОЗИРИСА

Немой покой. Гробница мастаба.
На красноватом золоте Сахары.
Внутри картины выявляют чары.
В Египте живы самые гроба.

Четырекратно ворожит Судьба.
Восток и Юг — горячие пожары.
Закат и Север — свет, когда мы стары,
Аменти, где окончена борьба.

Край Озириса, Гора и Изиды.
Папирус. Лотос. Пальма. Тамариск.
Храм духа, светят алым пирамиды.

Могучий Ра высоко поднял диск.
И как копье оконченной обиды,
Как пламень камня всходит обелиск.

ДВА МИРА

Я слушал голос древних посвященных,
Что пили солнце, как мы пьем вино,
С луной горели тайной заодно
И знали поступь духов в травах сонных.

Я слышал гул колоколов всезвонных,
Которым возвещать в простор дано,
Что выковано новое звено
Для душ, из смертных страхов изведенных.

Мне ближе те, которые древней.
И больше правды в лицах загорелых,
Безбрежное замкнуть в земных пределах

Не мысливших. Они в разбеге дней
Давали гроздья счастья ягод спелых.
И, кончив жизнь, легко прощались с ней.

КРУГОЗОР

Я знал в веках, как рухнул мастодонт,
Я строил западню объемной ямы.
Узнали дротик мой гиппопотамы.
Я вел в войне свирепый фронт на фронт.

Поздней, китайский свой раскрывши зонт,
Земле и Небу выстроил я храмы.
В другой стране восславил имя Брамы.
По кругу весь прошел я горизонт.

От Индии, где сказочны бананы,
И духов столько, сколько мушкары,
Я прочь ушел, иной ища игры.

И я люблю надречные туманы
И в дни декабрьской трезвенной поры
Разумных мыслей сны и караваны.

ПРИЗЫВ

Как птица ткач прилежно ткет узор,
Мешок гнезда, где красота скрепленья
Невольно вызывает изумленье,
Вися с ветвей над зеркалом озер, —

Как многогранен мухи зоркий взор,
Включивший в глаз многосторонность зренья, —
Как эскимос лишь хочет примиренья,
И воинский не делает убор, —

Так я, бродя по травяным пустыням,
От островов блуждая к островам,
Узнал, что правоверен каждый храм,

Где дух сполна прильнул к своим святыням.
О, братья мира! Гнев свой да покинем,
И строить в мире место будет нам.

ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ

Есть однодневка. Есть одноминутка.
И есть односекундка меж зверей.
В рядах периодических дробей
Спустись к глубоководностям рассудка.

Предела нет. Стих прозвучал как шутка.
Он грозным стал. И преисподней всей
Не вычерпаешь маленький ручей.
Счет жизней — счет снежинок первопутка.

Не кажется мне больше мастодонт
Необъяснимо тяжким и безмерным.
Вершок мой старый стал давно неверным.

У каждых глаз различный горизонт.
И через пропасть прыгающим сернам
Провал — не срыв, а спуск до сходам мерным.

СООТНОШЕНЬЯ

Алмазны скрепы всех соотношений,
Везде узор их музыки ловлю.
Как волны, льнут к седому кораблю,
Ум ластится к течениям внушений.

Медуза в океане — пышный гений,
Каких в людских свершеньях я люблю.
Когда дорогу к ней от низших длю,
Я вижу, как в ней много достижений.

Я научился зодчеству у птиц,
В те дни Земли, как ведал лишь охоты.
Я за зверьми вступил в глухие гроты.

Я перенял с растении лист страниц.
И, напитавшись духом медуниц,
За соловьем свои расчислил ноты.

ЗЕРНО

Двуликий знак, — взглянув, переверни,
В ладони подержав, — зерно ржаное.
Две ипостаси. Тайные здесь двое.
Несчетное в себе таят они.

Чуть зримый рот, пьянящий искони.
Начало ласк. Горнило вековое.
Другой же облик — жезл, что в тайном зное
Пронзит века и донесет огни.

А вместе — лишь зерно. И если тайный
Тот поцелуй земной не примет плен,
Иссохнет сам в себе, без перемен.

А вниз сойдет, к черте необычайной,
Узнает смерть в любви, и тьму, и тлен,
И выйдет к солнцу нивою бескрайной.

СНОПЫ

Снопы стоят в полях как алтари.
В них красота высокого значенья.
Был древле час, в умах зажглось реченье:
«Не только кровь, но и зерно сбери».

В колосьях отливают янтари,
Богаты их зернистые скопленья.
В них теплым духом дышит умиленье,
В них золото разлившейся зари.

Как долог путь от быстрых зерен сева
До мига золотого торжества.
Вся выгорела до косы трава.

Гроза не раз грозилась жаром гнева.
О, пахари, подвижники посева!
В вас Божья воля колосом жива.

КРОВЬ ПУТАЕТ

Кровь путает, толкает и пьянит,
Совета лишь в своих вскипаньях спросит.
Пятнает, омывает и возносит
Дела времен и выси пирамид

В пыланьи розы кровь. И хмель ей свит,
Хотя она не красный цвет в нем носит.
И сеет, сеет. Станет, косит, косит.
И лед скует. И явит снежный вид.

Отшельник, что десятки лет в пустыне
Замаливает грех под звон оков,
И девушка, что светит по долине,

И смотрит в жизнь, и смотрит в небо сине,
Не равны ль вы? Аминь, скажу я, ныне,
И присно, и во веки всех веков.

БРУСНИКА

Огонь, перебегающий в бруснике,
Сошел с махрово-огненных светил,
Малину и калину расцветил,
Неполно пробежал по землянике.

Отобразился в страстном счастья крике,
У девушки в щеках, играньем сил,
Румянец нежным заревом сгустил,
Ее глаза пугливо стали дики.

И, чувствуя, что в ней горит звезда,
Которой любо всюду видеть алость,
Она влагает искру даже в малость.

Она смеется, а в глазах беда,
Проходит – и пылают города,
Проводит в мире огненную шалость.

МИР БЛАГОВЕСТИЯ

Какой он благолепный, благовонный,
Какой он благозвонный, светлый лес.
В нем ничего из сказки похоронной,
В нем только благовестие чудес.

Едва в него вошел, как дух воскрес.
Задумчивый, баюкающий, сонный,
Зеленых преисполненный завес,
Хранитель жизни многомиллионной.

Я вижу зыбкий стебель лисий хвост,
Я становлюсь тихонько на колени,
Чтоб ближе видеть тонкий трепет млений.

Кругом в цветах мне зрима россыпь звезд.
Вдыхаю сладкий дух благоволений.
Мне изумруд к забвенью строит мост.

НАУКА

Я ласково учусь зеленой тишине,
Смотря, как царственны, сто лет проживши, ели.
Они хранят свой цвет, приемля все мятели,
И жалобы в них нет, и жалоб нет во мне.

Я голубой учусь у неба вышине,
У ветра в камышах учился я свирели.
От облаков узнал, как много снов в кудели,
Как вольно, сны создав, их в бурном сжечь огне.

Я красному учусь у пламенного мака,
Я золото беру у солнечных лучей,
Хрустальности мечты учил меня ручей.

А если мышь мелькнет, и в ней ищу я знака.
Зима скует порыв и сблизит берега,
И белый мне псалом споют без слов снега.

СРЕДИ ДЕРЕВ

Среди дерев, их лап, узлов, рогатин,
Столетних елей, благовонных лип,
Старинный шорох, шелест, гул и скрип,
Особый лад, который благодатен.

Дрожат сквозь листья брызги светлых пятен.
А тут, внизу, пробился крепкий гриб.
Выводит травка шаткий свой изгиб.
Дух павших листьев густо ароматен.

Летучей кошкой проплыла сова,
И, севши, смотрит круглыми глазами,
Не видя. Дождь прошел. И лишь слезами

Алмазными чуть-чуть горит трава.
Войдем в великий праздник Вещества,
Здесь каждый атом полон голосами.

ДРЕВЕСНАЯ КОРА

В коре древесной столько же расщелин
Как на пространстве всей земной коры.
Вулкан, не есть ли он жерло норы,
Где шмель огня, который беспределен?

Безбрежен гуд таинственных моделей.
Вулкан везде. Во всем огонь игры.
С земли до неба, к брату от сестры,
Любовный пир, который вечно хмелен.

Здесь приютился маленький комок
Чуть зримых мшинок. Тихое веселье.
Аул среди Дарьяльского ущелья.

Жучки влезают в маленький домок.
В природе не найдешь нигде безделья.
Они выводят стройный городок.

ОХОТА

Шмели — бизоны в клеверных лугах.
Как бычий рев глухой, их гуд тяжелый.
Медлительные ламы, ноют пчелы.
Пантеры — осы, сеющие страх.

Вверху, на золотистых берегах,
Горячий шар струит поток веселый.
Залиты светом нивы, горы, долы.
Несчетных крыл везде кругом размах.

Визг ласточек. Кричат ихтиозавры.
Как острие, стрижей летящий свист.
Гвоздики в ветре, молча, бьют в литавры.

Утайный куст цветочен и тенист.
И выполз зверь. Шуршит о ветку ветка.
Мохнатый мамонт. Жуткая медведка.

КРОТ

От детских дней я полюбил крота
За то, что ходит в бархатной он шубке,
И белизной его сияют зубки,
И жизнь его среди существ не та.

Подземное, ночное, темнота.
Меж тем как в солнце жадные голубки
Глупеют от пригоршни желтой крупки,
Он все одна, и там он, где мечта.

Внизу, вглуби, где верно есть аллеи,
И духов черных башни и дворы,
Где странные полночные пиры,

Где земляные черви, точно змеи,
С приказом жить лишь там, а если тут
Покажутся, немедленно умрут.

СОДРУЖЕСТВО

В саду стоит работавшая лейка,
Все политы цветы. Им лучше так.
Жасмин земной звезды являет знак.
Зеленого вьюнка крутится змейка.

Цветов и трав царица-чародейка
Лелеет роза в чаше теплый мрак.
С ней спорит в алом распаленный мак.
В лугах пастух. Стадам поет жалейка.

Там дальше лес. А перед ним река,
Широкая, хрустальная, немая.
Два берега, в русле ее сжимая,

Воде дают переплеснуть слегка.
И нежный цвет зеленого жука
Горит, с травы игру перенимая.

ЗМЕЙ

Уходит длинной лентою река,
Среди лугов, холмов, лесов синея,
Служа немым изображеньем Змея,
Что спит и спит и будет спать века.

Лишь дышут зыбью сильные бока,
Там чешуя, волнообразно млея,
Мгновения подъятия лелея,
Горит и манит взор издалека.

Покошены кусты душистой кашки,
Вольнее ходит ветер по траве.
Толкачики на службе, как монашки.

Чирикают кузнечики в овражке.
Но Змей заснул. Лишь сны его, в плотве,
Сверкают вкось по влажной синеве.

ЛАСТОЧКА

О чем, летая, ласточка щебечет?
Слепляя грязь в уютнейший домок,
Выводит в нем малюток в краткий срок,
Сама — мала, но и смела, как кречет.

При встрече с ней вороне выпал нечет.
Касатка мчит. Та — карк! — и наутек.
И вновь поет, прядет, струит намек,
Летит, журчит, и грезит, и лепечет.

Я знаю: ей уютно в мире тут.
Те звери-бледнолики, не из малых,
Что под ее окном селятся в залах, —

К ней благосклонны, гибель ей не ткут.
А в воздухе, в лазоревых провалах,
Стадами мошки прямо в рот текут.

ЖУЖЖАНЬЕ МУХ

Жужжанье мух. О светлое стекло
Упрямое их тонкое биенье.
И странная прозрачность разделенья.
Все это вместе мысль мою влекло,

В те дни, когда в полуверсте село
Являлось чем-то в дымке отдаленья,
Где буду вновь я только в воскресенье,
Когда звучат колокола светло.

С тех пор уж скоро минет полстолетья.
Но мне дано быть долго молодым.
Я в пламени. Меня не тронет дым.

Еще желаю целый мир лропетт. я,
И не с людьми я в это лихолетье.
Я звезд, и птиц, и мошек побратим.

ДОГОВОР

Я в договор вступил с семьей звериной
От детских дней. Строй чувств у нас один,
Любовь к любви. Искусство паутин.
Я был бы равным в стае лебединой.

Часами я перед болотной тиной
Сидел, как неизвестный властелин,
Что смотр устроил всех своих дружин,
И как художник пред своей картиной.

Мне не безвестен черный плавунец.
Я не однажды говорил с тритоном.
Осоки лезвиились по затонам.

И целым роем золотых сердец
И алых по зеленым рдели склонам
Цветы, шепча, что Солнце – их отец.

СВЕЧА

Я мыслью прохожу по всем мирам,
Моя свеча пред каждою иконой.
Но, если лес кругом шумит зеленый,
Я чувствую, что это лучший храм.

Я прохожу неспешно по горам,
В них каждый камень – истукан точеный.
Не райской птицей, а простой вороной
Я иногда ведом к высоким снам.

Звук карканья неловкой серой птицы
Неопытен в разряде звуковом,
Но даже в нем есть песня и псалом.

Чернильной краской вброшен я в страницы
Блестящие. И чую гулкий гром,
Когда чуть вьется дымка от криницы.

У СТЕБЕЛЬКА

Я задремал, смотря на стебелек,
В косых лучах пылающего шара.
И вот лицо, которое не старо,
Но древне, увлекло меня в поток.

Я был красив, уклончив и высок.
Легко скользил по крутоёму яра.
Станица где-то в пламенях пожара
Горела и сгорела в краткий срок.

Я проходил в серебряных туманах.
Я по широкой уплывал реке.
Две белые звезды невдалеке

Меня вели в спокойно-звездных странах.
А ночь вовне зажгла для снов медвяных
Две капельки росы на стебельке.

СВЕТЛАЯ НОЧЬ

Весь слитный сад не шелохнет листом,
Безгласны лунно-сонные аллеи.
В лазурном небе облачные змеи,
И дышит тайна всюду под кустом.

Вот тут построил еж свой малый дом.
Вон там в дупле пчелиные затеи.
Здесь в маргаритке побывали феи.
Кузнечик в ночь кричит: «А что потом?»

Потом — за край, весь мир пройдя по краю,
Как в воздух без борьбы уходит звук,
Как с крайнего листка скользит паук.

Вот паутинку здесь я закрепляю.
В моей душе ни страха нет, ни мук,
Хотя в уме великое: «Не знаю».

ВСЕЛЕНСКИЙ СТИХ

Мы каждый час не на Земле земной,
А каждый миг мы на Земле небесной.
Мы цельности не чувствуем чудесной,
Не видим моря, будучи волной.

Я руку протянул во мгле ночной
И ощутил не стены кельи тесной,
А некий мир, огромный, безтелесный.
Горит мой разум в уровень с Луной.

Подняв лицо, я Солнцу шлю моленье,
Склонив лицо, молюсь душой Земле.
Весь звездный мир — со мной как в хрустале.

Миры поют, я голос в этом пенье.
Пловец я, но на звездном корабле.
Из радуг льется звон стихотворенья.

МУДРОСТЬ ВЕСНЫ

Я долго думал, пытку унимая,
Что смысла нет в мучительстве скорбей.
Но благо знать, что в боли есть ручей,
И можно жить, его струе внимая.

Леса не сразу знают счастье мая.
Шесть лун им льют мертвящий ток лучей.
И вот он, май. Светись же горячей,
С дерев уменье быть перенимая.

Они внимали вою жестких бурь,
Учась у вьюг напевам колыбельным,
Умей молчать как-будто в сне смертельном.

Но в час весны ты больше взор не хмурь.
Чтоб ведать май с его восторгом цельным,
Должна в себе вместить сто зим лазурь.

ЛЕС

Могучий лес, то стройный, то косматый,
К единству свел все разности дерев.
Здесь некий Демон Древа сеял сев,
И камни разбросал своей лопатой.

Он ворожит над чащей вороватой,
В оврагах выявляет темный зев,
Взрывает гул и, сразу присмирев,
С земли повеет сладостною мятой.

Кукушкой о любви прокуковав,
Костры рассыпал красной земляники.
Зайчат молиться учит в малом крике.

Дал белке быстрый, птицам певчий нрав.
Велел грибам быть в радованьи рдяном.
Да будет всяк в лесу Великим Паном.

ЗАВЕТ

Высокий красный лес, сквозные боры,
Измятый ветром, дикий бурелом,
Медянка, тусклым свитая узлом,
Лесных вершин глухие разговоры, —

Луга, холмы, раздробленные горы,
Камней огромных косвенный излом,
Тиски стремнин, где бури копят гром,
Плетя ему пушистые уборы, —

Вот мир, достойный помысла и струн.
Вели мечтам, чтоб в беге были рьяны,
Как ржущий убегающий табун,

Как враний голос чернокнижных рун,
Как пчелы, что от красных маков пьяны, —
Чтоб знать, что ты воистину был юн.

ТВОРЧЕСТВО

О творчестве тоскуя с детских дней,
Дитя, лепил я облики из глины,
И в пальцах ощущал восторг единый,
Быть может, поцелуя он нежней.

В дрожаньи струн, в мельканиях теней,
В сверканиях летящей паутины,
Внезапно открывались мне картины,
Вдруг песнь поет, я звук горящий в ней.

Упорный полюс, там где все — теченье,
Миг Божества в сознании людском,
В разбег весны упавший снежный ком, —

Свяжу снопом несчетныя сравненья,
Но не схвачу я молнийный излом,
Не очерчу словами вдохновенье.

ГОЛУБОЙ СОН

От незабудок шел чуть слышный звон.
Цветочный гуд лелея над крутыми
Холмами, васильки, как в синем дыме,
В далекий уходили небосклон.

Качался в легком ветре ломкий лен.
Вьюнок лазурил змейками витыми
Стволы дерев с цветами молодыми.
И каждый ствол был светом обрамлен.

И свет был синь. Кипела в перебое
Волна с волной. Лазурь текла в лазурь.
Павлины спали в царственном покое.

Весь мир в пространство перешел морское.
И в этом сне, не знавшем больше бурь,
По небу плыло солнце голубое.

ЛИПОВЫЙ ЦВЕТ

Успокоителен медвяный аромат
Нешелестящих лип, согретых за день в зное.
Зеленомудрое молчанье вековое,
Изваянность и сон в объеме их громад.

Как-будто на сто лет уснул душистый сад,
Приявши власть любви, хранит ее в покое.
И зеркало пруда, как зеркало морское,
Где Млечного Пути безгласный водоспад.

Крестообразная дремотствует аллея.
Под узловатою, таящей рябь корой
Проходят жилы нор, чуть зримых жизнь лелея.

Под выступом дупла не логовище змея,
В шуршаньи бредовом пчелиный дикий рой.
Меж днем и днем в ночи хмельная снов затея.

МУДРОСТЬ

Замедля мыслью зрящею в зверином,
Любовно возвращаясь к тем рядам,
Которым имена пропел Адам,
Блуждая с Евой до лесным долинам, —

Ваяя дух свой так, чтоб он к картинам
Земли и Неба шел, как входят в храм,
Ни за какое счастье не отдам
Я мудрость змия с сердцем голубиным.

В извиве, ртом касаясь до хвоста,
Объемлет он весь круг миротворенья.
В нем океан. В нем голубое мленье.

И в двух былинках знаменье креста,
Я знаю, миром водит Красота,
Чтоб в бездне звезд не умолкало пенье.

ЗДАНИЕ

Из донесенной пламенным жерлом,
В разлитии остывшей плотной лавы
Основа дома. Стены — из дубравы.
На срубах — мох невянущим узлом.

Послушать любят, как играет гром,
Из ясеня и клена архитравы.
Конек ветрам вещает: «Все вы правы».
Лазурь за каждым сторожит углом.

Уходит в высь игла из чистой стали.
На стали — пурпур. Знамя — Красота.
Резвятся в небе тучки. Та и та.

А небо — цвет изысканной эмали.
И гром велит, чтоб каждая мечта,
Идя к другой, была как звук в хорале.

СОКРОВЕННОСТЬ

Мой путь среди утесов крутоемен.
Но я нашел в объеме диких скал,
Чего, любя красивое, искал.
И мне не жаль, что в мире я бездомен.

Привольно духу в срывах тех хоромин,
Что Гений Гор, когда он низвергал
На глыбу глыбу, для себя слагал.
Я царствую среди каменоломен.

В моих ночах цветет стоцвет, алмаз.
Из аметистов млеющие стены.
Опал мерцает, ворожа измены.

Для перстня камень есть кошачий глаз.
Все камни к свету вырвутся в свой час,
Как Красота — из океанской пены.

ПЕРСТЕНЬ

Из золота чистейшего оправа.
Линейность совершеннейшая, круг.
Чуть шевельнешь, и заиграет вдруг
В гнезде всех красок — огненная слава.

Лучи бегут налево и направо.
Горит. Пожар утонченный вокруг.
В нем только радость, если ты мне друг.
А если недруг, сила в нем удава.

В захваткой лапке цепкого гнезда
Три камня. Изумрудный, алый, синий.
Раздельно-триединая звезда.

Качнешь вот так, увидишь города.
Они твои. Качнешь вот так, пустыней
Безжизненной ты скован навсегда.

АКВАМАРИН

Аквамарин, струясь по ожерелью,
Втекает в переливную волну,
Которая поет про глубину,
Зеленовато-светлою свирелью.

Цвета в цветы с лукавой входят целью,
Расширить власть, увлечь к любви и сну,
Звено с звеном вести в века весну,
Цвета влекут нас к хмелю и похмелью.

Цветы земле. Цвета и в глубь земли
Уходят, напевая завлеченье.
Аквамарин — глубинное теченье.

В земле рыдали страстью хрустали.
Влюбились в лист. Их мысли в них зажгли
Зеленовато-зыбкое свеченье.

ЛУЧШИЙ СТИХ

Прекрасно-тяжки золотые слитки,
Природою заброшенные к нам.
Прекрасен вихрь, бегущий по струнам,
Ручьистость звуков, льющихся в избытке.

Прекрасна мудрость в пожелтелом свитке,
Сверканья тайн, огонь по письменам.
Прекрасней — жизнь отдать бегущим снам,
И расцветать с весной, как маргаритки.

Из всех мечте дарованных цветов,
Быть может, этот цветик самый скромный,
Такой простой, невинный, неизломный,

В нем не отыщешь орхидейных снов,
Ни тех, что ирис даст изящно-темный.
Но лучший стих — где очень мало слов.

ЗЕРКАЛЬНОСТЬ

В прерывистых и скорых разговорах,
О сказочном, о счастье, бытие,
Мне нравятся речения твои,
В них искра, зажигающая порох.

Что ты не замедляешься на спорах,
А льешь свой ум, как вспевность льют ручьи
Что выпеваешь душу в забытьи, —
Люблю и слышу крыльев некий шорох.

Как полубог Эллады Гераклит
С усладой правду видишь ты двойную.
Ты как бы зов: «Люблю, но не ревную».

Ты словно лик загрезивших ракит:
Вода зеркалит ветку вырезную,
Другая ветка связь с землей крепит.

ХУДОЖНИК

К сосцам могучей матери земли,
Протянутым всем подлинным и сущим,
Припав, как сын, ты жадно пьешь сосущим
Лобзанием и мед, и миндали,

И ландыши, что пьяно расцвели,
Как свечечки по многотенным кущам,
И яркий день, что жжет огнем нелгущим,
И громкий смех, и тихий звон вдали.

Ни раною, ни мыслью не отравлен,
В размерности ты все вбираешь в сон
Своих зрачков. Ты как бы сын племен,

Которым первый миг Земли был явлен.
Весь цельный луч в тебе сейчас прославлен,
Хоть радугой еще не преломлен.

РАЗЛИЧНОСТЬ

На слизистой спине немой медузы
Изображен красноречивый крест.
Цветы цветут среди проклятых мест.
Различность любит странные союзы.

Публичный дом не раз воспели музы.
И разве там не тысяча невест?
Взгляни в себя. Взгляни душой окрест.
Связуют все таинственные узы.

Не гений ли, не мощный ли Шекспир,
Отвергнув жизнь средь королей и славы,
Взлюбил, преклонный, малыя забавы?

Познавши весь многообъемный мир,
Любил играть он в шахматы. И в этом
Он до конца высоким был поэтом.

ПРОЗРЕНИЕ

За днями мелководия мечты
Бывают дни — в сознаньи все напевней,
И слышишь голос Мира, голос древний,
Идущий из глубокой темноты.

Приходит вдруг. Сидишь случайно ты.
Пред малой деревенскою харчевней,
Такой, что, может, нет другой плачевней,
И чувствуешь безбрежность Красоты.

Слепой скрипач пиликает убого.
Куда ведет он жалкий свой смычок?
В бездонность. Сердце чувствует намек.

Мы все здесь в мире — в верной длани Бога.
Он всем нам задал выполнить урок.
Для каждого — лишь звездная дорога.

ДАЛЕКОЕ

Когда весь мир как-будто за горой,
Где все мечта и все недостоверно,
Подводный я любил роман Жюль Верна,
И Немо капитан был мой герой.

Когда пред фортепьяно, за игрой,
Он тосковал, хоть несколько манерно,
Я в океане с ним качался мерно,
И, помню, слезы хлынули струей.

Потом я страстно полюбил Майн Рида,
Но был ручной отвергнут Вальтер Скотт,
Прошли года. Быть-может, только год?

Мне грезится Египет, Атлантида,
Далекое. И мой сиамский кот
«Плыви в Сиам!» — мурлыча, мне поет.

СИЛА БРЕТАНИ

В таинственной, как лунный свет, Бретани,
В узорной и упрямой старине,
Упорствующей в этом скудном дне,
И только в давних днях берущей дани

Обычаев, уборов и преданий,
Есть до сих пор друиды, в тишине,
От Солнца отделенной, там на дне,
В Атлантике, в загадке, в океане.

В те ночи, как колдует здесь Луна,
С утеса Чаек видно глубь залива.
В воде — дубравы, храмы, глыбы срыва.

Проходят привиденья, духи сна.
Вся древность, словно в зеркале, видна,
Пока ее не смоет мощь прилива.

СИБИРЬ

Страна, где мчит теченье Енисей,
Где на горах червонного Алтая
Белеют орхидеи, расцветая,
И вольный дух вбираешь грудью всей.

Там есть кабан, медведь, стада лосей.
За кабаргой струится мускус, тая.
И льется к солнцу песня молодая,
И есть поля. Чем хочешь, тем засей.

Там на утес, где чары все не наши,
Не из низин, взошел я, в мир такой,
Что не был смят ничьей еще ногой.

Во влагу, что в природной древней чаше
Мерцала, не смотрел никто другой.
Я заглянул. Тот миг всех мигов краше.

ЛУННАЯ ВОДА

Взяв бронзовое зеркало рукою,
И раковину взяв другой, Фан-Чжу,
Он ровно в полночь вышел на межу,
И стал как столб дорожный над рекою.

Змеился лунный отсвет по ножу,
На поясе. Зеркальностью двойною
Он колдовал и говорил с луною.
Шепнул: «И до зари так продержу».

Но этого не нужно даже было.
Струился влагой лунный поцелуй.
Роса по травам и цветам светила.

Цветы дымиться стали как кадила.
И вот роса зовется Шан-Чи-Шуй,
Что значит: «Колдованье высших струй».

КИТАЙСКОЕ НЕБО

Земля — в воде. И восемью столбами
Закреплена в лазури, где над ней
Восходит в небо девять этажей.
Там Солнце и Луна с пятью звездами.

Семь сводов, где светила правят нами.
Восьмой же свод, зовущийся Ва-Вэй,
Крутящаяся Привязь, силой всей
Связует свод девятый как цепями.

Там Полюс Мира. Он сияет вкось.
Царица Нюй-Гуа с змеиным телом,
С мятежником Гун-Гуном билась смелым.

Упав, он медь столбов раздвинул врозь.
И из камней Царица пятицветных,
Ряд сделала заплат, в ночи заметных.

ТКАНЬ

Склонившись, китаянка молодая
Любовно ткет узорчатый ковер.
На нем Земли и Неба разговор,
Гроза прошла, по высям пропадая.

Цветные хлопья тучек млеют, тая,
Заря готовит пламенный костер.
А очерк скал отчетлив и остер,
Но лучше сад пред домиком Китая.

Что может быть прекрасней, чем Китай.
Здесь живописна даже перебранка,
А греза мига светит как светлянка.

Сидеть века и пить душистый чай.
Когда передо мною китаянка,
Весь мир вокруг – один цветочный рай.

КИТАЙСКАЯ ГРЕЗА

Вэй-Као полновластная царица.
Ее глаза нежней, чем миндали.
Сравняться в чарах с дивной не могли
Ни зверь, ни рыбка, ни цветок, ни птица.

Она спала. Она была девица.
С двойной звезды, лучившейся вдали,
Два духа легкокрылые сошли.
Душистая звездилася ложница.

И с двух сторон к дремавшей подойдя,
Кадильницу пахучую качали.
Цветы на грудь легли, их расцвечали.

И зачала от этого дождя.
И, сына безболезненно рождая,
Она и в нем была звездой Китая.

ЗАНАВЕС

Китайский красный занавес так ал,
Что у меня в глазах как бы круженье
Багряных птиц и призраков служенье
Огням заката на уступах скал.

Здесь Демон Крови краски подыскал.
Вулкан свое готовил изверженье,
Не совершил и передал внушенье
Тому, кто этот замысел слагал.

Лазурно-изумрудные деревья.
Густые гроздья голубых цветов.
И облачков закреплены кочевья.

И шесть десятков зеркалец, для снов
Той нежной, чья свершилась греза девья,
Кому весь этот свадебный покров.

СПОР ДУХОВ

Спор духов перешел уж в перебранку,
А кто хитрей, все не был спор решен.
Тогда, чтоб разум был заворожен,
Дух Юга людям показал испанку.

Дух Севера зажег мечту-светлянку.
Дух Запада, замыслив гордый сон,
Спаял всех музыкальных гудов звон.
Но дух Востока, дунув, создал танку.

Пять чувств, как пятицветную печать,
Сгустив и утончив необычайно,
Умея сердце научить молчать,

И чуть шептать, чтоб расцветала тайна,
Велел японец танке зазвучать, —
Пять малых строк поют, горя бескрайно.

СТРАНА СОВЕРШЕННАЯ

В Японии, где светят хризантемы,
Как светят в небе звезды в час ночей,
В Ниппоне, где объятья горячей,
Но где уста для поцелуя немы;

Где все холмы, как части теоремы,
Размерны; где, виясь в полях, ручей
Есть часть картины; где поток лучей
Златыми явит и стальные шлемы;

В Нихоне, в Корне Света, где и свет
Как будто не природно безучастен,
А с мыслью вместе и сердцам подвластен, —

Я видел сон, что каждый там поэт,
Что миг свиданья полнопевно страстен,
За страстью же — раскаяния нет.

ЯВАНСКИЙ САД

О, Бейтензорг! Пышнейший в мире сад,
Где сонмами мерцают орхидеи,
Меняя до несчетности затеи,
Размеры, облик, краски, аромат,

Где демон ночи, притаившись, рад
Заслышать, как шуршат в лианах змеи,
И чуют задремавшие аллеи
Всех запахов ликующий набат.

Я там бродил в ночах с моей желанной,
И ящерица гекко, точно гном,
Кричала «Гекко!» где-то за углом.

Вся жизнь земная чудилась мне странной,
Я сам себе казался чьим-то сном,
Одна любовь являлась необманной.

СВЕТЛЯНКИ

В холодных странах светят светляки,
В те ночи, что назначены светящим,
Фонариком зеленым и дрожащим
Они в траве лелеют огоньки.

В ночах яванских рдеют вдоль реки
Крылатые светлянки, и по чащам
Скользят напевом, глазу говорящим,
Сближаются как странные зрачки.

По выдыхам земли обильной, мглистым,
Где баобаб объем раскинул свой,
Они игрой вздыхают лучевой,

Оркестром переливно-серебристым.
И смотрят с неба звезды в этот рой,
Что власть нашел быть молча голосистым.

ЦВЕТА ДРАГОЦЕННОГО

Он жертву облекал, ее сжимая.
У дикого плененного козла
Предсмертная в глазах мерцала мгла,
Покорность, тупость и тоска немая.

Он жертву умертвил. И, обнимая,
Всю размягчил ее. Полусветла,
Слюна из пасти алчущей текла.
А мир кругом был весь во власти мая.

Насытился. И, сладко утомлен,
Свой двухсаженный рост раскинул мглистый.
Мерцают в коже пятна-аметисты.

Его к покою клонит нежный сон,
И спал. Голубовато-пепелистый,
Яванский аметистовый питон.

БОРО-БУДУР

Храм белых Будд. Гигант Боро-Будур.
Террасы на террасах в слитном зданье.
Расцветность глыб могучих, в обаянья
Окрестных гор, чей цвет и сер и бур.

И мудрый слон, и крепкорогий тур,
Здесь возникают только в изваянье.
Струится дух здесь в каменном преданье,
И смена ликов — смысл змеиных шкур.

Приди, земной, и погаси пожары,
В которых медлят нищие цари.
Найди в себе дневные две зари.

Царевич отказался здесь от чары
Царить вовне, чтоб быть царем внутри.
Раскрой свой дух и белый свет бери.

ПЛЯСКА КОЛДУНА

Один, ничьи не ощущая взоры,
В ложбине горной, вкруг огня кружась,
Он в пляске шел, волшебный папуас,
Изображая танцем чьи-то споры.

Он вел с огнем дрожавшим разговоры.
Курчавый, темный, с блеском черных глаз,
Сплетал руками длительный рассказ,
Ловил себя, качал свои уборы.

Хвост райской птицы в пышности волос
Взметался как султан незримой битвы.
Опять кружась, он длил свои молитвы.

Я видел все, припавши за утес.
И колдовские возмогли молитвы.
Как жезл любви, огонь до туч возрос.

ОСТРОВНОЕ СОЗВЕЗДИЕ

Загарно-золотистые тела.
Здесь старики, как юноши, все юны.
А женщины поют как гамаюны.
И пляшут. Их душа в глазах светла.

Здесь наши не звучат колокола.
Циклон промчится. Прогремят буруны.
И снова тишь коралловой лагуны.
Все та же стройность, как века была.

Здесь радованье медленной планеты.
«Любовь тебе!», «Талёфа!» и «Тофа!»,
«С тобою мир!» — обычные приветы —

Втекают в жизнь, как за строфой строфа.
И в Вечности плывет твоя каноа,
В созвездии, зовущемся Самоа.

ЗАКАТНАЯ РИЗА

Я уплывал по морю Гаваики,
До южной грани края Маори.
Зажглись, метнувши желтым, янтари,
Слились и разлились, как сердолики.

Огни змеились ходом повилики,
Пылал гранат вечеровой зари.
Из красных туч сложились алтари,
Немой огонь гремел в багряном крике.

Вдруг занавес пурпурно-огневой
Порвал продольность разожженной ризы,
И глянул месяц мертвой головой, —

Испуганный, еще полуживой.
Могучий вал, в перекипаньи сизый,
Каноа мчал в пустыне мировой.

ДРЕВО ТУЛЕ

Я был в одной из самых крайних Туле.
Она лежит среди лесистых стран.
Там сам собой магей медвяно пьян.
В глазах людей преданья потонули.

В ответ на гром там изумруд в разгуле.
Зеленый попугай среди лиан.
Старейший спит древесный великан,
Гигантский можжевельник в тихом гуле.

Ствол ширится огромною дугой.
Чтобы обнять могучее то древо,
Должна восстать толпа рука с рукой.

Пасхальной ночью слышен звук напева.
Пред духом дней проходит смуглый рой,
Припоминая давний облик свой.

ДОРОГОЙ ДЫМА

Далекий край, где древле были шумы
Не наших битв, наряд не наших стран,
Где сердце вырубал обсидиан,
Лазутчик был в лесу хитрее пумы —

К твоим горам мои уходят думы,
Там храмом не один горел вулкан,
И пьяный дым качал там океан,
И дым иной был в грезе Монтесумы.

Звененьем золотых колокольцов
Своих сандалий — врошен в ритм дремотный,
Вот курит он. За кругом круг несчетный.

И новый мир встает из дымных снов.
Его табак пришел туда впервые.
И мы — его, чрез волны голубые.

СИНИЙ ЖГУТ

Для мудрого не может быть вопроса,
Что между самых ласковых минут,
Которые дано нам видать тут,
Одна из самых нежных — папироса.

В ней жертва есть. От горного откоса
Восходит синий дым, свиваясь в жгут.
Ручьи воспоминания текут.
Белеет дымка. Слышен всплеск у плеса.

В ней вольный, хоть любовный, поцелуй.
Дыханье — через близь приникновенья.
Душистое зажженное мгновенье.

Спирали, уводящих грезу струй.
Двойная жизнь души и арабесок,
С качаньем в Вечность легких занавесок.

ВОСПОМИНАНИЕ

Голубоватое кольцо, все кольца дыма
Моих египетских душистых папирос,
Как очертанья сна, как таяние грез,
Создавши легкое, уйдут неисследимо.

Я мыслью далеко. Я в самом сердце Рима.
Там об Антонии поставлен вновь вопрос.
И разрешен сполна. Как остриями кос
Обрезан стебель трав и жизнь невозвратима.

Я знаю, римлянин не должен был любить,
Так пламенно любить, как любят только птицы,
Очарования египетской царицы.

Но Парки нам плетут, и нам обрежут нить.
Я ведал в жизни все. Вся жизнь — лишь блеск зарницы.
Я счастлив в гибели. Я мог, любя, любить.

ШАМАН

Шаман, глушащий сразу в сердце боль,
Волшебник грез и пиршеств веселящих,
А также ссор и слов как нож разящих,
Ты, самокоронованный король, —

Ты, царь царей, ласкающий, доколь
Не бросишь в грязь, как леший в темных чащах,
Сразитель верных, сном смертельным спящих,
Я знал твой быстрый пламень, алкоголь.

Алхимик, то с глазами василиска,
Преобразитель гениев в калек,
То радостный, как звук разливных рек,

То влюбчивый, как ночью одалиска,
Я рад, что знаем мы друг друга близко,
Я счастлив, что прогнал тебя навек.

ЯД

Мне чужды сатанинские забавы.
Сновидец — Опий. Власть дает Гашиш
Глубь мерить глубже, тише чуять тишь.
И морфий видит стены в блесках славы.

Но я мои сонеты и октавы
Им не отдам. Мне дорог яд, но лишь
Такой, в котором творчески горишь,
И как вулкан стремишь потоки лавы.

Мой яд — любовь, Любить. Любовь к любви.
Любовь к мирам. Любовь к малейшей мошке.
Ведут мой садовые дорожки

К безмерным тайнам, дремлющим в крови.
Есть сон: был мед, но не хватало ложки.
Есть сон: здесь мед. Всегда. Лишь позови.

РОЖДЕНИЕ МУЗЫКИ

Звучало море в грани берегов.
Когда все вещи мира были юны,
Слагались многопевные буруны,
В них был и гуд струны, и рев рогов.

Был музыкою лес и каждый ров.
Цвели цветы, огромные, как луны,
Когда в сознаньи прозвучали струны.
Но звон иной был первым в ладе снов.

Повеял ветер в тростники напевно,
Чрез их отверстья ожили луга.
Так первая свирель была царевна

Ветров и воли, смывшей берега.
Еще, чтоб месть и меч запели гневно,
Я сделал флейты из костей врага.

СВИРЕЛЬ

Журчание пастушеской свирели,
Растущее с рассветным светом в лад.
Движенье удаляющихся стад.
Дремлю. Так хорошо побыть в постели.

На венчиках цветов, как в колыбели,
Оставил росы огненный закат.
Их самоцветам глаз вчера был рад,
Сейчас они вторично заблестели.

Там холодно. А здесь мне так тепло.
Смыкаются усталые ресницы.
Мне все равно, что будет, что прошло.

Ум потонул. Деревьев вереницы.
Лес. Наводненье. Искрится весло.
Поют в ветвях лазуревые птицы.

ВОЛЕЮ РУК

Настраиванье скрипок. Ток ручьев,
Себя еще пытующих, неровных,
Но тронувших края надежд верховных,
И сразу доходящих до основ.

Дух пробужден. В нем свет, который нов.
Пробег огней, утонченно-духовных.
Мир возниканья снов беспрекословных
По воле прикасания смычков.

Миг тишины. В огнях застыла зала.
Не дрогнет жезл в приподнятой руке.
Еще сейчас душа была в тоске.

Вот в ней мгновенно притупилось жало,
И с пальцев рук теченье побежало,
И дух плывет в ликующей реке.

МУЗЫКА

Кто шепчет через музыку с сердцами,
Что говорит в ней волею с душой?
Мы грезой зачарованы чужой,
И тот чужой — родной, он плачет с нами.

Проходят тени прошлого струнами.
Душа заворожилась глубиной.
Ты тайный — за прозрачною стеной,
Недосяжимо-близко и с крылами.

Что в музыке? Восторг, нежданность, боль.
Звук с звуком — обручившиеся струи.
Слиянье в Волю сонма разных воль.

О, все живые были в поцелуе.
С очей слепых вдруг отошли чешуи.
Еще побыть в прозрении дозволь.

ПРЕДОЩУЩЕНИЕ

На уводящих проволоках иней,
Сгущенный, весь изваянный луной.
Чрез окна говорят они со мной,
Те дружные ряды продольных линий.

Я далеко. Над Капри воздух синий.
Волна, играя, говорит с волной,
Горит Везувий. Лава пеленой.
Ветвится дым разливом черных пиний.

Я с вами, пламя, золото и сталь.
Я там, где жерла, срывы гор, изломы.
Во мне всегда поет и кличет даль.

В душе хотят прорваться водоемы.
Бьет полночь. Бледный, сел я за рояль.
И в тишине смотрящей были громы.

ДВА ГОЛОСА

Она мне говорит: «Я ласкою объемлю».
И он мне говорит: «Я горячей горю».
Я слушаю его. И ей любовно внемлю.
Обоим им в душе воздвиг по алтарю.

Я в колебании качаюсь и творю.
Душой звенящею я музыку приемлю.
И звон малиновый поет мою зарю.
И океанами рассвет объемлет землю.

Она мне говорит. И женскому я рад.
Но он мне говорит. Я с ним в ином законе.
По влаге пламенной плыву в огнистом стоне.

И вот уж лунный ход размеренных сонат,
Как ветр, отяжелев набатом благовоний,
Вступает в солнечность ликующих симфоний.

ЗОВЫ ЗВУКОВ

Звук арфы — серебристо-голубой.
Всклик скрипки — блеск алмаза хрусталистый.
Виолончели — мед густой и мглистый.
Рой красных струй, исторгнутый трубой.

Свирель — лазурь, разъятая борьбой,
Кристалл разбитый, утра ход росистый.
Колоколец ужалы — сон сквозистый.
Рояль — волна с волною в перебой.

Но как среди плодов душисто манго,
Струя истомно-пряный аромат,
Мне хочется всегда уйти назад —

Туда, где был, где сини воды Ганга,
И дальше, до лиан, в яванский сад,
К тоске ручьистой звуков гамеланга.

МЕРТВЫЕ ЗВЕЗДЫ

Сердца к сердцам и к безднам кличут бездны,
В ночи без слов к звезде поет звезда.
И зов дойдет, но, может быть, тогда,
Когда звезда – лишь гроб себя железный.

Прекрасен полог ночи многозвездный,
Но жизнь творит лишь там, где есть вода.
Когда ж она иссохла навсегда,
Звезда — лишь знак изящно-бесполезный.

Там русла рек, где влага не течет.
Там бродят лишь бесплотнейшие тени,
Без жажды, без любви, без вожделений.

И нет цветов там, чтоб собрать с них мед.
Нет больше тайн. И чарой песнопений
Душа там в плен другую не возьмет.

ЛЮБИ

«Люби!» – поют шуршащие березы,
Когда на них сережки расцвели.
«Люби!» – поет сирень в цветной ныли.
«Люби! Люби!» – поют, пылая, розы.

Страшись безлюбья. И беги угрозы
Бесстрастия. Твой полдень вмиг вдали.
Твою зарю теченья зорь сожгли.
Люби любовь. Люби огонь и грезы.

Кто не любил, не выполнил закон,
Которым в мире движутся созвездья,
Которым так прекрасен небосклон.

Он в каждом часе слышит мертвый звон.
Ему никак не избежать возмездья.
Кто любит, счастлив. Пусть хоть распят он.

ОН

Он проточил и пробуравил горы.
Разрезал исполинский материк,
И корабельный караван возник
Там, где лесные ширились просторы.

Он звезды разместил в ряды и хоры.
Он мысль свою, как мчащийся двойник,
Пошлет в пространство искрой, искра — крик,
Чрез океан ведет переговоры.

Задачи нет, которую бы он
Не разрешил повторностью усилья.
Он захотел — и он имеет крылья.

До Марса досягнуть — надменный сон.
И сбудется. Но в безднах изобилья
Он должен гнаться до конца времен.

ОНА ПОКОИТСЯ

Она покоится. Две белых чаши — груди.
Два неба голубых — закрытые глаза.
Ее ли в том вина, что в высях бирюза
То дремлет в тишине, то в грозном рдеет гуде.

Через нее, в борьбе, с богами равны люди.
И станет сказкою, свой миг прожив, гроза,
Бессмертным жемчугом — минутная слеза.
И дикая резня — в напевном будет чуде.

Она покоится. До нежного бедра
Точеная рука чуть льнет в изгибе стройном.
Ей суждено пребыть видением спокойным —

В веках оправданной, вне зла и вне добра.
Она покоится, меж звезд, где дышет мера,
И в несмолкающих гекзаметрах Гомера.

ОНА

Когда пред нею старцы, стражи лона,
Склонились, друг до друга говоря:
«Смотрите, розоперстая заря!»,
Она возникла в мире вне закона.

Как сладкий звук, превыше вихрей стона,
Как царская добыча для царя,
Как песнь весны, как пламя алтаря,
Как лунный серп в опале небосклона.

Как миг любви, что сам себе закон,
Как звон оков законченного плена,
Как в ливне быстрых радуг перемена.

Как в сне веков единый верный сон,
Дочь лебедя, волны вскипевшей пена,
Грань торжества, звезда средь жен, Елена.

ПУТЬ К КОВЧЕГУ

Ты мне сказала: «Видишь дождь бегущий?
Но над дождем семирасцветный мост.
Там реки красок. Духи там и кущи.
Ковтели рубинов, снов и звезд.

«Беги. Наш путь к ковчегу прям и прост.
Хоть прикоснись. Я встречу лаской ждущей».
Ах, птицы райской так уклончив хвост,
А крылья райской — взгляд любви берущей.

Я побежал. Спешил. Устал. Продрог.
Но был мгновенье в семицветном храме,
На пресеченьи десяти дорог.

Домой пришел лишь с мокрыми руками.
Но ты сказала: «Сделал все, что мог» —
И целовала алыми губами.

БОГ ПРИКЛЮЧЕНЬЯ

Бог Приключенья, меж богов богатый,
Повел меня в безвестную страну.
Там лето за собой ведет весну,
И снова лето, зной и ароматы.

Как ожерелье, горные там скаты.
Струит рубин живую пелену,
И сердолик, мягча, зовет ко сну,
А пробуждают яркие гранаты.

Когда в опал ударишь бирюзой,
Играет конь грозы, звенит уздечка,
И серебром течет из тучек речка.

Блистает в чаше розы, за грозой,
Алмаз. Зовется ангельской слезой.
Ее тебе принес я для колечка.

ПОЯСОК

Чтобы всегда мечте она светила,
Соткал я ткань ей из лучей луны,
Сорвал цветок с опасной крутизны,
И он, курясь, служил ей как кадило.

Когда в луне еще взрастала сила
И с ней взрастал разбег морской волны,
Из пены сплел я нежность пелены,
Она ее как перевязь носила.

Когда ж растаял этот поясок,
Вольнее стали падать складки платья,
Столь сделалось естественным объятье,

Как до цветка прильнувший мотылек.
Что дальше, вам хотел бы рассказать я,
Но не велит она сгущать намек.

ЗАРЕВАЯ

Пред тем как здесь твое возникло тело,
В утробе, где зиждительная мгла,
Та женщина, что мать тебе была,
Лишь яблоки пурпуровые ела.

И ты глядишь всегда светло и смело,
Не зная чары ни добра, ни зла.
Высокая, румяна и бела —
С какого-то иного ты предела.

Ты — яблоня, в которой по листам
Еще не пробежало слово гнева.
К тебе еще не приближалась Ева.

И ветки не сломал твоей,
Ты вся еще с цветами в разговоре,
И пьет твой рот пурпуровые зори.

ЦВЕТОК ЛЮБВИ

Непостижимое владеет мглой ночной,
Я слышу, как сейчас на голубой планете,
Где были мы с тобой как маленькие дети,
Расцвел цветок любви, взращенный тишиной.

Ты наклоняешься воздушно надо мной,
Твои глаза горят в благословенном свете,
Запутались вдвоем мы в ласковые сети,
Сорвавшийся ручей о камень бьет волной.

Мы свиделись с тобой как будто бы впервые,
Но где-то раньше я с тобою был вдвоем,
Над своевольным тем играющим ручьем, —

Который оросил расцветы голубые.
И будешь ты гореть в сознании моем,
И буду я тебе шептать слова живые.

КАМЕЯ

Она из тех, к кому идут камеи,
Медлительность, старинная эмаль,
Окошко в сад, жасмин, луна, печаль,
Нить жемчугов вкруг лебединой шеи.

Ей даровали царство чародеи,
В нем близь всегда причудлива, как даль.
И времени разрушить сказку жаль,
Тот сад минуют снежные завеи.

Я подошел к полночному окну.
Она сидела молча у постели.
Газелий взор любил свою весну.

И липы ворожили старину.
Роняли полог бархатныя ели.
Ей было жаль идти одной ко сну.

СТОЛЕПЕСТКОВАЯ

Безукоризненный в изяществе наряд.
Все одноцветное в рассветно-сером платье.
Зеленоватость в нем всесветна без изъятья.
У пояса костер приковывает взгляд.

Столепестковая таит душистый яд,
Меняет ясность чувств, внушает мысль объятья.
О, если б мог тебя всю, всю в себя вобрать я,
Но губы алые безгласно не велят.

И пепельных волос волна, упав на плечи,
Змеино поднялась к тяжелой голове.
Уму не верится, что кос здесь только две.

Светясь, вокруг нее поют немые речи.
Вся говорит она. И вот не говорит.
Лишь в перстне явственно играет хризолит.

СТРОЙНАЯ

Высокая и стройная, с глазами
Раскольницы, что выросла в лесах,
В зрачках отображен не Божий страх,
А истовость, что подобает в храме.

Ты хочешь окружить ее словами?
Пленяй. Но только, если нет в словах
Велений сердца, в них увидит прах.
Цветок же вмиг заметит меж листками.

И подойдет. Неспешною рукой
Сорвет его и любоваться станет.
Быть может, тот цветок тебе протянет.

Несмущена колдующей тоской,
Свет примет и улыбкой не обманет.
Но в этом сердце светит свет — другой.

ВОЛШЕБСТВО

Из раковин я вынул сто жемчужин,
Тринадцать выбрал лучших жемчугов.
От дальних, самых южных берегов
Был всплеск волны мне в новолунье нужен.

Миг надлежащий мной был удосужен,
Когда луна меж двух своих рогов
Скрепила хлопья белых облаков.
Весь мир волшебств тогда со мной был дружен

На пресеченьи девяти дорог,
В изломе ночи цвет сорвал я малый,
Лилейный лик внутри с звездою алой.

Сон девушки невинной подстерег,
Вплел в ожерелье, к жемчугам сгибая.
Полюбят все. Приди ко мне любая.

КОБРА

Я опьяню тебя моею красотою
Завладевающей изысканным стихом,
В котором яд, и кровь, и страсть, и ночь, и гром,
И, взор твой подсмотрев, внимательность удвою.

Недостижимое возьму как бы игрою,
Захват мой — взгляд души, ее огней излом,
И не заметишь ты, как всю тебя узлом
Воздушно-ласковым, но держащим, покрою.

Ты будешь с близкими, но будет дух вдали.
Ты будешь мной полна и скрытно, и певуче,
Как полон пламенем туман, скользя по круче.

Вот малая ладья сильней, чем корабли.
Сосредоточенность расцвесть готова в туче.
Гори. Мы два огня. Тебя, меня — зажгли.

КОЛДУН

Он начал колдовать сине-зеленым,
Он изумруд овеял бирюзой.
Огонь завил он красною лозой,
И пламени запели тихим звоном.

Собрав купавы по лесным затонам,
Заставил чаши их ронять бензой.
И ладан задымил, как пред грозой
Восходит мгла змеей по горным склонам.

Стал душно-пряным сказочный чертог.
В углах стояли идолы немые,
Вовнутрь к нему протягивая выи.

И цвет, что на скрещеньи всех дорог.
Расцвета ждет, пред ним расцвел впервые,
И, девой став, у пламени возлег.

ЧЕТЫРНАДЦАТЬ

Тринадцать выгибов дубового листка,
Двенадцать сменных солнц в кругу месяцеслова,
Один, и два, и три, всех числ первооснова,
Ликующее семь, что смотрит свысока, —

Четырекрылая, летящая с цветка,
Чтобы душистый мед от сплава воскового
Подробно отделив, соединить их снова,
Там, в шестикратности немого уголка, —

Десятигранная на ветре кристалинка, —
Столепестковая, пьянящая людей, —
Куда мой стих, тебя ведет моя тропинка?

В четырнадцать, где ты, сверкнув, уснешь как змей,
Межь тем как, вознеся все красочные числа,
Летит, дробясь, огонь, и радуга повисла.

ПЕРЕВЯЗЬ

Гимнически законченный сонет,
Заслуга это или преступленье?
В церковное торжественное пенье
Не вводим мы дразненье кастаньет.

Лишь избранный искусник даст ответ.
Но выскажу еще недоуменье.
На рыцаре пристойно ль украшенье,
И не собой ли каждый свят предмет?

Однако в строй пасхальных ликований
И пляшущие вводим мы тона.
И разве изменяется весна,

Когда проснется майский день в тумане?
И рыцарь, мысля лишь об острие,
Не мчит ли ленту милой на копье?

ЗАКОН СОНЕТА

Четыре и четыре, три и три.
Закон. Вернее, признаки закона.
Взнесенье, волей, огненного трона,
Начало и конец дневной зари.

С рожденьем солнца рдеют алтари.
Вдали, вблизи прорыв и гулы звона.
Весь мир Земли – приемлющее лоно.
Четыре ветра кличут: «Жги! Бери!»

Но быстро тает эта ширь свершенья.
Бледнеет по бокам сплошной рубин,
Огонь зари являет лик суженья.

И вторит Осень пламенем вершин,
Что три пожара завершают рденье.
И в небе кличет журавлиный клин.

СОНЕТ СОНЕТУ

Мои стихи как полновесный грозд.
Не тщетно, в сладком рабстве у сонета
Две долгие зимы, два жарких лета,
В размерный ток включал я россыпь звезд.

Изысканный наряд обманно прост.
В гаданье чувства малая примета
Есть жгучий знак, что час пришел расцвета
Люблю к люблю, к земле от неба мост.

Четырнадцать есть лунное свеченье,
Четыре – это ветры всех миров,
И троичность звено рожденья снов.

И все — единство, полное значенья,
Как Солнце в свите огненных шаров,
Размеченных законом привлеченья.

ТУДА

Когда атлеты в жаркий миг борьбы
Сомкнут объятья с хитростью касанья,
Чей лик — любовь, что ощупью лобзанья
Упорно ищет в жутком сне алчбы;

Когда внезапно встанет на дыбы
Горячий конь; когда огней вонзанье
Проходит в туче в миге разверзанья,
И видим вспев и письмена Судьбы;

Когда могучий лев пред ликом львицы
Скакнет лишь раз, и вот лежит верблюд;
Когда сразим мы сонмы вражьих груд, —

Все это не один ли взрыв зарницы?
Наш дух крылат. Но лучший миг для птицы –
Лететь туда ото всего, что — тут.

БОЙ

Вся сильная и нежная Севилья
Собралась в круг, в рядах, как на собор.
Лучей, и лиц, и лент цветистый хор.
И голубей над цирком снежны крылья.

Тяжелой двери сдвиг. Швырок усилья.
Засов отдвинут. Дик ослепший взор.
Тяжелый бык скакнул во весь опор
И замер. Мощный образ изобилья.

В лосненьи крутоемные бока.
Втянули ноздри воздух. Изумленье
Сковало силу в самый миг движенья.

Глаза — шары, где в черном нет зрачка.
Тогда, чтоб рушить тяжкого в боренье,
Я поднял алый пламень лоскутка.

ЕЩЕ

Привязанный к стволу немого древа,
Что говорить умеет лишь листвой, —
Предсмертным напряжением живой,
Весь вытянут, как птица в миг напева, —

Святая жертва слепоты и гнева,
С глазами залазуренными мглой, —
Еще стрелу приявши за стрелой,
Колчанного еще хотел он сева.

И между тем как красный вечер гас,
Стеля вдали для ночи звездный полог,
Он ощущал лишь холодок иголок.

И торопил возжажданный им час.
Еще! Еще! Лишь прямо в сердце рана
Откроет рай очам Себастиана!

НИТИ ДНЕЙ

Все нити дней воздушно паутинны,
Хотя бы гибель царств была сейчас.
Все сгустки красок — для духовных глаз.
Душе — напевы сердца, что рубинны.

У альбатроса крылья мощно длинны.
Но он к гнезду вернется каждый раз,
Как ночь придет. И держат гнезда нас
Вне тех путей, которые лавинны.

Нам трудно даже другу рассказать,
Как любим мы детей, рожденных нами.
Как обожаем мы отца и мать.

И благо. Стыд тот — Божья благодать.
Но нам не трудно яркими чертами
Векам в легенде сердце передать.

НА ОТМЕЛИ ВРЕМЕН

Заклятый дух на отмели времен,
Средь маленьких, среди непрозорливых,
На уводящих задержался срывах,
От страшных ведьм приявши гордый сон.

Гламисский тан, могучий вождь племен,
Кавдорский тан в змеиных переливах
Своей мечты лишился снов счастливых
И дьявольским был сглазом ослеплен.

Но потому, что мир тебе был тесен,
Ты сгромоздил такую груду тел,
Что о тебе эвонский лебедь спел

Звучнейшую из лебединых песен.
Он, кто сердец изведал глубь и цвет,
Тебя в веках нам передал, Макбет.

СРЕДИ ЗЕРКАЛ

Бродя среди безчисленных зеркал,
Я четко вижу каждое явленье
Дроблением в провалах углубленья,
Разгадки чьей никто не отыскал.

Коль Тот, чье имя — Тайна, хочет скал,
Морей, лесов, животных и боренья,
Зачем в несовершенном повторенья,
А не один торжественный бокал?

Все правое в глубинах станет левым,
А левое, как правое, встает.
Здесь мой — с самим же мною — спутан счет

Вступил в пещеру с звучным я напевом,
Но эхо звук дробит и бьет о свод.
И я молчу с недоуменным гневом.

НЕ ПОТОМУ ЛИ?

Один вопрос, томительный, всегдашний,
От стершихся в невозвратимом дней,
От взятых в основание камней
До завершенья Вавилонской башни.

Зачем согбенный бог над серой пашней?
Зачем в кристалле снов игра теней?
Зачем, слабее я или сильней,
Всегда в сегодня гнет влачу вчерашний?

Как ни кружись, клинок и прям и прост:
Уродство не вместится в совершенство,
Где атом — боль, там цельность — не блаженство.

Не потому ль водовороты звезд?
Не потому ли все ряды созданий,
Чтоб ужас скрыть бесчисленностью тканей?

В ТЕАТРЕ

В театре, где мы все — актеры мига,
И где любовь румянее румян,
И каждый, страсть играя, сердцем пьян,
У каждого есть тайная верига.

Чтоб волю ощутить, мы носим иго.
Бесчисленный проходит караван,
Туда, туда, где дух расцветов прян,
Где скрыта Золотая Счастья Книга.

Рубиново-алмазный переплет,
Жемчужно-изумрудные застежки.
Извилистые к ней ведут дорожки.

По очереди каждый к ней идет.
Чуть подойдет, как замысел окончен.
И слышен плач. Так строен. Так утончен.

МЕРТВАЯ ГОЛОВА

Изображенье мертвой головы
На бабочке ночной, что возлюбила
Места, где запустенье и могила,
Так просто растолкуете ли вы?

Вот изъясненье. Здесь гипноз травы,
Которую плоть мертвого взрастила,
И череп с мыслью, как намек-кадило,
Дала крылатой. Жить хоть так. Увы.

Живет кадило это теневое.
И мечется меж небом и землей.
Скользит, ночной лелеемое мглой.

Вампирная в нем сила, тленье злое.
И бабочки пугаются ночной.
Тот здесь колдун, кто жить возжаждал вдвое.

ПОСЛЕДНЯЯ

Так видел я последнюю, ее.
Предельный круг. Подножье серых склонов.
Обрывки свитков. Рухлядь. Щепки тронов.
Календари. Румяна. И тряпье.

И сердце освинцовилось мое.
Я — нищий. Ибо много миллионов
Змеиных кож и шкур хамелеонов.
Тут не приманишь даже воронье.

Так вот оно, исконное мечтанье,
Сводящее весь разнобег дорог.
Седой разлив додневного рыданья.

Глухой, как бы лавинный, топот ног.
И два лишь слова в звуковом разгуле.
Стон — Ultima, и голос трубный — Thule.

ULTIMA THULE

Эбеновое дерево и злато,
Густой, из разных смесей, фимиам.
Светильники, подобные звездам,
В ночи упавшим с неба без возврата.

Огромные цветы без аромата,
Но с чарой красок рдеющие там,
В их чаши ветхий так глядел Адам,
Что светит в них — не миг, а лишь — когда-то.

Обивка стен — минувшие пиры,
Весь пурпур догоревшего пожара.
Завес тяжелых бархатная чара.

И мертвых лун медяные шары
Да черный ворон с тучевого яра —
Вот царский мир безумного Эдгара.

НА ПРЕДЕЛЕ

Бесстрастная, своим довольна кругом,
В безбрежности, где нет ни в чем огня,
Бескровная, и сердце леденя,
В лазурности идя как вышним лугом.

Бездумная, внимая вечным вьюгам,
В бездонности, где целый год нет дня,
Бездушная, ты мучаешь меня,
Луна небес над самым дальним Югом.

Он северней всех северов, тот Юг.
Здесь царство льдин возвышенно-кошмарных,
С вещаньями разрывов их ударных.

Медведь полярный был бы мне здесь друг.
Но жизни нет. Ни заклинаний чарных.
Безрадостный, я втянут в мертвый круг.

НА ЮЖНОМ ПОЛЮСЕ

На Южном полюсе, где льется свет по льдине,
Какого никогда здесь не увидеть нам,
И льдяная гора резной узорный храм,
Что ведом Нилу был и неизвестен ныне.

Восходит красный шар в безжизненной пустыне,
И льдяная стена, как вызов небесам,
Овита вихрями, их внемлет голосам,
А кровь небесная струится по твердыне.

Но были некогда там пышные сады.
Давно окончилось их жаркое цветенье,
Лишь в красках, чудится, скользят их привиденья.

И в час, когда звезда уходит до звезды,
Еще цветут цветы средь всплесков и боренья
Не забывающей минувшее воды.

БЕЛЫЙ БОГ

Он мне открылся в северном сияньи.
На полюсе. Среди безгласных льдин.
В снегах, где властен белый цвет один.
В потоке звезд. В бездонном их молчаньи.

Его я видел в тихом обаяньи.
В лице отца и в красоте седин.
В качаньи тонких лунных паутин.
Он показал мне лик свой в обещаньи.

Часы идут, меняя тяжесть гирь.
Часы ведут дорогой необманной.
Зачатье наше в мысли первозданной.

На снежной ветке одинок снегирь.
Но алой грудкой, детским снам желанной,
Велит Весне он верить цветотканной.

БЕЛАЯ ПАРЧА

Я выстроил чертог, селение, овин,
Я башню закрепил в стране мечты орлиной,
Но птичка белая, мелькнувши, в миг единый
Открыла гулкий ход для всех окрестных льдин.

Когда ж умолк вдали протяжный шум лавин
И снова свиделась вершина гор с вершиной,
Над побелевшею притихшею равниной
Был уцелевший я, и в днях я был один.

Но в мироздании став зябкою былинкой,
И слушая душой, как мир безбрежный тих,
Всех милых потеряв, я не скорблю о них.

Все прошлое златой заткалось паутинкой.
И чую, как вверху, снежинка за снежинкой,
Безгласные, поют многолавинный стих.

ПЕВЕЦ

Он пел узывно, уличный певец,
Свой голос единя с игрою струнной,
И жалобой, то нежной, то бурунной,
Роняя звуки, точно дождь колец.

Он завладел вниманьем наконец,
И после песни гневной и перунной
Стал бледен, словно призрак сказки лунной,
Как знак давно порвавшихся сердец.

Явил он и мое той песней сердце.
Заворожен пред стихшею толпой,
Нас всех окутал грустью голубой.

Мы все признали в нем единоверца.
И каждый знал, шепчась с самим собой,
Что тот певец, понявший всех, — слепой.

ГЛУБИННОЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВО

Крест золотой могучего собора
Вещательно светился в вышине,
И весь вечерний храм горел в огне,
Как вечером горят верхушки бора.

Что звездный мрак придет еще не скоро,
Об этом пели краски на волне,
Которая, плеснув, легла во сне,
Не пеня больше водного простора.

На паперти коленопреклонен,
Я видел службу, свечи, блеск церковный,
В напев молитв струился с башен звон.

И видел, как в глубинах влаги ровной,
Поверя в свет, прияла темнота
Весь храм могучий с золотом креста.

НА ДНЕ

Покой вещанный. Лес высокоствольный.
Расцвет кустов, горящий кое-где.
Синь-цветик малый в голубой воде,
Камыш и шпажник, свечи грезы вольной.

Обет молчанья, светлый и безбольный.
В немых ночах полет звезды к звезде.
Недвижность трав в размерной череде.
Весь мир — ковчег с дарами напрестольный.

И вот, слагая истово персты,
И взор стремя в прозрачные затоны,
Как новый лист, вступивший в лес зеленый, —

Отшельник, там на дне, узнал черты,
В гореньи свеч, родные, вечность взгляда,
Под звон церквей потопленного града.

ОРАРЬ

Когда, качнув орарь, диакон знак дает,
Что певчим время петь, народу — миг моленья,
В высотах Божеских в то самое мгновенье
Кто верен слышит звон и ангельский полет.

Когда на сотне верст чуть слышно хрустнет лед
В одной проталине, тот звук и дуновенье
Тепла весеннего вещают льду крушенье,
И в солнце в этот миг есть явно зримый мед.

И ветка первая на вербе златоносной,
Пушок свой обнажив, сзывает верных пчел.
Воскресен благовест их ульевидных сел.

Когда жь, когда мой дух, тоскующий и косный,
Увидит вербный свет и веющий орарь.
И Богу песнь споет. Как в оны дни. Как встарь.

СЛУЖИТЕЛЬ

В селе заброшенном во глубине России
Люблю я увидать поблекшего дьячка.
Завялый стебель он. На пламени цветка
Навеялась зола. Но есть лучи живые.

Когда дрожащий звон напевы вестовые
Шлет всем желающим прийти издалека,
В золе седеющей – мельканье огонька,
И в духе будничном – воскресность литургии.

Чтец неразборчивый, вникая в письмена,
Нетвердым голосом блуждает он по чащам.
Как трогателен он в борении спешащем.

Бог слышит. Бог поймет. Здесь пышность не нужна.
И голос старческий исполнен юной силой,
Упорный свет лия в зов: «Господи, помилуй!»

КОЛОКОЛ

Люблю безмерно колокол церковный.
И вновь как тень войду в холодный храм,
Чтоб вновь живой воды не встретить там,
И вновь домой пойду походкой ровной.

Но правды есть намек первоосновной
В дерзаньи с высоты пророчить нам,
Что есть другая жизнь, и я отдам
Все голоса за этот звук верховный.

Гуди своим могучим языком.
Зови дрожаньем грозного металла
Разноязычных эллина и галла.

Буди простор и говори как гром.
Стократно-миллионным червяком
Изваян мир из белого коралла.

ВЕРШИНА

От часа одного лучей и ласки солнца
Забыла вся земля дождливость трех недель.
Внутри перебродил свой срок прождавший хмель,
Шуршит кузнечиков чуть слышно веретенце.

Цветочек желтенький раскрыл жучку оконце,
И тот, смарагдовый, как в мягкую постель,
Забрался в лепестки. Бессмертная кудель
Спешит, отвив, завить живое волоконце.

В лесу зардевшемся повторное «Тук! Тук!».
То не весенний знак. Стучит осенний дятел.
Дней летних гробовщик роняет мерно звук.

Рассказ прочитанный из нежных выпал рук.
Но, если что-нибудь из чары час утратил,
Восторг законченный – вершина всех наук.

СТЕНА

Стена ветвей, зеленая стена,
Для грезы изумрудами светила,
Шуршанием, как дремлющая сила,
Гуденьем пчел, как пышная весна,

Изваянной волной, как тишина
Но, спевши сон зеленый, изменила,
И быстро цвет иной в себя вронила,
Вон, осень там у желтого окна.

Оконце круглым светится топазом.
И будет возрастать оно теперь.
Расширит круг. В листве проломит дверь.

За каждым утром, с каждым новым разом,
Как встанет солнце, будет день потерь.
И глянет все совиным желтым глазом.

МАРС

От полюса до полюса – пустыня.
Песчаник красный. Мергель желтоцвет.
И синий аспид. Зори прошлых лет.
Зеленых царств отцветшая святыня.

Где жизнь была, там греза смерти ныне.
Горенье охры. Между всех планет
Тот красочный особо виден бред.
Опал. Огонь в опаловой твердыне.

Лишь полюсы еще способны петь
Песнь бытия нетленными снегами.
Весной истаивая, родниками

На красную они ложатся медь.
И говорят через пространства с нами
Невнятное, играя письменами.

КРОВЬ

В растении смарагдовая кровь,
Особенным послушная законам.
Зеленый лес шумит по горным склонам
Зеленая встает на поле новь.

Но, если час пришел, не прекословь,
И жги рубин за празднеством зеленым.
Сквозя, мелькнуло золото по кленам,
И алый луч затеплила любовь.

Гранатом стал смарагд, перегорая.
В лесу костер цветов и черт излом.
Ковер огней от края и до края.

Не древо ль стало вещим нам узлом?
Любя, наш дух в чертог верховной славы
Вступает, надевая плащ кровавый.

ЗНАКОМЫЙ ШУМ

Знакомый слуху шорох...
Пушкин

Знакомый шум зардевшихся вершин
Смешался с привходящим, незнакомым,
Отдельным звуком, — словно водоемом
Промчался ветр, неся зачатье льдин.

Враждебный слуху шорох. Знак один,
Что новое пришло. Конец истомам,
Что замыкались молнией и громом.
От серых облак пал налет седин.

Тот малый звук, разлуку сердцу спевший,
Не человечий, нет, не птичий свист,
В шуршаньи ускользающ и сквозист.

Прощальный шорох, первый пожелтевший,
Дожегший жизнь и павший наземь лист,
В паденьи поцелуем всех задевший.

БЕЗВРЕМЕНЬЕ

Дождливым летом не было зарниц,
Ни гроз веселых, зноев настоящих.
Июль еще не умер, а уж в чащах
Мерцают пятна, ржавость огневиц.

Не тех верховных, не перунных птиц,
Румянец исхудалых и болящих,
Предельностью поспешною горящих,
Приявших в сердце зарево границ.

И только что заплакал об июле
Росистый август средь пустых полей,
Как ласточки до срока упорхнули.

Зайду ли в рощу, в сад свой загляну ли,
Под острый свист синиц и грусть острей.
Ткань желтая прядется в долгом гуле.

ПО ЗОВУ ВОРОНА

Уж ворон каркал трижды там на крыше,
Глухой, густой, тысячелетний зов.
И дальний гул редеющих лесов
С паденьем листьев звукоемно тише.

В ветвях — часовни духов, ходы, ниши,
Прорывы, грусть, блужданье голосов.
А в доме громче тиканье часов,
И по углам шуршат в обоях мыши.

Стал мрачным деревенский старый дом.
На всем печать ущерба и потери.
Три месяца в нем не скрипели двери.

Теперь скрипят. И окна под дождем
Со всем живым тоскуют в равной мере,
Как в темных норах зябнущие звери.

СЕНТЯБРЬСКИЕ ОБЛАКА

По облакам, уж разлученным с громом,
На восемь лун, до будущей весны,
Прошло отяжеленье белизны,
Завладеванье всем, кругом, объемом.

Нет места больше тучкам невесомым,
Что, возникая, таяли как сны,
Нет более мгновенной крутизны
Внезапных туч с их огневым изломом.

Где молнийный повторный поцелуй
Преображал громаду тучевую
В разъятый водоем журчащих струй.

Бесцветный цвет на небе ткань немую
Прядет, ведет. О, ветер! Расколдуй
Ту крышку гроба! Я с землей тоскую!

ИЗЛОМ

Развил свои сверкающие звенья,
Вне скудных чисел, красок, черт и снов.
Румянец хмельный, пирное забвенье
Излил в качанье вяжущих листков.

Раздвинул меж притихших берегов
Сапфира серебристое теченье.
Усугубил свободу от оков,
Просвет продвинув силой дуновенья.

Медлительно распространяя даль,
Подвигнул к лету черные дружины,
Построил треугольник журавлиный,

Запаутинил светлую печаль, —
Вселенский, расточающий, изломный,
Измен осенних дух многообъемный.

СОХРАНЕННЫЙ ЯНТАРЬ

Идет к концу сонетное теченье.
Душистый и тягуче-сладкий мед
Размерными продленьями течет,
Янтарное узорчато скрепленье.

Но не до дна дозволю истеченье.
Когда один окончится черед,
И час другой улов свой пусть сберет.
Янтарь царям угоден как куренье.

Замкнитесь, пчелы, в улей. Час зимы.
Зима во сне — как краткая неделя.
Опять дохнет цветами вздох апреля.

Я вам открою дверцу из тюрьмы.
Шесть полных лун дремоты после хмеля, —
И, знайте, попируем снова мы.

СОУЧАСТНИЦЫ

Пошелестев, заснули до весны,
Хрусталики сложив прозрачных крылий,
Мохнатея сбирательницы пылей
С тех чашечек, где золотые сны.

Умолк тысячекрылый гуд струны.
Средь воска и медвяных изобилий
Спят сонмы. А по храмам — лику лилий —
Горенья тысяч свеч посвящены.

Под звон кадил и тихие напевы,
В луче косом качая синий дым,
Идет обедня ходом золотым.

Озарена икона Чистой Девы.
И бледный рой застывших инокинь,
Как лунный сад, расцветный сон пустынь.

ШАЛАЯ

О, шалая! Ты белыми клубами
Несешь и мечешь вздутые снега.
Льешь океан, где скрыты берега,
И вьешься, пляшешь, помыкаешь нами.

Смеешься диким свистом над конями,
Велишь им всюду чувствовать врага.
И страшны вы, оглобли и дуга,
Они храпят дрожащими ноздрями.

Ты сеешь снег воронкою, как пыль.
Мороз крепчает. Сжался лед упруго.
Как будто холод расцветил ковыль.

И цвет его взлюбил верченье круга.
Дорожный посох — сломанный костыль,
Коль забавляться пожелает вьюга!

ВЕСЬ КРУГ

Весна — улыбка сердца в ясный май
Сквозь изумруд застенчивый апреля,
Весенний сон — пасхальная педеля,
Нам снящийся в минуте древний рай.

И лето — праздник. Блеск идет за край
Мгновения чрез откровенье хмеля.
Бей, пей любовь, звеня, блестя, свиреля.
Миг радостный вдруг вымолвит: «Прощай».

И торжество при сборе винограда
Узнаешь ты в роскошной полноте.
И, гроздья выжав, станешь на черте,

Заслыша сказ, что завела прохлада.
И будет Вьюга в белой слепоте
Кричать сквозь мир, что больше снов не надо.

НЕРАЗЛУЧИМЫЕ

Среди страниц мучительно любимых,
Написанных искусною рукой,
Прекрасней те, что светятся тоской,
Как светят звезды в далях нелюдимых.

В пожарах дней, в томительных их дымах,
Есть образ незабвенно дорогой.
Она. Одна. На свете нет другой.
Мы двое с ней вовек неразлучимых.

И все же разлучаться мы должны,
Чтоб торопить горячее свиданье,
Всей силою мечты и ожиданья, —

Той мглой, где, расцветая, рдеют сны.
Так в музыке два дальние рыданья
Струят к душе один разсказ струны.

ЗЕРКАЛО

Когда перед тобою глубина,
Себя ты видишь странно отраженным,
Воздушным, теневым, преображенным.
В воде душа. Смотри, твоя она.

Не потому ли нас пьянит луна,
И делает весь мир завороженным,
Когда она по пропастям бездонным,
Нам недоступным, вся озарена.

«Я темная, но дальний свет приемлю», —
Она безгласно в мире говорит.
Луна приемлет Солнце и горит.

Отображенный свет струит на Землю.
В Луне загадка, жемчуг, хризолит.
В ней сонм зеркал волшебный сон творит.

ЛЕБЯЖИЙ ПУХ

Трепещет лист забвенно и устало,
Один меж черных липовых ветвей.
Ужь скоро белый дух густых завей
Качнет лебяжим пухом опахала.

Зима идет, а лета было мало.
Лишь раз весной звенел мне соловей.
О, ветер, в сердце вольности навей.
Был скуден мед. Пусть отдохнет и жало.

Прощай, через меня пропевший сад,
Поля, леса, луга, река и дали.
Я с вами видел в творческом кристалле

Игру и соответствия громад.
Есть час, когда цветы и звезды спят,
Зеркальный ток тайком крепит скрижали.

ГАДАНИЕ

В затишье предрассветного досуга,
Когда схолстилась дымка пеленой,
Я зеркало поставил под луной,
Восполненной до завершенья круга.

Я увидал огни в смарагдах луга,
Потом моря с взбешенною волной,
Влюбленного с влюбленною женой,
И целый мир от севера до юга.

И весь простор с востока на закат.
В руке возникла змейность трепетанья.
Мир в зеркале лишь красками богат.

Лишь измененьем в смыслах очертанья.
И вдруг ко мне безбрежное рыданье
С луны излило в сердце жемчуг-скат.

СЕРП

Живущий раною в колдуньях и поэтах,
Снежистый новолунь явился и погас.
Тогда в тринадцатый и, значит, в первый раз
Зажегся огнь двух свеч, преградой мглы задетых.

С тех пор я вижу все в белесоватых светах,
Мне снится смертный свет — там за улыбкой глаз.
И в мире солнечном ведет полдневный час
Людей не в золото, а в серебро одетых.

Кто знает, тот поймет, что правду говорю,
Тот все ж почувствует, кто не поймет, не зная.
Снежистый серп мягчит и алую зарю.

Во вьюжном декабре, в цветистых играх мая,
Как инокиня я, со взором внутрь, бледна.
Серпом прорезала мне сердце вышина.

ЛУНА ОСЕННЯЯ

Луна осенняя над желтыми листами
Уже готовящих свой зимний сон дерев
Похожа на ночной чуть слышимый напев.
В котором прошлых дней мы прежние, мы сами.

Мы были цельными, мы стали голосами,
Расцветами цвели и стали ждущий сев.
Тоскуем о любви, к земле отяготев.
Поющую луну мы слушаем глазами.

Среброчеканная безмолвствует река.
Восторги летних дней как будто истощили
Теченье этих вод в играньи влажной пыли.

И стынет, присмирев, безгласная тоска.
Себя не утолив от бывших изобилий,
Следим мы, как скользят мгновения в века.

ЛУННАЯ МУЗЫКА

Какою музыкой исполнен небосвод.
Луны восполненной колдующая сила,
Сердцами властвуя, в них кровь заговорила,
И строго-белая торжественно плывет.

Все в мире призрачном повинно знать черед.
Течет каждение из древнего кадила.
Луна осенняя нам сердце остудила,
Без удивления мы встретим снег и лед.

Невозмутимая чета ракит прибрежных
В успокоении не шелохнет листвой,
Признав у ног своих лежащий призрак свой.

А в зеркале воды виденья белоснежных
Воздушных саванов, покров мечты живой,
И вот уж неживой, о днях, как сказка, нежных.

ВЛАДЫЧИЦА

Владычица великой тишины,
Влиянием лазоревой отравы
Узорные заполнила дубравы,
Магнитом подняла хребет волны.

Из пропастей вулканной вышины
Безгласно орошающая травы,
Велела снам сновать и ткать забавы
В черте ветвей и лучевой струны.

Меняет лик в бездонностях пустыни,
Которой свет зеленовато-синь,
Дабы явить измену всех святынь

И неизменность вышней их святыни.
Была серпом — и стала кругом ныне.
От лезвия до полноты. Аминь.

ОБЕЛИСК

Когда и шум, и рев, и вой, и крик, и писк
Себя исчерпают с зашествием светила
Дневных свершенностей, иная зреет сила,
Встает из-за морей сребро-снежистый диск.

На влагу рушенный, трепещет обелиск.
Сияние луны. Вскрываются кадила
Сладимой белены, цветка, что возростало
Из вышних пропастей паденье лунных брызг.

Всепобедительно-широкое молчанье
Встает из недр Земли, объемлет кругозор
До синих областей продвинувшихся гор.

Теперь, душа, иди до радости венчанья,
Надев, как мир, надел свежительный убор
Из грез, лучей, росы, спокойствия и знанья.

ВСТРЕЧА

Она приподнялась с своей постели,
Не поднимая теневых ресниц,
С лицом белее смертью взятых лиц,
Как бы заслыша дальний звон свирели.

Как-будто сонмы к бледной спящей пели.
И зов дошел от этих вереница.
Туда. Туда. До призрачных станиц.
Туда. Туда. До древней колыбели.

Густых волос змеиная волна
Упала на незябнущие плечи.
И вся она тянулась как струна.

Звала непобедимо вышина.
Душа ушла к своей венчальной встрече.
Все видела глядящая луна.

НЕВЕСТА

Она стояла в платье подвенечном.
Ее волос змеиная волна,
Как лунная на небе тишина,
В мгновеньях, молча пела песнь о Вечном.

Так вся она горела бесконечным,
Что алая там в сердце пелена
Чрезмерным вспевом прикоснулась дна,
И путь часов Путем помчала Млечным.

Она лежала, лилия мечты.
Нетронутый ее наряд венчальный
Белел недвижно тканью погребальной.

И тонкий серп бездонной высоты
С ней слился в чаровании, зеркальный
Довеяв свет на тихие черты.

ВЕНЧАННЫЕ

Когда плывут над лугом луннозвонны
Влияния, которым меры нет,
В душе звездозлатится страстоцвет,
И сладостной он ищет обороны.

Высоты облак вещие амвоны,
Струится притягательный с них свет.
О, сколько древних тысяч прежних лет
Связуются им юноши и жены.

Венчается Господняя раба,
Встречается с душою обрученной,
Ручается, что счастье — быть сожженной.

Венчается со всем, что даст Судьба,
О, чаянье! Ты будешь век со мною:
Ты венчана с замеченным луною.

УСПОКОЕННАЯ

Ненарушимые положены покровы.
Не знать. Не чувствовать. Не видеть. Не жалеть.
Дворец ли вкруг меня, убогая ли клеть —
Безгласной все равно. Я в таинстве основы.

Поднять уснувшую ничьи не властны ковы.
Чтоб веки сжать плотней и больше не смотреть,
На влажные глаза мне положили медь.
И образок на грудь. В нем светы бирюзовы.

Еще последнее — все сущности Земли
Доносит, изменив обратных токов мленье.
Звук переходит в свет. Как дым доходит пенье.

Снежинки падают. Растаяли вдали.
Лазурные слова над тайною успенья.
Снега. Завеи снов. Последний луч. Забвенье.

СЛОВО

Я клялся и держать умею слово.
В чем клятва, это знаю только я.
Но до конца в Поэме Бытия
Я буду звуком счастья вновь и снова.

Нет, отчего ласкающего крова
Не омрачит ни словом речь моя.
Свирепы львы, и жалится змея,
Иное мне от солнца золотого.

Я выковал звучнейшую струну.
Был верен молот мой по наковальне,
Когда ж зажглась луна в опочивальн.

Забыв огонь и солнце, я луну
Любил сполна. И я не обману
Ни ближней красоты, ни самой дальней.

ВЕЧЕР

Когда сполна исчерпаешь свой день,
Работой и восторгом полноценным.
Отраден вечер с ликом мира тенным,
И входишь сам легко в него как тень.

Он веселился, рьяный конь-игрень,
Он ржал, звеня копытом, в беге пенном.
Зачем бы в миге стал он мига пленным?
Приди, о Ночь, и мглой меня одень.

Из твоего, ко Дню, я вышел мрака.
Я отхожу с великой простотой,
Как тот закат, что медлит над водой.

Зажглась звезда. От Неба ждал я знака.
Как сладко рдеть и ощущать свой пыл.
Как сладко не жалеть, что ты лишь был.

МГНОВЕНИЯ

Мгновенно говорение зарницы.
Но знаем мы, что где-то бирюза
Разорвана, и мечется гроза,
И вьются в туче огненные птицы.

Мгновенно замыкаются ресницы.
И видят все незримое глаза,
Взрастает чудотворная лоза,
И вещие проходят вереницы.

Пусть каждое мгновенье красоты
Возникнет и окончится не в споре,
А так придет, как к нам приходят зори, —

Пришествию свежащей темноты
Безгласно уступая, — чтоб мечты
С морями звезд светились в разговоре.

ОТЧИЙ ДОМ

Забудь обманно-жаркое богатство
Надменных слов, высокомерных дел.
Для каждого означен здесь предел,
Его же не прейдешь без святотатства.

Нет правды там, где есть хоть тень злорадства.
Но истинно прекрасен тот и смел,
Что пониманье выбрал как удел,
И всех живых прочел умом как братство.

Не спи в ночах. Пролейся в Млечный Путь
Всей силою духовных устремлений.
Ты слышишь, как вольнее дышет грудь.

Любовь сильна. И может протянуть
По всем путям и мракам гроздья рдений.
Там отчий дом. Лишь это не забудь.

ПРИЧАСТИЕ

Наш день окончен в огненном закате,
Наш свет уходит в ночь, где свежий грозд
Рассыпанных по небу дружных звезд
Нас причастит высокой благодати.

Придите миротворческие рати
Алмазных дум. Означься к небу мост.
Я, как дитя, растроган здесь и прост.
Я прям, как белый цвет на горном скате.

День утонул, в котором я любил.
Заря с зарей переглянулись взглядом,
Одна другой добросив водопадом

Огни, лучи, цветы, всю мысль, весь пыл.
Сегодня Бог прошел цветущим садом,
И час один я полубогом был.

ТИШИНА

Как тихо проплывают вереницы
Воздушной мглы, там в зеркале, точь-в-точь
Такой же, как вверху уходит прочь,
До тучевой цепляяся станицы.

Как шелест тих прочитанной страницы.
Душа, забыть тоску уполномочь.
Я слышу, как идет чуть слышно Ночь,
Тень медленно мне пала на ресницы.

Все пропасти закрылись синей мглой.
Все бывшее желанию искомым
В душе безгласной строит аналой.

Весь мир сомкнулся храмовым объемом.
Святая Ночь. Я брат. Будь мне сестрой.
Дай млечность снов. И в Вечность путь открой.

ПОСТЕЛЬ

Ты остров снов, пустыня голубая,
В которой лишь густой ветвится хмель,
Моя благословенная постель,
Где начинаю жить я, засыпая.

Сказительница вещего слепая,
Стрелой бесцельной, вечно бьющей в цель,
Ты в сердце заставляешь петь свирель,
И мысль светлеет, в тайнах утопая.

В тебе когда-то был я здесь рожден.
В тебе узнал восторг самозабвенья,
Где кровь уводит в Вечность чрез мгновенье.

С тобой мой самый крайний миг сплетен,
Я сплю. И темный мой ковчег железный
Стал золотым, плывя со звездной бездной.

КОВЕР

Я сплю. А на стене моей ковер.
Он плотно всю затягивает стену.
Я вижу нежных красок перемену.
Деревня. Речка. Лес. Весенний хор.

Там дальше город. Сказочный собор.
Душа глядит. Отдаться рада плену.
В саду качает ветерок вервену.
Луна с звездой ведет переговор.

Сбегает в пропасть влага водопада.
Но пропасть — там. Она ушла за край.
Есть златоосень, если кончен май.

Из белых льдов блистательна ограда.
Она моя. Мне разуметь не надо,
Что там за ней. Я жил. Я сплю. Прощай.

СМЕРТЬ

Я помню, мне четыре было года,
Весна была цветиста и светла,
Когда старушка-няня умерла.
Я был один. И я стоял у входа.

Что значит смерть? Вся искрилась природа.
Но няня спит. И странно так бела.
Унылились вдали колокола.
В село от вас пошла толпа народа.

Я не пошел. На няню посмотрев,
Я в малом сердце ощутил стесненье.
И скрылся в сад. Там птичье было пенье.

И, слушая дерев и птиц напев,
Я думал, что цветы и озаренье –
Действительность, а смерть – лишь заблужденье.

КОЛЬЦА

Ты спишь в земле, любимый мой отец,
Ты спишь, моя родная, непробудно.
И как без вас мне часто в жизни трудно,
Хоть много знаю близких мне сердец.

Я в мире вами. Через вас певец.
Мне ваша правда светит изумрудно.
Однажды духом слившись обоюдно,
Вы уронили звонкий дождь колец.

Они горят. В них золото оправа.
Они поют. И из страны в страну
Иду, вещая солнце и весну.

Но для чего без вас мне эта слава?
Я у реки. Когда же переправа?
И я с любовью кольца вам верну.

ПРОБЛЕСКИ

Возник ли я в кружении столетий,
Что наконец соткали должный час,
Как мысли усложненной яркий сказ,
Как жемчуг, что в искусной найден сети?

И где впервые, на какой планете
Я глянул в Солнце взором тех же глаз?
И здесь, родясь, умру в который раз?
Кто мне ответит на вопросы эти?

Лишь проблески ответа я найду,
И тотчас же их снова утеряю.
В ночи, где снам ни меры нет, ни краю.

И увидав падучую звезду.
Еще в любви. Еще в живом бреду,
Когда любовь я песней измеряю.

ЛЮБИМЫЕ

Мы все любили любящих любимых,
Которым присудил сладчайший стих
Кружиться, неразлучными, двоих,
И в смерти и в любви неразделимых.

Все в снах земли они и в адских дымах,
Две птицы, два крылатых духа, в чьих
Мечтаньях пламень страсти не затих
И там, среди пространств необозримых.

Но, если вечный блеск Франческе дан
Медвяным Данте, с ликом обожженным,
Желанней мне, бретонский сон, Тристан

С Изольдой. Пыткам сердца повторенным
Их предал, их качавший, океан,
Сумевший дать слиянье — разделенным.

ПАНТЕРА

Она пестра, стройна и горяча.
Насытится — и на три дня дремота.
Проснется — и предчувствует. Охота
Ее зовет. Она встает, рыча.

Идет, лениво длинный хвост влача.
А мех ее пятнистый. Позолота
Мерцает в нем. И говорил мне кто-то,
Что взор ее — волшебная свеча.

Дух от нее идет весьма приятный.
Ее воспел средь острых гор грузин,
Всех любящих призывный муэдзин, —

Чей стих — алоэ густо-ароматный.
Как барс, ее он понял лишь один,
Горя зарей кроваво-беззакатной.

БЛЕСК БОЛИ

«Дай сердце мне твое неразделенным»,
Сказала Тариэлю Нэстан-Джар.
И столько было в ней глубоких чар,
Что только ею он пребыл зажженным.

Лишь ей он был растерзанным, взметенным,
Лишь к Нэстан-Дарэджан был весь пожар.
Лишь молния стремит такой удар,
Что ей нельзя не быть испепеленным.

О, Нэстан-Джар! О, Нэстан-Дарэджан!
Любовь твоя была как вихрь безумий.
Твой милый был в огне, в жерле, в самуме.

Но высшей боли — блеск сильнейший дан.
Ее пропел, как никогда не пели,
Пронзенным сердцем Шота Руставели.

ДВА ЦВЕТА

Прекрасен рот, как роза, припадая
К другому рту. Прекрасен дар богов.
Румяность крови в рденьи лепестков,
Страсть смотрит в Вечность, в сердце расцветая.

Из капли счастья — Океан без края,
Огонь залил все грани берегов.
Но есть костры, чей огнь белей снегов,
Где дух поет, в отъятости сгорая.

Красив в веках тот звонкий сазандар,
Что сплел ковер из облачной кудели,
Струна любви, пронзенный Руставели.
Красив расцвет лилейно-белых чар,
Снежистый лотос в водной колыбели.
Луна — вдали, как далека — Тамар.

НЕРАЗДЕЛЕННОСТЬ

Приходит миг раздумья. Истомленный,
Вникаешь в полнозвучные слова
Канцон медвяных, где едва-едва
Вздыхает голос плоти уязвленной.

Виттория Колонна и влюбленный
В нее Буонарроти. Эти два
Сияния, чья огненность жива
Через столетья, в дали отдаленной.

Любить неразделенно, лишь мечтой.
Любить без поцелуя и объятья.
В благословеньи чувствовать заклятье.

Творец Сибилл, конечно, был святой.
И как бы мог сполна его понять я?
Звезда в мирах постигнута звездой.

МИКЕЛ АНДЖЕЛО

Всклик «Кто как Бог!» есть имя Михаила.
И ангелом здесь звался. Межь людей
Он был запечатленностью страстей.
В попраньи их его острилась сила.

В деснице Божьей тяжкое кадило,
Гнетущий воздух ладанных огней
Излил душой он сжатою своей.
Она, светясь, себя не осветила.

Стремясь с Земли и от земного прочь,
В суровости он изменил предметы,
И женщины его с другой планеты.

Он возлюбил Молчание и Ночь.
И лунно погасив дневные шумы,
Сибилл и Вещих бросил он в самумы.

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

Художник с гибким телом леопарда,
А в мудрости – лукавая змея.
Во всех его созданьях есть струя,
Дух белладонны, ладана и нарда.

В нем зодчий снов любил певучесть барда.
И маг о каждой тайне бытия
Шептал, ее качая: «Ты моя».
Не тщетно он зовется Леонардо.

Крылатый был он человеколев.
Еще немного и, глазами рыси
Полеты птиц небесных подсмотрев, –

Он должен был парить и ведать выси.
Среди людских, текущих к Бездне рек,
Им предугадан был Сверхчеловек.

МАРЛО

С блестящей мыслью вышел в путь он рано,
Учуяв сочетание примет.
Преобразил в зарю седой рассвет,
Повторной чарой зоркого шамана.

Величием в нем сердце было пьяно.
Он прочитал влияние планет
В судьбе людей. И пламенный поэт
Безбрежный путь увидел Тамерлана.

В нем бывший Фауст более велик,
Чем позднее его изображенье.
Борец, что в самом маге низверженья

Хранит в ночи огнем зажженный лик.
И смерть его — пустынно-страстный крик
В безумный век безмерного хотенья.

ШЕКСПИР

Средь инструментов всех волшебней лира:
В пьянящий звон схватив текучий дым,
В столетьях мы мгновенье закрепим,
И зеркало даем в стихе для мира.

И лучший час в живом веселье пира, —
Когда поет певец, мечтой гоним,
И есть такой, что вот мы вечно с ним,
Пленяясь звучным именем Шекспира.

Нагромоздив создания свои,
Как глыбы построений исполина,
Он взнес гнездо, которое орлино,

И показал все тайники змеи.
Гигант, чей дух — плавучая картина,
Ты — наш, чрез то, что здесь мы все — твои.

КАЛЬДЕРОН

La Vida es Sueno. Жизнь есть сон.
Нет истины иной такой объемной.
От грезы к грезе в сказке полутемной.
Он понял мир, глубокий Кальдерон.

Когда любил, он жарко был влюблен.
В стране, где пламень жизни не заемный,
Он весь был жгучий, солнечный и громный.
Но полюбил пред смертью долгий звон.

Царевич Сэхисмундо. Рассужденье
Земли и Неба, Сына и Отца.
И свет и тень Господнего лица.

Да, жизнь есть сон. И сон — все сновиденья.
Но тот достоин высшего венца,
Кто и во сне не хочет заблужденья.

ЭДГАР ПО

В его глазах фиалкового цвета
Дремал в земном небесно-зоркий дух.
И так его был чуток острый слух,
Что слышал он передвиженья света.

Чу. Ночь идет. Мы только видим это.
Он слышал. И шуршанья Норн-Старух.
И вздох цветка, что на луне потух.
Он ведал все, он, меж людей комета.

И друг безвестный полюбил того,
В ком знанье лада было в хаос влито,
Кто возводил земное в божество.

На смертный холм того, чья боль забыта,
Он положил, любя и чтя его,
Как верный знак кусок метеорита.

ШЕЛЛИ

Из облачка, из воздуха, из грезы,
Из лепестков, лучей и волн морских
Он мог соткать такой дремотный стих,
Что до сих пор там дышет дух мимозы.

И в жизненные был он врошен грозы,
Но этот вихрь промчался и затих,
А крылья духов, да, он свеял их
В стихи с огнем столепестковой розы.

Но чаще он не алый — голубой,
Опаловый, зеленый, густо-синий,
Пастух цветов с изогнутой трубой.

Красивый дух, он шел — земной пустыней,
Но к Морю, зная сон, который дан
Вступившим в безграничный Океан.

ВЕЛИКИЙ ОБРЕЧЕННЫЙ

Он чувствовал симфониями света,
Он слиться звал в один плавучий храм —
Прикосновенья, звуки, фимиам,
И шествия, где танцы как примета, —

Всю солнечность, пожар цветов и лета,
Все лунное гаданье по звездам,
И громы тут, и малый лепет там,
Дразненья музыкального расцвета.

Проснуться в Небо, грезя на Земле.
Рассыпав вихри искр в пронзенной мгле,
В гореньи жертвы был он неослабен.

И так он вился в пламенном жерле,
Что в Смерть проснулся с блеском на челе
Безумный эльф, зазыв, звенящий Скрябин.

ЭЛЬФ

Сперва играли лунным светом феи
Мужской диез, и женское бемоль,
Изображали поцелуй и боль.
Журчали справа малые затеи.

Прорвались слева звуки-чародеи.
Запела Воля вскликом слитных воль.
И светлый Эльф, созвучностей король,
Ваял из звуков тонкие камеи.

Завихрил лики в токе звуковом.
Они светились золотом и сталью,
Сменяли радость крайнею печалью.

И шли толпы. И был певучим гром.
И человеку Бог был двойником.
Так Скрябина я видел за роялью.

ЛЕРМОНТОВ

1

Опальный ангел, с небом разлученный,
Узывный демон, разлюбивший ад,
Ветров и бурь бездомных странный брат,
Душой внимавший песне звезд всезвонной, —

На празднике как призрак похоронный,
В затишьи дней тревожащий набат,
Нет, не случайно он среди громад
Кавказских— миг узнал смертельно-сонный.

Где мог он так красиво умереть,
Как не в горах, где небо в час заката
Расплавленное золото и медь, —

Где ключ, пробившись, должен звонко петь,
Но также должен в плаче пасть со ската,
Чтоб гневно в узкой пропасти греметь.

2

Внимательны ли мы к великим славам,
В которых из миров нездешних свет?
Кольцов, Некрасов, Тютчев, звонкий Фет
За Пушкиным явились величавым.

Но раньше их в сиянии кровавом,
В гореньи зорь, в сверканьи лучших лет
Людьми был загнан пламенный поэт,
Не захотевший медлить в мире ржавом.

Внимательны ли мы хотя теперь,
Когда с тех пор прошло почти столетье,
И радость или горе должен петь я?

А если мы открыли к свету дверь,
Да будет дух наш солнечен и целен,
Чтоб не был мертвый вновь и вновь застрелен.

3

Он был один, когда душой алкал,
Как пенный конь в разбеге диких гонок.
Он был один, когда, полуребенок,
Он в Байроне своей тоски искал.

В разливе нив и в перстне серых скал,
В игре ручья, чей плеск блестящ и звонок,
В мечте цветочных ласковых коронок
Он видел мед, который отвергал.

Он был один, как смутная комета,
Что головней с пожарища летит,
Вне правила расчисленных орбит.

Нездешнего звала к себе примета
Нездешняя. И сжег свое он лето.
Однажды ли он в смерти был убит?

4

Мы убиваем гения стократно,
Когда рукой его убивши раз,
Вновь затеваем скучный наш рассказ,
Что нам мечта чужда и непонятна.

Есть в мире розы. Дышат ароматно.
Цветут везде. Желают светлых глаз.
Но заняты собой мы каждый час,
Миг встречи душ уходит безвозвратно.

За то, что он, кто был и горд, и смел,
Блуждая сам над сумрачною бездной,
Нам в детстве в душу ангела напел, —

Свершим, сейчас же, сто прекрасных дел,
Он нам блеснет улыбкой многозвездной,
Не покидая вышний свой предел.

ВЯЗЬ

Ты по цветам найдешь дорогу к раю
Вячеслав Иванов

1

И ты, кого, по существу, желаю
На жизненных путях встречать везде,
Кому, звездой, любя, пою звезде,
Мне говоришь, что возвращусь я к раю.

Но я, прошедший весь свой путь по маю,
Я, знающий, как холодно воде,
Когда ей воздух шепчет весть о льде,
Твоих желанных слов не понимаю.

Ты говоришь: «Дорога — по цветам».
Но знаешь ли, как страшно изумленье,
Когда подземный стебель стынет — Там?

В земле промерзлой жутки разветвленья.
И все пчела, и все к цветам склонен,
В звененье крыл ввожу церковный звон.

2

Я чувствую, как стынет небосклон,
В бесчисленных возвратах повторений
Все тех же сил, концов, начал, борений,
Отверженных и избранных племен.

То вверх, то вниз, но вечно жизнь есть сон.
Сверженье в бой, чтоб знать всю рьяность рвений,
И ведать, после, счастье замирений.
И снова гул несчетных веретен.

А я? Не совершая ли влюбленье
Цветка в цветок, с зари и до зари
Пчела лишь собирает янтари?

У пчел есть тайны, вне досягновенья.
Мой мед — не мне. Мой воск — на алтари.
Себе хочу лишь одного: смиренья.

3

Да будут беспредельны восхваленья
Того, что зажигает в сердце жар,
И крайний в сердце нам несет удар,
Клоня ресницы в сумрак усыпленья.

Красив покой безмерный. Бег мгновенья,
Навек запечатленный властью чар.
Красив усопший Месяц, Светозар.
Красивей всех — рыдающее пенье.

Снегами убеленная любовь,
Забыв огонь лобзаний и обиды,
В мерцанье свеч внимает панихиды.

Душа, покорно саван приготовь.
Запрись. Замкнись в снежистую завею,
И ты, кого люблю я и жалею.

ВНЕ ЗНАНИЯ

1

Что знаем мы о мыслях муравья,
И разве говорили мы с пчелою?
Отсюда мы уразумеем Трою,
Но слепы в Одиссее Бытия.

Издревле человеческое я
Признало месяц, солнце, гром с грозою,
Моря и небо с дружной бирюзою,
Но, слушая, не слышит речь ручья.

Паук плетет искусней паутину,
Чем мы шелки. И носит щит с крестом.
Но чем, зачем, куда и как ведом

Тот хищный рыцарь? Он творит картину,
Как мы творим — безвестным нам путем.
Окутан тайной прочною наш дом.

2

И, может быть, что с Богом я ровесник,
И, может быть, что Им я сотворен.
Но что мне в том? Цветок мой — смертный лен.
И каждый миг — мне неизвестный вестник.

Лишь в производном помысл мой — кудесник,
Хоть Божеством мой разум обрамлен.
В мирском пиру, среди живых племен,
Кто б ни был я, я — недовольный местник.

Нет, вольный ветер нам не побратим.
Мы на путях земного рассужденья
По грани ощущения скользим.

Проходит час, мы изменились с ним.
Горим в кострах безбрежного хотенья,
Но наш огонь всегда уходит в дым.

3

Я не люблю унынья и сомненья,
Себя да будет каждый — властелин.
Волшебен зной. Волшебны звоны льдин.
Волшебно все в играньях измененья.

Зачем решать я буду уравненье,
Где слишком много тайных величин?
Тут поступить — достойный путь один:
Пустить стрелу и сердце бросить в пенье.

Моя стрела оперена мечтой,
Я для себя достану ей Жар-птицу.
Я написал блестящую страницу.

Я создал слово сказки молодой.
Дети, душа, с доверьем за звездой,
Лети, орел, и догони орлицу.

РАГЛЬ

1

Где вровень с желтым небо густо-сине,
Там, где в песках такая жуть и тишь,
Что, к ним придя, мгновенно замолчишь,
Есть ведьма Рагль, волшебница пустыни.

Наш длинный караван идет к святыне.
Но вдруг — двойное зренье. Видишь — мышь.
Одна, другая, пятая. Глядишь,
Их сонмы. Каждый лик — лишь в половине.

Бегут десятки тысяч — лишь перёд.
И половинки задние, песками,
Спешат, порочат желтый путь хвостами.

Алла! Алла! Наш путь к тебе идет!
Пусть ведьма Рагль обманам кончит счет.
Дай нам дойти, не завлекаясь снами!

2

Я знаю, что песок передо мной,
Я доверяюсь зрению верблюда.
Но предо мною ведьмовское чудо,
Колодец, ров с играющей волной.

Он страшен мне бездонной глубиной,
Туда войду, а выйду ли оттуда?
Верблюд идет. Я буду ждать, покуда
Он крепость мне горбатою спиной.

Верблюд прошел. Но влага — предо мною.
И хочется лицом прильнуть к волне.
Плескаться в той студеной глубине.

Конец там будет жажде, отдых зною.
Алла! Алла! Себя ли я укрою
Перед Тобой? Будь милостив ко мне!

3

Как бархат, ночь. Как райский вздох — прохлада.
Потоки звезд. Вольнее караван.
Ужь скоро будет отдых верным дан.
Читай молитвы. Только это надо.

Всевышний с нами. С ним избегнем ада.
Нет в мире книг. Лишь есть один Коран,
Росою звезд вовеки осиян.
Чу! Где-то розы возле водоспада.

Поет, журчит и пенится родник.
Недуг окончен зрения двойного.
Молись, чтоб он к тебе не вкрался снова.

Алла акбар! Лишь Бог один велик
Сквозь мглу пустынь ведет Он в радость крова.
Алла! Алла! Я вечный Твой должник!

РЕШЕНЬЕ

1

Решеньем Полубога Злополучий,
Два мертвых Солнца в ужасах пространств,
Закон нарушив долгих постоянств,
Соотношений грозных бег тягучий, —

Столкнулись, и толчок такой был жгучий,
Что Духи Взрыва в пире буйных пьянств
Соткали новоявленных убранств
Оплот, простертый огненною тучей.

Два Солнца, встретясь в вихре жарких струй,
В пространствах разошлись невозвратимо,
Оставив шар из пламени и дыма.

Вот почему нам страшен поцелуй,
Бег семенной и танец волоконца:
Здесь летопись возникновенья Солнца.

2

Бывает встреча мертвых кораблей,
Там далеко, среди морей полярных.
Межь льдов они затерты светозарных,
Поток пришел, толкнул богатырей.

Они плывут навстречу. Все скорей.
И силою касаний их ударных
Разорван лик сокрытостей кошмарных,
И тонут тайны в бешенстве зыбей.

Так наше Солнце, ставшее светилом
Для всех содружно-огненных планет,
Прияло Смерть, в себя приявши Свет.

И мы пойдем до грани по могилам,
Припоминая по ночам себя,
Когда звезда сорвется, свет дробя.

3

Два мертвых Солнца третье породили,
На миг ожив горением в толчке,
И врозь поплыли в Мировой Реке,
Светило-призрак грезя о Светиле.

Миг встречи их остался в нашей были,
Он явственен в глубоком роднике,
Велит душе знать боль и быть в тоске,
Но чуять в пытке вещий шорох крылий.

О камень, камень — пламень. Жизнь горит.
До сердца сердце — боль и счастье встречи,
Любимая! Два Солнца — нам предтечи.

И каждый павший ниц метеорит
Есть звук из мирозданной долгой речи,
Которая нам быть и жить велит.

КОНИ

1

Когда еще не ведали оков,
И не было живым — хлыста с уздою,
Звезда перекликалась со звездою,
Задолго до молчания веков.

В пространствах нескончаемых лугов
Кормились в числах, кони, с красотою
Горячей. Словно тучи над водою,
Рождали гул копыта без подков.

Охотились за теми косяками
Стрелки кремневых стрел. Здесь каждый юн.
Застрелен, пожран тысячный табун.

Но тот да будет вечно славим нами,
Кем огненная схвачена волна,
Кто в первый раз вскочил на скакуна.

2

Коварный ли то был полуребенок,
Которому удел был гордый дан
Забросить петлей меткою аркан,
В которой, взвыв, забился жеребенок?

Был юный голос зверя остр и звонок,
Был юный зверь от изумленья пьян.
А юноша прямил свой сильный стан,
Начав тысячелетья диких гонок.

А может быть, то был уж зрелый муж,
Который притаился над откосом,
От конских глаз укрыт седым утесом.

Вдруг на коня он соскользнул как уж.
И был как дух. Летел, схватясь за гриву,
Стремя коня к истоме, по обрыву.

3

Их было десять тысяч жеребцов,
Тринадцать тысяч кобылиц красивых.
В разметанных и своевольных гривах
Свистели ветр степей и ветр лугов.

Цвет вороной у жарких был самцов.
У самок красный. С клекотом, на срывах
Орлы садились. О разливных нивах
Еще не встала мысль в ночах умов.

В ночах де? Только в зорях сердца рдяных
Все были существа. Но вот века
Сомкнулись. Из другого косяка

Явился белый конь в тех страстных странах.
И вмиг, его завидя, вся орда
Заржала гулом, как в разлив вода.

4

Пред ликами, что сгрудились в аравах,
Пред красно-вороной рекой коней,
Где в числах ночь, и в числах жар огней,
В веках начальных, временах не ржавых, —

В гореньи крови, в пламенных забавах.
Где жеребец, с кобылою своей
Любясь, порой хребет ломал у ней,
В невозвратимых полновластных славах, —

В веселии играющих погонь,
С косящимися черными очами,
С дрожащими и дымными ноздрями, —

Откуда встал тот страшный белый конь?
И в чем был страх? Принес ли весть он злую?
Но кони все бежали врассыпную.

5

Как веет ветер в звонах ковыля,
Как небо высоко над ширью степи.
Но древний сон замкнут в безгласном склепе.
Забыла пламя марева Земля.

Как шепчет ветер, пылью шевеля.
Но порваны златые звенья цепи,
Дух полюбил быть в запертом вертепе,
Межи углами врезались в поля.

В тот страстный край, где черный цвет и красный,
Приявши белый, стихли в пестроте,
Пути заглохли. Лики все не те.

Лишь в час войны, лишь в бое, в час опасный,
На миг в возврате к прежней красоте,
Есть в ржаньи звук, с огнем времен согласный.

ОН И ОНА

1

Он и она — не два ли разночтенья
Красивого сказания времен?
Два звука, чтоб создать единый звон,
Два атома в законе тяготенья.

Весной в великий праздник всесожженья,
Одною хотью каждый дух взметен.
Друг другом зажжены она и он.
Иль только лишь хотением хотенья?

В весеннее раскрытое окно
Со всех сторон доходят к сердцу звуки,
В них сладость упоительнейшей муки.

Сто тысяч дальних звезд в них зажжено.
И молим мы, ломая розно руки,
Того, что есть по существу одно.

2

Того, что есть по существу одно,
Хотя бы в ликах нам являлось разных,
Но в скрепах утвержденного алмазных,
Желают все. Кем брошено зерно?

Не знаем, и не все ли нам равно.
Мы быть должны в пленяющих соблазнах.
Средь строгих слов дай лепетов несвязных,
В веках тоски шуми веретено.

Седых времен цветущее сказанье,
Как можем не хотеть и не любить?
Опять, скрутив, сплетем живую нить.

И, вновь порвав, для счастья разверзанья,
Направим дух туда, где все темно:
Нам таинства разоблачает дно.

3

Нам таинство разоблачает дно,
Когда мы всем зажженным страстью телом
Прильнем в любви к безумящим пределам,
И двойственное в цельность сплетено.

Хочу. Люблю. Хотел. Всегда. Давно.
Зачем же сердце с шепотом несмелым
Задумалось над сном оцепенелым,
И пьяностью своей уж не пьяно?

Так это-то заветнейшая тайна?
Дал силе ход, и вот я вдвое слаб.
Тоска ползет глубинно и бескрайно.

Зачем в любви я через вольность раб?
И скучно мне обычное теченье
Восторга, созерцанья и мученья.

4

Восторга, созерцанья и мученья
Замкнулась утомительная цепь.
Ужь в синюю не выеду я степь,
И слышу колыбельное я пенье.

Баю-баю. Засни для снов, творенье.
Раскрой глаза. уж кровь сцепилась в лепь.
В комок — мечта. Кипи, душа, свирель,
И жги себя. Не разомкнешь сцепленья.

Но я хотел любви, одной любви.
Заворожен решеньями заклятья,
Чрез поцелуй я вовлечен в зачатье.

И шепчет дух недобрый: «Нить порви».
Мысль возбраняет жуть посягновенья.
Все в мире знает верное влеченье.

5

Все в мире знает верное влеченье.
Идут планеты линией орбит,
И весел крот, когда все в мире спит,
И знает путь свой каждое растенье.

Бледнеет ландыш в сладкий час цветенья,
Но красный сок им в гроздья ягод влит.
Зачем же ты, тоскующий болид,
Стремишь в ночи бесплодное горенье?

Зачем с лесной колдуньей заодно
Ты собираешь призрачные травы?
Вы оба перед Вечностью не правы.

Упорствуешь. Прийти не суждено
Чрез волчий сглаз и змейные отравы
К тому, что здесь закончить не дано.

6

К тому, что здесь закончить не дано,
Но что горит мгновенною зарницей,
Что делает тебя крылатой птицей,
Иди, в нем златоцветное руно.

В любви да будет сердце влюблено,
Но, громоздя восторги вереницей,
О, бойся стать как демон бледнолицый,
Не разрушай колосья и гумно.

Безумец, кто дерзает раздробленье.
Предвечна цепь. И страшны острия.
И вечно ль слушать «твой» или «твоя»?

Нет счастья в самоволье преступленья.
И в звездный мир, где все озарено,
К звену идет ведущее звено.

7

К звену идет ведущее звено,
И капля к капле росы заблестели,
Чтоб травам было весело в апреле,
И небо было тучами полно.

Огнем верховным будет решено,
Чтоб в должный срок свой молнии запели,
И клочья всей разметанной кудели
Сплетут как мост цветное волокно.

Не скупостью рождается явленье
Волшебных грез, где ярких красок — семь.
Красивы розы после окропленья

Святой водой под знаком искупленья.
Цвет к цвету, к своду радуг всходит темь,
Как буква к букве в слове заключенья.

8

Как буква к букве в слове заключенья,
Как слово к слову в летописи душ,
Священныя слова «жена» и «муж»
Не требуют от мира освященья.

Луна и солнце льют свои внушенья
В сомкнутый поцелуй. И почему ж
Превыше гор и всех морей и суш
Не вознести лобзанию хваленье?

На всю ли жизнь, на радость ли минут,
Со мной ли ты иль в дальностях разлуки
Люблю тебя. Ты вечно в сердце. Тут.

Всегда к тебе я простираю руки.
Все звезды неба — для твоих колец.
Но в чем же завершающий конец?

9

О, в чем же завершающий конец
Всех вскликов и острийных говорений?
Куда ведут ряды моих ступеней?
Из роз ли я сплетаю твой венец?

От тени к тени, вечный в днях беглец,
Окутан дымной мглою, звездный гений,
Как в песнь солью я разнозвук влюблений,
Я, брат и муж, любовник и отец?

С душой созвездья душу обвенчали.
Но звездный свет горит равно для всех,
Как музыка, как сон, как детский смех.

Мечту с мечтою волны закачали.
И пусть. И пусть. Неведом счастью грех.
Стремленье двух к объятью — не в печали.

10

Стремленье двух к объятью — не в печали,
И если дух воистину звезда,
Не может тем он ранить никогда,
Что чрез него другие засияли.

Игра многообразная — в опале,
Жемчужно-красных млений череда
Засветит рдяным углем иногда.
Но все огни в одном затрепетали.

С тобой горит звезда, и с той, и с той.
И хорошо, что в высоте пустыни
Сияют звезды, изумрудны, сини, —

И злато-алой светят красотой.
И свет, коль сердце с сердцем счастье знали,
Не в том, чтоб близь опять вернулась к дали.

11

Не в том, чтоб близь опять вернулась к дали,
С тобой ли разлучусь я или с ней.
О, нет, но в умалении огней
Нам мудрые завет высокий дали.

Есть пламени в ломающемся вале,
Волна с волной всегда поет звучней,
Чем больше волн, тем ярче сказка дней,
Не мы, а Норны эту нить свивали.

Сигурд, люблю Брингильд, люблю Гудрун.
Я говорю с восторгом и со стоном.
Я восклицаю долгим звоном струн.

Любовь всегда душе была законом.
На наших судьбах вырезал резец
Пасхальную созвездность всех сердец.

12

Пасхальная созвездность всех сердец,
Вселенское объятие сознаний,
Есть лучшее из всех искусств и знаний,
Другое все — пред золотом свинец.

Лишь тот бедняк, кто, пред собою лжец,
Не видит правды истинных желаний,
Судьбинности горений и сгораний,
И в тусклой мгле томится как чернец.

Ты слышал, как осенние шуршали
Листы берез? Ты слышал в час ночей
Безгромное стекание дождей?

Любовь, люби. Дойди из чужедали.
Я весь любовь. Любовь для жизни всей
Обещана, занесена в скрижали.

13

Обещано, занесено в скрижали,
Что любящий, надеясь вновь и вновь,
Как званый гость, в лучах войдет в любовь,
Но горе тем, что в час призыва спали.

Им место в отлученьи и в опале.
И дом их тьма. И не поет им кровь.
Душа, светильник брачный приготовь.
Кто любит, он, кто б ни был, звук в хорале.

Любовь моя. Услышь мой правый стих.
Ты вся моя. Лишь мне душа и тело.
Но я тебе не изменил в других.

Душа поет тебя, тобой запела.
Ты свет очей. Ты духов образец.
Любя любовь, творение — Творец.

14

Любя любовь, творение — Творец.
Приняв Огня высокое веленье —
Запев, пропет, другими, вознесенье —
Мы звон, что льется из конца в конец.

Смотри, весна. К нам прилетел скворец.
И жаворонка в жарком взлете пенье
Поет, что солнцу радостно служенье.
Раскройся, Вечность, и плыви, пловец.

Да будем, счастье, в ласковом апреле.
Любовь, любовь, как я люблю тебя,
Любя, мы сердцем радостным сумели

Себя найти, в другом забыв себя.
Нет я, нет ты, одно самозабвенье.
Она и Он — не два ли разночтенья?

15

Он и Она — не два ли разночтенья
Того, что есть по существу одно?
Нам таинства разоблачает дно
Восторга, созерцанья и мученья.

Все в мире знает верное влеченье
К тому, что здесь закончить не дано.
К звену идет ведущее звено,
Как буква к букве в слове заключенья.

Но в чем же завершающий конец
Стремленья двух к объятью? Не в печали.
Не в том, чтоб близь опять вернулась к дали.

Пасхальная созвездность всех сердец
Обещана, занесена в скрижали.
Любя любовь, творение — Творец.

ЗВЕЗДНЫЙ ВИТЯЗЬ

Не бог, но самый сильный брат богов,
Трудов свершитель самых трудных. Кто ты?
Из мира изгонял ты нечистоты.
И, вольный, был содругом всех рабов.

Когда свистит вокруг твоих столбов
Морская буря, порваны темноты.
Ты гидр губил. Но пчел, творящих соты,
Не трогал ты на чашечках цветков.

Ты был как вышний ствол глухого леса.
Но также прясть могла рука твоя.
Когда жь земная порвалась завеса, —

Ты отошел в небесные края.
И солнце мчит себя, мечту тая —
Догнать в путях созвездье Геркулеса.

ГОЛУБАЯ ПОДКОВА
Стихи о Сибири

ВСКРЫТИЕ ЛЬДА

Вскрытие льда
В устье Амура.
Воет вода
Дико и хмуро.
Там, подо льдом,
Жадность свободы.
Рушат свой дом
Свежие воды.
Хрустнул оплот.
Скрепы чертога
Рухнули. Вот,
Грани порога.
Гулы стропил,
С треском лучины.
Лед — только был,
Ныне — лишь льдины.
Сперлись, хрустят,
С хрипом обиды.
Вырос их ряд
В лик пирамиды.
Льдины ползут,
Сжаты в размахе.
Там они, тут,
В ощупи, в страхе.
Сжатый размах
Грудит их кучи.

Сонм черепах,
Тяжки, могучи.
Только б хоть час
Быть без движенья.
Порван рассказ
Их сгроможденья.
Так суждено,
Вырвалась влага.
Это вино,
Пьяная брага.
Музыка снов,
Рвущихся в море.
Силы валов
В переговоре.
Пьянственный хмель
В царственных чарах.
Радуй, свирель,
Юных и старых!

Хабаровск,
1916, 13 апреля

ЛУННЫЙ СЕРП

Лунный серп ушел за гору
И глядит из-за нее.
Спать спокойно мне бы впору,
Сердце милое мое.

О тебе во сне мечтая,
В час течения планет
Над Землей в объятьях мая,
Разодетой в майский цвет.

Но в качании вагона,
Во вращении колес
Слышу звук чьего-то стона,
Тихий шелест многих слез.

И межь тем как поезд змейный
Огибает горный склон,
Не луной благоговейной
Преисполнен полусон.

Разорвалось мирозданье,
В жуткий срыв раскрылась дверь.
Несосчитанность рыданья,
Непредвиденность потерь.

Затуманенные люди,
Ярость пропасти без дна,
О, когда же в новом чуде
Будет новая луна?

Маньчжурия, КВЖД,
1916, 23 мая

НАД БАЙКАЛОМ

Над застывшим Байкалом,
Над горами и в боре,
Чарованием алым
Разливаются зори.

На мгновенье аилы,
Целый час розовея,
Просыпаются скалы,
Неохотно серея.

Вековые изломы
Нависающе-косны.
Здесь для зверя хоромы,
Здесь высокие сосны.

Отошедшим туманом
Обнажаются ямы.
След пробитый кабаном,
Чащ природные храмы.

Кто здесь молится водам?
Что гудит над холмами,
Вековым хороводом
И густыми псалмами?

Это — озером скрыты
Под водою соборы,
Под водой не забыты
Довременные хоры.

Байкал,
1916, 26 мая

ВЕСЕННИЕ

Березы, и сосны,
И кедры, и ели,
И ладан тот росный,
Что дышет в их теле, —
Лисицы, и волки,
И лось, и медведи,
И звонкие пчелки —
Все в ласковом бреде.
О, пышные ели,
О, стройные сосны,
Ветрам вы свирели,
Вы все светоносны.
О, кедры, вы мудры,
И песня вам спета,
И вы златокудры,
Играния света.
Я видел, как белка
Хвостом колдовала,
Что в речке, где мелко
Вода прибывала.
И в лесе, где чащи
Весною зелены,
Все чаще и чаще
Цвели анемоны.

Межь синих фиалок,
Еще, не простые,
От солнечных прялок,
Цвели золотые.
И лютик, что жарким
В Сибири зовется,
Был пышным и ярким,
Здесь луч его льется.
И капля росинки,
Качаясь на травке,
Вдруг стала травинке
Головкой булавки.
И вся заиграла
Для радости глаза,
Мерцаньем опала,
Гореньем алмаза.
Как дымка блестела,
Играя и тая,
И к Богу летела,
На выси Алтая.

Путь к Омску,
1916, 29 мая

В ЛЕСУ

Я укрылся, точно птица,
Между лиственных громад.
Любовалась медведица
На веселых медвежат.

Малодневные. Четыре.
Оживала тишина.
Их ласкала в свежем мире
Эта первая весна.

Веселясь в звериной ласке,
Кувыркались по траве.

От движенья реют сказки
В каждой детской голове.

Двух братишек их сестрица
Оттузила по спине.
И ворчнула медведица:
«Это видеть любо мне».

А четвертый медвежонок
Был как будто не у дел,
И как будто бы спросонок
Прямо в солнце он глядел.

А от солнца — на поляну,
От поляны — в синий лес.
Пересказывать не стану,
Сколько было всех чудес.

Все, что в мире здесь от Бога,
На своей живет черте.
И звериная берлога
Видит сны о красоте.

Путь к Омску,
1916, 29 мая

ТАЙГА

Сто верст пожара,
Откуда он?
Сокрылось солнце в клубах пара,
Затянут дымом небосклон.
Ползет шипенье,
Горит тайга.
Огнистых змеев льется пенье,
И бьет поток о берега.
Вся в синих дымах
И вся в огне,

Приют видений нелюдимых,
Бродяге, ты желанна мне.
        Тайга, ты — тайна
        В пути слепом.
Твоя нетронутость бескрайна,
В тебе бездомному есть дом.

Подъезжая к Омску,
1916, 29 мая

ЛЕСТНИЦА СНА

Сначала раскрылось окно,
И снова закрылось оно,
А дух опустился на дно.
    И сделалась вдруг тишина
Такою, как ей суждено
    Бывать, если встала луна,
    Молчать, ибо светит она.

Сначала, в сомкнутости глаз,
В тот тихий тринадцатый час,
Возник от луны пересказ,
    Приникших до чувства лучей.
И где-то светильник угас,
    И где-то блеснул горячей.
    Был дух равномерно-ничей.

Потом распустился цветок,
И он превратился в поток,
Беззвучно текуч и глубок,
    Из красок, менявших свой цвет.
И дух он тихонько увлек
    В качавший все тайны рассвет,
    Где путь задвигает свой след.

Тогда зачарованный слух,
Тогда обезумленный дух
Зажжется и снова потух
    В себя запредельности взяв.

Но тут звонкогласый петух
    Пропел для рассветных забав.
    И росы мелькнули меж трав.

С.-Петербург,
1916, 5 июня

ОКОНЦЕ

Я смотрю на волю снова
Из оконца слюдяного.
Непрозрачная среда,
Все же небо сверху звездно,
Светит ночью многогроздно,
И Вечерняя Звезда
Мне является богатой,
Увеличенно косматой,
Словно все кругом вода,
Я, водою тесно сжатый,
Вверх смотрю со дна пруда.

Нет, конечно, я не рыба,
Неуютно жить в пруду,
Но, пока весь мир в бреду,
Здесь я с грезой речь веду.
Снег и лед. За глыбой глыба.
От излома, от изгиба,
В сердце ждущее мое
Светом входит острие.
Пляска ломких алых граней
Держит мысль в цветном тумане.
Греза — жизнь. Вступи в нее.

Радость — быть в своих основах,
Каплей в бешенстве зыбей.
В далях дней доледниковых,
Позабытых, вечно новых,
Смену красок, все скорей,
Видеть в зорях янтарей.

В том свершающемся чуде,
Где лишь после будут люди,
Я смотрю на бег слонов
Я любуюсь с мастодонтом
Беспреградным горизонтом,
В реве близких облаков.

В довременной я Сибири,
Где и ветер в белой шири
Устает порой летать.
Упадет и над беспутным,
Взрывным, вспевным, поминутным,
Чуть смущая тишь и гладь,
Буря спит, ворчунья-мать.
Ветер с ветром. Вон их стая,
У червонного Алтая,
Зацепились за скалу,
И в пещерах тешат мглу,

Снег растаял. Орхидеи
Раскрывают емкость чаш,
Воздух пьют. И мыслят змеи:
«Полночь наша. Полдень наш».
Мамонт шествует мохнатый,
Пышношерстный носорог.
И громовые раскаты,
На скрещеньи их дорог,
В бубен бьют и трубят в рог.
Месяц с солнцем заглянули
В глубь разверстую горы.
Камень к небу вспрянул в гуле.
Час вулкана. Час игры.
Час, что любят все миры.

Золотая крепнет жила.
Солнцезернь. Цветет. Пора.
И луна посторожила,
Чтоб содружно шла игра
Бледных блесток серебра.
Хоть травинки запредельной

В глубь укрылась, в изумруд.
И среди скалистых груд
Огнецвет, как звон свирельный,
Брызнул сказкой там и тут:
Жуть измены влил в опалы,
Тени всех минут — в агат,
И поджег желанья алый
Влил в рубин, вшепнул в гранат,
В страсть вошел, нельзя назад.
Кто полюбит, тот безбрежен,
Он ведом лучом звезды,
Хоть сидит он, тих и нежен,
У оконца из слюды.

Москва,
1917, 16 декабря

СОРОКА

У сороки странный фрак.
Пусть бы черный. Это так.
Но, чтоб фрак был черно-белый,
И на бабе ошалелой,
На нахальной и такой,
Что, едва ты в лес ногой,
Так стрекочет и хохочет,
Точно черт ее щекочет.
Ты из каторги бежишь,
В глушь тайги, в лесную тишь.
Ты бежал. Не тут-то было!
Все кругом заголосило.
В ликованьи ста сорок,
Будешь пойман в быстрый срок.
Бойся бабьего восстанья,
Ведьм крылатых стрекотанья.

Сэн-Брэвен-Сосны,
Бретань,
1921, 10 августа

ГЕОРГИЮ ГРЕБЕНЩИКОВУ

Тебе, суровый сын Сибири,
Что взором измерял тайгу,
Привет в изгнанническом мире,
На отдаленном берегу.

Ты выпытал в крестьянской доле,
Как творчески идет соха,
В как в страданьи и неволе
Тоска взметает взлет стиха.

Ты видел, мысля и мечтая,
Какого требует труда
В горах червонного Алтая
Золотоносная руда.

Ты принял светы талисмана
В пурге, прядущей долгий вой,
В гортанном говоре шамана,
В котором крик сторожевой.

И, много раз в тоске немея,
Душой богат, но долей сир,
Ты восхитился ликом Змея,
Который весь объемлет мир.

Не тем, с кем говорила Ева,
Кто яд из пропасти исторг,
Ему я не спою напева,
И ты не подаришь восторг.

Мой Змей вздымает океаны,
Он говорит через тайфун,
Им уготованные раны
Я утоляю звоном струн.

Его могучие извивы
В сибирских видел я лесах,
Где изумрудные заливы
Лелеют творческий размах.

Где ствол раскидистого кедра
Как довременный исполин,
И, затаясь в земные недра,
С алмазом говорит рубин.

Да будет завтра день твой новый —
Как матери родимой зов
Туда, где реки бирюзовы,
Где много милых голосов.

А ныне с возгласом приветным
Ты, разглядевший тайный лик,
Прими в Провансе многоцветном
Бретонской чайки властный крик.

Сэн-Брэвен-Сосны,
Бретань,
1922, 11 февраля

ГЕОРГИЮ ГРЕБЕНЩИКОВУ

Когда в прозренье сна немого,
Таясь в постели, как в гробу,
Мы духом измеряем снова
Всю пережитую судьбу, —

Передвигая все границы
Того, что понимаем днем,
В лучах нездешней огневицы
Мы силой бывшего живем.

Мы ведаем, что существуем
Не от среды до четверга,
И дух наш радостью волнуем,
Все раздвигая берега.

Душа — ответ. И мы не спросим,
Мы видим в четких письменах,
Что там, где древле был ты лосем,
Я белкой в тех же был лесах.

Когда с рассветом дымно-алым
Ты пил студеную волну,
Над тем же плещущим Байкалом
С сосны я прыгал на сосну.

Ты, чувствуя, что близко волки,
Был изваяньем пред врагом,
А я сосновые иголки
Сбивал играющим прыжком.

Терялись волки в дикой слежке,
Ты мерно шел по склону вниз,
А я кедровые орешки
Проворными зубами грыз.

Когда ж все в мире было тихо,
Был пляс в зверином сердце ал:
С тобой — покорная лосиха,
Я белкой с белкою играл.

И, острый коготь в ствол вонзая,
Взбегал я, хвост свой распушив,
И, тишь прервав лесного края,
Твой зычный голос был красив.

Ты смотришь в зеркало возврата?
Есть в сердце тысяча очей.
Наш лес, где были мы когда-то,
Он до сих пор еще ничей.

В тысячелетьях потонули
Тот лик, тот бор, тот день, тот час.
Тогда мы не дождались пули,
Теперь облава против нас.

Но в нас живет душа живая.
И зыбим солнечпый мы смех,
Ты — словом целину взрывая,
Я — в стих роняя красный мех.

Париж,
1923, 25 февраля

РУССКИЙ ЯЗЫК

Язык, великолепнейший наш язык,
Речное и степное раздолье.
В нем клекоты орла и волчий рык,
Напев, и звон, и ладан богомолья.

В нем воркованье голубя весной,
Взлет жаворонка к солнцу выше, выше.
Березовая роща, свет сквозной.
Небесный дождь, просыпанный по крыше.

Журчание подземного ключа.
Весенний луч, играющий на дверце.
И нем Та, что приняла не взмах меча,
А семь мечей в провидящее сердце.

И снова ровный гул широких вод.
Кукушка. У колодца молодицы.
Зеленый луг. Веселый хоровод.
Канун на небе. В черном — бег зарницы.

Костер бродяг, за лесом, на горе.
Про Соловья-разбойника былины.
«Ау!» в лесу. Светляк в ночной поре.
В саду осеннем красный гроздь рябины.

Соха в серпе с звенящею косой.
Сто зим в зиме. Проворные салазки.
Бежит савраска мирною рысцой.
Летит рысак конем крылатой сказки.

Пастуший рог. Жалейка до зари.
Родимый дом. Тоска острее стали.
Здесь хорошо. А там смотри, смотри.
Бежим. Летим. Уйдем. Туда. За дали.

Чу, рог другой. В нем бешеный разгул.
Ярить борзых и гончих доезжачий.

Баю-баю. Мой милый! Ты уснул?
Молюсь. Молись. Не вечно неудачи.

Я снаряжу тебя в далекий путь.
Из тесноты идут вразброд дороги.
Как хорошо в чужих краях вздохнуть
О нем — там в синем, — о родном пороге.

Подснежник наш всегда прорвет свой снег.
В размах грозы сцепляются зарницы.
К Царь-граду не ходил ли наш Олег?
Не звал-ли в полночь нас полет Жар-птицы?

И ты пойдешь дорогой Ермака,
Пред недругом вскричишь: «Теснее, други!»
Тебя потопит льдяная река,
Но ты в века в ней выплывешь в кольчуге.

Поняв, что речь речного серебра
Не удержать в окованном вертепе,
Пойдешь ты в путь дорогою Петра,
Чтоб брызг морских добросить в лес в степи.

Гремучим сновиденьем наяву,
Ты мысль и мощь сольешь в едином хоре,
Венчая полноводную Неву
С янтарным морем в вечном договоре.

Ты клад найдешь и которого искал.
Зальешь в запоешь умы и страны.
Не твой ли он, колдующий Байкал,
Где в озере под дном не спят вулканы?

Добросил ты свой гулкий табор-стан,
Свой говор, златозвонкий, среброкрылый,
До той черты, где Тихий океан
Заворожил подсолнечные силы.

Ты вскликнул: «Пушкин!» Вот он, светлый бог,
Как радуга над нашим водоемом.

Ты в черный час вместишься в малый вздох.
Но завтра — встанет! С молнией и громом!

*Шатэлейон,
1924, 3 июля*

ТРИНАДЦАТЬ

Леониду Тулъпе

В тайге, где дико все и хмуро,
Я видел раз на на утре дней,
Над быстрым зеркалом Амура
Тринадцать белых лебедей.

О нет, их не тринадцать было.
Их было ровно двадцать шесть.
Когда небесная есть сила
И зеркало земное есть.

Все первого сопровождая
И соблюдая свой черед,
Свершала дружная их стая
Свой торжествующий полет.

Тринадцать цепью белокрылой
Летело в синей вышине,
Тринадцать белокрылых плыло
На серебровлажной быстрине.

Так два стремленья в крае диком
Умчались с кликом в даль и ширь,
А солнце в пламени великом
Озолотило всю Сибирь.

Теперь, когда навек окончен
Мой жизненный июльский зной,
Я четко знаю, как утончен
Летящих душ полет двойной.

*Шатэлейон,
1924, 10 июля*

СИБИРЬ

Леониду Тульпе

Сибирь — серебряное слово.
Светясь, ему сказать дано,
Что драгоценней в ней основа:
В Сибири золотое дно.

И златоверхого Алтая
Заря, смотря и в высь, и в ширь,
Гласит, под солнцем расцветая,
Что будет вольною Сибирь.

Капбретон,
Ланды,
1931, 10 ноября

ЗИМНИЙ ЧАС

Заяц, выторопень серый,
Разговаривал с Зимой.
Говорил он: «Ты без меры
Нежный мех морозишь мой».

А она ему: «Голубчик,
Ты померзни, ничего.
Так нарядней твой тулупчик,
Чисто держишь ты его».

И зимой прозрачней воздух,
Мягко стелются снега.
Для зверья лесного роздых,
Дальше чувствуешь врага.

Сердце заячье — лишь в слухе,
Косоглазый полуслеп.
Но ушканчик остроухий
Скрылся, хмурый, в свой вертеп.

Там ждала его зайчиха,
Наготовила тепла.
Лес молчит, и тают тихо
С синеве колокола.

Завтра праздник богомольный,
Синь над снегом небосклон.
Близко слышен недовольный
Крик скучающих ворон.

Как боярыня седая,
К людям шествует Зима,
Лютой стужей расцвечая
Опушенные дома.

Капбретон,
Ланды,
1927. 3 февраля

ЗЛАТОРОГИЙ

Златыми рогами, златыми рогами
Весь двор освещу...

Пермская песня

Клок ущербной Луны, переметная тень,
На широких полях белоснежны снега,
Словом сказки одет, пробегает олень,
Свет копыт серебро, золотые рога.

Закрутилась метель от полей до полей,
Лунный клок стал не клок, взвейных светов поток,
Золотые рога замелькали быстрей,
И хрустит по снегам четверной среброскок.

На мгновенье олень призамедлил свой бег,
Приутихла метель, проблеснули снега,
Вовсе стал, и растут, озаряя весь снег,
Золотые рога, золотые рога.

От небес до небес по снежистым полям
Переметная тень пробежала на склон,
Опрокинулась в яр, взвился снег по краям,
И зареял вокруг златозвук, светозвон.

У оленя во лбу та блистает звезда,
Что водила волков до чужих берегов,
И вещают о той, мысль о ком — навсегда,
Золотые рога, крутоветви рогов.

Бордо-Буска,
1928, 17 декабря.

БУБЕН

В медный бубен ударяя,
Звонко сокола он пел:
«Птица — пламя, птица — злая,
Птица — Солнце, сокол — смел.

Он в горячем перелете
Сразу небо пресечет.
С ним добыча на охоте —
В полный месяц — полный счет.

Месяц срезанная щепка —
Счет добычи без него.
Бьет он метко, бьет он крепко,
Не пропустит никого.

Он недолго ведал руку,
Призакрытый клобучком.
Знает меткую науку —
Громом падать над врагом.

Заяц рябью метит тропы,
Путь для цапли вышина,

Ветер в беге антилопы,
От него им смерть одна.

Голубь гулил — тикал — токал,
Млел, что синь на ярлыке.
Чуть мелькнул мой белый сокол,
Голубь — вот, в моей руке.

Не продам я птицу эту,
Дорожишься, путник, зря.
Он был послан Баязету,
В выкуп франкского царя.

Кубла-хан перелукавил
С ним три тысячи лисиц.
Сам персидский шах восславил
Хватку молнию меж птиц.

Впился в Индии он с маху
В крепковыю кабану.
Ты даешь мне денег? Праху?
Лучше я продам жену!» —

Так киргиз напев сугубый
Вдруг нашел, чтоб мне пропеть.
И, смеясь, белели зубы,
Златом в бубне рдела медь.

Зыком в небе многотрубно
Вскликнул голос журавлей.
Звуки песни, всплески бубна
Воскрылялись все светлей.

Зависть к дикому киргизу
Я учуял, весь горя,
В час, как в огненную ризу,
Облеклась в степи заря.

Капбретон,
Ланды,
1927, 4 марта

ГОЛУБАЯ ПОДКОВА

Георгию Гребенщикову

В этих минутах, залитых родимым солнцем, зелено-голубых от леса и небес...

Гребенщиков,
Трубный глас, гл. 3

Неоглядная равнина от стальной, далекой щетины леса до голубой подковы небосклона...

Гребенщиков,
Сто племен с единым, гл. 3

1

Солнцезахваченным бродил я много в мире,
В тех странах, где на всем лишь солнечный закал.
Но жаром он и там, в раскинутой Сибири,
Где внутренним огнем всегда кипит Байкал.
Сибирские леса – земная небу риза,
В разлитии степей сверкает песнь, звонка.
Там братски полюбил я легкого киргиза
И дымнотеплую кибитку калмыка.
Там каждый, подходя, мне улыбался вольно,
Там каждая душа собой являла ширь.
В фиалках, в ландышах, невестна, хлебосольна,
Простором исполин, великая Сибирь.
А пирамиды льда при вскрытии Амура,
А чаши орхидей, где думал чуять цепь.
Алтай. Полет орла. Два дня, что смотрят хмуро.
Семь дней – златоогонь. Вся солнечная степь.
Но я сейчас в стране, где мысли в узких путах.
Тоскую длительно. Дух жизни здесь исчез.
И лишь с тобой опять я в солнечных минутах.
Зелено-голубых от леса и небес.

2

Ты сто племен с единым в гуле звона
Качнул, их замыкая в мудрый сказ.
До голубой подковы небосклона
Зажегся снежный пламень и не гас.
Чубек, рыбак, любимец Енисея,
Их три — Чубек, тайга и Енисей.
Без слов поет Чубек, шаманно млея,
О рыбине с жемчужиной очей.
А у жены Чубековой есть шубка,
Не сосчитать оленьих лапок в ней.
Чубекова жена — она голубка,
Чубек же, голубь, хан средь голубей.
Но царь послал поклон до Енисея,
Чубек оставил чум свой и жену.
Прощай, тайга. От блесток снега млея,
Чубек на лыжах мчится на войну.
Там далеко, где льды — хрустальным лугом,
Где вьет пурга над Леной вой и гул.
Средь сполохов, там за полярным кругом,
Без солнца бьет песцов якут Туртул.
Из узких глаз зрачки — как звезды ночи,
«Поход. Война. Зовет тебя сам царь».
Якутский день — полгода, не короче,
И ночь якута долгая, как старь.
И мысль якута — снежные туманы,
Метель ведет напев в одну струну.
Цари якутских сказок щедры, пьяны,
Туртул на лыжах мчится на войну.
Царицы дочь, красавицы Ангары,
Байкала внучка, Енисей — жених,
Рекой Тунгуской все зальем пожары
В душе тунгуса. Сны? Зальешь ли их.
Тунгус поет так тонко и певуче,
Не различишь, не ветер ли поет.
Спит наяву. В одной все звезды куче.
Всех любит он. Душа его как мед.
Уйби-Кута, тунгус, ребенок малый,
«Помочь царю» он понял мысль одну,

«И вновь к невесте, в куст малины алой».
        Уйби-Кута уходит на войну.
Так всех — так всех — обманом — заманила
        В свое жерло свирепая война.
И сто племен с единым — это было,
        Но тех племен вся сказка — где она?
От леса, где мы спим, в разгуле звона.
        Мы, мертвые, среди бездушных плит,
До голубой подковы небосклона
        Зажегся вещий пламень — и горит.

Кламар,
Сена,
1934, 12 мая

МОЯ ЛЮБОВЬ

Вступая в мир, мы в дом вступаем отчий,
Нас нежит мать, баюкает нас няня,
Роняет нам свой свет и отсвет счастье.
Родная речь промолвит нам: «Желанный!»,
Всех звезд в мечты нам набросает полночь,
Привет тебе, моя любовь, Россия!

Из всех былин желанней мне Россия,
Взгляд матери и кроткий голос отчий,
Заря с зарей, им чуть раздельность — полночь,
Июнь прозрачный, что-то шепчет няня,
Дремлю, горит лампадки свет желанный,
И свет и тень — во всем ребенку счастье.

Галчонка принесли, какое счастье.
Простых подарков не сочтет Россия.
Кормить галчонка — пир души желанный,
С птенцом дитя играет в разум отчий,
И сказку мне рассказывает няня,
Что сокол — день, а ворон с галкой — полночь.

Смеясь на волю выпустил я полночь,
И сердцем знал, что в черных крыльях счастье,

О светлых птицах досказала няня,
Жар-птицей назвала себя Россия,
И разве не костер — вес дом мой отчий,
И разве не огонь — наш гость желанный!

Кто сделал так, что весь мой свет желанный
Упал в нерассекаемую полночь?
Из далей запредельных образ отчий
Вернет ли мне мое родное счастье?
Леса, поля, калина, степь — Россия,
На грани лет ты будешь ли мне — няня?

Там где-то между звезд чуть шепчет няня:
«Терпи, терпи, твое придет, желанный!»,
Тоска к тоске, мне мечет клич Россия,
Чтоб я не закреплял тоскою полночь.
И край чужой, мне не даруя счастья,
Дает мне страсть любить лишь край мой отчий.

Мой дом, мой отчий, лучших сказок няня,
Святыня, счастье, звук — из всех желанный,
Заря и полночь, я твой раб, Россия!

Париж,
1926, 9 мая

ПОД НОВЫМ СЕРПОМ

Роман в 3-х частях

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Четыре котенка нежатся на теплой завалинке, разогретые лучом весеннего солнца. Они вертятся, льнут друг к другу, ложатся — один на спинку, другой на бочок, поднимают кверху лапки, ловят что-то воображаемое, мурлычат, сверкают глазенками, и у каждого на уме свое, у одного непохожее на то, что у другого, все они грезят по-разному. Они от одной матери, и мать серая, но они все разные: один черный, другой тоже черный, но с белой грудкой, и третий рыженький, а четвертый пестрый. Когда они вырастут, они и вовсе будут разные по нраву. Один будет тихонько мурлыкать и все больше лежать на лавке и смотреть в окно, а другой будет честно ловить мышей, а третий полюбит подстерегать птичек, а четвертый все будет таскать со стола, как его ни наказывай, будет смотреть на хозяйку получестными, лживыми глазами, и, что с ним ни делай, воровское сердце будет вовлекать его в воровство.

Вон у рябой курицы сколько желтеньких цыплят. Все они желтенькие и точно игрушечные. Как будто их нарочно сделали на Пасху, чтобы дети на них тешились. Но и у них будет у каждого особый нрав. Только люди, живущие в больших городах и не видящие природы и всего, что в ней, воображают, что все существа одной породы одинаковы. Так точно европейские путешественники, в первый раз приехавшие в Африку, находят, что все негры на одно лицо. Потом они узнают, что это не так. И когда в деревне под утро поют петухи, четко можно услышать, у какого петуха голос всех чище

и звончее. И тоже ведь есть где-то бои петухов, и некоторые из них — совсем герои, даже бывают прославленные.

А жаворонки? А соловьи? Иной поет как будто пожилой тенор, охрипший от вчерашнего кутежа. Только старается и красуется, а ничего у него не выходит. А бывает такой, что сердце плачет, его слушая, и не знаешь, чего хочешь, душа из тела просится, и хочется ей утонуть в голубом, глаза закрываются сами, и кажется, что на лице поцелуй горит. Одна и та же песня по-разному звучит. Одно и то же слово два разные человека скажут, и сердце порвется надвое. Не узнаешь, кого слушать, за кем идти.

Эти мысли мелькали в молодой умной женской головке, и не давали ей покоя. Не давало ей покоя впрочем не это размышление, а что-то совсем другое.

Ирина Сергеевна была женщина мечтательная и капризная. Пожалуй из каприза она и начала вызывать в своей душе весенние образы, когда кругом шелестели желтые листья, и легкие паутинки носились по воздуху в луче золотого сентября. Может быть, впрочем, совсем не из каприза. Лицо ее было скорее грустное и озабоченное.

Выйдя из усадьбы одна и миновав деревню, она шла по сжатому выветренному полю к недалекому леску, из которого доносился звонкий и дружный лай гончих. «Опять эта дикая забава», — подумала с недовольством молодая женщина. — Изо дня в день, изо дня в день одно и то же».

Ирина Сергеевна не только не отрицала охоту вообще, но и сама не раз охотилась с мужем своим Иваном Андреевичем Гиреевым на волков и лисиц. Носиться с борзыми на быстром коне по дикому полю и чувствовать, как ветер свистит и справа, и слева, а конь горячо дышит, волнуясь и радуясь заодно с седоком, — это, конечно, настоящее занятие, достойное человека, любящего волю. Но целую неделю травить зайцев, забывая обо всем другом на свете, — это мелко, это ничтожно.

Поредевшая лесная опушка в своем желто-красном уборе, с преимущественным изобилием воздушно-желтого цвета всяческих оттенков, была уже совсем близко, и звонкая стая гончих — было явственно слышно — вела свой переливчатый лай, уклонявшийся то правей, то левей, не в глубь леса, а ближе, к опушке. Ирина Сергеевна узнавала отдельные голоса собак. Вот лает с подвизгиванием Заноза, пестрая

сучка с голубыми глазами, вот захлебывается от нетерпения рыжий Терзай, не отстают в усердии Сбой, Кусач и Нагоняй, и всем дружным лаем, покрывая его и густо окутывая, правит, как властный бас, глухим своим голосом Громило.

Ирина Сергеевна знала, что встретится с охотой. Она была бы не прочь обрадовать своим неожиданным появлением черноглазого и черноусого своего Ванечку, к которому уже несколько дней она опять чувствовала за полосой охлаждения, чрезвычайную нежность, то истомное стремление, которое аставляет говорить любимому — желанный. Она знала, что глаза его засияют доброй кроткой улыбкой, немного застенчивой, точно он стыдится собственной своей нежности, и она скажет ему: «У, бука! У, злой! Опять убежал от меня. Домой пора». Ирина Сергеевна хотела встретить Ивана Андреевича и закрепить в своей душе что-то большое и светлое. Ей совсем не хотелось встретиться с его приятелем, вместе с ним охотившимся, Зигмунтом Огинским. После того что было один только раз, так жутко, и ярко, и неожиданно, два года тому назад между ними, — один только раз, — она не хотела его больше видеть, и он честно выдержал разлуку целых тринадцать месяцев, выдумав себе поездку в польское свое имение в Виленской губернии. Но два уж месяца как он вернулся и снова дружил с Гиреевым, и опять они весело выхвалялись друг перед другом охотничьими подвигами. Красивый поляк с синими глазами и орлиным носом, несколько надменный, но и безукоризненно-вежливый, умел достигать, чего хотел, и снова пытался завладеть ее душой. Но довольно. Польский язык она с ним изучила. Нового Мицкевича, Словацкого и Красинского он не выдумает. А их она уже прочла и многое другое. «Ванечка не любит стихов и не читает книг, а когда я играю на фортепьяно или когда на деревне водят с песней хоровод, какое у него тогда лицо, лучше любой поэмы. Зигмунт, — Ирина Сергеевна мысленно сказала „Зигмунт“, — умеет красно говорить, но кажется, что книги и стихи любит он так же как свою двустволку, чтоб застрелить побольше дичи, и своего легавого Веля, которого можно послать куда угодно, делать стойку и смотреть на приказывающего покорно-услужливыми собачьими глазами. Нет, от меня он этого не дождется».

Встретилась однако Ирина Сергеевна не с мужем, а с Зигмунтом Огинским, едва только вошла за первыми деревьями

опушки на лесную лужайку. Можно было подумать, что Огинский ее ждал, хоть она ему и не говорила, что придет в лес. Он стоял у ствола березы и, увидев ее, быстро подошел к ней. Она опустила глаза, тотчас же вскинула их и с бьющимся сердцем молчала. Тонкий свист синицы перепорхнул над ними, и бисерный напев синей птички рассыпался в близком осиннике разбившимся тонким хрусталем. Волна собачьего лая шатнулась, хоровой возглас гончих, качнувшись налево и направо, помчался куда-то в сторону. Солнечный луч пронизал круглое кружево паутины, дрожавшее между двумя изумрудными ветками развесистой ели, и по отдельным паутинным клеточкам заиграли малые радуги. В воздухе слышался крепкий и острый дух, где-то близко скрывавшихся, груздей.

«Ирис, — сказал Огинский (он так когда-то ее звал). —Мой милый Ирис, зачем так мучить меня? Разве я не люблю?»

Ирина Сергеевна молчала. Этот голос ее волновал. Эти слова ей нравились. Острый свист синиц перепархивал и разбивал хрусталинки.

Огинский взял ее за руку. «Моя милая», — сказал он. Сильным, но ласковым движением он потянул ее к себе. Где-то хрустнула ветка, и с березы дождем посыпались желтые листья.

Ирина Сергеевна резко высвободила свою руку, гордо закинула голову и воскликнула с горячностью: «Никогда! Никогда больше!» Она отступила, повернулась, и, точно за ней была погоня, со всех ног выбежала из лесной опушки на опустевшее поле.

Высоко, от севера к югу, в бледной лазури неба с долгим кличем-перекликаньем, тянули журавли. Их было семь, и мирный треугольник их ускользал с такой правильной торжественностью, точно полет их был размеренным служением на верховной светлой обедне.

2

Этот сентябрьский день с последовавшей за ним ночью, отмеченной тонкою ладьей новолунья, был из тех дней, в которые случается что-нибудь, оставляющее надолго неукоснительный след в жизни нескольких людей. Значительность

совершившегося бывает часто совсем не видна тем самым людям, в чьих руках пряжа совершающегося, и лишь много времени спустя человеческая мысль припоминает дни и числа и узнает, с какого мгновения протянулась вот эта полоса очевидности, столь богатая сложностью, столь исполненная счастья или несчастья.

А так, это был день как день, похожий на другие дни начала сентября — месяца особливо нарядного, золотистого и воздушного, полного невыразимой прелести прощания, грусти и радости вместе, впервые обозначившихся просторов среди пустынных полей и в поредевших, но расцвеченных лесах, новая особенная тишь над гладью темно-синих затонов, очарование длинных летучих паутинок, крики отлетных гусей и журавлей, яркий пурпур ликующих настурций.

Ирина Сергеевна зашла в сад. Она глянула в садовый чан, там на воде зеленел сплошной круглый ковер разросшейся ряски. Тут же рядом были парники, и плоские их малые оконца, изнутри замгленные, мерцали отдельными каплями, повисшими на стекле от внутреннего тепла. Солнце грело совсем по-летнему, и редкие, но странно-звонкие в опустошенном осеннем саду, грелись под лучом и перелетали шмели и осы. Ирина Сергеевна прошла мимо посеревшего шероховатого малинника в ту часть сада, которая носила название Большой сад — название пышное и не вполне верное. Это была лишь крестообразная липовая аллея с круглой лужайкой посредине и соразмерно расположенными четырьмя дерновыми скамейками. Ограды в этой части сада не было с трех сторон. Одна сторона была защищена кустами рябины и развесистым деревом черемухи, другая выходила на луг, смежный с господским полем, третья лишь канавой была отделена от крестьянского поля, на четвертой, примыкавшей забором к плодовому и цветочному саду, была беседка из акации, и эта сторона упиралась, кроме того, в задние стены построек, расположенных рядом амбар, погреб, другой амбар, каретный сарай, конюшня.

Ирина Сергеевна поспешно и нетерпеливо ходила взад и вперед по главной дорожке липовой аллеи. Мысли проносились в ее душе беспорядочно, и она думала о многом сразу. И все же одно имя она упорно повторяла про себя: «Ваня!» И одно чувство билось в ней и плескалось, как пойманная се-

ребряная рыбка, — чувство порывистой нежности к мужу, смешанное с жалостью, беспредметной и разливающейся на все. Ей было жаль, что желтые листья опадают, и жаль, что нельзя что-то сделанное сделать несделанным, и жаль мохнатого черно-желтого шмеля, который упал на землю и, оцепенелый, не в силах был взлетать, и жаль себя, бесконечно жаль, что никто не видит, сколько нежности у нее в сердце; никто, и прежде всего не видит он, желанный, он, которого она ни на кого не променяет.

«Я люблю Ваню! Я люблю Ваню! — упрямо повторяла она про себя. — Я люблю его, и пусть кто угодно, хоть собственная его мать, говорит, что я только играю в любовь с ним, это неправда, низкая неправда».

Листья падали. Сколько желтых листьев, шуршащих под ногой. Откуда столько желтых листьев? Разве было их столько весной, когда они были зеленые?

Тук-тук, — прозвучал веселый стук дятла, перебегавшего вверх по стволу липы. Тук-тук. Тук-тук. Прилежный молоточек стучал.

Ирина Сергеевна остановилась и с наслаждением почувствовала, как стройная ее ножка утонула в опавших желтых листьях. Молодое сердце билось. Молодое сердце хотело ласки, полной ласки, всего счастья. Поцелуя, открывающего невидимые окна, которые вдруг распахнутся в огромное голубое пространство. Поцелуя, раздвигающего широкие темные завесы, за которыми звезды и новый серп луны.

Тук-тук, стучал веселый дятел, и, обежав вокруг ствола, взмахнул своими черными крыльями, мелькнул своей красной шапочкой и перелетел на другую липу, ожившую от пробега прилежного молоточка.

3

Охотники увлеклись своим легким подвигом и прибыли домой только к вечеру. Были, конечно, упреки, но ненадолго. Да и что ж упрекать? Завтра опять чуть свет утащатся на свою охоту. Это знала не только молодая барыня. Доподлинно это знали и Андрей Культяпый кучер и главный охотник Ивана Андреевича, и зловещий, высокий как, жердь, Мишка

Шагин, — кучер и главный охотник Огинского, загостившегося в усадьбе Большие Липы у Гиреевых.

Если долго отсутствовали охотники, зато и недаром. Зайцев они добыли столько, что ключница Устинья, она же и кухарка, немолодая черноглазая женщина лика раскольницы, диву далась и спрашивала себя, что же она будет со всем этим добром делать. Впрочем затруднение небольшое. Бары ведь передков заячьих не едят, они пойдут дворовым псам, вот и зайцев стало вдвое меньше. Сама Устинья, также как и дворовые мужики, гнушалась этим кушаньем. Мужики полагают, кажется, и доселе, что заячье мясо — то же, что кошачье. А бары съедят. Чего они не съедят?

Устинья причитала и стряпала. Стряпуха она была образцовая и хозяйственная женщина на редкость. Иван Андреич из всей дворни ее больше всех почитал и называл не иначе, как Устинья Архиповна. «Та молодая бабенка, эта модница-то, которая все больше насчет цветочков да катанья верхом, молодая барыня-пустяшница ничего в хозяйстве не смыслит, умеет только приказывать, чтоб сливок и масла к столу побольше подавали, да почему еще вот варенец вчера не довольно был густ. Ишь, не довольно. А варенец, как мед. Уж Устинья ли не сделает первосортный варенец? Тогда кто и сделает! Вот и колдунов им сделаю на ужин, таких, что и сибирские пельмени не чета. И бекасов зажарю. И блинчики будут как кружево. Помажь вареньем — и в царство небесное попадешь. Наготовлю им, наготовлю. Все съедят, не поморщатся и спасибо не скажут. Да на что мне их спасибо? Я тут у печки сама себе барыня, как есть полная госпожа».

И Устинья, погладив по спине ластившегося к ней зеленоглазого черного кота Ваську, принялась за художественное выполнение изящно-сложного меню, перечисленного ею лишь эпизодически, а не сполна.

Правда, в усадьбе Большие Липы любили и умели поесть хорошо, да и много ведь было всякого добра кругом: в саду и в пруду, на полях и в лесах, в огородах, амбарах, погребах и кладовых, хотя имение было небольшое и настоящего барства там не было.

Ужин, правда, вышел на славу, и хорошо поужинать дома или в гостях у радушных друзей, после целого дня охотничьей потехи и рысканья по полям, лесам и перелескам.

За ужином Ирина Сергеевна дразнила и мужа, и его приятеля, то прикидывалась обиженной, то была не в меру весела и говорлива, вспоминала свое детство и дни институтской жизни, гордо похвалялась своими успехами на столичных балах, перекинулась в литературные разговоры, сообщила, что Пушкин гораздо гениальнее Мицкевича, и удачно доказывала это примерами из лирики того и другого, нашла, что Лермонтова по силе творчества и по загадочности личности даже и сравнивать нельзя, например, с Красинским, хитро умолчала о Словацком, к которому была сама очень неравнодушна. Усмехнулась и сказала, что, впрочем, только синие чулки так много говорят о книгах, а что она хочет отныне целиком посвятить себя только хозяйству, но музыки, конечно, не бросит, и даже именно сегодня в наказание им обоим за долгое отсутствие, будет им играть на фортепьяно до самой полночи. Угрозу эту она исполнила. В зале, уставленной цветочными горшками с причудливыми растениями теплых стран, небольшими пальмами, рододендронами, диким виноградом, плющом, кактусами, лимонными и апельсинными деревцами, густой и богатой звучностью запело фортепьяно, а в окно над ним гляделся тонкий серп новолуния. Ирина Сергеевна бегло взглянула на него и начала с «Вечерней звезды» Вагнера. Простые, красиво-печальные звуки сразу завладели воздухом безмолвной комнаты, прислушивающимся воздухом трех душ, мгновенно задумавшихся.

Есть в музыке воистину волшебная власть, которой нет ни в одном из искусств, чье назначение — завладевать душами, ни в зодчестве, которое, однако, зовут застывшей безгласной музыкой, ни в упоительной живописи, научающей красиво молчать, и говорить тихонько, и ступать осмотрительно ни в поэзии, да, даже и в поэзии, овладевающей сердцами и бросающей влюбленных к внезапному поцелую, и зовущей к подвигам, и припоминаемой, как слово молитвы, раненым насмерть, глаза которого меркнут среди гула и рокота битвы. Единственная власть музыки, ее нездешнее Божеское преимущество — сразу сливать воли и сердца, одним созвучием — почему именно этим, не скажет никто, — сочетанием двух-трех звуков и их чуть заметным уклонением к новому созвучию, их легким, звонким перебегом к другой неопределимой сказке без имени, зовом ниоткуда, узывом в

никуда, этой игрой, сплетенной из паутин, что выпряли лунные души и овеяли крылья улетающих птиц, что, улетев, всегда возвращаются в самый неожиданный миг; власть заставить множество разных сердец, и даже вражеских, биться как единое сердце, внезапно отдохнувшее от всего, что было только что убедительно и сразу растаяло, как тень на стене от вошедшего в комнату луча; власть толкнуть многочисленный воли, заставить их тотчас же дрогнуть и выпрямиться лучеобразно, и сумму воль сделать единицей, одной волей, волей к счастью, к правде неожиданной, к целому хору взметающихся в душе, восторженных вскликов, гласящих о радости цельного нового зрения после давнишней слепоты.

Широкие волны «Лунной» сонаты Бетховена говорили спокойно, убедительным голосом одной души, видящей, к другой душе, которая должна, не может не увидеть.

Ирина Сергеевна откинулась в кресла и минутку отдохнула. Иван Андреевич и Огинским молчали. Им нечего было сказать друг другу, а заговорить с Ириной Сергеевной ни тот ни другой не смел. И однако, между ними троими возник и длился сложный внутренний разговор и всем троим казалось, что они что-то делают сообща, чего не делать не могут, чего не совершить нельзя.

Ирина Сергеевна болезненно вспомнила в эту минуту те слова, которые ей сказал за ужином Огинский. Когда она бросала свои стрелы в польских поэтов, а скорее, в него, он странно на нее смотрел и отмалчивался. Когда же она потребовала, чтобы он сказал что-нибудь определенное, он промолвил: «Вы только шутите сейчас, Ирина Сергеевна. И вам, кажется, весело, а мне грустно. И так как грустно, я вспомнил строчку из Словацкого: «Biada kobietom, ktore sluchaja nadto dlugo szumu placzecejc brzozy» — «Горе женщинам, которые слишком долго слушают шум плакучей березы».

Эти слова остались без ответа, благодаря тому, что как раз в это время вошла с новым блюдом служанка, и разговор спутался и изменился. «Но что он хотел сказать этим? Да, конечно. Обычный зазыв. Красота путешествий. Синяя даль, за которой новый цвет, и новый цвет, и новый цвет. Кто вечно здесь, узнает ли, что там? Не каждый ли день открывает свою новую тайну, когда не стоишь на месте, а идешь и не оглядываешься? Знаю. Знаю».

Она стала торопливо и даже с беспорядочностью играть романсы Шуберта. Дойдя до одного, она опять остановилась и ей показались совсем особенными эти простые слова: «На дальнем горизонте». Она брала левой рукой отдельные аккорды, как бы не в силах продолжать, а в душе ее, как щебет улетающих птиц, проносились эти чеканные строки слепого поэта Генриха Гейне:

На дальнем горизонте,
Восстав как дымный лик,
Средь темных башен город
В вечерней мгле возник.

Курчавит ветер влажный
Разбег волны седой,
Печально кормчий правит,
Склоняясь над водой.

И солнце замедляет
Свой свет, который ал,
То место указуя,
Где все я потерял.

Ирина Сергеевна вздрогнула, как бы проснувшись, с задором закинула голову, с задором проиграла картинную «Мазурку» Шопена, сыграла его Marche Funebre, сыграла, разрумянившись, запретный польский гимн, «С дымом пожаров», помедлила минуту, захлопнула крышку фортепьяно, и встала.

— Спать пора, — сказала она. — Я думаю, вы оба уж спите.

— Спать так спать, — сказал Иван Андреевич. — Завтра рано надо просыпаться.

Он говорил нарочные слова, чтобы скрыть свое волнение.

Огинский молча простился с хозяйкой и пошел в отведенную ему комнату, рядом со столовой. Ирина Сергеевна и Иван Андреевич ушли к себе в спальню, в угловую комнату на втором этаже, где два окна выходили во двор, а прямо против них, на середине двора, было несколько высоких берез; два другие окна выходили в сад, и через стекла виднелись темные кусты смородины, невысокие яблони, и все та же, осенью потемневшая черемуха и все та же осенью разукрашенная рябина.

Ирина Сергеевна посмотрела в окно, выходившее в сад, и долго ее манили осенние яркие звезды. Ей казалось, что эти далекие миры, доходящие до нас, до наших глаз, лишь как россыпь серебряных и голубоватых и неявственных световых точек, и гроздий, и сочетаний, сливались с тайной ее хотящего, ее горячего сердца. Вдруг ей показалось, что кто-то стоит в саду и смотрит на ее окно. Она торопливо задернула занавеску и, странно улыбнувшись, спросила мужа:

— Уж скоро совы будут прилетать. Правда?

— Да, я сегодня уж заприметил в лесу одного филина, — простодушно ответил Иван Андреевич. — Хотел было застрелить его, чтоб тебя потешить. Не знаю, почему-то не захотелось поднимать ружье. Уж очень он любопытно сидел на суку. Смотрел во все глаза и ничего не видел.

Ирина Сергеевна вздрогнула, и, хотя видела, что в словах мужа нет никакого второго смысла, не сказанного, но ей на минуту стало жутко и неуютно. Она подошла к нему вплоть, молча взглянула в это родное красивое лицо с невинно-лукавыми, усмешливыми глазами и, охватив его шею руками, со всей страстью предала его рту свои губы.

И позднее, когда они были в радостной ночи и рядом и он хотел овладеть ею, она, уклоняясь немножко, шепнула:

— Но только завтра ты не пойдешь на охоту, и никого не будешь убивать, да? Ни филина, ни даже зайцев?

— Милая, все, что хочешь, — сказал он, блаженно хмелея.

Эта ночь была ночь страсти, ночь ласк, ночь любви. Эта ночь была предельной чертой, когда с звездных деревьев на небе падают вниз золотые яблоки.

Ночь любящего и влюбленной, снова любящей. Встреча душ во встрече двух тел.

И когда молодая, любимая задыхалась от счастья, она лепетала прерывающимся голосом: «Мой Ваня! Любимый!» Но в крайний острый миг пьянящего восторга, последнего, когда к лицу ее льнуло лицо ее желанного и два беспредельно были одно, в душе ее призрачно пронеслось, как шелест плакучей березы: «Зигмунт! Зигмунт!» Всхлипнуло чуть явственно, пронеслось и потонуло в заглушаемом стоне полного блаженства. «Мой! Желанный!»

Когда падают осенние звезды, они скользят одну секунду, две секунды — и нет их больше. Но иногда звезда падучая ка-

тится, захватывая полнеба, и после нее еще теплится световая полоса. Но вот она погасла и нет следа ее явления. А иногда иногда совсем иначе. Падучая звезда пролетала, разорвавшись огромным огненным шаром, и кто-то где-то, потом совсем случайно и победно найдет обломок не нашего мира, знак небесных полетов и горений, кусок небесного железа, метеорит. И этот гость иных миров надолго останется с нами, привлекая любопытные взоры. А кто-нибудь с душой тоскующей подойдет к такому обломку, и душе его сразу станет хорошо от сознания малости здешнего и правды иного, далекого, куда влечется каждая хотящая душа. И тоскующий уйдет от такого свидания освеженный, ступая по земле, как по звезде.

Та ночь была ночью ниспаденья небесного знака. А когда блаженные уснули, на осеннем небе поднялось и стало ворожить косвенным узором троезвездье Ориона.

Это было давно-давно. Это было полстолетия тому назад.

4

Новая луна зовет новую луну, и девять лун ведут свой вещий хоровод, зовут десятую. Любящий лик смотрит в любящий лик, и, когда любовь переплеснет через край, в тайности возникает новое существо, чтоб творить жизнь, чтоб любить освеженной новой любовью землю и звезды, солнце и луну, себя и цветы, себя и материнскую грудь, таинственнее которой в ее жизнетворчестве нет ничего среди таинств красоты. В неистощимой сказке жизни, плещущей звездными водоворотами, женская тайна, материнское лоно, пребудет навсегда самым звездным знаком, пока будут в мире ночи и дни.

Девять лун благостно колдуют в ворожбе меняющихся ликов. Девять белых прях прядут в запредельности белую ткань для новой жизни. И два целующиеся рта из ночи в ночь блаженны в самозабвении, не чувствуя, не зная, что уже новая душа незримо начала жить на Земле, а девять белых прях медленно и верно ткут и прядут тонкую ткань свежего бытия, новое лунное тело, которое будет солнечно мыслить и солнечно любить.

Благо тому, кто зачат под верным звездным знаком. Благо той малой возникшей жизни, над которой ворожит лю-

бовь, одна любовь, двояко играющая в двух сердцах — мужском и женском. Через преграды вещества до тонкой среды доходит тонкий луч. И счастлив бывает в своей жизни тот, кто еще до рождения был благословлен ликующим чужим счастьем, не чужим, родным, счастьем двоих, которым было так хорошо от ласки, что, играя друг с другом в игру блаженства, невольно они стали отцом и матерью. От боли не уйти ни одному живому. Но и над болью, которая должна прийти и придет, раз горевшее, полное счастье будет стоять далеким светом всю длительность жизненного времени, как долго стоит и не гаснет небесная риза северного сияния над холодным пространством обледеневшего океана, где суровы ветры и причудливы живые существа.

5

Поздно проснулись после счастливой ночи Иван Андреевич и Ирина Сергеевна. Им было хорошо и не хотелось еще начинать новый день.

Гораздо раньше их, совсем рано, проснулся Огинский и, не дожидаясь, когда встанут хозяева, напился чаю и уехал в соседний город Шушун, а уезжая, велел прислуге кланяться господам и сказать, что он скоро вернется, в город же он вызван спешным делом.

Он не вернулся однако ни на другой день, ни на третий и куда-то надолго запропал. Но молодые хозяева не очень были озабочены его отсутствием и, точно сговорившись, не упоминали его имени вовсе. Им было слишком хорошо вдвоем, чтобы они вообще о ком-нибудь беспокоились. В них было ясно и прозрачно, как в этом ясном небе голубой и позлащенной ранней осени.

Ирина Сергеевна даже очень мало видела двух своих малюток — черноволосого Игоря, которому шел уже четвертый годок, и почти годовалого Глебушку, синеглазого толстого мальчонку, которого она недавно отняла от груди. Она любила обоих своих мальчиков, но какой-то рассеянной любовью, порывистой и непоследовательной, то впадая в непомерную озабоченность, из-за какой-нибудь самой пустячной детской болезни, то забывая о них на долгие часы. Да притом

же у Глебушки была веселая нянька, деревенская девка Дашка, здоровая и красивая, забавлявшаяся с ним как будто с собственным ребенком. У Игоря тоже была своя няня, бывшая крепостная Гиреевых старая Ненила, женщина просветленной кротости и нежности. В доме вообще было много женской прислуги, у которой по призрачности их несложных обязанностей времени свободного было сколько угодно, и дети никогда не оставались без присмотра. В этом Иван Андреевич, вообще очень кроткий и невзыскательный, установил строгие правила. Тут даже сказывалось, быть может, не столько отцовское чувство, сколько душевная стройность истинно-доброго человека, которому даже и заброшенного котенка или щенка видеть было бы совершенно нестерпимо. Детям было хорошо, но родителям, совсем еще молодым, было свободно. Вдвое свободнее за последнее дни, потому что недавно мать Гиреева, сердитая и важная Клеопатра Ильинишна, поссорилась с Ириной Сергеевной и уехала из имения Большие Липы в другое имение, в семью своей племянницы.

Исчез тяжелый сглаз, обременительный и недоброжелательный надзор. Слишком непохожи были один на другой два эти женские нрава старая властная крепостница, лишь недавно лишившаяся безусловного права помыкать своими рабами и распоряжаться волей своих близких, и молодая, тоже по-своему властная, но именно по-своему, причудница, мечтательная, но и насмешливая своевольница, отнявшая у надменной старухи всю душу единственного ее сына, красавца и веселого охотника Ивана Андреевича, огорчившего своей свадьбой с московской привередницей немало женских сердец. Ирина Сергеевна, в девичестве Искра, была дочерью жившего в Москве отставного генерала, окончила с шифром Екатерининский институт, гордилась своей начитанностью не только в области романов, владела несколькими иностранными языками, отдавая, конечно, преимущество французскому, любила уколоть умы, крепостнически мыслящие, отточенно-острым отрывком из романтически-вольнолюбивого поэта, а то и философской цитатой произносимой с большим удовольствием, любила также веселье и танцы и внимание, которое легко приковывалось к ней, и очень гордилась тем, что в ее жилах текла хорошая велико-

русская кровь, а также казацкая и татарская. Больше всего на свети любила эта юная женщина волю, всю полноту воли, и, любя волю для себя, не могла она и не хотела понять, как кто-нибудь кого-нибудь в чем-нибудь смеет стеснять. Она не любила мать своего любимого, и было за что.

То были спутанные годы только что кончившегося в России рабства, когда закон уничтожил крепостное право, но в живых лицах, и в мучительных ликах и личинах, оно существовало еще и окрашивало все человеческие отношения в захолустьях с тем большей силой и с тем более уродливой выпуклостью, что сила привычки и повторно длящаяся сила раз сложившихся соотношений действовали на многие души как бы с убедительностью естественного, от самой природы предустановленного закона, те, которые всего сильней и больней пострадали от недавно уничтоженного зла, медлили в месте своего мучения и не хотели выйти из заколдованного круга давнишних привычек порабощенности. Не хотели выйти. Вернее, быть может, сказать: не могли.

Ирина Сергеевна встретилась с Иваном Андреевичем Гиреевым в Москве в год уничтожения крепостного права. Он приезжал в столицу из своего Шушунского уезда по каким-то шушунским делам, не то городским, то есть правильнее уездным, не то по своим личным, что-то купить для своего небольшого имения, по иронии судьбы называвшегося Большие Гумна. И гумен-то там было только пять крестьянских да одно господское. Доходы получались больше от двух других имений, которые держались, но постепенно таяли. Да, конечно, скромный Иван Андреевич приезжал лишь для того, чтобы купить какую-то новопрославленную молотилку. Молотилку он нашел, но также и судьбу свою нашел.

Довольно ему было увидеть два-три раза эту стройную девушку с серыми глазами и русыми волосами, с бровями как-то странно по-восточному изогнутыми, с речью срывчатой, живой и несколько дерзкой, и он уже ничего так не хотел, как жениться на ней. Он ей тоже нравился, но не больше того. Родные ее наговорили юной девушке, что безумно терять такую хорошую партию, и, на четвертом свидании, на балу, где оказалось, что красивый провинциал совсем хорошо танцует вальс и мазурку, сероглазая Ирина в ответ на старомодные слова предложения посмотрела на юного кра-

савца почерневшими глазами и сказала: «Поехать к вам в избушку на курьих ножках? Хотите, так поеду. Чур только не отдавать меня Бабе Яге, если найдется такая».

Влюбленный засмеялся, и пообещал. Вряд ли, однако, в своем простодушии он мог подозревать, что страшная сказка о злых колдованиях Бабы Яги не раз провеяла и продолжала веять в милом его родном доме, в тихой усадьбе Большие Гумна, которая по прихоти невесты для красоты тотчас была переименована и стала зваться Большие Липы, а прозвище Большие Гумна осталось только за деревушкой, примыкавшей к усадьбе и состоявшей всего-навсего из нескольких дворов.

6

После институтских мечтаний и радостей дружбы с веселыми подругами, после развлечений, столь частых и завлекательных в старой Москве, испокон века славившейся своими блестящими вечерами, шумными балами и неизменчивым, крепким в своей уставности, радушным хлебосольством, очутиться в глухой деревушке с ее тенями кончившегося и некончающегося рабства этот переход был тяжелым и болезненным для впечатлительности зоркой, хотя и очень юной души. Ирина Сергеевна сразу загрустила тогда, в первые недели замужества, но все же ее милый был действительно мил с ней, и мало-помалу выяснились многочисленные возможности жить занятно и не пусто. Она привезла с собой много книг, получала из Москвы газеты и журналы, у нее было хорошее фортепьяно, она быстро вошла в почтительный фавор в семьях окрестных помещиков, ее полюбили за открытый нрав крестьяне, которых она лечила в определенные дни и которым делала всяческие поблажки, столь ценные при тесноте взаимоотношений деревенской жизни, научилась она и охотиться с своим Ванечкой, узнала истомную прелесть весенней тяги вальдшнепов, летнюю радость охоты на тетеревиные выводки, более сложную и трудную, но и более любопытную охоту на болотных птиц, осеннее раздолье травли зверя с борзыми и гончими.

Дворня души не чаяла в рыженькой барышне, как называли ее мужики, ни за что не признавая ее как барыню.

И вправду, чопорная мать ее молодого мужа, Клеопатра Ильинишна, державшая в руках бразды правления и с неодобрением относившаяся ко всем прихотям и гуманитарной блажливости юной женщины, куда больше походила на настоящую барыню. Умела приказывать Клеопатра Ильинишна. Не вовсе и зверем была, поступала без вспыльчивости. Умела простить и дважды и, пожалуй, даже трижды то или иное нарушение устава. Но, когда говорила одно слово: «Наказать!», разговора уж никакого не было, а происходило быстрое наказующее действие.

В те два-три года, что предшествовали объявлению крестьянской воли, все умы были в смятении, и повсюду в лесистом Шушунском уезде Средней губернии были в деревнях беспорядки: то порубки в господских лесах, то у какого-нибудь помещика овины пожгут, сад ночью поломают, скотину барскую изобидят, доходило дело и до настоящих бунтовщических деяний. Но в трех имениях Гиреевых порядок был образцовый и царила тишь да гладь. Хозяйский глаз был у дворянской вдовицы, и рука, хоть и дворянская, по-мужицки была сурова и крепка. Правда, мужиков она самодурством и не обижала. Была строга, но точна. Лишку ничего и никогда. Как сказано, так и быть должно. Мужики точность ценят. С дворовыми зато она давала себе всю полную свою волю. И прислуга у нее как по струнке ходила. Каждый старался и выслуживался, да не всякому впрок идет трудное искусство угодить барыне.

Был у Клеопатры Ильинишны хороший крепостной столяр. Она очень ценила крепость вместительных дубовых шкафов, большие липовые столы, на которых много можно наставить солений, и варений, и закусок, и наливок, когда гости пристойные пожалуют, и особенно любила своеобразной, ею самой выдуманной формы, кресла, в которых и посидеть и полежать было удобно, а сверху на спинке разные были петушки и курочки. Еще любила она шкатулочки, которые по-китайски входили без конца одна в другую, в той, что побольше, — другая, что поменьше, а в этой еще меньше, и еще меньше, и прямо до умилительной малости доходила последняя, двенадцатая, а в нее можно было положить все, что нужно для туалетных прикрас. Эти шкатулочки Клеопатра Ильинишна дарила то супруге губернатора, то какому-

нибудь заезжему из столицы чиновнику, то просто-напросто, когда такой стих находил, бродячему сельскому торговцу, раскинувшему на деревенском празднике трехдневную неприхотливую палатку с мятными пряниками, рожками, полупустыми грецкими орехами, леденцами по полкопейки штука и подобным же товаром. Отбудет в новые палестины бродячий торговец, распродав или не допродав свои рожки и пряники, и увезет с собой дивную шкатулку важной барыни, прославить эту барыню не в одном месте.

Работал столяр Авдей. Времени много, дерева сколько хочешь и выдумок у барыни тоже хватит на человеческий век. Все бы хорошо было, но на столяра Авдея нападало нетерпение, когда он доходил до последней или предпоследней малой шкатулочки. Руки шалят, материал зря портят, не хочет рука и не хочет последние мудреные закорючки вырезать. Мутит бедного Авдея. Тут-то искушение и стоит за спиной, и шепчет на ухо: «В питейный, в питейный. Хвати зелена вина». Прямо как ветер осенний по сухим кустам шуршит и шепчет: «В питейный». Авдей убегал в питейный дом, благо он в соседнем селе Якиманне, всего за одну версту. Добежать до питейного заведения легко и войти в него легко и приятно, вот выйти из него это много труднее. И целовальник негодный всегда потакал слабости человеческой. Давал за наличные, не отказывал и в долг. Сидел Авдей в питейном заведении, испивал косушку за косушкой, и мерещились ему всякие вздоры. Стружки плясали камаринского, резные петушки и курочки строили рожи и смеялись над ним, шкатулки казались западней, и в каждой западне по удавленному: не разберешь, кто там удавлен, волк или человек. Кончалось дело плохо. Приволакивали Авдея в господское владение, если еще раньше кто-нибудь, спохватившись, не приходил за ним и не уводил его домой. Вытрезвлялся, или же вытрезвляли его ускоренным темпом, применением разных природных сил: водой, холодным воздухом, иными веществами. Авдей снова принимался за работу, оканчивал неконченное, начинал новое творчество.

Однако же систематической поклоннице порядка в жизни такие излишества никак не могли нравиться. Последовало повторное предупреждение, что еще новая отлучка самовольная — и он будет обуздан, причудливый столяр. И вот после нового прегрешения, слово было заменено делом и Ав-

дея, с помощью домашнего кузнеца, приковали к стулу в его мастерской. Выйти куда-нибудь по-близости во исполнение неуклонной надобности не так уж трудно, волоча за собой стул, в питейное же заведени, с таким добавлением к своему телу пойти зазорно, даже и при сильном желании выпить.

Было это за два года до грядущей воли. Несколько месяцев Авдей выдержал, и, хоть мрачный, нередко сам вышучивал свое особливое положение, и делал шкатулочки и великолепных вырезал деревянных петушков и курочек на спинках очень удобных кресел. Но когда повеял с переменчивым посвистом теплый мартовский ветер и начались частые оттепели, начали с долгим волнующим шелестом падать капли с крыш, не выдержала душа прикованного, и раз под вечер ухитрился он скрыться из дому, где-то запрятался, только его и видели. Верно, ему кто-нибудь помог, и слухи о нем были разные. Говорили, будто так со стулом, волоча его на цепи, приходил он в кабак, испил, ушел, потом снова приходил, уже без стула, но еще с цепью и бежал в далекую знакомую деревню, а там следы его потерялись. Говорили также, что, испив водки, пошел он, волоча свой стул по дороге в город Шушун, будто жаловаться кому-то, да как стал переходить речку Ракитовку, лед под ним проломился, и утонул Авдей. А речка Ракитовка в самую Волгу несет свои воды. А вода и подо льдом течет. Сгинул столяр, мастер китайских шкатулочек. Никто о нем больше ничего не слышал.

Рассказ об этом столяре Ирина Сергеевна узнала вскоре по прибытии своем в Большие Липы на охоте, из уст веселого и остроумного кучера Андрея Культяпого. Андрей был отличный стрелок, несмотря на то, что на правой руке у него два пальца были совсем оторваны, а три остальные существовали лишь в половинном виде. Несчастный случай, какие бывают на охоте. Стал тянуться за чем-то в карман левой рукой, а правой держал ружье за дуло, а курок был взведен — прострелило кисть правой руки. Случай этот, такой прискорбный по существу, спас Андрея от солдатчины. А солдатчины очень он не хотел. И когда на охоте Андрей Культяпый, разбитной и говорливый, балагурил с рыженькой барышней, с молодой барыней Ириной Сергеевной, он много ей рассказывал такого, что в душе ее возникла и на всю жизнь запомнилась совсем иная картина. Молодой, здо-

ровый парень, влюбленный в лес, влюбленный в охоту, влюбленно глядящий своими голубыми глазами в черные глаза любящей его девушки, знает, что через несколько дней, самое позднее через несколько недель его угонят в город, забреют, он будет рекрутом, он будет на долгие годы, быть может, навсегда, в солдатчине, в той недоле, в той беде, которую, как море, никакой ложкой не вычерпаешь. А деревья шумят и шепчут о зеленой воле, о неоглядном раздолье. А с дерева на дерево птицы перелетают, и любятся птицы, любят друг друга, и свою песню, и свою нелюдскую зеленую волю. Зовет лесная опушка все глубже и глубже в лес. И чем глубже уходишь в лес, тем светлее горят в глубинном молчании и шепоте леса любимые черные глаза. Чем глубже уходишь в лес, тем глубже и вольные душа, тем меньше у нее желания и способности принять человеческое рабство, дозволить своей доле быть игрушкой в чужой холодной расчисленной игре. Что же лучше? Все тело, всю душу отдать на погибель? Или одну руку свою изуродовать да вот не уйти из этого зеленого царства? А жаль руку. Вот какая она сильная и хорошая. Ишь какая она на солнце, вся как есть золотая.

А деревья шумят, шумят. А птичьи голоса зовут. А от земли дух такой крепкий идет, точно и там в земле, точно и там под землей жизнь живет, чье-то сердце жить хочет на воле. Шелохнулось что-то в можжевельнике. Промелькнул желтый мех звериный. Лисица остановилась, приподняла острую лукавую мордочку. Потянула носом, да и в кусты. Попади-ка она в западню, так скорее лапу себе отгрызет, а уж в западне не останется. Хоть с тремя лапами, а жить тоже хочется.

Гулко раздался одинокий выстрел. С резким криком взметнулась откуда-то стая галок. С птичьим визгом долго носилась она вся перепутанная. С визгом, обезумев от боли, бежал к деревне Андрей, с ужасом смотря на свою окровавленную изуродованную руку.

Страшная, должно быть, была эта рекрутчина. Одно упоминание о ней иногда вызывало такое впечатление, что возникали последствия неисчислимые.

Был у Клеопатры Ильинишны любимчик из дворни — Федя. Как все дворовые, выкрученный он был в своих ухватках, и трудно было понять, смотря на него, весело ли ему до последней степени или у него пятки горят, и не то, что ему пля-

сать хочется, а пожалуй — он прямо к черту в ад норовит спрыгнуть. Все ж он был парень дошлый, чтобы угодить. Цветочков ли каких вовремя нарвать, или первую корзиночку из бересты с первой земляникой принести, или барыню ловко подсадить, когда она в воскресенье в якиманскую церковь молиться выезжала, на это никто как Федя, первый был мастер. А чем-то все-таки не угодил. Осерчала на него Клеопатра Ильинишна всего за одно слово, которое хоть и без умысла им было сказано, а прозвучало для нее очень непочтительно. Наказывать его по-настоящему она не захотела, а по-старозаветному попугать все-таки решила. Нарочно нагнать страху, чтобы впредь уж не забывался, но, продержавши день-другой в страхе, простить. Федю разбудили под утро, еще ночью, когда он, разоспавшись, вряд ли что и понимать мог разумно, и сказали ему: «Вставай, Федя. В город повезут. Барыня велела лоб тебе забрить». Федя, как вскочил, так и грохнулся в ту же минуту об пол. Стонет, лопочет, пена клубком бьет изо рта. С того самого дня и часа, обозначилась в Феде падучая. Припадки происходили не часто, но всегда, как нарочно, приурочивались к какому-нибудь торжественному случаю в доме: званые гости, именины или что-нибудь в этом роде. Стали его звать Федя Порченый и Федя Припадочный, но из усадьбы не удалили, и сам он не ушел от господ, когда вышла воля. В первые же месяцы своего замужества Ирина Сергеевна получила возможность точно наблюсти, в чем именно состоит падучая.

Но, сколько бы ни случалось в жизни бед и неудач, замечать только их это значит быть суматошным, это значит не замечать, что в жизни царит порядок, иметь неправильный взгляд на вещи и унижать себя до катастрофического миросозерцания. Так полагала Клеопатра Ильинишна, и жизнь в усадьбе и на деревне протекала своим обычным порядком.

7

Первые месяцы и годы супружества юной четы прошли в деревенском однообразии, расцвеченном многочисленными непышными, но яркими радостями и развлечениями, которых в деревенской жизни гораздо более, чем о том могут думать и понимать горожане. Каждый новый посев, каждый час труд-

ной, но и веселой страды; поле ржи, начинающей колоситься; лунная ночь в июне и в июле, когда шелест колосьев становится уже отягченным и звенящим, мирное удовлетворенное мычание стад, возвращающихся к вечеру с пастбища; первая песня жаворонка в поле, крик кукушки в березовой роще; бодрый звук охотничьего рога осенью и звонкий лай гончих, бегущих по лесной опушке; первые заморозки, свежая пороша, от мягкости которой и непочатой белизны душа становится легче и воздушное; скрип полозьев, когда мчишься в санях среди оснеженных елей и берез, а спугнутая с ветки ворона, взлетая, роняет на проезжающих пушистые хлопья снега; святочные смехи с домашними и гостями, святочные игры и гадание, веселый треск пылающих дров в печках и в камине; таинственное жужжание первой мухи в мартовской комнате, разогретой осилившим зиму лучом; пленительное позванивание капель, падающих с крыши в разымчивой оттепели; первые черные пятна земли, проступившей из-под снега и возвестившей, что радость весны близко; ни с чем несравнимое счастье увидеть первый зеленый стебелек еще не окрепшей травки, безмолвно говорящей душе о таинстве воскресения, ожидание, умиление и душный ласковый восторг пасхальной ночи в сельской церкви; желтые цветы, желтая цветочная пыльца вербы, трудолюбивая пчела, спешащая начать месяцеслов медвяных забот; зеленый лес, зеленый луг, зеленый сад, зеленовато-желтоватые краски запоздалого весеннего заката. Нет, только тот, кто родился и вырос в деревне, с первого мига обласканный, немудреным любовно-повторным благословением встреченный, — только он знает, сколько во всем этом, какая первозданная благодать в звездах, увиденных из лесной глуши, в цветах, расцветших под твоим оконцем, в остром запахе деревенской земли, согретой солнцем, весь день гуляющим по синему бездымному небу.

И много было светлой и горячей ласки между юной и юным. Но близкое сердце, тяжелое сердце его матери, было полно сглаза.

Любила ли любимая своего любимого, который так ее любил? Этого она не знала. Он ей нравился. Только это.

В начале брака все занимало Ирину Сергеевну. Ее красивый молодой муж, его ласки и внимательные его заботы о ней, новизна деревенской жизни, беспрерывные гости и деревенс-

кие забавы, новизна внутреннего состояния ее самой. Она сама в столь новом лике положительно интересовала юную женщину. Даже суровая свекровь Клеопатра Ильинишна первый год не слишком ее терзала своим властолюбием и полным несовпадением с невесткой во взглядах, в характере, в основных понятиях доброго и злого, в самых малых ухватках и привычках. Первое время естественно возникшая между двумя женщинами безмолвная борьба занимала младшую соперницу. Кто кого? Когда молодая убежденность и юная веселая сила переливаются по всем жилкам и перебегают светлыми вспышками по каждой новой звенящей минуте, бороться приятно, притом же не так уж в одиночку. «Посмотрим. Посмотрим. Ванечка — мой!»

Ход внешних событий был тоже за молодую госпожу и против прежней владычицы. Что ни делай, рабство рухнуло, и приходилось делать ограду своего властительства не из крепких и острых кольев, а из каких-то полугнилых лядащих подпорок. Все рассыпается, самое крепкое не устоит, крепость-то главную сокрушили. Не люди, а людишки пошли, оборыши. «И на Ванечку надежда плоха, — размышляла старуха, — больно уж мягок. Мужчина, а лисьим хвостом метет».

Правда, у Ивана Андреевича было глубокое внутреннее отвращение ко всякой насильственности, ко всякой несправедливости, к посягновению на чужую душу и чужую волю. Кротости и мягкости он был исключительной. В суровых днях и в обстановке, полной жестокого и грубого, он был как человек, пришедший издалека, из какой-то другой земли, где сердца нежные и нравы мягче. Быть может, тут сказывалась иная кровь, не великорусская, такая суровая. Его дед был с юга, с берега Черного моря, где всегда, сравнительно со Средней Россией, больше знали волю, более ценили право каждого отдельного «я», и, при многих жестоких подробностях жизненной борьбы, были нежнее люди сердцем своим, знающим раздолье степи, воды и неба. Не потому ли он так любил охоту, любил уйти и на несколько дней потеряться в лесу и в окрестных деревушках, с их перелесками и болотцами. Черные глаза Ивана Андреевича видели зорко, и, если он не любил много говорить и всегда бывал немногословен, глаза его всегда умели сказать многое. Этим, быть может, он более всего нравился Ирине Сергеевне.

«Нравится. Он мне нравится, Ванечка», — всегда говорила про себя Ирина Сергеевна, размышляя о муже. Но, когда она читала какую-нибудь мудрсную книжку или гуляла одна, проходя по саду или пробираясь по длинной меже через поле к лесной опушке и любуясь на качающиеся под ветром голубые и синие головки васильков, она иногда спрашивала себя: «Люблю ли я по-настоящему?» И не знала сама, что себе ответить. Когда они бывали вдвоем и ласкались друг к другу, ей легко было сказать: «Люблю». Но она называла любовь, не понимая всего содержания этого радостного, но и жуткого, ослепительного и острого слова.

И он говорил ей: «Люблю». Но, когда он охотился не с нею вместе, а один, что бывало чаще, он охотился дольше, и ей нередко приходилось бывать одной подолгу. Они любились нежно и страстно, но любовь еще только скользила по их душам. И детей не было. Прошел год, прошло два, пошел третий год. Детей не было.

«Что же это у вас детей нет?» — вопрошала Ивана Андреевича любящая порядок Клеопатра Ильинишна. Этот вопрос не нравился ни ее сыну, ни ее невестке. Но время от времени, и чем дальше, тем грубей и настойчивей, она продолжала его повторять. А однажды, когда она была с сыном вдвоем, у нее хватило даже духу зло пошутить.

— Или твоя рыженькая барышня до сих пор барышня?

Иван Андреевич побледнел, вышел молча из комнаты и на несколько дней уехал на охоту. Ирина Сергеевна по возвращении его домой сумела у него выпытать тайну его недовольного лица. Конечно, поупрямившись, он ей все рассказал. Но, если ему было достаточно нескольких немногих дней на свободе в лесу, чтоб развеять свою обиду, в сердце Ирины Сергеевны вонзилось такое жало, что она в душе поклялась: «Или она, или я».

8

Прихоть судьбы пожелала, чтоб совсем вскоре после этого она почувствовала, что в ней возникла новая былинка человеческая. «Ванечка, — сказала она красная и прижимаясь лицом к его плечу, — у нас будет ребеночек».

Иван Андреевич был счастлив необычайно. Ему уже давно хотелось иметь ребенка.

Месяца через два после этого разговора с женой, он задумал устроить званый обед и пригласил к себе всех окрестных помещиков и кое-кого из местных важных персонажей, жителей города Шушуна. Ему хотелось отпраздновать свою тайную радость, о которой он впрочем не замедлил сказать своей матери, а заодно он хотел закрепить семейным праздником примирение между Ириной Сергеевной и Клеопатрой Ильинишной, которые целый месяц дулись одна на другую. Ссора произошла по причине довольно изумительной. Когда Ирина Сергеевна приехала в усадьбу Большие Гумна, она же Большие Липы, кухаркой у Гиреевых состояла бойкая разбитная бабенка по имени Арина. Знакомясь с дворней, Ирина Сергеевна особенно полюбила эту веселую хохотушку, и между ними образовалось даже нечто вроде дружбы уже по одному тому, что обе были насмешливые и веселые и обе назывались одним именем, только у молодой барыни имя носило несколько иностранный характер, а у бабенки чисторусский. Иногда, когда они обе были почему-нибудь особенно довольны одна другой, кухарка, делая важное лицо и чуть-чуть подмигивая, говорила:

— Так уху сегодня прикажете сварить, Арина Сергеевна?

— Уху из карасей, Ирина, — говорила в ответ рыженькая барышня, с деловой серьезностью, но помирая от смеха.

Случилось как-то так, что, перебрасываясь таким образом смехами и измененным именем, они неуловимо ни для кого, но для них обеих понятно, потешались над чопорной важностью Клеопатры Ильинишны, которая всегда, говоря «Ирина» или произнося «Арина», произносила это имя, в той или иной его форме, с такой значительной выразительностью, что ни ослышаться нельзя было, ни впасть в недопустимое недоразумение. Одно дело — имя барское, другое дело — имя мужичье. Эти два мира не соединяются, и не должны соединяться и смешиваться, несмотря ни на какую географическую близость.

Дошел ли до Клеопатры Ильинишны каким-нибудь путем рассказ об этой пересменке, или просто ей взбрело в голову прихотливое и вовсе сумасбродное измышление, но только однажды, вернувшись после двухдневной поездки на

охоту с мужем, Ирина Сергеевна узнала, что у нее новая кухарка Устинья, а прежняя, Арина, отпущена или, вернее, выгнана. Когда она стала спрашивать Клеопатру Ильинишну, почему это, та давала неопределенные неохотные ответы, вроде: «Невежлива», «Стряпуха не бог весть какая», «Больно молода» и тому подобные вздоры. Когда же Ирина Сергеевна рассердилась и стала спрашивать в требовательном тоне, Клеопатра Ильинишна сухо отрезала:

— Барыне и кухарке неприлично иметь одно и то же имя. Нарушает во всей дворне уважительность.

Ирина Сергеевна очень обиделась, но смолчала. Когда же через несколько недель Клеопатра Ильинишна первая сказала примирительные слова, она не могла не помириться. Званый обед должен был закрепить семейный мир.

Дворовые девки, все те же, что были в доме и до объявления воли, не в меру разряженные и невпопад суетливые, оживленно шмыгали по комнатам, довершая последние приготовления к приему гостей, которые уже начали съезжаться заблаговременно. Впрочем, их обязанность ограничивалась главным образом приготовлением стола закусок, вернее целых трех столов закусок, в разных углах обширной столовой, где должны были собраться до двадцати слишком человек. Бутылки с вином, а главное, графинчики с настойками и наливками, веселили глаз и манили желание. Простая водка, рябиновка, полынная, несладкая вишневка и сладкая вишневка, густая как мед, играли в граненом хрустале, и солнечный луч, пронизав желтый, розовый, красный и темно-красный цвета, играл на потолке и на стенах прыгающими и качающимися светлыми зайчиками. Гости съехались, и было шумно. Выпить после дороги, перед тем как подадут обед, две-три, а то и четыре рюмки огненной влаги и закусить рыжиком, или груздем, или кусочком холодного поросенка это весьма оживляет дух и делает человека добрым и разговорчивым. А поговорить было таки о чем. Сколько новостей самых разнообразных с этой крестьянской реформой. Все вверх дном. Остряки шутили, хозяйственные помещики хмурились, и, хотя они, поскольку от них зависело, обидели и ободрали мужиков как только было возможно, они поносили на чем свет стоит эту глупую перемену, которая всем только обещает гибель, как они выкладывали с ясностью несомненной, прямо по пальцам. Эта более

солидная часть гостей толпилась преимущественно около Клеопатры Ильинишны, ожившей от присутствия людей положительных и разумных, а не ветрогонов, предпочитавших смеяться и шутить около молодой хозяйки. Ирина Сергеевна, довольная вниманием, чувствовала себя средоточием. Матовые жемчуга на ее изящной белой шее мерцали от каждого быстрого поворота головы, и серые глаза смеялись глазам собеседника, хотя как будто, для внимательного взгляда, они смеялись больше для себя, и за улыбчивой веселостью проступала томящаяся грусть. Клеопатра Ильинишна тоже чувствовала себя средоточием. Брошка из мелких бриллиантов и рубинов, посвечивая у ее ворота на черном шелке платья, была совсем победительна. Когда новый гость подходил облобызать ее ручку, она чинно прикасалась своими губами к его лбу, не торопясь, не слишком крепко и не слишком уклончиво, ровно в меру. И, если молодая царица бывает хороша и привлекательна, разве для душ возвышенных не имеет особого возвышенного очарования лик вдовствующей императрицы?

С согласия молодых господ и по непременному желанию Клеопатры Ильинишны главным подавальщиком на званом обеде был выбран не переставший быть любимцем старой барыни Федя Порченый. Он был облечен по этому торжественному случаю в особый камзол, перекроенный из полковничьего мундира покойного Гиреева. С утра Федя выкручивался и выслуживался перед своей суровой, но и милостивой покровительницей и был в каком-то вдохновеньи вычурной говорливости, возбуждавшем шутки и насмешки дворовых девок, но не однажды заставившем чопорную барыню подарить его сочувственной, снисходительной улыбкой. Видя ее в полном параде, он осмелился сказать ей: «Наша барыня нынче прямо как сама государыня». И Клеопатра Ильинишна не была недовольна этим поклонением.

Все гости, покончив с выпивкой и закуской, уселись наконец по местам, и Федя Порченый показался в дверях столовой с огромной миской супа из потрохов, а следом за ним шла некая Малашка, неся длинное блюдо с блинчатыми пирожками. Сосед Клеопатры Ильинишны, наиболее именитый из местных дворян, Платон Платонович Куроешкин, завершая свою предобеденную беседу с ней, громко воскликнул как раз в эту минуту: «Что бы там ни постановляли в

высших инстанциях, а это мужичье — просто малые дети, мы же — законные их родители». На розовом лице Ирины Сергеевны блуждала ироническая презрительная улыбка, но, как по внушению волшебства, эта беспечная улыбка стерлась, а в расширенных глазах отразился ужас. Она смотрела на Федю Порченого и видела: когда он дошел до средины столовой, лицо его вдруг задрожало от внутреннего смеха, — ему хотелось вдохновенно воскликнуть: «Кто же вы, как не отцы наши благодетели?» — внезапно горевшие его глаза стали безвыразительно-стеклянными, как бы сразу потушенными изнутри, он взмахнул вверх миской, с силой швырнул ее от себя об пол и в конвульсиях грохнулся сам. Пирожки с блюда у Малашки один за другим посыпались вниз, падая как яблоки с яблони, которую трясут, но блюдо она не выпустила из рук, а испуганно, с цепкой силой, ухватилась за него, не замечая однако, что она держит его боком. Во время наступившего всеобщего смятения, припадочного выволокли из столовой, черепки и рассыпанные пирожки убрали Ирина Сергеевна на долгие минуты убежала из-за стола. Но Клеопатра Ильинишна успокоила гостей, и обед осуществился полностью, а когда Ирина Сергеевна, сделав все, что можно, для успокоения больного, вернулась в столовую, к любопытствующим и мирно вкушающим гостям, вдовствующая императрица посмотрела на молодую женщину прямо с царственным неудовольствием. Кто-то, усмехнувшись пришедшей молодой хозяйке с любезностью сказал, что суп с пирожками погиб, но это не беда, ведь в Англии, кажется, на званых обедах тоже не подают супа, а чем же мы, скажите на милость, хуже англичан.

Ирина Сергеевна ничего не ответила. В сжавшемся ее сердце был точно гвоздь. И бесчисленные, но слишком беспорядочные для слов торопливые мысли жалили ее тонкими осиными жалами.

9

Волны приходят, и волны уходят, не оставляя следа на пространстве вод, но волна за волной, повторяясь и приходя, подтачивают и самый высокий берег.

Человеческие волнения сменяются человеческой ясностью и покоем, но разве знаем мы все значение одного движения нашей руки, всю дальномечущую следственность одного нашего слова, одного взгляда?

Нельзя взять цветистую бабочку за крылья и не стереть ее красочную пыль, не изменить ее узор, с которым, как с торжественным знаменем, впервые она вылетела на волю в Божье утро. Вот, за мгновеньем неволи она летит, опять свободная, перепархивая от цветка к цветку. Но все утро уже изменилось, и нет в нем прежней правды всесовершенной красоты. Свежим цветам как будто нехорошо от соприсутствия в солнце этой бабочки. Она дышит крыльями, то раздвигая, то сдвигая их. Но на левом крыле снизу обломился тонкий зубчик, а на правом крыле косвенная, чуждая ее существу полоса, скелетная стекловидная бесцветная полоса неуместного прикосновения.

И нельзя небрежно бросить нож в траву и не сделать шрам в лике Земли. В мире больше жизней, чем мы знаем, и сложнее в мире, гораздо тоньше протянутой нити, чем это может видеть недосягающий наш глаз.

Печально было рождение первенца, которого так ждали в семье молодых Гиреевых. Ирина Сергеевна рождала с большими мучениями и несколько ранее должного срока. И врач и акушерка боялись рокового исхода, но обошлось. Только молодая мать занемогла, прохворала несколько недель, и у нее не было радости выкормить своего первого ребенка, Игоря, собственной грудью. Конечно, нашлась здоровая кормилица, на подмогу ей как няня подоспела старая испытанная Ненила, знавшая всяческие дни в доме Гиреевых. Но благословение не веяло над новой малой жизнью. И когда Игорь немного подрос, он точно знал, что над его часом на Земле с самого начала возникли недобрые веяния. У красивого и крепкого мальчика с пронзительными серо-зелеными глазками и с курчавой черной, — как позднее оказалось, очень умной — головкой, было слишком часто грустное лицо и без всякой видимой причины бывали нередко такие печальные детские очи, что взрослым становилось неуютно и нехорошо от молчания этого ребенка. И капризен он был чрезвычайно, а если не исполняли его прихоть, он бросался на пол, ударял кулачонками по полу и так вздорил, что всякую его прихоть мало-помалу привыкли исполнять немедленно. Но он был

ласковый, только с выбором, и временами был бурно-веселый. Несмотря на то, что малютка был совсем не многолетним — у него были совершенно определенные пристрастия и неприязни к людям. Он всегда радовался отцу, был сдержан с матерью и совершенно не выносил чопорной бабушки. Но более всего он радовался старой няне, ласковой Ненилe, и, в сущности, только с ней и проводил все свои детские часы.

Другой мальчик, Глеб, — о, другой мальчик, только что переходивший из младенчества в детство, — хоть и синие у него были глаза, самым существованием своим пророчил многократные дни не синего, а темного неба.

У детей часто при рождении бывают глаза синего цвета, густо-синего, который мало-помалу переходит в совершенно другой. Глаза становятся голубыми, бледно-голубыми, иссиня-серыми, вовсе серыми, иногда зеленоватыми или зелеными. Природа прихотлива притом и своеобразно неожиданна вообще. Может быть, глаза у Глебушки еще изменятся, но пока они синие, очень синие.

— Ни у кого у нас, у Гиреевых, не бывало синих глаз, — изволила сообщить Клеопатра Ильинишна Ирине Сергеевне. — Кажется, и в вашей семье тоже, как я слышала, — прибавила она не без деловитой язвительности.

— А я захотела, чтобы у моего ребенка были синие глаза, вот они и синие, — с веселящимся гневом сказала Ирина Сергеевна, дерзко и прямо смотря в глаза старухе.

Та выдержала взгляд, не опуская и не отводя своих тяжелых глаз.

— Ну, коли захотела, — сказала она наконец, — против хотенья что же можно сделать? Хоти, хоти, матушка. До многого дохочешься. Может, нахохочешься, может, наплачешься.

Этот краткий состязательный разговор был надолго последней беседой между молодой женщиной и матерью ее мужа. Между ними была уже однажды — давно — бешеная ссора из-за дружбы Ирины Сергеевны с Огинским, и из-за того, что он слишком часто бывал в гостях и целыми неделями был совершенно неразлучен с молодыми Гиреевыми, подружившись и с ним, и с ней. Знакомство с Огинским и его появление в затишье усадебной жизни было как свежий порыв ветра, залетевшего в комнату неожиданно и по-весеннему волнующе. Другой мир пришел в тесноту установленного и застывшего в сво-

ем условном уставе, мира. Но все это было, как песня, которая начинается освободительными веселыми звуками и кончается неопределенным терзающим напевом. Красивый и юный Иван Андреевич, красивый и юный Огинский — они оба в эти весенние часы своей жизни становились, то в одну, то в другую минуту, каждый красивее самого себя, от ощущения высокого полдня и от неясно сознаваемого, но чувствуемого состязания в поклонении юной желанной женщине. После месяцев душевной опьяненности Ирина Сергеевна вконец измучилась от своих стремительных порываний то к одному лику, то к другому, то к одной душе, то к другой. После красивого внутреннего сближения с Огинским, овеянного поэзией и новизной близкого, но и чужого мира, после вспыхнувшей между ними краткой нежной тайны, тут же и порвавшейся, у Ирины Сергеевны, независимо ни от каких иных соображений, возникло настойчивое желание не видеть его, расстаться навсегда или хотя надолго. Но тем самым ее вдвойне оскорбили назойливые слова свекрови, недвусмысленно требовавшей от нее того, что ею самой уже было решено и осуществлено. «Уж истинно, — размышляла Ирина Сергеевна, — Свекор гроза, а свекровь выест глаза. Свекра, к счастью, нет, но свекровь за себя постоит». Ссора была, но скоро и кончилась. А этот столь выразительный краткий разговор о синих глазах в самой своей малости был последней каплей, перелившейся через край чаши. Иван Андреевич узнал об этом разговоре не от жены, которая с некоторого времени была с ним странно сдержанна и холодна, а от матери. Несмотря на обычную свою сыновнюю почтительность, Иван Андреевич, с глубоким внутренним волнением, сказал:

— Матушка, мне очень трудно, но Ирочку я люблю, и нам с ней целую жизнь жить.

— Я и хочу, чтоб вы с ней хорошо целую жизнь жили, — возразила мать.

— Тогда зачем же постоянно вставать между нами?

— А не другой ли кто встал между вами?

— Зачем говорить мне это? Я сам свое знаю. Нехорошо бросать отраву между двоих.

— Я не о себе забочусь, Ванечка.

— Можно так заботиться о птице в клетке, что она от забот о ней ноги протянет.

— Это кто же птица в клетке, ты или Ирина? — Иван Андреевич долго и грустно молчал.

— Что бы ни было, — сказал он наконец, — а становиться между нами нельзя. Я верю Ирочке и люблю ее. А если она меня не захочет, это уж воля ее сердца. Как сердце ей укажет, так и поступит. Я не судья ни ей и никому. Рано меня ставить в судьи. Я не хочу этого.

Такого малодушия и такого беспорядка, как определила положение вещей великолепная уставница, Клеопатра Ильинишна, она не могла вынести. Окончательно повздорив и с сыном, и с невесткой, она уехала совсем из дому, переехала к племяннице, в другое имение.

Недоброе сердце ушло, и много с ним исчезло серой паутины, которая сплеталась в бесконечную пряжу грязно-дымного цвета и застила свет. Уползла очковая змея, любящая по-своему человеческие жилища, и любимой своей пищей избравшая голубиные яйца. В свой час, ослабев, она опять приползла — повиниться. Это было слишком поздно.

10

Кто видел сны, тот, знает, что длинный сложный сон, обнимающий по содержанию своему длительное время, может присниться в несколько секунд. Подобно этому, в несколько минут, пролетевших как секунды, Ирина Сергеевна, проснувшись первая после счастливой ночи любви, увидела в дымных бегущих призраках и в картинах ярких, но мгновенно тающих дни сватовства Ивана Андреевича и эти первые годы совместной жизни с ним. Она чувствовала себя освеженной и обновленной, с тех пор как мать Ивана Андреевича уехала от них. Все изменилось в ней и в доме. Она не испытывала к ней ненависти, нет, она даже ее жалела, ей казалось даже, что эта чопорная не такая уж злая, и ей не было радостно от того, что уехала она, конечно, из-за нее, из-за того, что Ванечка встал защитой за нее. Но как ей было радостно в то же время, что ее нет тут, что ее не будет ни через час, ни через день. И Ванечка стал совсем другой. Между ними была серая мгла, которая меняла их лица и скрывала выражение глаз. Не могли глаза читать в близком сердце. А теперь!

Она посмотрела с любовью на лицо спящего мужа. Полоса солнечного света, пройдя через неплотно задвинутую занавеску окна, выходившего в сад, ярко озаряла это лицо, спокойное, довольное, милое.

— Ванечка, — шепнула она, поцеловав его, — вставай, глупенький. Бог знает, как мы проспали.

Ванечка потянулся, усмехнулся, крепко обнял ее за нежную шею и с ласковой шутливостью сказал:

— Сейчас. Проспали-то проспали, да я, пожалуй, в этом не виноват.

Он встал, отдернул занавеску у одного из окон, минутку полюбовался на солнечное утро, подошел опять к кровати, взял с ночного столика папиросу, закурил, поставил ступню правой ноги на край постели и, опершись правым локтем о согнутую колонку, наклонился к глядевшей на него, и, смотря на нее через расходящейся голубоватый дым, стал без конца повторять:

— Ты милая, милая, милая, милая.

Вчера ночью, когда он ложился в постель, и свеча была еще не погашена, она снова с особенной секундною четкостью, какая бывает в видении, заприметила, хорошо ей знакомую, родинку на смуглой икре правой его ноги. Это было как маленькое солнце, темное, темно-коричневого цвета. Сейчас она опять смотрела на него, и эта родинка, довольно большая и правильно очерченная, совершенный кружочек, волновала ее и возбуждала в ней прилив неизъяснимой нежности. Вдруг, быстро подняв голову и откинувшись от подушек, влюбленная прижалась щекой к этой смуглой ноге и крепко поцеловала это темное солнце. В ту же секунду он упал к ней опять с лицом озаренным, с глазами горящими. Ему казалось, что он в первый раз ее любит, ей казалось, что она любит его в первый раз, и, блаженные, опять они два были одно.

11

Когда охотники в лесу потеряются, разделенные разными манящими целями, и нужно всем соединиться в одном месте, сойтись с добычей и собрать всех собак, забежавших слишком далеко, они, перекликаясь, трубят в рог. Весел гулкий звук

охотничьего рога, поющего переливами в осеннем лесу. Спугнутые, перелетают и стрекочут сороки, взволнованные и озадаченные непривычной музыкой. Весело и радостно лают собаки, узнавая приказ хозяина, успокоенно подчиняясь знакомому зову, разрешающему отдыхом их усталость, не давая им больше вовлекаться в новые поиски, прекращая гон. Падают нарядные желтые листья. Белка, распушивши свой рыжий хвост, перепрыгнет с размаху с дерева на дерево. Мелькнет среди кустов и просвистит синица. Мелькнут на кусте пестрыми нежными сережками гроздья бересклета. Молча радуются сонной своей жизни, приподнимая широким белым теменем слипшиеся старые листья, глубью пахнущие грузди. Охотники сошлись. У них веселые глаза и много добычи, а на добычу хотящим завистливым ревнивым и жалующимся лаем, подвизгивая, лают запьяневшие собаки.

Когда деревенские девушки уйдут спозаранку в лес за ягодами, наклоняются они к розовой и красной землянике, поклоняются матери-Земле, когда рвут ее, дышут духом земным, всеми крепкими лесными выдыханьями, щеки алеют, сердце бьется чаще, уводит их мечта, обещает им мечта, невидимое им видимо, а самое видное незримо, и кружит их тогда леший, без толку водит все по одним и тем же местам, из которых никак не выберешься, заводит в болото, где зеленые лужайки, но с окнами бездонными. Тут только сказать заговор да громко аукаться. И потерявшиеся девушки аукаются. «Ау!» звучит из березовой рощи, вызолоченной солнечными пятнами. «Ау!» доносится из шаткого осинника. «Ау! Ау!» доходит от болота, где всегда по трясине кто-то ходит, шлепая незримыми широкими ступнями. И за соседним холмом играет эхо. И слышно бульканье в лесной речке, пробирающейся под навесом из ветвей ракит, точно кто-то с косогора скатывает в воду береговые голыши. Девушки сошлись в зеленом свете леса. «Ай, подруженьки, сколько земляники-то!» Алеют щеки и горят глаза.

Когда ласточка надолго улетает за мошками, жалостно пищат в ее маленьком, из грязи слепленном, круглом домике заскучавшие беспомощные дети. Им тесно, и душно, и голодно без матери. Вот летит она, прилетела наконец, острокрылая, с клювиком, полным всякого добра. Как живительно стало сразу щебетание малых птенцов. Веселее сразу станет и челове-

ческому сердцу, слушающему снизу, в ином большом доме, прислушивающемуся, летит ли ласточка к своим детям, осуществляется ли в голубом воздухе дня, в его прозрачном золоте, правда и нежность творящей жизни. Любящий и любящая нашли и узнали друг друга. Любимая вся просветлела от любимого. Любимый дышит полной грудью. И ласточкиным птенцам хорошо, они щебечут весело и ласково.

12

Тесно обнявшись, как дети после ссоры, чувствующие друг к другу после примирения двойную нежность, Иван Андреевич и Ирина Сергеевна, хоть ссоры между ними и не было, были действительно как дети. Они ходили взад и вперед по липовой аллее, уходили в другой сад, и молча смотрели на красные гроздья рябины. Прилетал серый дрозд на высокую ветку, и, не смущаясь близостью людей, начинал клевать красные ягоды.

Выходили из сада на двор, заходили в длинный хлев и любовались на коров, холеных и довольных своей коровьей жизнью. Шли на деревню, к пруду, но тут их объятие размыкалось, и, идя рядышком, они посмеивались на свою чинность. При таких прогулках по деревне, в тот или другой день, конечно, им встречался кто-нибудь из мужиков, заводилась обычная беседа, и обычно кончалась какой-либо просьбой.— Поправить крышу хочешь? — повторял Иван Андреевич слова рачительного мужика Назара. — Да возьми у меня тесу сколько нужно. Там около сарая у меня лежит его много.

Назар был, собственно говоря, самый зажиточный мужик среди немногочисленных обитателей деревеньки Большие Гумна. Но, может быть, именно в силу своей хозяйственности и домовитости, он смелее, чем другой, обращался к барину с просьбами. Впрочем, всех мужиков-то в Больших Гумнах было лишь несколько, и Гирееву было нетрудно исполнять их просьбы, в чем Ирина Сергеевна не только никогда его не удерживала, но всегда поощряла и подталкивала.

Влюбленные возвращались домой. Заходили на конюшню. Кони, узнав их, весело ржали. Белый арабский конь

Джин, подаренный Ирине Сергеевне Огинским. Коренастый и злой иноходец, на котором ездил верхом Иван Андреевич. Троечные лошади серой масти, с яблоками. Много еще и других. Лошадиные морды тянулись к счастливым, храпели и обнюхивали их руки, в которых для таких свиданий бывали иногда припасены изрядные куски сахара.

— А не покататься ли нам верхом? — спросила Ирина Сергеевна?

— Так что ж, — отвечал Иван Андреевич. — Поедем в Михалково или в Тихоречье. Мне как раз и нужно в Тихоречье, велеть еще тесу привезти, да и насчет дров тоже.

Михалково и Тихоречье были те другие два имения, вернее именьица, откуда Гиреевы получали для своих Больших Лип немало всякого добра. Тихоречье было даже и не усадьбой, а просто лесным хутором, где в доме лесника они обычно ночевали во время затянувшейся охоты, особенно ранней весной, когда начинался глухариный ток.

— Тихоречье! — промолвила в странном раздумье Ирина Сергеевна и тотчас же торопливо прибавила: — Едем!

Андрей в одну минуту оседлал коней.

— С Богом!

Дробь конского топота выметнулась из ворот, и вот оно, широкое поле.

Четыре конских ноги и четыре конских ноги. А музыки тут больше, чем восемь звуков. Стук копыт и звяканье подков, два разные бега, перебивая одной напевностью другую, взметают дорожную пыль, легко уносясь все дальше и дальше. И больше, чем пылинок, взметенных мыслей в двух душах, во всяком случае в одной из них, в той, что прихотливее, в той, что своевольнее, в той, что опрометчивее, в неосмотрительной, внезапной, в женской.

Предавшись равномерному покачиванию на высоком седле и радостно чувствуя теплоту и веселость горячего коня, Ирина Сергеевна унеслась мыслью далеко. Ей хотелось скакать не эти несколько верст до Тихоречья, а гораздо, гораздо дальше. Ей нравился дремучий лес Тихоречья, с рекой, с его озерками и болотами, но ей хотелось иного леса, который кажется мечте голубым и доходящим до самого неба в непознанной своей дали. Ей грезились зубры и кабаны, тяжелые кабаны, подслеповатые и злые, с могучими, распары-

вающими врага клыками. И еще другие леса ей снились в этом полете, овеваемом струеобразными дуновениями ветерка. Те, что за морями, за синими морями, за золотыми днями, без долга и без сожаления, за звездными ночами, ведущими и уводящими туда, где все будет новое, где цветолюбы колибри и райские птицы.

«За седьмою горой, за десятой рекой, за двенадцатой», вспомнились ей кем-то когда-то сказанные слова, и она грустно усмехнулась. Ее манила мысль о далеких путешествиях, но она знала, что этому суждено остаться мечтой, что навсегда она останется в этой зеленой глуши, зеленой и серой. Она тряхнула головой. «А я люблю!» — промолвила она про себя, точно кому-то отвечая упрямо и настойчиво. Она чмокнула, наклоняясь к пышной гриве Джина, и он поскакал во весь опор, обгоняя иноходца, сердито перебиравшего своими крепкими ногами.

Они снова поравнялись и поехали ровней. Снова мирный лад в перестуки и перезвякиванье копыт повел мысли в новый полет, играя веселым, правильно сменяющимся, током звуков, и повторный этот ток временами перебивал себя, ток двоился и не совпадал со своим руслом, один звук догонял и не догонял другой, тихонько тревожил душу, но сладкой тревогой, нашептывая грезы, и снова становился тем же и цельным, и снова по ровному руслу текла мысль, освеженная минутным отлетом в сторону и возвратом к напевному, привычному, в смене своей правильному и здешнему, близкому, милому, родному, что веет и дышит от родных полей, из наших, только наших родных лесов.

Лесник Савостьян обрадовался гостям. И он, и его хозяюшка, Прасковья.

— Кормильцы вы наши, — засуетились они оба, — пополудничаете вы с нами, чем Бог послал?

Гости не отказывались. Почему не поесть.

— Ты, Прасковьюшка, — беспокоился Савостьян, — живым духом, значит, изготовь глазунью. Каши-то у тебя гречневой много наготовлено. Творожку принеси да молодой барыне сливок побольше. А я тем временем самовар подгоню. Единым духом! — добавил он, выходя в сени.

— Что же это вы, барыня, весточку не послали, что пожалуете к нам? — запела Прасковья. — Савостьян бы вам ди-

чинки пострелял, а я бы зажарила хорошо, как вы любите, уж постаралась бы.

— А мне глазуньи и каши больше хочется, — отвечала, усмехнувшись, Ирина Сергеевна. — Мы там в Больших Липах и так ничего, кроме дичины, не едим.

— Ну вот и хорошо будет. И водочки барину сейчас поставлю. Вот и кубышка их. Все в порядке.

Иван Андреевич презирал вина и не прикасался к ним. Он также ни в эти дни, ни в более темные, после, никогда не позволил себе быть в состоянии пьяности. Но перед едой с ритуальною правильностью всегда опрокидывал в себя кубышку водки, вмещавшую рюмки три, и, поморщившись, закусывал кусочком черного хлеба, густо посолив.

Распорядиться насчет привоза теса и дров, о чем должно было известить михалковских мужиков, — дело было несложное, и, закусив, напившись чаю, обменявшись с лесником несложными размышлениями о тетеревах, зайцах и рябчиках, Иван Андреевич и Ирина Сергеевна, провожаемые напутствиями, сели на своих коней, успевших передохнуть, и снова по лесной дороге, среди белоствольного березняка и исполненного храмовой тишины соснового бора, перебивая и звуковым прискоком дополняя свою правильную музыку, запела песня конского бега, веселящий душу, мерный стук копыт.

«Тихоречье! Если бы всегда ты было Тихоречьем и не знало, как внезапно налетает буря», — думала про себя Ирина Сергеевна, хмуря своевольные брови и наклоняясь к белой шее Джина.

13

Раз утром, еще в постели, Ирина Сергеевна, прижимаясь щекой к груди Ивана Андреевича, сказала ему умышленно небрежным голосом:

— Я с тобой долго не буду больше кататься верхом.

— А почему? — спросил Иван Андреевич. — Хочется лучше одной?

— Нет, и одна не буду.

Иван Андреевич хотел взглянуть ей в глаза. Но она прижалась лицом к нему и не дала приподнять это зарумянившееся и улыбающееся лицо.

— Ты... — сказал Иван Андреевич и остановился.

— Да, я, — ответила, смеясь тихонько Ирина Сергеевна.

— Глупый, — вдруг воскликнула она, смотря на него блестящими глазами. — Мужчины все глупые, кажется мне иногда, и ничего не знают из того, что знают. К концу весны или к началу лета, вы изволите быть родителем нового дитяти.

— Я рад, милая. Я очень рад, — сказал он, спокойно ее целуя.

— Да, конечно, ты рад. Я тоже рада. Но все-таки не тебе, а мне придется столько месяцев носить ребенка в себе.

Она говорила так нарочно, потому что его спокойный голос сердил ее. Ей самой было торжественно-радостно от сознания, что эти недели счастья создали в ней новую жизнь. Точно раньше было то солнечно, то пасмурно, и часто пасмурно, а вот пришло счастье, и все залило одним светом солнца, которое уж не зайдет долго, может быть, никогда.

— Я боюсь, что опять будет мальчишка, — сказала она капризно. — Мне довольно и двух. Мне хочется девочку, непременно девочку.

— Так, может быть, и будет девочка.

— Маленькую, прелестную, с черными или с синими или с серыми глазами. Пусть даже с зелеными. Конечно, лучше всего с зелеными. Под стать саду, и лугу, и лесу. И я назову ее непременно Вероникой.

— Вероникой? Красивое имя, что и говорить. Только не знаю, есть ли в православных наших святцах. А почему не просто Верочкой, Верой?

— Нет, нет, ты ничего не понимаешь. Причем тут святцы. И все эти святцы и попы — очень противные, я их терпеть не могу. Вероника — цветок, и я люблю его. Лепесточки у него нежные, а цветочки у него маленькие, чуть-чуть голубенькие, а внутри беленькие. Только тронешь цветочек, он и рассыплется, такой нежный. Нельзя трогать веронику. Потому и цветочки эти смотрят как детские глаза. Говорят: «Не трогай». И ты еще не знаешь, мой миленький, что у нее много названий. Ее зовут еще змеиная головка, и зорник, и змейка, и змеиная трава.

— Откуда ты все это набрала? Уж не с Ненилой ли разговаривала?

— Вот именно с Ненилой. Это она мне и наколдовала.

— Ирина, да ты все шутишь. Ты вправду беременна?

— Беременна! Какое слово, мой Немврод, мой повелитель! Беременна ли я, не знаю. Но уверяю тебя совсем серьезно, что, как только новая весна отпоет свою песню, я рожу тебе ребенка, ребенка, глупый.

14

Дни проходили светло и беззаботно. Веселый лепет детей, с которыми молодая мать проводила теперь больше времени, чем обыкновенно, оживлял полупустой двухэтажный дом, где по комнатам в своем глухонемом переговоре, незримые и полузрячие, проходили неутомимо тени прошлого.

— Куда это запропастился Огинский? — спросил однажды Иван Андреевич. — Хотел тогда сейчас же вернуться к нам из города, да так и пропал. Съездим к нему в Шушун, — предложил он Ирине Сергеевне.

— Нет, поезжай один, я не пойду, — отвечала она с неудовольствием.

— Почему? Ведь в экипаже тебе еще не опасно ездить.

— Да я вовсе не потому. Я именно к нему не хочу ехать.

— Поссорились?

— И не ссорились. А вовсе не след мне к нему ездить.

— Ну, Ирочка, что за церемонии. Мне скучно одному, поедем. Ведь ты же много раз со мной у него была.

Ирина Сергеевна подумала и решилась.

— Ну, хорошо. Для тебя так и быть поеду.

Привыкши давно уже к переменчивому нраву жены и к необъяснимым, на вид совершенно беспричинным, поворотам и уклонам в ее настроении, Иван Андреевич мало размышлял о словах Ирины Сергеевны.

Тройка серых дружно подхватила, взбираясь на косогор после переезда через мелководную, но местами предательски глубокую речку Ракитовку, бывшую в трех верстах от Больших Лип, а дальше шла ровная дорога, по обеим сторонам высокий смешанный лес, в одном месте ровная березовая роща,

всего-навсего ровно десять верст до городка Шушуна, прославившегося когда-то, во время оно, упорным сопротивлением в борьбе с татарами, и со стороны реки окруженного высоким земляным валом. Там за валом на тридцать верст видны были дали, излучины реки, поемные луга, огороды, засаженные капустой, синеватые далекие леса, деревеньки и села. Город был небольшой, но оживленный, благодаря присутствию в нем 15 в окрестных селах, особенно в большом торговом селе Чеканово-Серебрянске, многочисленных фабрик и заводов.

Зигмунт Огинский занимал двухэтажный деревянный дом, в нижнем этаже была аптека. Рядом с аптекой его химическая лаборатория и минералогическая коллекция. В верхнем этаже жил он сам. Там было много цветов и книг, множество чучел наших северных и заморских птиц, в этом искусстве он был мастер. По стенам висели ковры, оружие и несколько изображений знаменитых людей Польши. Клетка с белым какаду, клетки с канарейками, чижиками и щеглятами, особые большие клетки, в которых в одиночестве сидели соловьи, каждая такая клетка была покрыта большим зеленым платком. Соловьев Огинский особенно любил и тщательно за ними ухаживал, весной и летом кормя их главным образом муравьиными яйцами, а зимой черными тараканами, которых ему поставляли за весьма невысокую плату. Этого добра в русских деревнях и в провинции всегда водилось изрядное количество. «Этот доисторический старейшина из мира насекомых отменно любим в России» с вежливой, но и презрительной улыбкой говаривал Огинский.

Стоя на лестнице в сторожевой позе, чучела волков и лисиц дополняли убранство этого уютного любопытного дома, где всегда пахло не то смолой, не то смешанным запахом оранжереи и птичьего сада, не то крепкими, отнюдь не повседневными, пряными духами. Запах этот всегда действовал на Ирину Сергеевну волнующе.

Аптека внизу принадлежала Огинскому. Но зачем он ее, собственно, завел, это было не вполне ясно, ибо он располагал достаточными средствами. Для него, впрочем, это было совершенно ясно. Обладая ею, он мог не покидать Шушун и вполне резонно почитаться постоянным его обитателем. А чтоб оставаться в Шушуне, он имел совершенно убедительные внутренние причины.

Огинский был дома, и, услышав приближающейся колокольчик и топот тройки, вышел встретить гостей. Он очень дружески поздоровался с Иваном Андреевичем, но с Ириной Сергеевной был любезно сдержан.

За обедом, однако, он оживился, но был желчным, говоря о событиях дня.

— В столицах неспокойно. Там обыски и аресты. От каждого арестованного, которого будут держать в тюрьме, а потом погонят в Сибирь, выйдет утеснение не только ему, а сотням и тысячам других, которые в его поведении ничем не повинны. Реформы? Хорошие реформы! Дали волю мужикам, дать ее было нужно. Так умей ее дать. А землю при воле дали достаточную? К чему же это приведет? Вы, Иван Андреевич, человек добрый, вы, мало того, человек редкостный, на здешних олухов среди помещиков и вовсе не похожий. Каждый из ваших мужиков надел имеет хороший. И леса у них достаточно. Кто не лентяй, тот работай, и жить можно не жалуясь. А эти ваши Куроешкины, и как там всех их звать, чего они не наделали с своей жадностью. И жадность-то их на полверсты только видит. Ведь мужики их ненавидят. От обиды к обиде, пойдет канитель, а потом и до бунтов дело дойдет, и до такого пожара, что не ухватишь его.

— Так ведь и везде. Крестьянскую неволю заменили волей, а что вышло? Одна смута и недовольство. Обкарнали эту пресловутую реформу, так вот, как пуделя стригут. Помещики дуются и ворчат: «Кровное у нас отняли». А мужики и пуще про себя думают, хоть не так громко ворчат: «В кровном нас обидели.

— То же будет и с другими реформами. Дадут, попридержат. Дадут и отнимут. Дадут, а тут же обратное дадут в придачу. Разбирайся во всей этой путанице. А скоро и вовсе ничего не будут давать. Надоест давать. Лучше брать. Царство Польское взяли, и все возьмут в ежовые рукавицы. Да может, оно и впору так будет. И народ рабы, и это так называемое общество тоже рабы.

Иван Андреевич был односложен. Он еще мало умел разобраться в новой действительности. Ирине Сергеевне очень были любы эти слова Огинского, она была совершенно с ним согласна, но только более наклонна к оптимизму. Смотря на мир через призму своего благоволения и своего деятельного

нрава, находящего удовольствие в делании добра другим, она преувеличивала значение единичного усилия и преуменьшала значительность неуклонного хода вещей, захваченных сложной сетью взаимоотношений.

Иван Андреевич затомился от этих разговоров и стал собираться домой.

— Ну, так как же, Сигизмунд Казимирович, — спросил он ласково, — скоро к нам? Мы о вас соскучились. Пора и поохотиться вместе.

— Какая же теперь охота? — уклончиво сказал Огинский. — Ясные дни кончились. Не нынче — завтра дожди начнутся и зарядят недели на две. Разве зима ранняя будет. Приеду как-нибудь.

— Зима далеко ли? Как первая пороша будет, мы уж повеселим сердце. А теперь пойду-ка я потороплю Андрея, узнаю, вернулся ли он с покупками, и в дорогу.

Он вышел, Ирина Сергеевна и Огинский остались вдвоем. Они оба молчали, и обоим было грустно. Огинский как будто решил перемолчать ее. Застывшее лицо его было печально. Так, молчаливый и грустный, он имел над ней бóльшую власть, чем когда говорил красивые слова.

— Огинский, отчего вы молчите? — тихо спросила она его.

— Вы знаете.

— Нет, скажите.

— Я могу сказать только то, что говорил в самом начале, когда мы узнали друг друга, — что вы должны уйти из обстановки, которая меньше вас, и уехать со мной.

— Огинский, я вам говорила, что это невозможно.

— Все можно устроить, все устраивается.

— Сердце свое устроить нельзя. Сердце не велит мне.

— Если сердцу вашему совсем хорошо, будьте в том, что вам дает счастье, и тогда нам не о чем в точности больше говорить.

— Вы нехорошо со мной говорите, Огинский, — сказала с горечью Ирина Сергеевна. — Мужское сердце — дурное сердце. Вы знаете, что вы мне дороги. Вы знаете, что вы мне дороги слишком. И в то время, как я говорю с болью, в вас кипит маленькое самолюбие. Если сердце мне не велит, я должна его слушаться.

— Быть может, мне совсем не нужно у вас бывать?

— Нет, я хочу, чтобы вы у нас бывали, — медленно промолвила Ирина Сергеевна. — Хочу вас видеть. Иногда. Но... но мы должны быть только друзьями.

— Ваш слуга. — Огинский поклонился.

— Зигмунт! Мне больно, — воскликнула она с горячностью.

Огинский быстро подошел к ней, и молча, с судорожной силой несколько раз поцеловал ее руку. В ее глазах блеснула слеза.

— Мне жаль вас, Зигмунт. Мне жаль, мне жаль, — чуть явственно прошептала она, не отнимая руки.

Огинский прошелся нисколько раз по комнате. Канарейка перепорхнула с жердочки на жердочку и запела пронзительно звонко. Другая и третья желтая птичка заливчатым голоском откликнулась на этот солнечный всклик. Раздались шаги. Иван Андреевич усмешливо воскликнул:

— Ну, и молодец же наш Андрей! Я его посылал за покупками к Евстигнееву, велел купить три фунта фисташек, три фунта мармеладу и две сахарные головы, а он взял три сахарные головы и по десяти фунтов и мармеладу и фисташек. Это чтобы тебе угодить. Ну, да не пропадет. А лошади готовы.

Простились. Поехали. Прохожие с любопытством смотрели на тройку, точно это была какая-нибудь редкость. Бешено заливались дворняжки, выскакивая из-под ворот и гонясь за тройкой с пол-улицы, после чего сердито возвращались восвояси, как бы передав следующим хлопотливую обязанность лая. Вот проехали длинный высокий мост над рекой, с огромными быками, стоявшими справа и слева для защиты от льдин во время ледохода. Быстро миновали Заречье. Снова поле, снова лес, снова зеленая, голубая и золотая воля земли и неба, свободных от ложности городских построек и всего, что в городе.

Иван Андреевич свободно вздохнул и, закурив папиросу, погрузился душой в переливчатый звон колокольчика.

— Эй вы, родимые! — разгонял тройку Андрей, знатно погулявший и подпивший в Шушуне.

— Ванечка, Ванечка, как я люблю тебя! — вдруг с порывом воскликнула Ирина Сергеевна.

Иван Андреевич молча взглянул на нее, поцеловал и, крепко обняв, прижал к себе.

— Возьми мою руку, — сказала она тихонько, и дала ему свою правую руку. — Держи ее крепко, крепко.

— Я держу ее нежно, но крепко, — сказал Иван Андреевич, теснее прижимая к себе затрепетавшую любимую. И в ясных черных глазах его сверкнуло странное выражение, отражение далекого большого мрака.

Колокольчик звенел и далеко разливал свои серебряные звуковые разбеги. Солнце склонилось к закату. По полям и лугам протянулись длинные косвенные тени.

15

Осенние капли, октябрьские капли, какие они медленные и неисчислимые, текут, текут, текут, ленивые дождевые струи из свинцового, сплошь затянутого тучами, неба. Нет больше солнца, оно куда-то ушло, и земля, перед тем как сковаться и заледенеть в зимнем наряде, набухает от обильно текущей влаги, поит, на всю долгую зиму напаивает, зябнущие корни, которые потом уснут до весеннего зова, до тех дней, до того часа, когда солнечный луч постучится к ним в глубь достаточно сильным горячим концом своим. Печальные и медленные струи дождя, малое существо, живущее в тайности, услышало ваш голос и, до того как появилось в явности, узнало, о чем вы говорите, осенние капли, услышало ясно через слух матери, сидевшей подолгу у замгленных окон, по которым косвенными влажными руслами, перебегая от малого русла к руслу, текли и стекали бесконечно по стеклам октябрьские капли, осенние капли.

И слышало маленькое существо слухом матери, нежась, в незримой своей тайности, и воспринимая от материнской сущности свою новую плоть и кровь, как кончилось течение осенних капель, как обрадовалась жизнерадостная женщина, что остудился и изменился мир, в котором двор был большой лужей, а все дороги — грязь, что зареяли бесшумные снежинки и своим легким летом запели безгласную и все же слышную душе, вьющуюся песню белизны, чистоты и кристаллов. Белой пеленой свежей пороши, первой, радовалось

самое солнце в высоте, украшая ее россыпью мелких алмазов, искрившихся и мерцавших от края до края полей, где поле сливается с небом. От синего неба до синего неба, по белой земле, украшенной в белый бархат, пели снежинки, порхая, и ложась, и укутывая мир, и укутываясь друг другом; пели алмазные россыпи о многокрасочности белого цвета и связи земли с солнцем; пели в человеческой душе, уже живущей, и другой, предназначенной к полноте жизни, свивались, сплетались и пели к мысли о красоте мира и жизни о том, что хорошо желать, и жаждать, и создать что-нибудь о том, что счастье сильнее несчастья, и нет греха, а есть только ошибка, и есть возрождение в смене часов, неисчерпаемая чистота, восстановляющаяся кристальность в стремящемся беге дней и ночей.

И счастливая женщина радовалась солнцу, а малое существо нежилось в своей тайности, и незримыми, но сильными тончайшими потоками солнечная кровь играла и творила новый колос грядущей жатвы, новую плоть лунного и солнечного тела, новожданную человеческую душу.

— Если бы я умела писать стихи, — говорила счастливая женщина, — я бы написала о снежинках!

И, смотря на крестики и звездочки снежинок, она не подозревала, что этой жаждой стихов о снежинках она уже написала их, много-много стихов певучих в том малом существе, которое слухом и сущностью матери уже прильнуло к груди Вселенной, звездотворческой Вселенной, ткущей свою пряжу всеобъемно и так тонко, так утонченно-воздушно, что никакой острый глаз самого зоркого охотника, блуждающего в горах, самого зоркого пастуха, выросшего в пустынях и прериях, не рассмотрит эту ткань, не увидит ее вовсе, а она есть.

Уже был декабрь. Солнце повернулось к весне, еще далекой, но повернулось. Дня прибавилось на воробьиный скок. Да воробьиный-то скок, излюбивший дороги, измерил много более пространств, чем полугодовая или годовая дорога солнца.

Счастливая женщина любила своего любимого, и только любовью материнская сущность питала и взрощала в тайности незримое малое существо.

16

Ирина Сергеевна вела жизнь деятельную и всегда куда-нибудь торопилась, ей не хватало целого дня на то, чтобы выполнить все, ею самой на этот день назначенное. Строго говоря, одних хлопот с детьми, чтения разных книг и неизбежных мыслей и мечтаний было вполне довольно для каждого дня. Но она этим не удовлетворялась. В определенные дни недели, по утрам, к ней приходили крестьянские дети, и она учила их грамоте. О школах для крестьянских детей в то время еще только шли разговоры, и самый вопрос, нужна ли грамотность народу, оживленно и бестолково обсуждался в правительственных кругах и в столичных журналах и газетах.

В определенные дни также к Ирине Сергеевне приходили со своими болезнями окрестные мужики и бабы с детьми. Самоучкой приобретенные, кое-какие немногосложные медицинские познания она применяла с большим рвением и, откладывая трудные случаи до приезда врача, применяла и с неизменным успехом, вызывая в мужиках и бабах не только искреннюю благодарность, выражавшуюся в пожеланиях и благословениях, но и настоящее преклонение. Темный и скудный наш народ. Темным и скудным он был и тогда, и простая арника, останавливающая кровь, или детская присыпка и два-три слова, научающие бабу, как сделать, чтобы перепревший ребенок не кричал благим матом, были средствами чудодейственными и очень наглядно входили в жизнь людей, никем не приласканных и знавших больше свою стесненную действительность да начальнические окрики. Благодарные бабы приносили целительнице яйца и деревенские лепешки, она их отдаривала платками и кусками ситца.

К хозяйству в точном смысле Ирина Сергеевна была равнодушна, но все же в определенные времена года она целиком уходила в изготовление варений, солений и наливок. Игорь и Глебушка были еще очень малы, и заботы о них были несложны. Однако на это уходили часы, и она никогда не тяготилась этими заботами, но благодаря присутствию нянек могла иногда подолгу забывать о детях, увлеченная чем-нибудь другим.

Велев Андрею заложить санки, она по целым часам наслаждалась быстрой ездой по лесной дороге, среди оснежен-

ных елей и берез. Если в солнечное утро во время такой прогулки ей удавалось увидеть в лесу белку, она бывала веселой весь день. Ей нравилась эта, как она говорила, солнечная примета. Впрочем это было слово Ненилы, а не ее. Добрая старушка, любившая поговорить про всякую всячину с молодой ласковой барыней, однажды ей рассказала:

— Как же вы это, матушка барыня, не знаете? Солнышко по небу ходит как боярыня, вся в золотом платье, и косы у боярыни золотые. У солнышка и птицы и звери свои особенные, ей, боярыне, назначенные. Вот жаворонок, хоть и серенький, а как только солнышко начнет греть, он и летит вверх, чтобы госпоже небесной послышнее было, как он хвалы ей поет звонкие. И петух тоже. Когда поет, всегда голову вверх приподнимет и смотрит на солнце. Ежели ночью он тоже поет, так это оттого, что он солнечные часы хорошо знает. Часы передвинулись, он и слышит, знак подает. Все равно как у нас в столовой стенные часы со звоном. Полчаса или час пройдут, они бьют, знак подают. Еще он ночью также и от нетерпения поет, очень ему хочется, чтобы солнышко скорей взошло. И уж кто-кто, а петух знает, когда солнышко восходит. Часы ошибутся, и самые даже лучшие, а петух никогда. И цыплята ведь желтенькие всегда из яйца вылупятся. Это они оттого, что солнечные. А из зверей — тех солнышко любит, у которых рыжая шерстка. Лиса к примеру или белка. Особенно белка. Она, когда солнце к весне повернет, сейчас давай скакать да прыгать с дерева на дерево от радости. Так и прозвали ее в народе — солнечная примета. Это значит солнышко к весне повернуло.

— А Месяц, этот совсем другой. Месяц — боярин, да хоть и молодой, а не горячий, строгий, холод любит. И все меняет, все меняет свое лицо. Никак остановиться не может ни на чем. Такой бестолковый, что от ночи до ночи не может вытерпеть, чтобы лица не переменить. Это он от беспокойного нрава своего и худеет, до того что вовсе в постель ему слечь нужно. И лежит он не одну ночь, сам темный весь, недовольный. А звездочки за ним, няньки да мамки небесные, то и дело ухаживают, и так и сяк задабривают. «Месяц светлый, — говорят, — вот мы тебя звездной водицей покропим». И кропят его звездной водицей. Какая капля мимо прольется, к нам на землю как звезда летит. Летит, не долетает. Не для нас. Полежит-полежит Месяц. Скучно ему капризнику. Оза-

рится, осветится, принарядится, и пойдет опять гулять. Потому, за нрав его такой, и любят его русалки непутевые. А из птиц, кроме соловья, только те, которые на воде живут, дикие гуси да лебеди. А больше рыбы его любят. У них нрав тоже беспокойный, трепещутся, — только глянешь на рыбку, юркнет, и где она? А ночью они не так боятся, наверх выплывают, даже в воздух прыгают, к Месяцу им хочется, серебра от него набираются. Потому на рыбах от Месяца и одежка из чешуи серебряная.

После таких разговоров с Ненилой, а их бывало немало, Ирина Сергеевна любила внезапно подойти к своей заветной шифоньерке из карельской березы, уставленной книгами, и не сразу находила книгу, которую ей хотелось читать. А книги у нее были разные. Поэты, сказки, романы, много романов, но и книги по естествознанию также, и книги мудрости. Правда, все это было фантастически перемешано. В этой глуши, в этой деревушке любовно хранились, и не как лишь наглядный талисман, томики Байрона и Шелли по-английски, Немецкие классики, рядом с драмами и романами Виктора Гюго и Жорж Санд не только романы Александра Дюма, но и самые чудовищные произведения бульварных романистов, и тут же разрезанная и прочитанная «Система мира» Лапласа, книги по ботанике с красочными картинками, и даже сочинения Шопенгауэра в подлиннике. Но Шопенгауэра она не читала, все собиралась только. Вообще же Ирина Сергеевна любила от всего зачерпнуть, не тяготя себя слишком большим грузом.

Ее страстью была музыка и цветы. И ей очень нравилось, если в солнечное зимнее утро, когда она садилась за фортепьяно и играла Шопена и Бетховена, она могла видеть около себя цветочный горшок с только что расцветшим алым кактусом.

17

Именно в солнечное январское утро, когда Ирина Сергеевна сидела за фортепьяно, она почувствовала то напряженное, только женщинам во всем объеме понятное, блаженное волнение, которое создает первое движение ребенка, этот тонкий толчок, первый знак бьющейся жизни, весть, что связь двоих закреплена и что новая эта жизнь, радуясь тем-

ной тайной комнатке, будет чаще и чаще давать знать, что она выйдет на волю, на воздух, где все четко, ярко и громко.

Жизнь протекала в Больших Липах ровно и однообразно. Иван Андреевич, всегда ласковый с женой, уезжал однажды охотиться на волков, ездил с Огинским на лосиную охоту и привез убитого им лося. Такие трофеи не заурядность даже и в лесных местах. Огинский приезжал и так, без охотничьих предприятий, раза два-три. Но встречи эти были беглыми и, против обыкновения, краткими. Бывали и другие гости из округи. Но Ириной Сергеевной овладело глубокое равнодушие к людям, и она целиком предалась своим мыслям и мечтам.

Ей нравилось долгими часами быть одной и слушать все звуки, которые так явственно звучат в большом зимнем доме, где много жилых, но пустых комнат. Дети после прогулки сидели в своей детской, играли или слушали сказки Ненилы. Их тонкие голоски доносились точно из дали, рассказывая о прелести и беззаботности детства. Случайный лай дворовых собак или карканье вороны, соскучившейся на мерзлых ветках опушенной снегом березы; громкие шаги истопника, который там внизу вошел со двора и, рассыпав поленья, нагромоздил в углу девичьей увесистую вязанку дров; скрип полозьев, съехавших со двора саней, причем тот, кто выехал, из забавы стукнул в ворота кнутовищем; галка, прилетевшая на подоконник, вон она, наследила тонкими узорами по снегу, лежащему на подоконнике, повернула раза два голову и посмотрела в затянутое морозными узорами окно, ничего не высмотрела, взмахнула своими крыльями и улетела; мерное позванивание стенных часов и стук тяжелого маятника, доходящий из столовой; сонная пряжа бредовых бормотаний Милорда и Леди — двух красивых сеттеров, белых с коричнево-рыжими ушами и правильно расположенным коричневым пятном на спине у каждого, немного ближе к шее; неявственное шуршанье мыши за обоями, которая точно ощупью ищет выхода. Все звуки входили в слух как части одной объемлющей гармонии. Не разбирающим размышленьем воспринимала она их, не умом, все разъединяющим и расчленяющим, а бессознательно радующимся всему, цельным существом своим.

Потом от какого-нибудь более резкого звука — стукнувшая дверь или чей-нибудь громкий возглас на дворе, — эти

ощущения опрокидывались у нее в мысли, в правильную словесную форму не сказанного вслух, но связного размышления. «Всем хочется жить, — думала она. — И мне хочется жить. Какая радость, эта полоса солнечного луча на полу. Какая радость, что я люблю Ваню, и что у нас будет этот ребеночек». Это был третий ребенок, но первый, зачатый в таком цельном просветлении. Это третий и как будто первый. Она не помнила, чтобы она чувствовала себя так раньше.

«Вероника, — шепнула она про себя, улыбнувшись, когда солнечная полоса, передвинувшись, коснулась загнутого носка ее туфли, зеленой, с опушкой из беличьего меха. — Моя маленькая Вероника, я хочу девочку». И она вспомнила свое детство в Москве, небольшой особняк на Поварской, палисадник, и цветочные, звездообразно расходящиеся клумбы. Вспомнила свою институтскую подругу Лизу Метельникову, вышедшую замуж за горного инженера и уехавшую куда-то на Урал или на Алтай. «Хотела написать мне, — подумала она про себя, — да верно так и забыла. Или замерзла там в снегах?» И ей стало так уютно оттого, что желто-красный огонь, пляшущий в печке, мурлычет свою шелестящую, веющую, тихозвонную песню.

«На небе, там солнечный огонь, — мечтала она, — и это его свет целует мои ноги. А в печке поет другой огонь. А во мне бьется третий огонь, вот тут, в голубой жилке на руке. А во мне и еще есть огонь. Он загорится, засветится, засветит, улыбнется, сперва закричит и заплачет и будет смешно барахтаться, а потом пройдут дни, и будет улыбаться. Я прижму его к груди, я прижму этот огонь, самый милый, прямо к сердцу, где тоже огонь, огонь».

Она припоминала разных героинь из своих любимых романов и поэм, и хотела, чтобы Вероника походила на одну из них. На какую-нибудь из девушек и женщин Бальзака или Жорж Санд. И самым непоследовательным образом она стала вспоминать, как в Москве, когда она была уже взрослая, она приходила в гости к своему дяде, боевому генералу, который долго жил в Варшаве и полюбил польский язык. Он непременно хотел перевести на русский язык «Небожественную комедию» Красинского. Когда она приходила в гости к своим двоюродным сестрам — его дочерям, — он усаживал их в гостинной, сам уходил к себе в рабочий кабинет, переводил отде-

льную сцену, выходил к ним, читал взволнованный, и совсем не по-генеральски обливался слезами. Славный чудак. Но ведь правда, «Небожественная комедия» — это гениально. Она тогда за ужином нарочно говорила Огинскому дразнящие слова. Кто лучше Красинского показал, насколько женское сердце лучше мужского умеет любить?

Ирина Сергеевна, не притрагиваясь к Жорж Санд и Бальзаку, раскрыла том Словацкого, и глаза ее приковались к двум строкам на открывшейся странице: «Konia i lancet — Dajcie mi konia i lancej bede z wami. Ludzie-mrowki-robaki-kamienie-mijam w przelocie konnym». («Коня и копье! Дайте мне коня и копье! — буду с вами. Людей-муравьев-червей-каменья-миную в конском полете»).

«Какие гордые слова! — подумала она, любуясь. — Мне нравится гордость польских рыцарей, и то, как они любят женщину».

И тут же она прочла:

— Duma jest duszae duszy mojej. Duma jest to harfa, ktora ma tysiac strun. («Гордость — душа души моей. — Гордость это арфа, у которой тысяча струн»).

Она сидела задумавшись и прислушиваясь. Вместе с скрипом полозьев послышался другой звук храпенье лошади, которую перед воротами круто повернули. Ирина Сергеевна быстро вскочила с кресла, подбежала к окну, раскрыла форточку, и звонко прокричала:

— Ванечка! Ванечка! Ты приехал наконец!

И, заметив при этом, что от въехавших саней у ворот остался свежий дугообразный след, она побежала с лестницы встретить мужа, весело напевая:

От ворот поворот,
Виден по снегу.

18

Как хорошо в нашей России уже то, что четыре времени года в ней — четыре самозамкнутые царства, каждое от другого отделенное и само в себе цельное. Есть счастливые страны там, в Тихом океане, где только два времени года, весна и

лето, и вся разность между ними в колебании температуры на два или на три градуса. Действительно ли это самые счастливые и совершенные страны? Вряд ли. Там не знают, что такое белый цвет и беспредельная тишь лесов и полей, завороженных снегом и льдом. И там нет ожидания весны, потому что она всегда, нет святыни томленья о ней и первой радости потеплевшего предвесеннего ветерка, нашептывающего о таинстве воскресения, о счастьи необманного свидания.

Есть Юг, где перепутаны все времена года, все, там их только три, и только лето правдиво сполна, а зима поддельная, и осень без красоты, весна же там только призрак, длящийся краткую малость, и вот уже сон сожжен. А наша весна как медленная симфония, которая, зачинаясь неуверенными прерывными звуками, рассеивает все богатство напевов и расцветов, доводит красочно-певучую восторженность до ликующего опьянения, до забвеннейших мгновений, когда все птицы поют, все луга и леса в цвету и в любовных шепотах, все сердца радуются своей тайне, которую сладко отдать избранному сердцу в святости пасхального поцелуя или в пронзенном сближеньи языческого радения.

Не потому ли, что ребенок, еще не родившись, познает через мать такое богатство отъединенных царств, художественно законченную смену времен года, в нашей великой стране возникли такие писатели, равных которым нет на Земле, возникли поэты, которым дарованы сладчайшие и звучнейшие песни, возникли миллионы душ, которые умеют любить не только легкое удовольствие радости и счастья, но и великий искусительный восторг боли и страдания, восторг добровольной жертвы, который приводит к грозе и к радуге.

Зима истощила все свои волшебства. Колдовали метели, ворожили вьюги, лес шумел под ветрами, стряхивая с себя белые уборы и надевая новые мантии свежевыпавшего снега. Тоскливые песни зимней бури в трубе пропели о стольком, что, если б рассказывать, никогда бы не кончил. Играли оттепели, золотились падающие капли, сталактитами возникали ледяные сосульки. Муха узнала в столовой, что скоро настанет весна, и в слабом перелете от шкафа к столу прожужжала, что солнце стало греть по-настоящему. Красногрудый снегирь давно уж повадился прилетать к балкону, садился на

ветки почерневшей сирени и, подавая голос другому снегирю, трепал и клевал сиреневые семена. Снова грубел и шершавился воздух. На полях и в лесу устанавливался крепкий наст. Лыжи скрипели, и весело было бегущему на лыжах от мартовского ветра, щиплющего иголочными прикосновениями щеки. Оттепели стали дружнее, и снова на время уступали. Но лед уже стал неверным. В дремучем лесу иссиня-черный затоковал тяжелый глухарь. Самозабвенно, не слыша в предрассветной мгле подкрадывающегося охотника, он пел свою песню песней, прихорашиваясь пред слушающей его темной красавицей, и устремлял к ней свой лик с красными бровями.

И вот уж опрозраченные дали апреля. Прошел ледоход. На вербах нарядные белые шапочки, пред тем как покрыться им цветочной золотистой пылью и приманить хлопотливых пчел. Воскрес Тот, Кто умер, отдавая жизнь за других. Тот, Кто был терзаем и распят, ожил и вернулся. Тот, Который свой срок молчал в гробнице, встречен долгим церковным гулом, озарен свечами — и всех лучше горели копеечные свечи в темных руках, — вознесен песнями такими ликующими, что нет ни у кого других таких, душным ладаном овеян, голубоватым воскуреньем перед потемневшими иконами в золотых рамах, перед ликами, глядящими кротко из веков, перед лицами молящихся, вымоливших себе душевный мир, и в радости целующихся, каждый с каждым и с каждой, каждая с каждым.

19

— Лик мира сего переменится. Ибо не может он оставаться долее таким. Вечно ли богатые будут утеснять бедных, позабывши о скудных и не памятуя природного братства своего с неимущими, самим Богом означенного? И доколи же слово Божие будет лишь словом между людьми, не сопрягая их в едином действии? Доколе поношение праздными непраздных? Прейдена мера терпения Господня. Пришли предусмотренные сроки. И возлюбить человек человека в содружном житии, а различия одежд и нравов более не будет. Кто же в черствости сердца своего, ни Богу, ни людям не

угождая, не возможет полюбить Сына Человеческого, бичом того погонят к любови той, и не войдет в нее, не узнавая дороги, и бич его будет истязать, но не узнает он путей той любви, и отгонять его от великого света, где не будет более различий между людьми. А содружные радоваться будут Божьему миру и возликуют. Ибо лик мира сего переменится, государыня моя.

Размеренным голосом эти слова говорил, обращаясь к Ирине Сергеевне, зашедший в усадьбу странник, еще не старый, но полуседой человек, с горящими черными глазами и косвенным шрамом поперек высокого лба. Зачем и почему он попал в усадьбу Большие Липы? Да низачем и вовсе без причины. Потому что странник. А на святой всякому приходящему рады. Ненила накормила его, напоила жиденьким чаем в прикуску. И теперь он сидел в людской и чувствовал большое желание говорить. Ненила позвала барыню послушать, как по-особенному говорит странный человек. Маленький Игорь был тут же, он держался левой ручонкой за платье Ненилы, прижимаясь к ней, и во все глаза смотрел на странника, чем-то совсем захватившего его любопытство.

— Вы куда и откуда идете, добрый человек? — спросила Ирина Сергеевна.

— Иду я, государыня моя, возвращаючись, в свой приют, в пустынь свою, в Костромские леса дремучие, а путь мой теперь из самой Святой земли. Удостоил меня Господь, побывал я в месте страдания Господня и Его Воскресения на спасение всему миру. Да вот мир-то во зле лежит, государыня моя, и слушает, а не слышит, и смотрит, а не видит, и только неправде своей поклоняется, о неправде своей тысячелетней все попечения его, а неправда уж подсечена в корне своем, уж несчетные души на волю отпущены соизволением Господним, а в той их воле та же встречает их неправда. Переменили одежду на болящем, а врачевания не дали, и говорят: «Иди, здоров ты». А куда же он пойдет так без врачевания, без посоха непреломляющегося, без светильника в ночи. В каждую дверь постучи. «Где любовь заповеданная? — Какой тебе любови?» — спросят вопрошающего, не отмыкая двери, и не ответ он встретит, а утеснение. Меняет змея шкуру, старую сбросит, валяется она пустая и сухая, пока ветер не унесет ее, или черви не изъедят. А змея в новой коже сво-

ей новая ли стала? Не те же ли у нее змеиные ухватки, ползать да притаиться, подстеречь да прыгнуть, укусить да ужалить, сделать злое и в нору змеиную уползти.

— Так и человеки, где их ни возьми. Много я видел в путях, государыня моя, многие народы и племена земные. Да одежд-то человеческих более гораздо, чем самых человеков. Веток на дереве много, а дерево одно. Листьев на дереве много более, чем ветвей, и каждый лист как будто сам, а листья-то все ведь похожи, все древесные братья, лесные родственники, и без единого дерева им не быть. От самого нашего прародителя Адама, государыня моя, человек есть один, и он все тот же. Переменил его, жертвой своей Божеской, Господь наш Иисус пострадавший, Христос пресветлый, переменил да на малое время, а тот, от правды уйдя, опять он захотел в себе ветхого Адама. И будет пришествие новое. Износился мир в старости своей духовной. Созрели все колосья, и пожнут их острым серпом. Еще не все они, однако, созрели. Еще будут предвещания перед жатвой великой. Еще узнает мир печать Антихристову. Еще будут ходить по земле, как власть имеющие, люди с песьими головами и с сердцем змеиным. И пожгут в великом пожаре пламени огня много добрых вместе с злыми. А потом придет жатва, и отвеется к светлой стороне доброе зерно для житницы всеобщей. «Благословение Господне да пребудет над вами, государыня моя», — сказал странник, вставая и благодаря за угощение и гостеприимство.

Ирина Сергеевна наградила его некоторыми монетами на дорогу, он поблагодарил ее сдержанно, и, выходя, пристально и печально взглянул на Игоря.

— Старший сыночек ваш, государыня моя, будет богомольным. Берегите малое чадо свое.

Проникнутая восторженной любовью к миру, но равнодушная и даже скорее враждебная к лику официального христианства, Ирина Сергеевна всегда чувствовала инстинктивную неприязнь к духовенству, за редкими исключениями; монахи же самым видом своим вызывали в ней глубокое отвращение, как темные выходцы из того царства, где все солнечное отвергнуто и все прямое искривлено. Но этот странный человек действительно показался ей странным, и оставил в ее душе глубокое впечатление. Большее впечатле-

ние однако произвел он на старую Ненилу и маленького Игоря. Его предсказание, что мальчик будет богомольным, оправдалось, и в свой час в гораздо больших размерах, чем можно это было думать.

20

Ирина Сергеевна, уже томящаяся долгой своей страдной порой, сидела на балконе около благовонных кустов лиловой и белой сирени, а майское утро звенело, сверкало и пело своими расцветами, жужжаньями пчел и шмелей, быстрых ос и пестрых мух, светилось и переливалось мельканьями порхающих бабочек. Она встала и, тяжело ступая, пошла бродить по саду. Зеленые бронзовки, зарываясь в пахучие цветки китайской рябинки, казались крупными живыми изумрудами. По садовым дорожкам пробегали черные бегуны и бронзового цвета жужелицы, с видом хищным и воинственным. Майский жук, сонно свалившийся с дерева после ночного своего раденья, немедленно становился жертвой жужелицы, растерзывавшей его своими хваткими челюстями. Тополи мерцали смолистыми липкими листьями. Беседка из больших столетних лип, бывшая недалеко от садового чана, невольно поманила ее, и она села там на скамью, вернее на доску, врубленную между двумя огромными стволами лип, росших почти рядом. В одной из них было дупло, и в нем роились дикие пчелы. Они прилетали и улетали, как бы выполняя посланнические поручения. Ирина Сергеевна дремотно слушала их озабоченное бесконечное жужжание. Солнечный луч, проходя через частую чащу липовых ветвей и листьев, менял свой цвет на зеленоватый, и ронял на белое платье круглые вырезные тени. Она задумалась.

Она опять вспомнила о своей подруге Лизе Метельниковой, и ей было так жаль, что ее нет тут, что она потерялась, что ее нельзя позвать к себе. Ей хотелось, чтобы она была с ней, когда она будет рожать своего ребеночка. «Бедная Вероника, никого с ней не будет при ее появлении, кроме меня и глупой акушерки». Мужчин она не считала существующими при таком событии. Конечно, будет доктор Левицкий, всегда во время своих визитов миндальничающий. А Ванечка, по

своему обыкновению, будет малодушествовать в соседней комнате и бояться, что я умру. Правда, когда я рождала Глебушку, я очень мучилась, а когда Игоря, чуть совсем не померла. Но девочек легче рождать, это всем известно.

Но где же сейчас Лиза Метельникова? Гуляет с мужем под землей? Смотрит, как рождается серебро и золото? Проходит в копях по длинным подземным коридорам, где сплошные стены из сапфира, малахита и рубинов? Как там должно быть красиво! А выйдешь на волю горы. А взойдешь на гору — дали. Синие, синие. И когда солнце заходит, туманы внизу, сперва как белое руно, а потом как красно-рыжее золото. Рыжие белки и лисицы, и краснее огня.

Иволга проиграла свою руладу и, перелетев на другое дерево, пропела еще звончее свой виолончельный напев. Ласточки с дружным торопливым щебетаньем носились за оградой сада.

«Верно, гроза соберется, — подумала Ирина Сергеевна. — Не по-весеннему, а по-летнему сегодня жарко».

Маленький червячок землемер, зеленая гусеница, складывался и выпрямлялся на близком листке, как крохотный складной аршинчик. Она хотела чуть-чуть тронуть его пальцем, но он уклончиво покатился по листку, свалился с него и, успев принять свои меры, повис на длинной тончайшей паутинке, которую, кругообразно вращая головой, он стал терпеливо вбирать в себя, желая опять взобраться на листок.

Ирина Сергеевна усмехнулась. «Мир во зле лежит, — передразнила она про себя интонацию голоса того странника. — И этот вот мир тоже? Этот червячок тоже чем-нибудь согрешил? Какой вздор! И какая жестокая несправедливость, говоря о игре, видеть только людей и их гадости. Насколько богаче и разнообразнее мир. Сколько в нем великой своей правды, такой красивой, как крылья бабочек и пение птиц. И нет греха. Это глупое гадкое слово. Он хорошо говорил, этот странник. Так образно. И сам он какой-то был особенный. Кто он и откуда? У него был не крестьянский голос. О, нет! И он был не духовного звания. Те всегда тягучие и фальшивые. Может быть из купцов. Или и повыше? Он так говорил, что не разберешь. И этот шрам на лбу. Верно кто-нибудь ударил его лезвием, саблей или ножом большим. Он хорошо говорил, о том, как не достучишься ни в какую дверь.

Только лик мира сего должен перемениться иначе, чем он думает, и не верю я в пришествие его пророчеств».

Молодая женщина была права. И странник был прав. В слове странника Ирина Сергеевна увидела только части и выпуклости, не увидев его целиком. И не знала она, что уже неисчислимые вестники, разные, одни — благовестники, другие — зловестники, каждый рассмотрев по-своему лик мира и увидев, что он должен перемениться и неуклонно должен быть изменен, пошли по миру, не приемля его, пошли по путям, топча их, затаптывая придорожные цветы, меняя своими шагами тропинки и межи, уже кое-где и ломая ограды, изменяя лик давнишних владений и установленных царствований, роняя сглаз, и голубой цветок, поселяющий в сердце жажду далекого, и красный цветок поджога.

21

Ирина Сергеевна не ошиблась. Она ушла в дом и села за фортепьяно, но не успела она взять нескольких аккордов, как начал греметь гром и пришла гроза. Веселая майская гроза, которая развертывает свое огненное празднество лишь на краткие минуты, чтобы освежить воздух, напоить деревья и травы, и не медля окутаться в высокую радугу.

Светлый день прошел и погас. А вечером Ирина Сергеевна, усадив к себе на колени Глебушку, сидела в кресле около раскрытого окна и долго слушала, как вокруг высоких берез на дворе летали и гудели майские жуки. Шелестенье плакучих берез, покрытых пахучими молодыми листочками, вечерние тени, неявственно снующие в зеленой чаще ветвей, и это долгое упоенное жужжанье майских жуков, ровное, но иногда прерываемое одним близким жуком, прилетевшим только что и с размаху ударившимся о зелень, наполняло душу молодой женщины ощущеньем слитного праздника, творимого природой и откликающегося в человеческом сердце радостью связи человека с Землей. Хорошо быть на пиру, куда ты зван, где ты желанен, где ты сливаешься своим весельем с неисчислимым полчищем гостей, из которых каждый пьет полную чашу своего довольства. Пиршественное шуршанье, жужжанье и гуденье голосов дает человеку высокое

счастье чувствовать себя не одним, быть играющим звеном огромного сверкающего ожерелья, со звенной скрепой в лучистой цепи, а концы этой цепи смутно теряются, уходят куда-то и в небо и в глубь земли, в настоящее, прошедшее и будущее, и это хорошо, что не видно концов цепи, потому что там, где они теряются, что-то неизвестное, обещающее новизну своей непознанностью, и, если не видно концов, сердце и не предвидит конца, не думает о нем.

Глебушка, прижавшись к матери, давным уже давно заснул. Дверь тихонько скрипнула, и в комнату вошла Ненила, чтобы осторожно унести мальчика в детскую.

Через несколько минут она снова вошла.

— Что это, барыня, вы так сидите одна? — спросила она заботливо. — Страдаете верно?

— Нет, мне хорошо сейчас, Ненила, — отвечала разнеженно Ирина Сергеевна. — А все-таки трудно, уж не в первый раз, а ой как трудно.

— Потерпите, матушка барыня, теперь уж совсем недолго.

— Как погуляешь, походишь, очень тяжело. А ходить-то мне нужно.

— Уж такая наша доля женская. Нами только за то и мир держится. Разве мужчина может ребенка выходить, за дитятей походить? Да у него и руки-то другие. Топор или лопату или ружье хорошо умеет держать, а ребенка, если возьмет на руки, ты стой и смотри за ним, как за другим ребенком, чтобы он его не выронил.

— А у тебя, Ненила, ведь только один был сын?

— Эка вы вспомнили, матушка. Это уж так было давно. Один сыночек был, как есть один. И того в солдаты угнали, как англичане с французами и турками в Крым воевать приходили. Там он, бедненький, и головушку сложил свою, ни в чем-то неповинную. Только я его и видела. Если бы здесь он помер, я бы хоть на могилку к нему сходила, помолилась, цветочков бы на могилку принесла. А там в чужедальной стороне никто не пожалел и никто не пожалеет.

— Теперь легче будет народу. Все теперь вольные.

— Так-то оно так. Да трудно и с волей. Разве бедность не та же неволя? Мало ли мужики маются и вольные. А мне самой на что она, эта воля? Я одна. Никого у меня нет. Куда бы я пошла теперь от вас, барыня? Да ведь мне и хорошо у вас.

Вы ласковая, вежливая. И деточек ваших я люблю. Только уж очень своевольный Игорюшечка. Сладу с ним нет. Пойду его укладывать. Он, проказник, до сего часа не спит, заигрался в кубики.

— Я зайду сейчас поцеловать его.

Ненила ушла. Ирина Сергеевна простилась с Игорем и, ожидая возвращения Ивана Андреевича с тяги, снова стала слушать голоса ночи. Но ей стало так грустно от беседы с Ненилой, что не скоро она вошла опять в то дремотное сладостное слитие с природой, в котором человеческое сердце ощущает человеческое побледневшим и стертым, и чувствует всю убедительность иного бытия, где нет нашей разорванности, и вечный ткацкий станок, гудя и роняя в душу приметы, весело гонит к новым завершениям бесконечную мировую ткань.

22

Многие цветы ночью закрываются и умаляют свое душистое дыхание, другие цветы цветут только ночью, радуясь передвижению света в тьму, ландыш дышит во тьме сильнее своим страстным запахом, и хороша ночная фиалка, и упоительно дышит ночью табак своими белыми расцветами.

Желтокрылый махаон, радующийся солнцу, к ночи складывает свои узорные крылья, и они похожи тогда на большой сухой лист, а его тело на сухую веточку, но белые ночные бабочки с нарядными усиками, днем оцепенелые и недвижные в каком-нибудь темном уголке, ночью реющей толпой вьются около гроздий сирени или черемухи или позднее расцветающего жасмина.

И соловей, когда запоет днем, он поет прерывно и незаконченно, точно он учится только своей песне или уже позабыл ее, а когда поет он ночью, нет ему в пении равного в мире.

И не ночью ли чарами наполняет свои алые лепесточки дрема, посылающая людям счастливые сны? И не ночью ли расцветает рассыпчатым огнецветом папоротник, а кто прикоснется к его цветочной пыльце, уж, конечно, будет, во всем будет счастлив.

У дня много звонких и явных чудес, которые открыты каждому. У ночи их больше, но они известны немногим, и далеко не все.

А влияет ли время, когда родится ребенок, на судьбу его? Что мы об этом знаем?

Конечно влияет, и влияние это неисчислимо, но мы его не уследим. Можно ли исторгнуть одно явление, возникающее в сложной сети явлений, отъединить его от действия воздуха, света, времени года, часа дня или ночи, сочетания звезд, цветения желтых цветов, или белых, или иных, случайно пролетавшей мимо окна птички, которая чирикнула и рассказала матери, еще не родившей, но родящей через мгновение, что в мире есть песня, а песня есть воля, а воля — достиженье, а достиженье — радость. И в мучении своем, в болях и в терзании, улыбнется душа будущей радости, и всегда-всегда душа этого ребенка будет стремиться к новизне, будет полетной, певучей и радостной.

В одну из первых ночей июня, самого прозрачного месяца в году, и самого богатого цветами, пред утром, в тот час, когда короткая ночь целуется с новым днем, богатым долгими светлыми минутами, когда, одинокая в синеве неба, сверкает утренняя звезда и утонченны ее длинные золотые ресницы, у Ирины Сергеевны родился наконец ребеночек, которого она ждала с таким нетерпением.

Она рожала его легко, почти безболезненно. Боль явилась в капризном сердце, когда он родился, но ненадолго. Вероника не расцвела, это была не девочка, а совсем не исчисленный ожиданиями матери доподлинный мальчик.

— Мальчик! — возгласила торжествующе акушерка, поднимая ребенка в воздух и для здоровья слегка подшлепывая его, чтобы он кричал громче, к чему он не выказывал особого желания.

— Опять мальчишка, — разочарованно протянула Ирина Сергеевна, все же залюбованно смотря на красное тельце ребенка.

— И очень хорошо, сударыня, — наставительно заметила акушерка. — Мужской пол — командующий пол. Таким он был, как вы знаете, во всех цивилизациях.

— А царство амазонок? — насмешливо сказала Ирина Сергеевна.

— Это мифология, сударыня.

— А Семирамида? — не унималась насмешница.

— И про висячие сады Семирамиды мы читали, — отвечала акушерка, делая свое дело. — И Жанну д'Арк знаем. И нашу княгиню Ольгу. Только это все исключения. А в нашем быту, мужчине куда сходнее быть. Во всяком случае, говорить вам много сейчас не нужно, и поздравляю вас, молодцом себя держали.

— И я поздравляю, с увеличением в нашем мире командных возможностей, — сказал, улыбаясь доктор, медоточивый Левицкий.

Ирина Сергеевна смотрела на красно-рыжие волосики мальчика, и с испугом заметила, что, хотя головка ребенка чрезвычайно правильной формы, на затылке, в нижней части, был сильный выступ вперед, как будто там на ровный пласт черепа был наложен еще двойной пласт.

— Это будет уродство? — спросила она робко доктора.

— Что вы говорите, Ирина Сергеевна? — вскрикнул тот. — Да ваш сын будет гениальный человек. Такая голова была у Сократа.

Ирина Сергеевна улыбнулась. Ей всегда нравились любезные уверения, если даже она в них не верила и называла своим словечком — миндальничанье. Никакой сократовской судьбы, конечно, не ожидает ее мальчика, но почему бы ему не быть гениальным, если сама природа позаботилась дать ему особую примету?

Позволили войти и ждавшему Ивану Андреевичу. Но, когда он вошел поцеловать Ирину Сергеевну и с застенчивостью, точно виноватый, протянул ей ветку только что расцветшего жасмина, понюхать жасмин ей позволили и немедленно же убрали ветку. Этот запах был слишком силен для мгновения.

«Только и всего?» — подумала про себя Ирина Сергеевна. Это не о цветах она подумала, которые так неожиданно дохнули на нее сладким духом и тотчас же исчезли. О всей кончившейся тайне долгого безмолвного разговора с маленьким существом, жившим в незримой тайности, подумала она. Она была рада, что ребеночек уж тут, и ей однако было жаль этих долгих недель и месяцев сосредоточенной внутренней жизни, когда она вся была во власти этого внутреннего отъ-

единения от всех и тихого собеседования сердца с самим собою и с многосложной слитностью приходящих звуков и проходящих теней.

Она скоро заснула крепким здоровым сном. Ей снился большой куст вероники. Он цвел в саду недалеко от огромных столетних лип, и бесчисленные голубенькие цветочки, с белым светом там внутри, расцветали и осыпались. Она хотела подойти к цветам, но дикие пчелы так угрожающе жужжали, что она не могла. Вдруг поднялся ветер, деревья зашумели, множество голубеньких маленьких лепестков, закрутившись, поднялось в воздух, и это были те маленькие голубые бабочки, которые водятся на проезжих дорогах и любят грязные колеи и лужицы. Когда же она оглянулась к кусту вероники, там не было больше вероники, а был большой цепкий куст чертополоха с лиловыми цветами. Все смешалось, и она потонула в большом зеленом потоке, который протекал между деревьев, по деревьям, над древесными вершинами, и казалось, что есть только он, и нет больше неба и земли.

23

При крещении мальчика назвали Георгием. Мать стала звать его Жоржиком, отец тоже, но в минуты растроганности он называл ребенка Егорушкой, хотя Ирине Сергеевне это и не нравилось, она находила, что Егор имя некрасивое.

Когда ребенок принял определенный лик, и начал улыбаться, его зеленовато-серые глазенки выражали живость. Он был люб и отцу и матери. Ирина Сергеевна, неравнодушная к приметам, была обрадована чрезвычайно, когда увидела, что на правой ножке у ребенка родимое пятно, правильный коричневый кружочек, темное солнышко. Когда она позвала Ивана Андреевича, чтобы показать ему эту родинку, она имела такой счастливый и торжествующий вид, как будто она давала ему обещание совершить волшебство, и вот волшебная чара осуществилась полностью. Правда, и Ивану Андреевичу это темное солнышко показалось очень милым и трогательным.

— Мальчик будет весь в меня, он мой, — говорила Ирина Сергеевна. — Мой рыженький Жоржик!

— Жоржик твой, а Егорушка мой, — сказал, смеясь, Иван Андреевичу. — Рыженький-то он рыженький, а примета моя. Прямо печать.

Ребенку от этого дележа его было только хорошо. Ирина Сергеевна кормила сама. Кроме того, Жоржик поступил на попечение Ненилы, которая уже почти не нужна была Игорю. Все шло своим правильным порядком.

Ирина Сергеевна вступила в полосу радованья на все мелочи жизни. Она точно возвращалась каждый день к тому, что было когда-то ей мило, но было покинуто. Это были многократные свидания с теми предметами и с теми чувствами, с которыми душа много месяцев была в разлуке. То самое платье, которое еще так недавно она не могла надевать, вдруг стало для нее точно школьной подругой, с которой она внезапно свиделась. Надевая такое дружественное платье, она не могла удержаться от того, чтобы не напевать вполголоса какую-нибудь песенку. Особенное удовольствие испытывала она оттого, что могла теперь без всякого опасения быстро сбегать и взбегать по лестнице. Ей казалось, что у нее другие ноги, что ее каждую минуту зовут незримые голоса из леса, из сада, с поля, с лугов.

И она подолгу бродила в саду или по лугу. Наклонялась к цветам, редко рвала их, пусть живут, пусть цветут. Ездила с Иваном Андреевичем за две версты в лес, купаться в лесной речонке, все в той же Ракитовке, извивавшейся среди полей и лесов. В том месте, куда она ездила, речка образовывала небольшое и неглубокое озеро, звавшееся Лебяжий Слет. Лебедей там не было, но много было желтых и белых кувшинок, местами оно совсем было покрыто густо разросшейся осокой и камышами. Впрочем весной, во время половодья и перелета птиц, здесь гостили некоторое время дикие гуси и лебеди, больше однако утки. Ирина Сергеевна любила купаться подолгу, все же нужно было прощаться с Лебединым Слетом и с проворными его коромыслами, которые шелестели над самой водой своими стекловидными крыльями. Лошадь горячилась и нетерпеливилась, жалимая слепнями. Освеженные и смеющиеся, счастливые он и она ехали домой, где на балконе уже поджидал их кипящей самовар.

А когда поспела рожь и засверкали звонкие серпы, когда запели свою долгую песню в лугах стрекозы и кузнечики, по-

чувствовавшие, что лето кончилось, Ирина Сергеевна стала думать, что уже недалеко и сентябрь, и ей показалось в ее думах, что этот замыкающейся год есть единственный год ее жизни, полный истинного цельного счастья, и она тихонько шептала благословения каждой травке, каждому цветку, каждому кузнечику, звенящему в лугах, играющему на своей маленькой скрипочке тот же гимн любви и благодарности, которым было переполнено ее молодое сердце.

24

Лиза Метельникова, о которой вспоминала Ирина Сергеевна, не замерзла в сибирской зиме и не заблудилась под землей, в копях, где есть коридоры со стенами из драгоценных камней. Она приехала с Урала в Москву, а оттуда проехала в Большие Липы к своей подруге. Ликованию и расспросам Ирины Сергеевны не было конца. А узнавши, что Лиза, хотя и не видела стены, состоящей из сапфиров и алмазов, но стену из аметистов видела собственными своими глазами, она сделала ей реверанс такой почтительный, какой она сделала лишь однажды в жизни, когда к ним в институт приезжал Наследник Цесаревич.

Лиза Метельникова приехала повидаться с подругой, но у нее была, также, и определенная цель. Она привезла с собой несколько номеров «Колокола», привезла «Былое и думы» Герцена, и еще другие заграничные издания. Она принадлежала к какой-то тайной организации, к которой, не сообщая, однако, о ней подробных сведений, она хотела привлечь Ирину Сергеевну. Цель организации была просветление умов, главным образом среди крестьян и рабочих, исходящее из мысли, что царское правительство неспособно дать необходимые реформы, что оно доказало столь несовершенно проведенной крестьянской реформой.

— Ты очень изменилась, — говорила Лизе Метельниковой Ирина Сергеевна. — Ты раньше была совсем другая.

— Я много видела с тех пор, как мы с тобой начиняли себя всякой романтикой.

— Наша романтика, Лиза, не так уж была плоха. И мы здесь делаем по-своему, что можем.

— Мало вы можете и не это нужно. Необходимо переменить все в самом корне, пока еще не поздно. А еще не поздно. И есть сильные люди, которые хотят изменить лик вещей в основном. Наши кружки разбросаны по многим местам России.

— Как ты можешь верить, что заговоры могут привести к чему-нибудь путному? Или ты забыла декабристов?

— Это было совсем другое и частичное. Я не о каком-нибудь перевороте, совершаемом кучкой людей, говорю. У каждого человека есть ум, который может развиваться или пребывать в отупении и предрассудках. И у мужика есть ум, хоть он упрям и на вид слишком часто глуп. А у рабочего ум бывает совсем восприимчивый. И все на заводе или на фабрике очевиднее. Начнется с малого, придет к большому. Самый ход вещей будет говорить за себя. Мы создадим очаги и нужных людей. А решительная минута придет, когда это будет необходимо.

— Я думаю, что прежде всего нужно распространить самую простую грамотность. Тогда и то, о чем ты говоришь, и то, о чем ты мечтаешь, будет иметь полный смысл. Не раньше, моя милая, не раньше.

— Да ведь не хотят совсем, чтобы мужики были грамотными. Против этого имеется весьма сильное течение. Или ты, добренькая, полагаешь, что ты отсюда из Больших Лип распространишь на всю нашу матушку Русь грамотность?

— Я отвечу тебе твоими же собственными словами. Начнется с маленького, а кончится большим. Я не одна и я не исключение. А ты в деревне не жила, и мужиков совсем не знаешь.

— Я видела зато много рабочих. Да притом вовсе, в конце концо, и не в мужиках и не в рабочих дело. Когда случается пожар, все суетятся и бегают зря. Если же тут случится распорядительный человек, он глупое человеческое стадо, заметавшееся от вида огня, как от волка, в одну минуту превратит в толпу дружно работающих. И когда приходит жатва, волей-неволей берут серпы и идут жать. Так и со всей Россией будет. Мы подготовим, а ход вещей сам за себя в тысячу раз больше будет готовить. И будет пожар. И придет жатва.

Ирина Сергеевна замолчала пораженная. Ей припомнился странник, и совпадение мыслей и слов, несмотря на все различие, подействовало на нее ошеломляюще.

Она подумала и наполовину шутливо, наполовину простодушно спросила:

— Ты не разговаривала ни с каким странником в дороге?

— Со странником? Что с тобой, моя милая?

— Нет. Так. У меня была одна встреча.

— Должно быть, и моя очередь настала сказать: Ты очень изменилась. Это ли Ирина Искра? Ты даже со странниками научилась говорить. Ну и сиди себе спокойно в своих Больших Липах, рожай детей, у тебя их уже трое, будет, конечно, и больше. И учи трогательных Васюток и Машуток «Птичке Божьей.

Ирина Сергеевна, несмотря на свою легкую способность обижаться, на подругу совсем не обиделась.

В члены тайного сообщества она все-таки не поступила. Но при отъезде Лизы Метельниковой, довольно непоследовательно, вручила ей целую сторублевую бумажку, для передачи в кассу этого тайного общества. И очень взгрустнулось ей, когда Лиза уехала. И подруги ей было жалко, и в душе осталось что-то неясно раздражающее. В себе она не сомневалась ни чуточки, и после споров и разговоров стала еще убежденнее в своих точках зрения. Ее неуловимо беспокоило совпадение между проповедью странника и словами ее подруги. У нее было такое чувство, точно в спальне перед сном, когда постель уже была приготовлена и верх одеяла с верхом одной простыни был откинут, она услышала в комнате жужжание осы и увидела ее мельканье, трепетный лик, ее хищные усики. Но, когда она стала ловить ее, оса исчезла. И вот она не знает, в комнате оса или улетела. И ей неуютно лечь в постель.

25

К Ирине Сергеевне пришел михалковский мужик Афанасий и принес подарки. Афанасий кроме крестьянского своего дела был также и охотник. Ружьишко у него было кое-какое и собака охотничья была, а вот насчет пороха и дроби

было туго. Дóроги они очень, порох и дробь. Он знал, что Ирина Сергеевна пороха и дроби ему даст и так, если попросит, а все же лучше приходить не с пустыми руками. Этот раз он не дичины ей принес, а большое лукошко рыжиков и сплетенные им самим чрезвычайно изящные, маленькие лапотки.

— Спасибо за рыжики, — говорила Ирина Сергеевна, награждая Афанасия изрядным количеством пороха и дробью мелкой и крупной, — чудесные рыжики. А лапотки-то эти почему ты мне принес?

— А хороши, барыня? — спросил Афанасий, ухмыляясь.

— Очень хороши, превосходные. Если бы не такие маленькие, а мне впору были, я бы в них танцевать стала.

— Так я вам, матушка, сплету другие, — лукаво ответил Афанасий, довольный шутке. — А эти самые лапотки я для старшего сынка вашего сплел, подарите ему от охотника Афанасия.

— Уж не знаю, что он будет с ними делать. Подарю ему как игрушку.

— Что они будут с лапотками делать, не могу знать, а только собственное это их желание. Как я в прошлый раз был здесь в усадьбе, на дворе я барчонка с Ненилой встретил. И говорят это они: «Афанасий, хочу лапти. Принеси мне лапти». «Ну, — отвечаю, — коли хочешь лапти, мы с нашим удовольствием вам сплетем». — Вот, значит, как сказано, так и сделано, матушка вы наша.

Ирина Сергеевна подивилась, но, не выказывая своих чувств, еще раз поблагодарила Афанасия и велела прислуге накормить его и напоить чаем.

— Игорь, Игорь, — позвала она мальчика.

Игорь неторопливо пришел к ней из детской.

— Ты звала меня, мамочка? — спросил он, осматриваясь своими сосредоточенными и острыми глазками.

— Да, деточка. Посмотри-ка, что у меня для тебя есть.

Игорь увидел лапотки, зарумянился, не то от удовольствия, не то от застенчивости, и тотчас ухватился за них.

— Это мне, мамочка? Откуда это?

— Как откуда? Да ведь ты же сам сказал Афанасию, чтобы он тебе принес. Вот он и принес тебе в подарок.

— Какие хорошие!

— Да зачем они тебе, Игорь?

— Я в них буду ходить.

— Почему же именно в лапотках? Разве тебе твои сапожки не нравятся?

— Ах нет, мама. Что ты говоришь? Сапожки очень хорошие. Так поскрипывают тихонько и блестяще. Я буду сапожки носить.

— И сапожки, и лапотки. Как же это? Вместе?

— Нет, мама. Какая ты! Сначала сапожки, а потом лапотки.

— Когда же потом?

— А потом, после, когда большой выросту. Я хочу быть как тот странник. Когда он уходил от нас и смотрел на меня... — Мальчик застыдился.

— Ну что же?

— Я тогда полюбил его, мама. Он был такой печальный. И я посмотрел на его лапти, когда он выходил. Мне хотелось пойти за ним и быть, как он. В лаптях пойти за ним. Из церкви в церковь. В церкви хорошо. Так светло и поют. И все молятся. Я люблю, когда ты в церковь ездишь со мной, в Якиманну.

— Мой милый, милый, — сказала мать, крепко прижимая его к себе и целуя. — Мы завтра опять туда поедем. Завтра воскресенье.

Мальчик молча сидел на коленях у матери, и что-то светлое и темное вместе, вне слов, означалось в его глазах. Он думал про себя свое.

— Мама, — сказал он наконец, точно решившись.

— Что, милый?

— Почему странник в лаптях, а я в сапожках, а деревенские мальчишки босые?

— Глупенький ты мой. Какие ты вопросы задаешь. Да потому, что всегда так было.

— Всегда? — недоверчиво спросил мальчик.

— Всегда, милый, и всегда так будет. Да ведь им совсем не плохо, деревенским мальчишкам бегать босыми, им даже очень это весело. Ты ведь тоже любишь босыми ножками бегать по полу, когда спать ложишься и шалишь и дразнишь няню. И в лаптях тоже хорошо, и страннику, и мужикам. В них еще мягче, чем в сапогах.

— Ты правду говоришь? — спросил мальчик медленно и разочарованно.

— Правду, правду, миленький мой, — проговорила Ирина Сергеевна, покрывая его поцелуями. — Пойдем-ка в сад, погуляем. Посмотрим, не расцвели ли настурции.

26

— Какие странные мысли приходят ему в голову, — говорила про себя Ирина Сергеевна, идя по садовой дорожке. Игорь шел с ней рядом, молчал, но просветлел.

— И ведь он мне не поверил, когда я начала отговариваться, что всегда так было. Дети знают безошибочно, когда мы, взрослые, от них отговариваемся. И не умеем мы с ними говорить.

Она вспомнила, как и ее в детстве часто сердили нарочные слова взрослых, и как она внутренно смеялась, и зло смеялась над взрослыми, воображающими, что они так непроницаемо умны, а дети ничего не видят и не понимают взрослой неуклюжести. Да, конечно, птицы понимают своих птенцов, и умеют с ними обращаться, и животные тоже. Как собака или кошка умеет играть и дружить по-настоящему со своими детенышами, щенята и котята часто счастливее детей. А люди, должно быть, так умнеют в одну сторону, когда становятся взрослыми, что голова у них очень нескладно все существо перевешивает, и все у них криво-косо выходит.

Впрочем ведь не все не умеют говорить с детьми как нужно. Вот у Ненилы всегда выходит все складно. Я не умею так. И Игорь ней больше льнет, чем ко мне. Я иногда ревновала, а потом бросила. Вижу, что она и вправду какой-то дар имеет особый говорить с детьми. Скажет какую-нибудь складную прибаутку, сказку расскажет кстати, наговорит, наговорит, у мальчика совсем другие глаза делаются.

— И ласковая она. Я иногда бываю такой равнодушной, такой холодной. Точно мне ни до кого нет дела никакого, а она всегда ласковая и всегда терпеливая».

Ирина Сергеевна обошла с Игорем весь сад и тихонько пошла домой.

«Куда это опять Ванечка запропастился? — подумала она с легкой досадой. — Теперь опять начнется охота да охота.

Так его и не увидишь целыми неделями. Странная и я, — продолжала она свои размышления. — Что же ему, пришитым, что ли, ко мне сидеть? И с детьми ведь он не может быть столько, как я. Ничего, что его нет. Он вернется. И чем дольше отсутствует тем нежнее, когда возвращается, больше любит меня, а не меньше.» — Она вздохнула и опять с тревогой посмотрела на Игоря. Мальчик сосредоточенно молчал, а она не знала, чтоб ему сказать или о чем его спросить.

— Да, я знаю, почему взрослым трудно говорить с детьми так, чтобы дети были действительно довольны, и им не казалось бы, что с ними играют, но в нарочную игру. Ребенок — птица, а душа взрослых вся обнаженная, и ребенку скучно.

А душа няни — дремучий лес, и птице хорошо в дремучем лесу, все найдет она там, что ей нужно и что ее манит. А наше — недоступно ребенку, доступное же обнажено, как выжатое поле и выкошенный луг. Ни колоса, ни цветка для ребенка не найдешь в души взрослого.

С долгим скрипом потянулся по проезжей дороге за садом обоз. Лошади везли тяжелый груз, около каждых двухтрех возов шел сбоку молчаливый мужик, помахивал кнутовищем, на минуту какой-нибудь мужик подходил к другому, перекидывались несколькими словами и снова разъединялись, говорить им было не о чем.

Обоз протянулся длинной серой змеей и в странном молчании, нарушавшемся только томительным скрипом, потянулся к селу, а через село потянется в город, и там серая змея потеряется, звенья ее рассыплются.

Ирина Сергеевна пройдя весь сад, стала выходить с Игорем через другую калитку возле входа в липовую аллею. Тут только она вспомнила, что хотела посмотреть, не расцвели ли настурции. Она вернулась на минутку и в уютном уголке увидела желто-красные цветы.

Настурции зацвели. Потому что лето отцвело.

27

— Няня, — говорил в этот вечер, засыпая, Игорь. — Отчего я хожу в сапожках, а странник был в лаптях, а мальчишки деревенские босиком бегают? Почему?

— Ах ты родимый мой, — проговорила Ненила, совсем растроганная и знавшая уже во всех подробностях историю с лапотками. — Отчего да почему, только это одно слово ты и знаешь. Мало ли почему.

— Нет, почему? Скажи.

— Да, милый ты мой, ведь ты барчонок, папа и мама твои ведь не бедные, у них всего довольно, вот и купили тебе сапожки хорошие, и ходишь ты в сапожках. А странник бедный, ничего у него нет, хорошо еще, что лапти есть, а то бы и босой ходил по всем своим путям-дорогам, а дороги-то разные, камни на них бывают и осколки там всякие, и на колючку напороться можно. Так он лаптям-то своим больше рад, чем ты своим сапожкам. Идет, мягко в них, и ноге уютно, и сердечушку его хорошо. Идет он и думу свою думает и Бога хвалит. А мальчишки деревенские босые бегают, так как же им, глупенький, по-другому бегать? Им босым-то вольней. Да и что на них не сгорит? Надень-ка на них сапожки, они их в одну неделю так протопчут, одни голенища останутся. На них и лапотки жаль надеть. Тоже и лапотки — добро, нужно их сплесть. Ни за что пропадут. Все на них горит, такие они непоседы.

— Няня, а мама сказала, это всегда так было. Всегда у Бога одни бедные, а другие богатые? И в раю тоже так?

— Милый ты мой, родной мальчик, — проговорила Ненила умиленно, — всегда были бедные и богатые, и бедных много-много больше на свете. Все же, хоть и говорят так — «бедный», не все они по-настоящему бедные. У кого горе — тот бедный. А у кого горя не бывает? Нужно всех жалеть, так нам Бог велел. Всех жалеть и обо всех помолиться. А это, что бедные и что богатые, пустые слова, — со вздохом продолжала она уже более для себя, чем для засыпавшего мальчика. — Бедным-то, конечно, куда труднее, чем богатым, да ведь люди все разные. Как птицы в лесу, и как звери лесные, и как цветочки на лугу. Одна птица клюет-клюет и никогда сыта не бывает, и глаза у нее жадные и несчастные. А другая птичка клюнет, чивикнет и улетит. И весело ей, летает и поет. Зверь зверю — рознь, и человек человеку — рознь. Под одно их не подогнать. А жалеть всех нужно. Все — Божье творение. Сохрани нас Господь Всевышний. Спи, родной.

Но мальчик уже крепко спал. Ему снился красивый сон. Он шел по большой дороге, залитой солнцем, по дороге, где только что прошел обоз и растаял. Он шел, а на нем были новые белые лапотки, длинный кучерской кафтанчик, подпоясанный серебряным пояском, и шапочка с павлиньими перьями. Около него, держа его за руку, шел странник, наклонялся и что-то говорил ему, а глаза у него были ласковые и печальные. А шли они к большой белой церкви, и было еще издали видно, что там идет служба, двери церковные были раскрыты. И мальчик удивился во сне, увидев, что из церкви, где звучало пение и сверкали иконы с золотыми рамами и с золотой оправой и горели зажженные свечи, вылетали черные и белые птицы, он не знал, какие они. Птицы вылетали и опять влетали в церковь, и мальчику почему-то было очень от этого тревожно и хотелось что-то сказать страннику, но он не знал что, и хотелось закричать, но он не мог. А странник все шел с ним ближе к церкви и наклонялся к нему. И ему было хорошо, оттого что странник наклонялся к нему. И ласково смотря, хотя печально, странник говорил ему что-то, но он не мог понять его слова. И мальчику было тревожно, оттого что он не мог понять слова странника, но ему было хорошо, потому что на нем была шапочка с павлиньими перьями и белые лапотки на ногах.

28

Сентябрь, золотой сентябрь, сколько раз ты был в мире с тех пор, как расцвели цветы и деревья, страсти и желания? Сколько раз ты будешь еще бросать в листья, которые были смарагдами, золото и кровь?

Ты являешь в прозрачном воздухе такие тонкие паутинки, что, не улетая на небо, они и не падают на землю. Их зовут нитями девы, их зовут пряжей Богородицы, они такие невещественно-легкие, что только из них можно спрясти радужные одежды для помыслов Той, в чье сердце вошло семь мечей. Развилистая цепкая лоза давно расцвела в песчаной почве, душистые крупные ягоды превратились в красное и белое вино, вино алое и золотое. Горело топазом золотое ви-

но в граненом хрустале. Выпит полный бокал золотого вина, солнечно-веселящего. И рука уронила хрусталь, он разбился с тонким звоном, с тем звуком, который был весел только для самого себя, как призрачный звон разбивающихся хрусталинок в остром свисте синей птички, синички, в малом вспеве птичьего голоса на ранней обедне осени.

Разметалась осень по лугам и лесам, по полям и дорогам, по притихшим рекам, по тихим, всегда тихим озерам, и такая же она властная, как весна, еще властнее и пышнее в красках, горящих костром и заревом, говорящих сердцу о сожженном.

И красные яблоки останутся на зиму и от них будет благовонный дух в комнатах, которые сомкнут теснее свой воздух, чтобы не стыли мысли, когда за окнами метель. И единственная ягода осени горькая ягода рябины — свесила вдоль забора в саду свою ликующую бахрому, красные кисти.

Желтые ковры в тереме осени, желтые и красные стены и потолки этого шаткого терема, синие прорезы в зыбком потолке, в синюю глубь воздушных верхов глядят эти прорезы, туда, где ходят вольные тучки, где кричат прощальным криком вольные птицы, которые, исчерпав сполна одно, летят к цельному и полному другому, в страде и торжестве высокого перелета кричат уманчивые птицы, дразнят и зовут, болью и грустью терзают тех, кем ткутся ткани прочной жизни, чьим сердцем, прикрепляющая, властвует тяга земная.

Ветер качает зеленые висячие ковры весны — и зеленые и пестрые ковры, разостланные снизу. Дождь, пролетая быстро, гонимый торопящимся громом, мочит весенние ковры, и они еще пышнее и красочнее. Кажется, что им и не будет конца. Кажется цветку, что, если он расцвел, так всегда он должен дышать солнцем и голубым теплым воздухом, потому что счастье есть правда, а правда должна быть всегда, никогда не изменяя, не меняясь. Кажется зеленому листку, что лучше изумруда нет ничего, и в море изумрудном, неисчерпаемому несчитанном, посмеявшемся шелестом своим и гулом над всеми числами, кажется ему, что он вечно будет зеленым, что не тронет его ржавчина, что не брызнет в него кровь.

Нет узорное, в тонких вырезах, листьев клена. И первые они принимают в себя потоки бледного золота. Нет таинс-

твеннее в лике и шелесте листьев крепкого вещего дуба. И самые они темные, скоробленные, когда осень, дохнув, сделает их ржавыми.

Нет часа пронзительнее последнего часа кончающегося праздника, ни звука лесного острее свиста синицы, ни боли острее безгласно вскричавшего женского сердца, услышавшего крик отлетных журавлей и судорожно понявшего, что золото прошлого сентября потонуло в золоте нового сентября, уже дрогнувшего в рассыпающемся тереме осени. Женское сердце всегда приковано, и больше в нем жалости, которая не пустит, не отпускает. Мужское сердце всегда свободно, и любит или не любит, а уходит на мгновенье, на час, на день, надолго, часто навсегда.

В близком лесу зазвучали рога, охотничий рог, музыка северных лесов. Тот великий поэт, который всех больше других любил Россию, сказал, что эта музыка слаще Бетховена. Слаще она и древнее, лучше она созданий всех чародеев гармонии, потому что в ней плещет воля и говорят голоса лесов. Праотцы кличут к нам в звуке охотничьего рога, они, что не знали нашей боли и жалости, и не скорбели от паденья осенних листов, ни от голоса часа, когда над разметанным теремом осени, над прорывами темных ветвей, над растерзанными их коврами огромным сдавленным шаром спустилось и сейчас уйдет красное солнце, кровавое солнце.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Старинное сказание о добрых и злых волшебницах, наделяющих новорожденного ребенка своими дарами, осуществляется в жизни гораздо чаще, чем это думают. Избранники возникают. Творчество мира не оскудело. Но бывает так, что иногда избранный стебель мирно поднимается среди соседних трав, с медленностью спокойной и плодотворной крепнет зеленая цветочная почка, растет как изумрудное яйцо, до срока своего, и от должного касания солнечного луча или капли утренней росы наконец шелохнутся в своем сжатьи кончики красочных лепестков, раскроется голубая или алая чаша, может быть, захватившая цвета солнца, чаша золотая. Цветок цветет, на него глядят, им любуются, искрятся глядящие глаза от зрелища стройной красоты, своим видом чарующей душу. А бывает и не так.

Сломится стройный стебель, прежде чем явить воздуху всю свою цветочную мощь. Кто тогда назовет избранника избранником? Кто оценит, сколько потеряно, когда, брошенный как ненужное, лежит и быстро смешивается с молчащею пылью продолговатый тонкий изумруд, не успевший раскрыть свое красочное сердце?

Среди детей Ирины Сергеевны, — а кроме троих, у нее рождались еще, и с течением лет всего у нее было семь сыновей, — старший, Игорь, и третий, Георгий, были избранниками Судьбы, и каждому волшебницы подарили много даров. У Георгия был пригожий лик, тихий нрав, любопытствующий созерцательный ум, любовь к узнаванию тайн, любовь к

любви, безгневность, радованье всякой красотой, ненасытимая жажда музыки. Один только дар из этих благих даров был заклятым. Любопытствующий ум, опрокинувшись в то свойство его души, которое выразилось как любовь к любви, бросил его в свой час в такие далекие дороги, ступив на которые он уже должен был идти, если бы и хотел сказать: «Довольно».

Пригожий и даже красивый лик, нрав тихий и созерцательный, но со взрывами гнева, ум острый и любящий сопоставлять острия, желание всегда разгадывать тайны, а если свиток, включающей в себя тайну, не поддается разгадке, способность нетерпеливым движением разорвать этот свиток, ненасытимая жажда найти правду мира и увидеть ее воплощенной таковы были перепутанные дары, подаренные маленькому Игорю добрыми и злыми волшебницами. И колдовство зловольных в свой час оказалось более сильным.

Пока это были только дети. В клетчатых шотландских рубашках с серебряными поясками, в бархатных шароварчиках, слишком широких, в козловых сапожках. Такие чистенькие и чинные. В светлых комнатах, где им улыбается только ласка. В светлом саду, где бабочки и цветы. В светлой сказке, которую рассказывает каждый звенящий новый час и каждое новое явление в мире, где все появляется, прежде чем исчезнуть. В светлом детстве, которое посылается небом как единственный праздник, ни с чем несравнимый по богатству и свежести приходящих звуков и красок. В том царстве, которое в жизни раскрывается только раз.

2

Кто любит проходить по лесной дороге и смотреть внимательным вбирающим взглядом на зеленое богатство, мимо которого он проходит, тот знает, что, идя, он лишь касается душой этого богатства и видит только общую картину живого разнообразия, в нем создается только очерк этой красоты. Но, если он выберет тихое место, сядет там неподвижно, и на ту же самую красоту будет смотреть не мгновенным взглядом, а длительно, он увидит ее совершенно иной, впервые такой богатой, яркой и разнообразной, впервые всеслитой в

своем разнообразии — поющим законом гармонической цельности. Через глаза, глядящие долго и любовно, в душу глядящего войдет музыка безмолвия, и нескончаемо содержание красивой мудрости, входящей в созерцающую душу от зеленых ликов леса, не скупящегося делиться своим ценным добром с тем, кто хочет его и жаждет.

Кто молча заглянул хоть однажды в глаза живого существа, будь то друг, или женщина, или ребенок, или конь, или верная собака, или неверная таинственная кошка, или птица, насторожившая свою головку и не знающая, улететь или не улететь ей с ветки, тот знает, сколько неопределимого словами душевного содержания переливается из глаз в глаза, от одного существа к другому, из души, в которую заглянули, в душу, которая хочет глядеть и видеть и молча ласково спрашивать.

От всех вещей мира всегда исходят многосложные безмолвные голоса, и тот, кто их слушает, а не проходит мимо них лишь вскользь, приобретает особое красноречие, сказывающееся в особой единственности речи, или умении пропеть былину, или в даре живописания, или в неземном даре прикоснуться к струнам и музыкой переселить небо на землю. Иногда это красноречие сказывается в том, что человеку с человеком необъяснимо хорошо. Они ничего не говорят друг другу, но чувствуют, что у обоих в душе праздник. Иногда это красноречие — и чаще всего — видно в молчащих глазах ребенка, который еще не забыл недавнюю голубую Вечность, но уже коснулся своей воспринимающей душой играющего содержания звенящей минуты, этого загорающегося и погасающего, чтобы снова загореться, серебра и золота, из которых новожданная новочаянная душа, в каждом пробеге своей минуты, ткет в новых сочетаниях воздушные ткани снов.

Тайна детства и до сегодня еще не разгадана, и, вырастая, люди так же мало помнят свое детство, и всю его красочномузыкальную содержательность, как, просыпаясь, мы помним лишь несколько мгновений наши сны, а потом сны тают, и в памяти нашей остается лишь воздушное ощущение, что мы были лицом к лицу с тайной, которая блеснула и ушла, — и наше желанье догнать бодрствующим умом ускользающую, ускользнувшую тайну сновидения похоже на желанье

коснуться радуги. Пока мы приближаемся к радуге, она уходит. Она уходит и тает. И в конце концов у нас в руках только влажность прошедшего дождя, а в уме слабое воспоминание, что краски были и они единственны по своей красоте.

Обыкновенные взрослые люди, говоря слово «ребенок», или слово «дети», произносят это слово тоном заурядного, мало что разумеющего опекуна или же влагают в него нарочитую нежность, овеянную снисходительностью и пренебрежением. Но Тот, Чье имя благословили нескончаемые миллионы, любил присутствие детей, как Он любил цветы и птиц, и, поставив ребенка посреди двенадцати Своих избранников, обнял его. Ибо Он лучше других знал, что детство есть сложная красивая тайна.

Если детство есть сон, так ведь есть высокий, прославленный своей мудростью народ, все рассуждения которого опираются на основоположение, гласящее, что жизнь есть сон. И среди снов бывают вещие.

Женщина никогда не может забыть того первого поцелуя, который когда-то она узнала как девушка. Мужчина душой своей неизмеримо грубее и тяжеловеснее, чем женщина. Но и мужчина в свой час, кто бы он ни был, помнит, вспомнит ту, которую он поцеловал впервые.

Первые ощущения бытия, испытываемые в детстве, — это первые поцелуи мира к душе. И если детство проходит счастливым, все оно тогда радостная смена новых и новых ласковых поцелуев, все оно есть беспрерывная тайна причастия. В первый раз новожданная душа проходит сказочные дороги мира с раскрывающимися чашечками цветов. И этот свет Мировой Евхаристии, пережившему счастливое детство, светит потом всю жизнь.

3

— Игры-игрушки! Купите игры-игрушки! Самые лучшие, первый сорт! — возглашал расторопный ходебщик, выгружая свой товар из объемистого короба на длинный ларь, стоявший вдоль стены в передней барского дома в Больших Липах. —Игры-игрушки, — повторял он, лукаво посматривая на детей, у которых загорались глазенки, на Ирину Сергеевну и

на Ненилу. — Кубари, волчки, заведут песню, кружатся, не кончат до завтра. Плясуны канатные, из наилучшего картона, дернешь за ниточку, руки-ноги дрыг в разные стороны, а иные даже язык показывают. Ваньки-встаньки, как их ни бей, не ушибешь, как ни бросай, а покачается и встанет ванька-встанька. Мужик с медведем, деревянные, а как по железу молотками бьют, тот — стук, и этот — стук, не узнаешь, кто лучше молотком работает. Мельница — хлеб молоть, крыльями машет, и гусю так не взмахнуть. Утята, гусята, собачки, барашки, у каждого голос есть, только пожми немножко, сейчас заговорит по-своему, как ему природа его велит. Зайчик-барабанщик, сам беленький, перед барабаном сидит, только его повезешь за вожжи, бьет барабанную дробь. Утюжки, корытца, и жбанчики, и стаканчики на полное хозяйское обзаведенье. Красавицы деревенские, — добавил офеня, высыпая на ларь ужасающих кукол из тряпок, с круглыми как блин рожами, с круглыми, черными глазами и нарисованным носиком непомерно малым над непомерно большим ртом. — Вот Машка, Палашка, Малашка и Агашка, Феклуша Подбери Бока, Парасковья Спесивая. И самый что ни на есть первейщий красавец на деревне, добрый молодец Куклей Куклеевич. Что хотите, то берите. Вниманьицем нас своим просим покорно не оставить.

Ирина Сергеевна и Иван Андреевич покупали игрушки детям в лавках города Шушуна, но почему не купить и у деревенского ходебщика, принесшего столько заманчивых вещей. Дети погрузились в рассматриванье и перебиранье игрушек.

— А что это у вас в другом коробе будет? — спросила Ненила, показывая на коробок меньших размеров.

— А в этом коробке у нас особь статья, — заговорил коробейник серьезным голосом. — Книжки занимательные, чтобы вечера скоротать. Вот «Бова Королевич», «Еруслан Лазареевич», «Конек-Горбунок». Картины также важнеющие, царствующие особы и боевые генералы. А еще вот тут в углу, иконки есть недорогие, размеров малых, а качества самого лучшего.

— Откуда же это у вас иконки? — с любопытством спросила Ирина Сергеевна.

— А потому как мы будем суздальские богомазы, этим мы и на весь мир прославились, — с гордостью ответил офеня.

— Ну, дети, выбирайте себе скорей кто что хочет, — поторопила увлекшихся детей Ирина Сергеевна.

— Я хочу канатного плясуна, — сказал Игорь. — А еще медведя с мужиком. А еще, — добавил он застенчиво, — вот эту иконку, — и он показал на иконку Николая угодника.

— А кубарик не возьмете еще, барчук? — спросил офеня протягивая Игорю большой красный кубарь.

— Возьму, — ответил мальчик. — И вот эту иконку еще возьму, — сказал он, показывая на иконку Пресвятой Девы с Младенцем.

— Ну а ты, Глебушка? — спросила мать.

— А я хочу тоже кубарь, да и не один, а два, — с важностью ответил Глебушка. — А еще ваньку-встаньку. Четыре ваньки-встаньки.

— Почему же четыре? — засмеялась Ирина Сергеевна.

— Двое на одной стороне, двое на другой. Будут драться, — ответил с серьезностью Глебушка.

— А ты, Жоржик?

— А я хочу волчок. И зайчика с барабанчиком. А еще вот эту книжку, — добавил он, протягивая ручку к «Коньку-Горбунку.

Офеня тотчас дал ему книжку.

— Зачем же тебе книжка, глупенький? Ведь ты еще не умеешь читать.

— Я буду картинки в ней смотреть, — ответил Жоржик со вздохом.

Ему очень хотелось уметь читать, но мать на такую его просьбу уже дважды ответила отказом, находя, что он слишком мал. Ему было четыре года с небольшим. Конечно все выбранные игры-игрушки были куплены для детей. И пока ходебщик, приговаривая, отдавал покупки одну за другой, выбирая иногда для замены вещь получше, он успел еще освободить свои запасы от нескольких утят, гусят, собачек и барашков, из которых каждый имел свой голос, а также и нескольких глиняных свистулек в виде лошадок и петушков с коротким клювом. Эти свистульки напоминали детям живых лошадей и живых петушков и курочек, которые беспрерывно входили в их детскую жизнь и вместе с собаками и кошками были гениями-хранителями лучших детских минут.

4

Дети любили игрушки, но они у них изнашивались очень быстро, кроме таких несокрушимых, как кубари. Но они больше любили веселые игры в саду и на дворе, с беготней, с проказами, с визгом и хохотом.

Играли они в свои игрушки по-разному и обращались с ними неодинаково. Канатный плясун так яростно плясал у Игоря, что погиб в тот же день. Игорь разорвал его на части, сложил эти куски в кучку, и смотрел на нее с сожалением презрительным. Так мало жил плясун. Не сумел и одного дня прожить. Игорь и вообще любил разрушать свои игрушки, чтобы посмотреть, в чем собственно заключается хитрая их штука. Иногда, разрушив игрушку, он догадывался, в чем было ее особенное свойство, и после этого охладевал к таким игрушкам. По большей части однако разламываемая игрушка по мере своего разрушения ухитрялась утаивать свой маленький секрет и оставляла в детском уме только горький осадок. Впрочем, Игорь чувствовал больше влечения к книгам, чем к игрушкам. Он уже давно учился с матерью, и в предстоящую зиму должен был готовиться к поступлению в шушунскую прогимназию.

Глебушка, расставив своих ванек-встанек, с довольною серьезностью и полной сосредоточенностью бил фигуркой фигурку, и какая фигурка, после покачиваний и взад и вперед, первая устанавливалась в неподвижности, та очевидно и была победительницей. Но Жоржик, весьма привязавшийся к Глебушке, с которым они были так дружны, что мать в шутку называла их нитка с иголкой, и отличавшийся большей находчивостью, чем его простодушный братишка, научил его иной игре с ваньками-встаньками. Он вместе с Глебушкой уложил всех четверых в четыре постели, состоявшие из четырех коробок. Ваньки-встаньки были так плотно уложены в тесные коробки и так укутаны и подтыканы сверху и снизу лоскутными одеяльцами, что, несмотря на свой нрав, повелевающий им всегда жить стоймя, они самым серьезным образом лежали на спине. Но тут возникали гром и молния, потому что ведь на небе случается гроза. Схватившись за руки, оба мальчика быстро совершали круг, обегая четыре коробки, поставленные на полу, и останавливались, восклицая:

«Гром гремит!» Потрясенные грозовым вихрем, ваньки-встаньки воздвигались на своих ложах, и никакие лоскутные одеяла не могли удержать их от излюбленного стоячего положения.

Зайчик-барабанщик также явил все свои свойства. Так как от движения той дощечки на колесиках, на которой он сидел перед барабаном, он начинал колотить своими передними лапками по этому маленькому барабанчику, Жоржик ухитрился запрячь зеленоглазую черную кошку Машку, и кошка несколько раз покорно провезла причудливую колясочку с веселящимся белым зайчиком. Но, если чернобархатная Машка испытывала снисходительную симпатию к Жоржику, не раз подпаивавшему ее молоком, и не сочла ниже своего достоинства притворяться на малое время, что способна подчиняться, она совсем иначе относилась к этому несколько грубоватому в движениях бутузу Глебушке, и, когда он вздумал быть кучером, она с такой быстротой выдернула вожжи и, сделав крутой поворот, спаслась из комнаты, что коляска потерпела крушение, и белый зайчик, отклеившись от дощечки, покатился по полу и разъединился со своим барабаном.

Впрочем ни Жоржик, ни Глебушка не предались отчаянию, и стали весело пускать по комнате, один — кубарь, а другой — волчок. Глебушке, любившему сильные движения, более был люб кубарь. Его нужно подхлестывать, и, если хорошо хлестнуть, он слушается и вертится долго. Но Жоржику, с его созерцательным нравом, больше нравился волчок, жужжит и вертится сам, и сверкает синими и красными полосками, вертится и жужжит, поет как шмель. Когда, ослабев и пошатываясь, волчок наконец падал на бочок и лежал неподвижно, Жоржиком овладевало грустное недоумение. Когда ему что-нибудь нравилось, он хотел, чтобы это продолжалось всегда, не кончалось и не изменялось. Другой раз завести волчок, конечно, можно, и он его сейчас заведет, но это уже будет другой раз, это будет совсем другое. Жоржик любил самые длинные летние дни, когдасолнце стоит-стоит на небе, и успеешь столько пережить радостей и удовольствий, что даже устанешь наконец к вечеру, и уж не жалко тогда, что солнце заходит, потому что вот сейчас подадут тогда вечерний самовар, ему дадут две чашки жиденького чаю с молоком, тарелку простоква-

ши со сметаной и с сахаром, и можно спать, крепко спать, и видеть сны.

Жоржик любил так же и потому же майские вечера с нескончаемым жужжаньем майских жуков. Они жужжат так приятно и весело, так долго, можно задуматься, а они все летают и все жужжат, то громче, то тише, то опять глубже и громче. И березы, свесив длинные зеленые ветви, тихонько шелестят тогда, точно разговаривают с майскими жуками. Потому что ведь это праздник их. Праздник берез и майских жуков. Ему что-то об этом рассказывала Ненила. Потому там такая музыка веселая в ветвях и вокруг берез. И уже когда глаза слипаются, лежишь в беленькой постельке, слышно через окна, что майские жуки не хотят кончить музыку, поют и жужжат, и прямо в сон перейдешь, а во сне белые стволы светятся, много их, много, и речка Ракитовка от Лебединого Слета пришла, течет под ветвями голубая, празднуют праздник плакучие березы, зеленые. И кукушка прилетела от Тихоречья, кукует, кукует кукушечка.

5

Этот год, когда Жоржику исполнялся четвертый год, исполнился, и пошел пятый, был начальной чертой новой полосы в его малой жизни, огненной чертой, на которой расцвели три прекрасные цветка: первое яркое ощущение, первый внутренний просвет того сознания мира и себя в мире, которое в последующее годы менялось уже лишь количественно, а не качественно, и первый решительный поступок, оказавшийся пробитою стеной, за которой скрывался огромный мир тайн и красочно-музыкальных откровений.

Однажды в мартовское утро, когда он был еще в постельке, но уже проснулся, он почувствовал себя окруженным золотой полосой солнечного луча, вошедшего через окно в комнату. Солнечный луч был прямой и широкий и, хотя это был еще только март, он был теплый. Мальчик протянул в полосу воздушного золота свою беленькую ручку, и она стала золотая. Было золотым одеяло на нем, и он долго лежал зачарованный, испытывая неопределимую сладостную нежность, люди сказали бы беспредметную, а он сказал бы, если бы умел тогда

четко говорить, всепредметную. Ему была мила эта собственная его маленькая рука, такая беленькая и в то же время золотая, эта постелька, в которой ему было так уютно лежать, и его одежка, тщательно сложенная и лежавшая на стуле около кроватки, и сапожки под стулом, и светящиеся пляшущие пылинки в солнечном луче. Пока он лежал так, луч немного передвинулся и захватил в золотую власть часть обоев на стене около кроватки. Они только что были серо-темные, и вот по волшебству стали золотыми, сплошь воздушно-золотыми, а кроме того, те золотые нарисованные крапинки, которые только что были почти совсем не видны, выступили из плоскости обоев как маленькие кусочки золота. Мальчик протянул свою руку к позлащенной полосе обоев и тихонько погладил ее, как погладил бы по спине замурлыкавшую кошку. В комнате, недалеко от окна, висела клетка с канарейкой. Она уже несколько минут звонко подпевала и щебетала, а в то самое мгновение, когда мальчик погладил золотую стену, она залилась звонкой трелью, пронзительной, расширив свою желтую шейку и напряженно вытягивая головку вперед. Этот звук, этот свет, этот цвет, это чувство слились в одно и наполнили сердце ребенка оющущеньем горячей радости.

А в эту минуту вошла Ненила и ласковым голосом промолвила:

— Жоржик, вставать пора, маленький. На дворе тепло, опять нынче оттепель, с крыш капель будет большая. Гулять пойдем.

Другое яркое чувство, перешедшее уже в мысль, перелившееся в многоцветный кристалл сознания, возникло в жаркий летний день. Это случилось так. Дня за полтора перед этим умерла в усадьбе одна старая старушка, доживавшая в Больших Липах свой век. Жоржик видел ее изредка, когда зачем-нибудь заходил в людскую, и каждый раз она говорила ему какое-нибудь ласковое слово, лицо у нее было доброе, и в черных глазах, окруженных лучисто расходящимися морщинками, он никогда не видел ничего, кроме той безгласной любующейся ласковости, которой не нужно слов, чтоб сразу передаться другой душе нежным теплом и красивым, хотя не сказанным, а лишь просвечивающим и манящим рассказом. В то утро дворовые собрались нести ее гроб в соседнее село Якиманну, за гробом пошли также Ирина Сергеев-

на, Иван Андреевич и старшее дети Игорь и Глебушка. Жоржик тоже хотел идти. Но, когда он увидел лицо покойницы, так непохожее на ту, которую он знал, и не увидел ласковых глаз, он не почувствовал это неподвижное застывшее тело тождественным с той, которая дарила ему свою ласку. Он знал, что это действительно она, но в то же время чувствовал, что это вовсе не она, он сказал бы, если б мог и умел, что это только изображение ее и такое неверное, непохожее. Непохожие и неверные лица были и у всех толпившихся около гроба. Неверная мама, непохожий папа, совсем непохожий кучер Андрей, этот всегдашний любимец детей, всегда веселый, а теперь с бледным суровым лицом и с глазами, ни на кого не смотрящими. И этот гроб, такой мрачный и некрасивый, и все это зрелище, такое нарочное и унылое, наполнили душу ребенка отчужденностью, и он никак не мог соединить все это с ярким солнцем, которое было настоящее, с блестящими листьями берез и тополей, которые были верными и правдивыми, с птичками, весело перепархивавшими с ветки на ветку, с мелькавшими белыми и желтыми бабочками, нет, ни с этими собаками, которые были те же и весело махали ему хвостом, ни с этим резным крыльцом, светившимся под Солнцем. Одно не смешивалось с другим, и одно было торжествующей правдой, а другое искаженным подобием чего-то, лишенным цельного содержания.

Не определяя свое чувство и свою мысль такими словами, но чувствуя и думая именно так, мальчик молча смотрел, как толпа вышла со двора, и ушел в сад. Он долго смотрел на цветы и бабочек, и чувствовал себя самого в движении этих красочных крыльев, в жужжании мух, пчел и шмелей, в качающихся под легким ветерком стебельках голубых колокольчиков. Этот сад с тополями, яблонями и огромными липами, с клумбами беленьких и розовых маргариток, с безоблачным голубым небом над ним, был единой цельной неразрывностью, в которой ничего не было, кроме торжествующей жизни и полной правды. От солнца до цветка доходил прямой луч, и цветок дышал благоуханием. От солнца до детской души доходил прямой луч, пронзал ее радостью жизни и, объединяя все золотым своим покровом, сказал ей безглагольными словами, долгими и внушающими, что кажущаяся смерть есть призрак, что эта смерть, которая сейчас будет зарыта в

землю, есть часть чего-то огромного, всегда живого, всегда сияющего, и внутреннее лицо того, что стало темным и чужим, светится в другом месте своим светом и своей лаской, неспособной погаснуть.

Это детское сознание бессмертия, жизни и души, не умирающей во всеединой связности, странным и непредвиденным образом обострилось в детской душе через два-три дня после этого события.

Жоржик зашел в ту липовую рощицу, которая называлась Большим садом, а также Старым садом. Он шел к беседке из акаций, как вдруг увидел около крапивы, недалеко от забора, мертвого крота. Он подошел с большим любопытством. Черная бархатная шубка крота мягко лоснилась под солнечным светом. Он лежал, несколько криво, на спине, и смешные его передние лапки лопаточками были беспомощно раскинуты, точно в недоумении. Под его боками копошились жуки-могильщики, черные с оранжевыми поперечными полосками. Отбрасывая задними лапками землю, они зарывали крота, дружно и не мешая друг другу. Иногда какой-нибудь могильщик останавливался в своей работе, поднимал вверх свою крупную, точно бычачью, голову, и шевелил усиками, кончавшимися чем-то вроде темной подушечки.

Жоржик уже видел однажды, гуляя со своей матерью, как могильщики и мертвоеды хоронили маленькую серую землеройку с длинным острым носиком, и мама тогда сказала ему название этих жуков, и объяснила, что, когда землеройка будет закопана в землю, в ней из яичек жуков выведутся личинки, будут кормиться телом землеройки, а потом из личинок выйдут жуки. Мальчику тогда очень это понравилось, как длинная некончающаяся сказка, и он подумал, что это очень хорошо, и что, если черные мертвоеды — противные жуки, зато могильщики со своими цветными полосками очень красивые и славные жуки, они так весело роют землю и иногда забавно поскрипывают своими узорными крылышками.

Но тогда с землеройкой мальчик не почувствовал того, что теперь, после мыслей, бывших у него два дня тому назад, он почувствовал при виде крота. Солнце жарко грело, жужжали мухи, шелестели деревья, светились, покачиваясь, травинки, недалеко на брошенной и забытой ветхой серой доске, валявшейся среди крапивы, грелась на солнышке ящерица с не-

сколькими маленькими ящерятами, она посматривала по сторонам внимательными черными глазками, быстро повертывая свою изящную головку, и иногда, пробежав по доске с невероятной скоростью, ловила присевшую малую мушку. Тут же недалеко, с другой стороны лежавшего крота, между двумя кустиками дикой рябинки виднелась большая круглая паутина, а в самой середине ее ждал своей добычи паук крестовик, и паутинки переливались под лучами солнца тонкими воздушными радугами.

Мальчик смотрел на мертвого крота и видел его как-то особенно четко, точно этот крот был первый в мире крот, которого он увидел. И точно в первый раз паук крестовик сидел среди сияющих своих паутинных точек. И эта красивая быстрая ящерица, радующаяся свету и теплу, первая ящерица в мире, в котором в первый раз все соединилось в одно, жизнь переплелась со смертью, и смерть ожила, солнце протянуло свои лучи к земле, и на земле ликующее праздненство, которому нет предала и не будет конца.

«Какие милые кроты, — думал про себя мальчик, — и как красив вот этот, мертвый. Но как хорошо, что он мертвый, и что могильщики зарывают его в землю».

Почему хорошо, он, быть может, не сумел бы объяснить, если бы его кто-нибудь спросил. Но он не только чувствовал это, он это знал. И детским сердцем своим он безошибочно знал, что ящерица, паук, и прилетающая мушка, и ползущая зеленая гусеница, и кустики дикой рябинки, и высокое солнце на небе, и выгибающиеся под ветерком травинки, и он сам, стоящий около мертвого крота все это — вместе, и все это — живое, и все это — одно.

Это чувство в мальчике превратилось в мысль, а мысль перешла в кристалл сознания с острыми гранями. И многоцветный кристалл, закрепившись в нем, позднее повел его по всем зеленым и синим дорогам мира.

6

А первый решительный поступок этого мальчика, так мало еще жившего на земле? Он был лукавый, этот первый поступок, и лукавство было длительное и повторное, и пока хит-

рость длилась, нужно было скрываться и молчать, и он молчал несколько недель, целый месяц. Уже два раза Ирина Сергеевна сказала Жоржику, что ему слишком рано учиться читать. А Глебушка уже кое-как одолевал грамоту. Конечно, Глебушка старше его. Нужно еще и еще ждать. Но «Конек-Горбунок» манил. И мало ли какие еще книги у Игоря на столе и у мамы не только манили, но прямо звали его к себе. Просить третий раз маму, он знал, напрасно. Она скажет: «Когда минет пять лет». Зима придет, всю зиму ждать. Долго.

Жоржик был как-то с мамой в кухне, и ему очень понравилось, как готовится кушанье, все в кухне очень любопытное и таинственное. Ирина Сергеевна, восхитившись его восхищением, подарила ему маленькую-премаленькую кухоньку из жести. Это была маленькая плита, в полтора вершка длины. На ней всякие кастрюлечки, совки, терки, сковородки и ложечки.

— Это кухня для шмелей, — воскликнул мальчик с восторгом, получив подарок.

Когда Ирина Сергеевна усаживалась с Глебушкой за урок, Жоржик попросил однажды, чтобы она позволила ему играть в свою кухоньку тут же рядом, совсем тихонько, не шумя и не мешая. Мать, зная, как Глебушка и Жоржик дружат, сказала:

— Ну, хорошо. Нитка с иголкой всегда вместе. Только не мешай.

— Нет, мама, я не буду мешать.

И действительно, во время этих уроков он сидел образцово тихо. Перебирал время от времени совочки и ложечки, переставлял сковородки и сотейнички, где варилось кушанье для шмелей, и вся эта стряпня происходила бесшумно. Сидя совсем по близости от Глебушки, он довольно часто посматривал от своей кухоньки в его книжку. Однако ни Ирина Сергеевна, ни Глебушка, занятые своим уроком, не обращали на это никакого внимания.

Через месяц лукавство разоблачилось неожиданным образом. Как известно, все семейные учительницы и учителя отличаются малым запасом терпения. Непонятливость учеников, действительно почти всегда большая и мучительная, выводит домашних преподавателей из себя весьма часто. А Глебушка притом и не отличался прилежанием и внима-

тельностью, приходилось по нескольку раз повторять одно и то же, возвращаться к пройденному. Все это неоднократно сердило Ирину Сергеевну.

Однажды она была совсем не в духе. Глебушка со своей стороны не только был непонятлив в тот день, но еще надулся и капризил. «Белка перепрыгнула на сосну», — таково было несложное предложение, которое он должен был прочитать. С белкой сошло хорошо, но прыжок никак не выходил. «Пере-пере», — повторял унылым голосом Глебушка, но перепрыгнуть через «пере» никак не мог или, вернее, не хотел. Мать совершенно рассердилась и сказала:

— Или ты сейчас же прочтешь, или ты не пойдешь сегодня гулять с Жоржиком.

Жоржик замер. Это уже касалось и его собственных интересов. Он очень любил играть в саду с Глебушкой и вовсе не хотел идти гулять один. И когда грозная мама сказала: «Ну, белка...», — Жоржик, искренно желая помочь Глебушке, быстро и четко произнес: «Белка перепрыгнула на сосну». Сказал и застыл, удивленный происшедшим.

Не менее были удивлены и рассерженная учительница, гнев которой исчез мгновенно, и упрямый ученик, повернувшийся к разоблаченному лукавцу и смотревший на него во все глаза.

— Ты умеешь читать? — спросила наконец Ирина Сергеевна, не сразу овладев своим изумлением,

— Умею, мама, — с виноватым видом сказал Жоржик.

— Когда же и как ты научился?

— Я смотрел в книжку Глебушки, когда ты его учила, — сказал Жоржик, совершенно робея.

Мать быстро обняла его, притянула к себе и несколько раз крепко поцеловала.

— Вот видишь, Глеб, — сказала она укоризненно. — Я не хотела учить Жоржика, и он научился сам. А тебя учу-учу, и ты ни за что не хочешь учиться. Стыдно.

Но Глебушка, хорошо умея читать разные интонации голоса своей матери, весело подпрыгнул к ней, уцепился за ее шею, и, поняв, что сегодняшний урок кончился и что сейчас он пойдет гулять с Жоржиком, возгласил:

— Мама, я научусь перепрыгивать с елки на сосну с белкой.

7

Иван Андреевич, узнав, что его любимчик Егорушка так отличился, был чрезвычайно доволен, молча посмеивался в свой черный ус — Ирина Сергеевна говорила, что у него усы Тараса Бульбы, — и решил наградить мальчика подарком. Он самолично съездил в Шушун и привез оттуда «Хижину дяди Тома» и другую еще книжку, совершенно пленившую Жоржика, — какое-то путешествие в Океанию: книжка в синем переплете с цветными картинками, там были острова с пальмами и вулканами, злые людоеды и добрые дикари, морские волны и длинные лодки, костры и охота, таинственная большая птица вышиной в три человеческие роста, и много еще загадочных и совершенно новых чудес.

Жоржик читал эту небольшую, но такую чудесную книгу, не торопясь. Мать позволила ему читать не более двух-трех страниц в день. Немалый прошел срок, прежде чем мальчик прочитал первые в жизни три книги, оказавшие на него неизгладимое влияние. Книга о дикарях и далеких странах научила его жаждать путешествий и рассказала, что в мире много есть такого, что непохоже на окружающее. Это было как тот голубой цветок, который всегда зовет душу вдаль и рисует перед ней сказочные тропинки, ведущие к открытию, к счастью, к лазурной неожиданности.

Книга о негре, которого истязали белые, была первой книгой, над которой мальчик пролил много горьких слез, и которая рассказала ему, что, кроме счастливого мира, отовсюду ему улыбавшегося, есть уродливый мир гнета и страданий. Эта книга внушила ему, как хорошо обласкать того, чья темная доля трудна, но чья душа так же светла и Божественна, как душа любого избранника судьбы.

Книга о Коньке-Горбунке научила детскую душу таинственности жизни и пониманию великой связи отдельной участи с целой сетью случаев, обстоятельств и других существ, с которыми путем собственного благоволия устанавливается действенная связь, так что в дороге не останешься один и в трудной задаче встретишь помощь. И в неясных очерках и тенях, но в сладко-явственном предощущении, мальчику стала грезиться красивая удача, у которой сказоч-

но-длинные золотые косы, и к этим косам можно прикоснуться, они — дорога к счастью.

С этим же временем чарованья мелькающих буковок, умеющих рассказывать детской душе так много нового и завлекательного, совпало еще другое очарование, явившее ребенку целый мир откровения. Гуляя около канавы, отделявшей лужайку за липовой рощицей от крестьянского поля, Жоржик залюбовался на красноватую глину, взял в руку комочек, и от случайного сжатия пальцев, получилось подобие какой-то смешной фигурки. Тогда уже сознательно он постарался придать этой фигурке сходство с человеческой фигурой, и у него получилось что-то подобное человечку. Это ему очень понравилось. Он слепил барашка, слепил собачку, и, когда лепил, он чувствовал в кончиках пальцев необыкновенную радость. Это было непохоже ни на что. Это было что-то совсем особенное, проникающее душу сладостностью до слез.

Фигурки эти мальчик принес к себе в комнатку, и мать увидела. А увидев, без промедления купила ему серой глины и особую лопатку. Жоржик в молчаливом восторге лепил фигурки, и, по мере того как они приобретали из бесформенного куска связные очертания, стройный облик, он испытывал ту же самую радость, которая овладевала его детским умом во сне, когда весь сложный очерк сонного видения развивался и слагался так, как ему этого хотелось, не томил ускользанием, а являл желанную четкость.

Но если что-нибудь доставляло ребенку ни с чем не сравнимое по силе наслаждение, это, когда его мама садилась за фортепьяно и начинала играть. И еще, когда, усадив детей около себя, она читала им стихи, размерным певучим голосом. Музыка играющего инструмента и музыка певучего слова, где отдельные звуки совпадали музыкальностью, казалась ребенку волшебством и сразу уводила детскую душу в особый мир, где все красиво, легко, воздушно и счастливо, как звенящие пчелы и веселящиеся бабочки около гроздий лиловой и белой сирени. Ему нравились иногда отдельные слова и он потом повторял их про себя, без конца этим тешился, совершенно так же, как другие дети наслаждаются, бросая камешки в воду и замечая, как они, падая, булькнут и от них пойдут расходящиеся по воде круги.

Так с первых детских дней художественная основа мироздания, вечно кующего новую красоту, завладела этой новой душой, и сад был первым ее учителем, деревья и цветы, звери, птицы и букашки: — первыми друзьями и духовными братьями, отцовская и материнская ласка — первыми светильниками, такими же завладевающими и прекрасными, как солнце и луна в голубом небе.

8

Октябрьский день, посеребренный инеем. Скоро ноябрь вобьет по рекам и озерам свои алмазные гвозди, рассыплет алмазы по белому бархату и подновит небесные гвоздочки, золотые и серебряные, на темно-сапфировом потолке ночного неба.

Ирина Сергеевна огорчена и озабочена. Она говорит Ивану Андреевичу.

— Я не знаю, как быть с Игорем, как уследить за всеми его фантазиями. Бедняжка совсем болен. Я послала за Левицким, боюсь, что у него воспаление легких. Представь, что случилось. Того котенка, которого он так любил, укусила какая-то собака. Котенок похворал дня два и околел. Он смастерил из двух дощечек крестик, вырезал из цветной бумаги разные цветы, взял котенка, взял свою лопаточку и утром, полуодетый, когда никто его не видел, убежал в сад, выбрал там какую-то ямку, положил туда котенка, засыпал ямку песком, поставил крестик, усыпал могилку цветами и так, полуодетый, стал на колени на промерзлую землю и бог знает сколько времени молился. Эта глупая Даша увидала его в саду из передней, пошла за ним, и, вместо того чтобы тотчас же привести его домой, стояла поодаль и смотрела на него. Я говорю: «Почему же ты сейчас же его не привела?» А она отвечает: «Я хотела, барыня. Да уж очень он занятно молился вслух, и такие слова жалостные говорил: „Воскреси, Боженька, черную кошечку, неповинную, замученную. Пусти ее в Рай, и меня пусти, когда я приду“». — Я, говорит, стояла, и подойти к нему не могла. Спасибо Нениле, она спохватилась, нашла их обоих в саду, а то он бог знает, сколько бы там еще простоял.

— Экая дура Дарья! Экая дура Дарья! — повторял огорченный и изумленный Иван Андреевич.

Доктор Левицкий приехал к обеду. Он осмотрел Игоря, лежавшего в жару, и в первый раз не мог определить, что с мальчиком. Болезнь затянулась. Сперва врач подумал, что это дифтерит, потом оказалось, что это болотная лихорадка.

— Ничего, ничего, — утешал доктор Левицкий Ирину Сергеевну. — Все обойдется ладно. Детская шалость, притом такая интересная. Но, сударыня вы моя, поменьше бы вы детям набивали голову всякой там поэзией. Рано это еще для них. Наш маленький Сократ, как я слышал, уже готовится Фидием или Праксителем стать, пренебрегая философской славой. Пусть-ка он лучше на палочке верхом катается. Впрочем это ничего, что он фигурки лепит. Пусть себе. Занятие спокойное и нервы не раздражаются. Но вот насчет чтения, это я вам прямо говорю: осуждаю. Непомерно рано, сударыня, непомерно. Вы знаете, ведь, если даже и на хорошем жеребенке слишком рано поедешь, никогда из него крепкого и достойного коня не будет. Материя любит постепенность, и природа скачков не делает. Можете этим общеизвестным трюизмам дать распространительное толкование. Вот Глебушка ваш лучший путь избрал. Андрей мне рассказывал дорогой, что по его просьбе сделал ему лук и из картона цель, мальчик и стреляет, развивает меткость руки и верность глаза или, если предпочитаете, меткость глаза и верность руки. Да и все тело тем временем развивает. И голову не морочит фантазиями. Этак-то куда лучше, уверяю вас. А насчет Игоря вовсе нехорошо. Лихорадка эта вздор, похворает и пройдет. Но вот эта неумеренная религиозность, не по возрасту притом, на мой взгляд представляет настоящую опасность. С этим нужно серьезно бороться.

— Ну, пожалуй, у вас, доктор, лекарства против этого не найдется? — сказала Ирина Сергеевна, которой уж порядком надоел словоохотливый эскулап.

— На лекарство я вам указываю, Ирина Сергеевна. Ведь вы не можете не согласиться, что женщина вы нервная и весьма умственная. Это передается детям и по наследству, и в повседневной жизни. Зачем хотя бы так рано готовить Игоря в прогимназию? Пусть себе подождет еще добрый год. В деревне с ее чистым воздухом и с детскими играми, куда

ему лучше побыть. И поменьше чтения. И в особенности поменьше набожности.

— Но ведь вы же знаете, что ни я, ни муж отнюдь не страдаем чрезмерностью в этом направлении. Мы не атеисты, мы не безбожники, отнюдь нет. Но ни он, ни в особенности я, церкви мы особенно не любим, даже равнодушны к ней. А вот родился же у нас мальчик, который с младенческих лет стал богомольным. Я верю, что воспитание многого может достигать, но личные прирожденные качества, кажется, играют большую роль.

— Это так. А все-таки поменьше всякой словесности. И нянькам не велите слишком много сказок детям рассказывать.

Ирина Сергеевна не продолжала разговор. Лишать детей сказок! Этого еще недоставало. Тогда стоит ли и быть ребенком и переживать детство.

Нет, слава судьбе, сказки продолжали светиться, шуршать, шелестеть, гадать, ворожить и колыбелить детскую грезу, как шелестели, ворожили и гадали ветки больших лип, качаясь под ветром, как шуршали и шумели метели, колыбеля снежинки и детские мечты, как сказочно кричали по ночам тоскующие совы, а по утрам повизгивали, огрызались друг на друга и подвывали собаки на псарне, соскучившись, что слишком долго не ведет их хозяин на волю и на охоту.

Зима изготовила свои бесшумные дороги, и весел был скрип полозьев.

9

Если есть в человеческой жизни какое-нибудь несомненное благо, которое по ласковости не может быть сравнено ни с каким другим, это необъяснимая, неопределимая нежность одной человеческой души к другой. Радость души от присутствия другой души, счастье сладкое оттого, что тот, кого любишь, вот тут, около тебя, оттого, что он взглянул, а глаза его такие милые; оттого, что он встал и прошел по комнате, и приятно слышать легкий звук его шагов, приятно видеть его походку; оттого, что он подошел к тебе, посмотрел на тебя, коснулся своею рукой твоих волос и тихонько их потре-

пал; оттого что он наклонился к тебе, заглянул в твои следящие любующиеся глаза, притянул тебя к себе, поцеловал, обнял, и вот это так хорошо, что уж больше ничего не нужно; все стало светло и хорошо кругом, было хорошо и раньше, а сейчас — обои стали красивее, половицы стали любопытнее, светлее свет окошка, и так хорошо где-то внизу раскрылась и закрылась входная дверь, а стенные часы напевно прозвенели полчаса.

— Еще полчасика, мама, я почитаю около тебя, а ты еще пошьешь. А потом поиграешь на фортепьяно, правда?

— Правда, мой милый. Правда, мой рыженький. Все правда.

— Мама, а отчего я рыженький? — спрашивает мальчик. — Игорь черненький, Глебушка русый, а я рыженький.

— А Игорь у меня ночью родился, Глебушка в сумерки, а ты утром, когда солнышко всходило. Это от солнышка ты рыженький. И еще от меня, потому что я тоже была рыженькая.

— Но, мама, ты русая. У тебя волосики золотистые, а не рыженькие.

— А тебе нравится, что ты рыженький?

— Очень.

— А еще что тебе нравится? — спрашивает мать, смеясь.

— Больше всего сидеть около тебя и читать. А потом слушать, как ты играешь. И с папочкой в санках кататься, так скоро-скоро-скоро санки бегут, а деревья все заиндевели. И Глебушку очень люблю. Игоря тоже, а Глебушку больше, когда мы с ним играем.

— Мама, — сказал мальчик, подумав, и смотря не на мать, а перед собой. — Мне так хорошо. Я еще Ненилу люблю. Какие она сказки рассказывает, лучше, чем те, которые ты нам читаешь. Я всех люблю. Я все люблю. Мне хорошо.

Это трогательное детское признание было только правдой. Счастливый мальчик всех любил, и в особенности он любил все. Это чувство длилось годы, все его детство, не омраченное ни одним темным пятном, а когда детство кончилось, как пышный, в мельчайших подробностях только светлый, только радостный, золотой праздник, и жизнь показала иные свои лики, кричащие, разорванные и ужасающие, он не

мог уже более любить всех, но дар любить — любить все, — видоизменившись, остался и не изменил.

Мальчику с тихим нравом и с созерцательным умом, окрашенным художественностью, было совершенно незнакомо ни чувство горя, ни чувство гнева или обиды. Если Глебушка, с которым он был в играх как нитка с иголкой, более сильный и более задорный, пытался его чем-нибудь обидеть, это ему не удавалось. Жоржику было лишь забавно видеть такое намерение, и он тотчас уступал, потому что ему было приятно уступить и, доставив тем любимому братишке удовольствие, не нарушать игры. Главное — игра, и чтобы она продолжалась, и чтобы все шло, не путаясь, в каком-то узоре, который доставлял радость.

Когда однажды Жоржик и Глебушка, укутанные в тулупчики и в башлыки, в мягких валенках проходили, сопровождаемые Ненилой, по саду, заваленному снегом, и любовались на ветки деревьев, увешанные белой бахромой, конечно они очень скоро начали играть в снежки. Они дружно играли довольно долго, однообразие игры утомило Глебушку. А так как играть ему надоело, естественно, что и предлог для выражения недовольства быстро нашелся.

— Ты мне прямо в глаз попал, — сказал он Жоржику, и, схватив его обеими руками за плечи, он бросил провинившегося, хотя и невиновного, братишку в сугроб. Когда же маленький Жоржик не только упал на спину в сугроб, но и наполовину утонул в нем, Глебушка пришел в ликование и поспешно стал забрасывать его снегом, не разбирая, куда попадают снежки, в глаза или не в глаза. Ненила рассердилась на Глебушку, помогла Жоржику подняться и повела обоих домой, причитая, что вот сейчас расскажет все маме, и мама накажет нехорошего Глебушку.

Едва дети вошли в дом, Ирина Сергеевна вышла к ним навстречу, но, прежде чем Ненила успела рассказать, почему они вернулись раньше должного срока, Жоржик с плачем устремился к матери и воскликнул:

— Мама, не наказывай Глебушку. Мне совсем не больно.

Просьба эта была лишней, потому что детей никогда ни за что не наказывали. Но слово это было страшное. А случай этот еще больше скрепил детскую дружбу двоих братьев, ко-

торым самая разность характеров помогала, а не мешала в дружбе.

Они оба очень любили, когда в доме бывали гости. Так весело. У всех тогда веселые лица. И хотя дети едят тогда отдельно от старших, но всегда им дают что-нибудь особенно вкусное. И привозили им подарки. Но не это было главное. Самое главное заключалось в том, что весь дом с приездом гостей превращался в сплошной праздник и у всех в доме лица становились веселые и довольные.

А когда наступал вечер, играла музыка и были танцы. А когда становилось поздно, дети уходили в свои комнатки наверх, им нужно было ложиться спать, внизу же веселье продолжалось. И вот каждый раз Ненила была добра к детям и целый еще час не укладывала их спать, зная, в чем их заветное желание. Игорь сидел в своей комнатке, раскрывши дверь в коридор, ведущий на лестницу вниз, и, слушая музыку, читал. А Жоржик с Глебушкой, обнявшись и тесно прижавшись друг к другу, этим молчаливым объятием как бы передавая один другому всю сложность радостных и сладостных своих ощущений, сидели на верхней площадке лестницы, смотрели и слушали. Их снизу было не видно, а им сверху отчетливо был виден светлый кусочек залы, по нему проносились в танце нарядные пары, и видно было, как из залы в нижний коридор, ведущий в людскую, и опять из коридора в залу, поспешно проходили служанки и проносили то заново подогретый самовар, то банки с вареньем, то бутылки с вином, то закуски. Звуки музыки смолкали и звучали опять. И каждый раз, когда музыка после перерыва снова начинала свою веселую повторную мелодию, мальчики теснее приникали друг к другу и оба любили друг друга такой нежной беспричинной любовью, какая бывает возможна только в детстве.

— Ну, бездельники, спать, спать пора, — говорила, приходя за ними, ласковым голосом Ненила. И если они упрямились, прибавляла: «А то мама еще может прийти, увидит и рассердится и на вас и на меня.

И дети со вздохом подчинялись, понимая, что в маленьком заговоре нужно не предавать друг друга.

Уже через несколько минут они крепко спали безмятежным сном. И Жоржику снились красивые сны. То ему сни-

лось, что всюду в мире только зеленые деревья, и это все деревья очень большие, ведь весь мир называется Большие Липы, и липы, правда, такие большие, что доходят до самого неба, а на каждой ветке сидит птица и поет. То ему снилось, что он сам, обнявшись с Глебушкой, хоть и не птица, а с крыльями, и у Глебушки тоже крылья, и они ими не шевелят, а держат их прямо и неподвижно, как это делают иногда стрижи, когда летят высоко и быстро, или как ястреб, когда он летит и не летит, стоит в голубом небе, — и все небо вокруг них голубое, а обоим им так хорошо, что уже более ничего не нужно, только бы вот так лететь.

10

Но не одни только игры, и дети, и гости были в усадьбе Большие Липы. Жизнь большого человеческого мира шла своим чередом, происходили события, сопровождавшиеся последствиями неисчислимыми, неуклонно развивались эти последствия, разрастаясь непредвиденно и в таких же неожиданно-жутких формах, в каких являет себя лес, поломанный бурей, или человек, отравленный укусом змеи и начавший чувствовать, что яд уже действует, искажает лицо, причиняет судорожные движения, делает страдающего похожим на бесноватого.

Великая линия истории великой страны, которая могла стать глубоким правильным руслом несравненного преуспеяния миллионов людей, сломилась по недосмотру и по недостатку доброй воли, по злой воле тех, в чьих руках были судьбы этой несравненной великой страны. «Земля» — слово нашей страны, главное ее слово. И в этом основном слове те, что поливали землю своим потом и кровью, и возделывали ее, кормя себя и других, приникали к родному ее лику и всегда справедливым человеческим сердцем чувствовали, что она принадлежит им, а не тем, кто ее не обрабатывает, — в этом первом священном слове обманута была народная душа, народная мысль, народное сердце. Обделены, урезаны, обмануты, притиснуты, снова и снова в судьбах своих пригнетены поборами и окружены западнями были те, которые так долго ждали воли и ждали своей земли. И «воля» — была

вторым словом, которым уже давно грезила вся душа страны, все, что было в ней достойного, среди тех, которые руками своими осуществляли ежегодное творчество творящей земли, и среди тех, которые работали на заводах и в рудниках, и среди тех, которые мыслили, чувствовали, думали, мучились, хотели, дерзали, за других мыслили, за миллионы чувствовали, о темных думали, об униженных мучились, воли хотели, за волю против кующих неволю восставая, дерзали. И в это второе слово, бывшее душою души миллионов людей, бывшее драгоценным ожиданием, многократно омытым мученической кровью, была введена ложь, притворные дары, включавшие в себя надзор и насилие, обманное устройство, имевшее лишь вид свободы, а за ней, за этим призраком, планомерное настаивание на многовековой неправде, вынуждение, насильственное склонение хотений и мыслей, и готовый кнут, и готовый запрет, и готовая тюрьма, испытанные пути, по которым гонят душу в духовную неволю и в телесную тюрьму.

Оскорбительно-неверное и тупое прикосновение к двум главным начальным словам, без правильного воплощения которых не могла возникнуть правильная человеческая речь и правильная человеческая жизнь в великой стране, на полстолетье, на столетие вперед, предусловило, лавинно предрешило, медленно развивающиеся злые чары, в душах неисчислимых дымы пожаров, мельканье по земле, из конца в конец, справедливого гнева, затаенного возмущения, и сатанинских влияний, и мельканий бесовских ликов. Все благое было возможным и стало химерой. Все химерическое, самое неправдоподобное, стало роковым и неизбежным.

Конечно, апрельский выстрел 1866 года был явлением сумасшедшим. Это был дикий произвольный поступок, обусловивший взрыв темных сил и развязавший руки насильникам, до этого не смевшим действовать открыто. Это был поступок единоличный, но человек, совершивший его, обладал сильной волей и, сознательно пожертвовав собой во имя личной своей мысли, тем самым придал поступку сумасшедшему свойства героизма. В то самое время, когда в широчайших размерах должна была проявиться благая цельная воля в разрешении основных задач великой страны, а действовала воля двуликая, склонявшаяся то влево, то вправо, и гораздо

охотнее вправо, история видоизменила лик явления, доброе сделала злым, а злое добрым, и одна хотящая минута того, кто кровью своей запечатлел свое цельное хотение, имела следствия неисследимые.

И конечно те чудовища, бесовские лики которых явил в своей гениальной книге Достоевский, действительно были бесами, а пророчество Достоевского, этого звездного изгнанника на земле, через пятьдесят лет исполнилось в исполинских размерах, но, когда зачинается гроза, все очертания трав и деревьев, и кручение дорожной пыли, и лицо нависших облаков, все становится бесовским, а люди и животные становятся обезумленными.

Гроза великой страны развивается медленно, но, когда она началась, она приходит.

Великая река по природе своей избирает широкое русло и медленно течет спокойным серебром, облагораживая все места, по которым она проходит, и превращая пустыри в цветущее торжество пажитей, деревень, садов, станиц, песни веселой и веселого труда, многоликого довольства живых душ. Но, если запрудить великую реку, не создает она творческие мельницы, а разметает плотину, и будет грязной и взметенной в своем течении.

По великой стране, жители которой своевольны, но умеют так же терпеть и ждать своей воли сто и сотни лет, пошли гулять призраки оскорбленной воли и мстительные привидения земли, над которой надругались. Лики этих призраков и привидений были разные, и добрые, и злые, как это бывает во всем. Но добрые или злые, привидения завели свою пляску, закружили свой хоровод, и песня, строки которой были черны, а созвучия красны, песня, строки которой были томлением, а созвучия — смелостью и жаждой, должна была быть пропета до конца.

11

Иван Андреевич был человек молчаливый. Не то, что ему нечего было сказать. Совсем нет. Он ясно понимал вещи мира, и, когда ему случалось потом говорить со взрослыми сыновьями, человек другой эпохи, другого, совсем иного про-

шлого, он умел в немногословии говорить глубокие и верные слова. Но, по природе тихий, хотя горячий и страстный, он любил молча смотреть на сложную картину мира и человеческой жизни. Всей своей лесной и полевой душой в точности зная многоразличие, которое есть истинная сокровенная ипостась природы, он воспринимал под этим углом и разность людей, и причудливую, слишком часто совершенно неожиданную, многоразность жизненных событий, страстей и спорной борьбы разно слагающихся мнений и иначе хотящих сердец. «Я сам свое знаю», — сказал он однажды своей матери. Эти слова в совершенстве передавали нрав этого красивого и доброго человека, никогда не гневавшегося, за всю свою жизнь ни разу ни на кого не закричавшего, но в кротких черных своих глазах имевшего иногда, в минуты, когда он бывал совершенно один, такое выражение горечи, такие отсветы далекого тайного зарева, что, кто увидел бы это выражение, тот понял бы, как в нескрытном, но молчаливом человеке много может скрываться, и какое красноречие бывает в молчании.

Иван Андреевич любил свое хозяйство и много занимался им, но хозяин он был, правду сказать, неважный. Чтобы быть хорошим хозяином, да еще в деревне, нужно иметь характер жесткий и прижимистый. А то мягкость кажется слабостью, и не только кажется, а и становится ей. Но не быть мягким Иван Андреевич так же не мог, как он не мог бы стать болтливым.

И хозяйство существовало во владениях Ивана Андреевича, но владения его таяли, хоть и неспешно, но неуклонно. Выдумывал он разные улучшения в своей усадьбе Большие Липы. Они символически воплотились, хотя и вещественно так же, в том, что он задумал построить ветряную мельницу. И себе хотел найти в том выгоду, и окрестным крестьянам думал оказать этим пользу, чтоб не ездили они со своей рожью за тридевять земель к богатому кулаку-мельнику, туго набивавшему свой карман. Мельница возникла и была такая приятная на вид, что и художественная впечатлительность Ирины Сергеевны была вполне удовлетворена. Но то ли не слишком хорошо она работала, то ли мужик мужику ближе, чем барину, хотя бы другой мужик и был кулак, обдирающий своего брата мужичка почище этого барина, а толь-

ко мельница именно стала символической и образной. Молол он в ней сам свой хлеб, да те пятеро мужиков, что составляли население Больших Гумен. Окрестные же мужики, льстиво восхвалявшие доброту и мягкий нрав Ивана Андреевича, как прилипли к кулаку-мельнику, так в этом и пребыли. Впрочем, в мельнице что-то скоро попортилось, и она то исправлялась и действовала, то заболевала надолго, и в конце концов представляла лишь одно из живописных украшений усадьбы.

Если с мельницей не повезло, это не могло помешать Ивану Андреевичу задумать небольшой кирпичный завод. Вещь интересная и полезная. Завод был построен и начал действовать, но немного кирпичей пришлось продать Ивану Андреевичу. Сбить глину в кирпич и обжечь его — хитрость небольшая. Но дело в том, что та глина, на которую он рассчитывал поблизости, оказалась, слишком поздно, вовсе не кирпичной глиной, и подходящую глину пришлось привозить издалека. Выяснилось, что игра не стоит свеч. Кирпичный завод был заброшен.

Немногим счастливее был Иван Андреевич в улучшениях, которые он в угоду Ирине Сергеевне замыслил в саду. Чтобы поливать цветы с клубникой, там был врытый в землю чан. Наполнять его водой — ибо дождевой не хватало — и черпать без конца, чтобы работала лейка, было дело хлопотное. Он устроил фонтан и провел неглубоко в садовой земле свинцовые трубы, которые должны были исполнять оросительную задачу в разных местах сада. Ирина Сергеевна была в восторге, но недолгом. Трубы беспрерывно портились и наконец перестали действовать вовсе, а фонтан зачах. Свинцовые трубы позднее были использованы детьми, захватным способом, и перелиты на битки для игры в бабки и много очаровательных минут пережили дети, в землекопательных дикарских работах открывая залежи свинца и с помощью железного ковшика и костра превращая твердый свинец в густую горячую жидкость, принимавшую желаемую для них форму. В мире, конечно, ничто не пропадает, но оросительные трубы выполнили не предначертанную, а непредвиденно вдохновенную художественную задачу. Задумчивный чан восторжествовал над новшеством, и правильно за-

водившиеся в нем две-три лягушки победительно квакали в очаровательные теплые вечера.

Гораздо удачнее был Иван Андреевич в своей общественной деятельности. Он увлекся земством, сперва был одним из самых видных членов земской управы города Шушуна, а потом десятки лет председателем ее. Также, как Ирина Сергеевна, он считал, что безграмотность есть величайшая беда мужика, а грамота — лучший и единственный путь, ведущий его к человеческой жизни. За это дело он принялся горячо, также как за созидание земской медицины. В той и другой области за свою долгую службу он много сделал и поставил Шушунский уезд в смысле грамотности гораздо выше, чем были поставлены соседние уезды губернии, и оставил по себе в родных местах добрую память. Однако же достижения его и тут были много слабее его желаний, но в данном случае уже не по его вине. Известно, как скоро деятельность земств была скручена губернаторским тормозом и злостной недоброжелательностью того министерства, которое справедливо было прозвано министерством народного затмения. Борьба была долгая, и каждую школу приходилось вырывать из некоей бездны невозможности. Все равно, что овцу вырывать из пасти голодного волка. Не всегда вырвешь, а если и вырвешь, сильно помята бедняга и еле дышит.

12

В один зимний вечер, вернее в сумерки, когда Жоржику шел уже седьмой год, у Ненилы сидела в гостях деревенская ее приятельница старая Анфиса. Они без конца угощались чаем, кручеными баранками и долгими разговорами обо всем и ни о чем. Анфиса относилась к Ниниле с той особенной почтительностью, с какою простой человек относится к другому простому человеку, в котором он чувствует более видящий и находчивый ум.

Жоржик сидел в соседней комнате, читал какую-то толстую книгу, не то «Детский мир» Ушинского, не то другую хрестоматию. Он скользил глазами по строкам пожелтевших страниц, и в то же время рассеянным слухом ловил отдельные слова и переливы двух размеренных переговаривав-

шихся голосов. Мальчик сразу улавливал — и это осталось в нем на всю жизнь, — если кто-нибудь, говоря, случайно произносил два-три слова в напевном сочетании. Это естественное возникновение частичного стиха в речи людей, никогда стихов не писавших и нередко над стихами даже издевающихся, представляет явление, гораздо чаще повторяющееся, чем это знают. Нужен особый поэтически-музыкальный слух, чтобы с точностью ритмоизмеряющего инструмента безошибочно ухватывать каждое размерное слогосочетание, и указывать уму, что стих неразрывно связан с самою сущностью человеческой речи, начинающей петь, когда человек взволнован, часто поющей и тогда, когда чувство, владеющее человеком, не порывистое, а просто отображает в себе, с тихой стройностью, элементы музыки и живописи. Таким слухом этот мальчик обладал, но сам сознал это гораздо позже, и гораздо позже, в свой час, это его свойство определило всю его судьбу.

Анфиса говорила Нениле:

— И ничего-то ничего не выходит. Горе одно. Землю бросают, землей не прокормишься. Уж сколько парней в Шушун ушло на фабрики. Нашли чего хорошего. По субботам домой приходят на праздник. Озорные. Нет, чтобы старшим почтение оказать, охальники все там становятся. А для девок разве там место в городе? И девки охальничают. Прямо горе одно.

«И ничего-то ничего не выходит... Озорные... И девки охальничают... Прямо горе одно...» Отдельные слова и сочетания слов, произнесенные размеренным что-то вспоминающим голосом, упали как стих в слух мальчика и как стих доставили ему нужное, чисто-телесное удовольствие. А в это самое время детские глаза читали в большой старой книге, уже много читанной: «Ах ты горе-гореваньице. Горе лыком подпоясано...»

И в этой песне, представлявшей собой напевное причитание, возникало странное призрачное существо горе, которое, горюя, пляшет и приплясывает, «горе лыком подпоясано». Эти слова показались мальчику особенно причудливыми и не по-обычному узорными. Он не знал, что такое за странное непостижимое это существо Горе. Никакого горя еще никогда он не знал. И самое слово звучало не возбуждая в детском

уме никакого определенного представления. Он знал смысл слова, но не осязал его. Он знал, что есть беда, как пожар, несчастье, как слепота, что есть обида, хотя никто никогда его не обижал, что есть люди, самая жизнь которых есть повторяющееся несчастье, обида. Он понял и запомнил историю негра, и мать неоднократно читала детям вслух стихи Никитина и Некрасова, многие из них он читал и сам. Но все это не сливалось в его уме с пронзительным образом существа, которое есть Горе, подпоясанное лыком.

«Няня», сказал мальчик, идя в соседнюю комнату и доверчиво приближаясь к Ненилe.

— Что, родной?

— Няня, что такое горе, лыком подпоясанное?

— А ты откуда его взял?

Мальчик принес хрестоматию и прочел вслух песню о Горе. Анфиса смотрела на мальчика во все глаза. Ненила слушала с большим вниманием, и в добрых глазах ее засветилась красивая грусть.

— Милый ты мальчик, болезный ты мой, — ласково заговорила она. — Все, то тебе хочется знать. Сядь, посиди с нами, а я тебе сказку о Горе скажу, и узнаешь ты, почему его зовут гореваньицем, почему оно, лыком подпоясанное, пляшет, когда и не хочется плясать.

«Было, когда весь мир создавал Господь Всевышний, все было хорошо, и все счастливые и дружные. Травка к травке, и деревце к деревцу, и птица к птице, все Бога славили, жизни радовались, как и теперь весной, и зверь зверя не забижал, и на человека зверь не нападал, и человек зверя не трогал, и улыбались люди один другому. А Господь смотрел с неба, как хорошо все идет, и улыбался пресветлым ликом, и оттого по всей земле и на небе был только день. И солнце, и месяц, и звездочки все вместе светились, а ночи не было. А под землей было темно. И под землей жил один Темный. Завидно ему стало, что везде светло, а у него темно. И наклонился один человек, чтоб на цветочек полюбоваться, цветочек алый, удивительный расцвел. Только он наклонился, а Темный ему из-под земли завистное слово на ухо и шепнул. Шепнул, и под землю глубоко ушел, где самая темная тьма. Сидит там и ждет.

И недолго пришлось ему ждать, недоброму. Как завистное слово вошло человеку в ухо, сорвал он алый цветик и сказал себе: „Я лучше всех". И пошел этот человек по свету ходить да всем на ухо завистное слово нашептывать. Как наклонится, шепнет, так и другой станет завидовать. Один говорит: „Я всех первее". Другой говорит: „Нет, я всех первее и лучше". И стали люди ссоры затевать. А как люди поссорились, и все переполошилось. Зверь на зверя, птица на птицу, рыба на рыбу, у всех когти, и клюв, и зубы заработали. Увидел это Господь и затуманился. Потемнело пресветлое лицо. Тут и первая ночь была на земле и на небе. А Темный вышел из-под земли, не боялся ночи и радовался.

Очень испугались и люди и звери, когда ночь настала. Да только, когда утро пришло, все же они ссориться не перестали. И один брат в ссоре убил своего брата. Совершилось на земле злое дело. Как увидел это Бог на небе, так он и заплакал. Катятся слезы и катятся, плакал Господь сорок дней и сорок ночей, и шел дождь от этого великий и всю землю покрыл. Только те, что на горах были, и спаслись от потопления. А когда ушла вода в море, и опять покрылась травкой-муравкой земля, начали люди строить новые дома, да дома-то они стали строить другие, не такие, как прежде. Раньше дома были открытые, каждый к каждому как брат приходил к брату или как сын к отцу. А тут уж все стало на запоре и под замком. И один к другому придет, стучит, а тот его боится и не пускает. И идет он по лугу, раньше только цветочки были да травка зеленая, мягкая как шелк, а теперь сердитые репейники пошли. И пришел брат к брату. „Дай, — говорит, — мне поесть". А брат снял с него последнюю рубашку да и прогнал. Прикрылся он кое-какими лохмотьями, идет по лесу и плачет. Очень ему стало обидно, что даже подпоясаться нечем. Идет он по лесу, и видит, сидит на суку черный ворон, смотрит вниз и вещает ему человечьим голосом. „Ворон ворона не гонит, ворон ворону про врага кличет, чтобы ворон от врага улетел. А человек человека всегда обидеть рад. Будешь ты горевать, и станешь ты не человек, а Горе. Звать тебя будут Горе-гореваньице. О поясе ты плачешь, когда брат прогнал. Вон внизу липка есть молодая, обдери ее, лыко скрути, и будет тебе пояс". Слышит Горе, что говорит ему ворон, и так ему это чудно показалось, что оно засмеялось. Засмеялось,

смеется, хоть горько у него на сердце. Ободрало оно лыко с липки, стало крутить, вдруг из кустов заяц шорк, и давай перед ним плясать. Горе смотрит, как заяц пляшет, и еще пуще засмеялось. Так смеется, что слезы из глаз градом катятся. Смотрело, смотрело, горемычное, да вдруг и само в пляс пустилось. „В лесу, — говорит, — волк, а заяц пляшет“. И смеется Горе, лыком подпоясанное, смотрит на зайца, чудно ему, плачет, и смеется, и пляшет.

Так и ходит с той поры Горе по свету. Говорит, что звери добрее людей, а птицы мудренее. Ходит Горе-гореваньице, песни поет, и пляшет, и смеется, хоть скребут у него кошки на сердце. И коли видит, что кто горюет, наклонится к нему и говорит: „Больше горя, ближе к Богу“. А где посмеется да попляшет Горе, там ему поесть дадут, не обидят, переночевать пустят. Так и живет Горе на свете».

Ненила замолчала и поникла головой, о чем-то думая и смотря перед собой так, как будто она одна была в комнате. Молчала Анфиса. Сумрачно завороженный этой сказкой, молчал мальчик. Таких сказок еще никогда не рассказывала ему няня. Эту сказку он запомнил на всю жизнь.

13

На круглое блюдечко, в его малую вогнутость, детская рука насыпала рыхлой земли. В землю зарыто три зернышка ржи. Фейный посев прикрыт опрокинутым стаканом, чтобы зернам было теплее в земле. Детские глаза, нетерпеливясь, будут очень скоро, чуть не с завтрашнего дня смотреть с любопытством, не показались ли из земли три зеленые былинки, не пробился ли хотя один зеленый стебелек. Но зерно будет долго лежать в земле, даже и согреваемой, прежде чем внутренняя сила, незримо живущая в зерне, разгорячится, и разломит зерно, и выведет из малой могилки воскресшую жизнь, изумрудный росток.

А когда он покажется, какая это радость. Какое это чудо, первый слабенький зеленый стебелек, взрастающий, когда за окнами еще снег, и еле заметным ликом своим поющий песню бессмертия, так же явственно для души, взрослой и детской, для детской, быть может, яснее, как ликующая песнь

«Христос воскресе из мертвых», которую поют в лучшую из весенних ночей, в пасхальную.

Тихий мальчик, давно уже с любовностью приникший детской своей душой к лику творящего мира, безостановочного в своем делании и творении, в первом стебельке ржи, который он вырастил в своей комнатке, увидел первый иероглиф изумрудной тайнописи миротворчества, первую буковку в той Книге Жизни, которая потом десятки лет развертывала перед ним свои таинственные свитки, раскрывала на морях и океанах, на горах и полях, в лесах и в грохоте столиц, в жужжанье пчел и в тайниках человеческой души свои неисчерпаемые искромечущие страницы.

— Мама, мама, посмотри, что у меня есть! — воскликнул Жоржик в полном восторге, когда однажды утром он увидел первый показавшийся из земли, желтоватый росточек. Показать это маме первее всех казалось ему совершенно необходимым, хотя мама и научила его этому первому таинству, а может быть, не хотя, но именно поэтому. Они вместе любовались на травку, и оба одинаково радовались, что солнце входит в комнату широким лучом и греет, а желтенькая птичка с далеких островов заливается задорно-звонким голоском, перепрыгивает с жердочки на жердочку, в самой клетке веселится солнечная канарейка.

Волшебным показался зеленый росток мальчику, и таинственным показалось уже то, что он вышел один, а другие два позднее, и все три стебелька были неодинаковые, хотя зерна, которые он зарыл в землю, казались совершенно одинаковыми.

Когда года полтора перед этим у мамы родился новый маленький его братишка Павлуша, он подходил к его колыбельке и с любопытством смотрел на забавное красное личико. Явление этого ребенка он ощутил как чудесное и совсем необыкновенное. Но это явление зеленой травки, выросшей из темного зерна, зарытого в черную землю, он ощутил как что-то более чудесное и более необыкновенное.

А вправду не есть ли это маленькое чудо самое большое из всех чудесных явлений ежедневности? Не поет ли хлебное зерно, прорастая, самую громкую песню, в которой говорится о судьбах целых племен, могучих народов, не явлена

ли здесь в одной малой черточке вся сложная безмерная картина, что называется жизнью?

Из предсонного небытия к сонному предощущению жизни. Из дремотного оцепенения к полубольному-полусладостному боренью восхождения. Из тьмы к солнечной ощупи. Из замкнутости к простору. Из безвоздушной тесноты, из духоты и бескрасочности, к веянью воздуха, к золоту и лазури, к зеленой жизни. От побежденной смерти к воскресению.

И потом другое слово песни. Радость открытия, что есть стебли, которые дают такие семена и столько. Дикий человек, еще так мало на человека похожий, изумленными глазами глядящий на качающиеся дикие колосья, наполненные сочным зерном. Прорыв духа в кровавые торжества охотничьей травли и убиенья домашнего животного. Священный восторг перехода от крови к зерну, от убитой плоти к неоскверненной трапезе, от зарезанного горла жертвенного животного к озаренному лучом жертвенному хлебу.

И третье еще слово песни. Наша земля любит колос больше всего. Хлебные зерна из тысячи в тысячу лет падали по нашей земле из конца в конец, бросаемые жесткой верной рукой того, кто полюбил эту землю, полюбил, исходил из конца в конец, вырвал ее из лесов, из болот, выкорчевывая пни, осушая топи, рассекая новину, целину разделяя железом, оттесняя желтоликих духов степи, потопляя болотняника в дальней жижи зыбуна, с лешим аукаясь и угоняя его дальше и дальше, в медвежью чащу.

Кто расслышал песню колоса и всю ее пропел, песню зерна? Но душа ее слушает. И душа ребенка ее слышит.

14

Если мальчику хорошо в теплых зимних комнатах усадебного дома, являющегося цельным самозамкнутым царством, где правильный устав ежедневной жизни доставляет множество маленьких радостей, желанных самой своей повторностью, если ему хорошо на белом зимнем дворе и в белом зимнем лесу, в быстро мчащихся санях, наступленье весны умножает и обостряет ежедневные и поминутные радости, которые становятся неисчислимыми.

Это сказка — в солнечный день во время прогулки увидеть первую божью коровку, когда солнце сладостно ошеломляет новой своей силой, но весна еще не завладела часом сполна и как будто колеблется, укрепиться ли ей по-настоящему или поиграть еще холодком. Божья коровка является откуда-то как первая вестница воскресения земли и умягчения воздуха. Она слабенькая и еще в себе не уверенная, сидит на угловом выступе дома и греется на солнышке. Мальчик тихонько берет ее, сажает на ладонь, тихонько на нее дышит, божья коровка совсем согрелась и начинаете бегать по детской руке, проворно и забавно перебирая своими маленькими лапками. Детские глаза глядят умиленно, и божья коровка в красной одежке с черными крапинками, доверчиво бегая по теплой руке, обручает детскую душу с просыпающейся природой. Вот божья коровка добежала до конца указательного пальца, мальчик перевернул ладонь, она побегала вокруг розового ноготка, но повсюду срыв в воздух, а ей лететь еще не хочется. Она спустилась опять вниз, снова стала пробираться вверх, измеряя другой палец, и опять дошла до воздушного края своего пробега. Она снова побегала по малому кругу, чего-то отыскивая, побежала искать третьего того же, раздумала, вернулась на самый кончик пальца, подумала-подумала, развернула с усилием надкрылья, высвободила тонкие прозрачные крылышки, воздушности нежнейшей, и улетала в свой путь, оставив детской душе грезу.

А прилет грачей, а прилет скворцов, а испеченные из вкусного розоватого теста жаворонки. В одном из этих жаворонков, у которых глаза — изюминки, спрятана серебряная монетка. В каком, в котором, вот в этом, вон в том? Кому достанется заветный жаворонок?

Но мама, баловница, и, чтобы жаворонок с серебряной монеткой достался ее рыженькому любимчику, как будто случайно повернула блюдо с жаворонками, и конечно, волшебный жаворонок прилетел прямо к Жоржику.

Но жаворонков много, а баловница мама совсем изменила игру. Игорю тоже достался жаворонок с серебряной монеткой, и Глебушке тоже. Что ж, это хорошо, никому не обидно. У каждого есть серебряный кружочек.

Хорошо убежать в поле, когда начали пахать. Жоржику больше нравилось ходить на поле, где пахали не свои работники, а там за садом, где проходит дорога в село Якиманну, смотреть, как пашет мужик Назар свое крестьянское поле. Тут мальчику никто не помешает в его созерцании. Назар ласково поздоровается, он привык часто видеть этого барчонка, и будет спешно проходить за крепкой сивой лошадью, полосы распаханной земли будут расти в числе, сошник, продвигаясь, будет отбрасывать в сторону косые черные глыбы вспахиваемой земли, и мальчик с любопытством и тихим восторгом открытия будет смотреть, как тут и там отвалившаяся глыба земли явит белую личинку майского жука, свернувшуюся крендельком, толстенькую и такую белую, точно она сделана из сливочного масла, а за быстро удаляющимся Назаром идут следом, важно прямя свои длинные носы, черные грачи, подскочат вбок походкой вразвалочку, и склюют и одну и другую личинку майского жука. Грачи клюют и не улетают, шествуют с важностью и клюют много. Скворцы не так, клюнет, потреплет, проглотит, клюнет другую, заберет ее в клюв и, быстро махая крылышками, проворно полетит в свой скворечник. А Назар уж обогнул все свое поле, и снова прошел мимо мальчика, не обращая на него никакого внимания. Он слишком занят своей работой. Но мальчику и любо, что он как бы не замечает его. Он любит быть один, когда засмотрится на птиц, насекомых или на цветы. Созерцание природы и всего, что в ней, сложной ее переплетенной жизни, было для Жоржика, и в эти первоначальные годы, и потом в юности, и в годы совершенно сознательные, цельной радостью, без введения в эту радость человеческих соображений и чувств. Кроткий и добрый по основным свойствам своим, он никогда не ощущал того трагического начала природы, которое сказывается с неизбежностью в беспрерывном поедании одних существ другими. Он воспринимал всю жизнь природы как одну живую, без конца многоликую, раскрывающуюся картину и, любя одни ее части и состояния, он, любуясь ею как цельностью, любил совершенно так же другие ее части и состояния, хотя они входили в первые как начало губительное. Он любил совсем по-особенному, как старинных своих друзей, этих белых личинок майских жуков, самых любимых его жуков, но

он любил, как вернувшихся старинных друзей, также этих черных важных грачей и вертлявых скворцов, и ему в голову не приходила мысль, что личинкам вовсе не нравится отправляться в птичий клюв, хотя он сам никогда бы не захотел сделать больно личинке, да никогда в жизни и не сделал. И кроме майского жука, у него был еще другой любимый жук, это бронзового цвета жужелица. Весной он любил приподымать в саду или где-нибудь на лужайке забытую дощечку или камень. Он знал, что наверно увидит там разных букашек, червей, неприятную, но любопытную бледно-желтую сороконожку, извивающуюся как маленькая змея и проворно уползающую. Он радовался, когда под дощечкой, под гнилушкой, под камнем он видел нескольких лоснящихся черных бегунов, одни побольше, другие поменьше, и в особенности жужелицу, тотчас становившуюся в оборонительную позу и вообще весьма воинственную. Нередко, проходя по садовой дорожке, он видел, что жужелица напала на свалившегося с березки майского жука, опрокинула его на спину, разгрызла, поедает. Любимец поедал любимца, но он этого так не ощущал. Он с живейшим любопытством смотрел на что-то новое, и замечал, какие при этом возникают ухватки у ловкой и сильной жужелицы. Если бы он умел сказать, он все-таки бы не сказал: «Закон природы» или «Части сложной картины». Это было бы слишком внешне, сравнительно с его напряженными чувствами. Он в такие минуты видел так четко и так пронзительно и майского жука, и жужелицу, так воспринимал всем существом своим их движения, их цвет, их взаимосоотношение, и зеленые деревья кругом, и усыпанную песком дорожку, и высокое солнце наверху, как будто сам он в эти острые мгновения был не рыженьким мальчиком, а этим майским жуком, и этой жужелицей, и шелестящими зелеными деревьями, и песчинками дорожки, и горячим солнцем наверху. И все это вместе было так хорошо.

Пристрастия Жоржика были многочисленны. В старом саду у канавы, в пне давно срубленной березы водились черные муравьи. Их было немного, и братья долго не знали ничего об их существовании. Жоржик давно их увидел, они стали его тайной собственностью, он приходил к ним тогда, когда никто не станет его отыскивать, потому что все чем-нибудь заняты. Он ложился на траву около пня и подолгу

смотрел, как они, эти черные красавцы, — гораздо более изящные и особенные, чем большие рыжие лесные муравьи, — бродят вверх и вниз по впадинкам ствола, уходят внутрь и снова приходят, выносят на солнышко свои яички, приносят добычу, ходят неподалеку к канаве, взбираются на стебельки дикой рябинки, где во множестве водятся тли, подбираются к ним, щекочут их усиками, и сосут выделяемую ими сладость.

Ирина Сергеевна, заприметив пристрастия Жоржика, много сообщила ему о жизни тех многочисленных существ, которые его привлекали, и он знал особенности многих насекомых, но больше, однако, он знал об этом из собственных долгих детских наблюдений.

Войны муравьев он видел не раз. Но лесные муравейники ему казались менее интересными. Их было слишком много, и они были так правильны и так похожи между собою. Черные муравьи красивее, и уж тем особенны, что водятся в пнях и в стволах деревьев. И их гораздо меньше. И они не забияки.

Недалеко от усадьбы были бочаги — овальные природные прудки. Около них бледно-голубые незабудки и золотые бубенчики с свежим нежным дыханьем и по виду своему напоминающие маленькие солнышки, составляли одну из любимых услад ребенка. Когда он приближался к золотым бубенчикам и засматривал внутрь этих солнечно-желтых, почти совсем закрытых, пахучих чашечек, ему всегда казалось, что он слышит отдаленный праздничный звон, зовущий в церковь. В прозрачной стоячей воде, а иногда и проточной, на дне виднелись разноцветные камушки и маленькие раковинки. Иногда казалось, что странного вида слепленная из разных кусочков палочка начинала двигаться по дну. Это личинка водяной моли передвигалась, волоча с собою свой мозаичный домик, слепленный из маленьких тростинок, обломочков раковинок, древесных семян и песчинок. Подводные шитики.

Огромные черные плавунцы, перебирая веслоподобными лопаточками ног, гонялись за малою добычей и походили на водных бизонов. Мальчик иногда находил плавунца, залетевшего в сад и лежащего на спине, на стекле парника, которое, обманувшись сходством, жук принял за светлую воду.

Он брал такого плавунца, не боясь, что тот выпустит ему на ладонь противно пахнущую жидкость, — вымыть руку так легко — и выпускал его в садовый чан.

По недвижной поверхности бочагов проворно бегали серо-коричневатые водяные клопы, скользя по воде своими длинными лапками так, точно они на лыжах катались по снегу. Маленькие и быстрые овальные вертячки — каждый мерцающий под солнцем, быстро вьющийся жучок точно семечко, сделанное из отливающейся стали, — движением мерили солнечную минуту, веселые кружалки.

Тритоны с оранжевым брюшком и маленькие серые пескари, черноватые с нежно-зелеными пятнами, и с предлинными усиками, делающими уморительною его мордочку, с высоко посаженными глазами. Тритонов мальчик иногда ловил и сажал в большую банку с водой. Но они неохотно переносили неволю среди искусно сделанных пещерок. Всем подводным и надводным оживленным населением, казалось, заправляли веселые головастики, лучше всех, пожалуй, выражавшие радость весенней жизни пляшущим своим мельканием в воде. А также быстрые кружалки, когда они проворно ныряли под воду, унося с собою на животике маленькие светлые пузыречки воздуха.

Взять в майское утро свою чашку вкусного кофе со сливками, выйти из столовой на смежный с нею балкон, поставить чашку, покрытую тонким паром на балконные перила и, прежде чем ее выпить, поздороваться с солнечным благовонным воздухом. Долго смотреть на лиловые и белые гроздья сирени. Любоваться на странно волнующий своим праздничным видом огромный куст желтой акации и думать — не думать, а чувствовать, — что в этих цветах рассыпался солнечный свет, как торжествующе дробится и рассыпается солнечный свет в ослепительно-звонком пеньи канарейки и уносящегося в небо жаворонка. Слушать долгий гул шмелей, и знать, что это мелькают мои желтые и белые бабочки, потому что, если что любишь, — это мое. Смотреть на воздушные хороводы толкачиков. А там, гораздо, гораздо выше, на быстрый пролет черных стрижей, разрезающих лазурь проворным свистом. Слушать, как приехавшая гостить молоденькая тетушка Зина, с темной родинкой на левой щеке, рассказывает во время гулянья в лесу, отчего так называются

кукушкины слезы и кукушкины сапожки — лесные орхидейки причудливой формы. Конечно же, это оттого, что кукушка подбрасывала трясогузкам и малиновкам своих птенцов, и не жалела их, и не скучала. Но одну лесную свою девочку пожалела она. Прилетела к гнезду малиновки, когда красногрудая птичка полетала на ночь росу собирать с вечерней зари, посмотрела в ее гнездо, где была подброшена кукушечка, а кукушечки и нет, исчезла куда-то. Не то сова утащила, не то наземь она из чужого гнезда упала. Летала кукушка, нет родной кукушечки. Тогда надела она волшебные сапожки и пошла бродить по лесу. Где она, грустя, ступит и остановится, там и расцветают кукушкины сапожки. Нет маленькой кукушечки, и заплакала горькими слезами кукушка. Кукует, и плачет, и кукует. Где слезы упали на листы, там остались пятна и расцвели кукушкины слезки.

Все зеленые говоры сада и леса навсегда запали в эту слушающую детскую душу, с глазами, любящими заглядывать в лесные затоны, и составили первооснову той поэтической пряжи, которую через десятки лет он сплел мастерской рукой.

Счастливое детство — родник. Счастливое детство, обручившееся с зеленой душой леса, и сада, и луга, и поля, с их ворожбой изумрудной магии.

Когда мальчик вырос, когда он прошел половину своего пути, он любил припоминать детские дни, и иногда с удивлением спрашивал себя, неужели так-таки никогда ничего в детстве не было темного. Он спрашивал себя, не заставляет ли общий золотой фон этих лет — и темные части картины меняться, превращая их своей силой в золотые подробности? Нет, никакая проверка не заставила его припомнить хоть одно сумрачное впечатление.

Было несколько маленьких бед, были две-три минуты грусти, и только. Однажды, когда утром он сидел и читал, Даша несла ему стакан чаю с молоком, и в этой же руке, по оплошности, несла грудного ребенка, младшего братишку Жоржика. Ребенок махнул ручонкой и опрокинул стакан с горячим чаем прямо на шею Жоржику, Жоржик вскрикнул, но скорее от удивления, чем от боли. Он хорошо запомнил, что ощущение боли вообще было так мало ему знакомо, что этот первый серьезный ожог был не столько для него мучителен, сколько любопытен.

В другой раз в старом саду в летнее утро, он заприметил среди лопухов и крапивы большую крысу, выбежавшую из амбара. Он замер от восторга, впервые увидев так близко такого зверя. Ему было года четыре. Ловко подкравшись, он метко схватил ее за хвост и поднял на воздух. Крыса тотчас же подобралась на своем хвосте и вонзила свои острые зубы в указательный его палец. Он выпустил от боли крысу, и она немедля исчезла среди лопухов. Он пришел в отчаяние, что выпустил такую добычу из рук. В детском негодовании, он громко выбранил ловкую беглянку. «Дрянь! Дура!» — крикнул мальчик, совсем нелогически, ибо крыса напротив показала себя очень находчивой и умной.

В третий раз он был с матерью в Шушуне в гостях у крестной своей матери, красивой печальной и бледной женщины, сестры Ивана Андреевича. Сам Иван Андреевич вместе с Игорем и Глебушкой был в гостях у богатого купца Евстигнеева. Ирина Сергеевна все время была занята веселым и непонятным для Жоржика разговором с Огинским, крестная мать говорила с другим гостем. Жоржик был один, мать была тут и не была тут, крестная мать не обращала на него внимания. Мальчику дали какую-то книжку с картинками и поставили около него коробку с отборным черносливом, это было его любимое лакомство. Но мальчик вдруг в первый раз в жизни почувствовал, что такое одиночество. Он неохотно проглотил одну-две черносливины и не стал есть. Полистал книжку и не стал ни читать, ни рассматривать картинки. Он чувствовал, что, хотя в комнате весело говорили и смеялись, он один. У него сделалось такое грустное лицо, что Ирина Сергеевна наконец заметила это, и спросила мальчика: «Жоржик, ты даже чернослива не ешь?» Но даже чернослив не смог победить детскую грусть, бывшую более ясновидящей, чем это можно было предположить в пятилетнем ребенке. Красивые, глубокие глаза крестной матери остановились на лице ребенка. Она долго смотрела на него, не прерывая молчания. И их глаза что-то сказали друг другу. Грусть превратилась в умиленность.

Мальчик однажды тонул в прудке, но это краткое потопление превратилось в мгновение на дне подводного царства, откуда он увидел над собой зеленое небо.

Однажды лошадь его понесла, когда он был один в экипаже, а кучер куда-то на минутку отлучился. Лошадь его чуть не убила. Это было жутко и захватывающе интересно. Ему казалось, что он мчался в диком вихре.

Так ваяющая сила души, музыкальная ее основа, способность поэтизации превращала детские беды в сказочное приключение, а детскую грусть в красоту. И бед было мало, а минут грусти лишь несколько.

15

И вот последняя весна и последнее лето, перед тем как жизнь в Больших Липах переломится, потому что к осени нужно перебираться в город из-за поступления детей в гимназию.

Это последнее цельное лето было исполнено событий, частью вошедших в детское сознание полностью и всей явностью, частью они прошли в скрытом лике, но из сокровенных тайников доходили такие же влияния, какие бывают летом в природе, когда одна половина равнины залита солнечным светом, а на другой черные тени и разражается гроза.

Последние два года для правильных занятий с детьми французским языком в усадьбе жила гувернантка — немолодая девушка, по происхождению швейцарка, мадемуазель Сушэ. Она очень привязалась к детям, и они любили разговаривать с ней. Между прочим, когда она бывала особенно довольна детьми, она показывала им свои шкатулочки и разные сувениры. При этом у нее был некий коронный номер, имевший всегда успех необычайный. У нее был неразбивающийся хрустальный стаканчик из очень плотного хрусталя. Он, должно быть, имел также некоторый секрет в своем устройстве и составе. Во всяком случае, мадемуазель Сушэ, торжественно поднимая его и показывая, как он красив и как цветист, говорила: «Вот, дети, неразбивающийся стаканчик». Она роняла его на пол, стаканчик звякал, дети, с тревогой ожидавшие этого мига, устремлялись к стаканчику, наперерыв спешили поднять его. Чудо, каждый раз волшебный стаканчик был цел и невредим.

Иван Андреевич нашел, что держать гувернантку дорого, да и надобность в ней сильно уменьшалась, ввиду поступления детей в гимназию, где между прочим преподавался и французский и немецкий языки. Мадемуазель Сушэ уезжала из Больших Лип, она плакала, ей было тут хорошо и уезжать не хотелось. Дети тоже грустили. В последний раз они сидели вместе и разговаривали по-французски. Наконец, чувствуя, что пора кончать, мадемуазель Сушэ сказала с грустной улыбкой:

— Ну, дети, мне пора. Прощайте, милые. Я покажу вам в последний раз неразбивающийся стаканчик.

Она вынула волшебный талисман. Он покрасовался в ее руке, рука поднялась, волшебный стаканчик упал, и совершенно неожиданно разбился пополам. Изумление четырех существ было столь же горестным, сколько непредвиденным. Печаль отъезда этой доброй девушки вся заострилась гибелью волшебного стаканчика.

Когда Жоржик впоследствии, гораздо позднее, вспоминал это лето и все, что пришло для него и для всей семьи с переездом в город, с отравленными годами гимназической жизни, он вспоминал не раз и историю таинственной гибели хрустального стаканчика. Ему казалось, в этих воспоминаниях, что это было каким-то маленьким пророчеством.

В это лето смерть дважды навестила усадьбу. Клеопатра Ильинишна наконец соскучилась о Больших Липах, о своем сыне и об Ирине Сергеевне. После того когда она услаждала себя повторно злыми словами о легкомысленной невестке и даже вполголоса рассказывала одной родственнице, что Ирина Сергеевна хотела ее однажды отравить, она устала от собственных выдумок, и воистину стосковалась она о старом своем гнезде. Ею руководило также то верное чутье, то предчувствие, которое заставляет лесного зверя приползти в последнюю минуту в давнишнюю свою знакомую берлогу. Предсмертные минуты, большей частью внутренно верные у каждого живого существа, подходя, внушают живому существу верные чувства и мысли, хотя бы приближение смерти и не сознавалось.

Гордая женщина явилась с повинной. Приехав к Ирине Сергеевне, она с этого именно слова и начала:

— Повиниться я хочу перед тобою, милая моя. Неправо я о тебе думала, неправо и поступила. Знаю, что Ванечка счастлив с тобой и что дети у вас славные, внучата мои. Хочется мне с вами пожить.

Ирина Сергеевна была рада ее приезду и, не помня никаких обид, развернула всю, свойственную ее нраву, веселую ласковость. Ей скоро пришлось и принять на себя усиленные заботы о старухе. У нее была болезнь печени, и произошло обострение недуга. Клеопатра Ильинишна слегла и уже не встала. Она переносила страдания терпеливо. Когда Ирина Сергеевна говорила ей, что она поправится, та спокойно отвечала:

— Ах, милая. Что об этом говорить. Все живут, все умирают. Ничего в этом особенного нет. Это так для порядка нужно. Да ни о чем я и не жалею, если смертный мой час подходит. Жила, как считала должным жить. Были у меня ошибки, у кого их нет. И не хочется мне больше жить. Вы, новые, может, сумеете в этой новой жизни устроиться. У вас ведь всякие фантазии на уме. Вы мужика наравне с собой считаете. Мы по-другому привыкли думать. Пока это отродье в ежовых рукавицах держишь, все ладно идет. А пальца ему в рот не клади — всю руку откусит. Земляной человек мужик. А земля суровости требует. Не будет земля того, что нужно, давать, если не прикрепить к ней человека хорошенько. Все вкривь и вкось теперь пошло. Может, вы сумеете со всем этим устроиться, а пока что, разве хозяйство везде так, как должно идет? Отбились от рук все. Вразброд все пошло. Стадо всегда дурит, если пастух зевает да помалкивает. А коли пастух не спит да перелетных птиц не считает, коли умеет он вовремя гаркнуть да длинным своим бичом похлопать, поверь, милая моя, тогда и собаки сторожевые во все глаза смотрят, и волк баранов не таскает, и коровы не дурят, и все идет как следует. Есть ли только у нынешнего стада пастух? Что-то я не вижу. Разброд. Разорение. Бессмыслица. А мужички ваши добрые себя еще покажут. Будет время, пойдет дым коромыслом. Командира хорошего нужно. Нет больше командира.

Романтическая Ирина Сергеевна, хотя вовсе не идеализировала мужиков, не спорила все же с больной, но чувствовала от ее слов тайный холод жути. Ей хотелось бы, чтобы

хотя перед смертью старуха умягчилась, чтобы она вспомнила, если не с раскаянием, то хоть с сожалением, такие обломки прошлого, как пропавший без вести крепостной столяр Авдей и в жалком лике безвременно умерший Федя Порченый. Но эти тени не навещали спокойную думу Клеопатры Ильинишны. Там, в более дальнем прошлом, были еще и другие тени, искаженные и растерзанные. Но зачем бы она стала обременять себя припоминанием о том, какие были у них глаза, и какие проклятия, произнесенные в тайне сердца или совсем бессловесно, дрожавшие в этих, давно потухших, сердцах, с серым прахом смешавшихся, маячились где-то совсем близко, как бродячие болотные огоньки. Эта женщина, прожившая свою жизнь, имела твердые убеждения и твердо поступала в соответствии с ними. Твердое орудие дробит то, что ему препятствует двигаться в соответствии с его устроением. И когда Клеопатра Ильинишна, утомленная говорением, начинала дремать и забывалась тяжелым свинцовым сном, Ирина Сергеевна, сидя около нее и молча смотря на это изваянное лицо с обострившимися чертами, проникалась ужасом. Она хотела душой подойти к этой душе и чувствовала, что нет путей, никакой дороги. Ей, верившей во всемогущество всеискупляющей, вседостигающей доброй воли, было жутко оттого, что этот лик спящей старухи представлялся ей противоположным аргументом, находящимся в мрачной недосяжимости. Она не чувствовала к ней ненависти, нет. Она чувствовала к ней странную жалость, дивясь, каким образом у такого кроткого ласкового сына могла быть такая мать, точно иссеченная из камня. Ей хотелось вызвать в старухе просветленную нежность, душевное озарение. Она видела, что это невозможно. Нежности однако Клеопатра Ильинишна не была лишена. Она проникалась ею при виде внучат, она испытывала нежность, хотя с оттенком пренебрежения, к Ивану Андреевичу. А Иван Андреевич совсем приуныл.

Так и умерла суровая старуха. И схоронили ее. И посадили на могиле цветы. Ласковые цветы расцвели на ее могиле, те самые, которые не хотели расцвести в ее сердце.

Странное дело. Клеопатра Ильинишна умирала так спокойно, так истово, как будто, умирая, она внутренно озирала праведную жизнь. А умершая как-то беспричинно, всего че-

рез две недели после этого, кроткая Ненила, исключительное доброе существо, чья жизнь целиком была жертвой, трудом и лаской, очень терзалась в течении тех двух-трех дней, когда умирала. Она вспоминала в полубреду своего давно умершего сына. Жалела его, просила у него прощения, что не сумела за него заступиться. Как будто былинка может вступить в борьбу с бурей, или ребенок может сразиться со стаей в сто волков. Горевала о чем-то, чего не умела выразить, и говорила, что детей Ирины Сергеевны, которых она любила как своих родных, ожидают какие-то большие несчастья. Ирина Сергеевна, не отходившая от нее все время ее болезни, плакала над ней и прощалась с ней так, как могла бы только дочь прощаться с матерью. Последние минуты старая няня была спокойной, и лицо ее было озарено внутренней красотой.

Все в Больших Липах горевали о старой Нениле, и у детей были первые серьезные слезы, когда ее хоронили. И на ее могиле тоже цвели цветы. А какие цветы расцвели в ее сердце, это светлая тайна, которую она унесла с собой. Но должно быть, очень яркие. Потому что отсвет от них возникал на лицах и в словах и в голосе тех, кто вспоминал ее через много-много лет.

16

Иван Андреевич бывал в Шушуне только по земским делам да разве еще для того, чтобы купить что-нибудь, что нужно, для хозяйства. Вообще же он терпеть не мог город и городскую жизнь. Он прожил в целости до семидесяти слишком лет, но из них, пожалуй, не менее пятидесяти лет в общей сложности он провел на чистом воздухе, под открытым небом — в лесу, на лугах и в поле. Переезжать в Шушун он вовсе не хотел и не считал возможными Но детям нужно было учиться. Возить их ежедневно в гимназию за десять верст из усадьбы — задача неосуществимая. Он условился с Ириной Сергеевной, что она с детьми переселится в город, а он будет жить один во флигеле, и два раза в неделю будет приезжать в Шушун, оставаясь там дня по два. Только этот раз-

лом жизни совсем ему не нравился, да и жить на два дома казалось не по средствам. Но это было нужно.

После смерти Клеопатры Ильинишны и Ненилы, жизнь в Больших Липах не стала печальнее, а как будто еще оживленнее. Конечно, о старой няне грустили. Иван Андреевич грустил и о матери. Но, кажется, это закон души, что в жизни людей несчастливых приход смерти вызывает сгущенье душевного сумрака и вся жизнь их на некоторое время становится печальнее и замедленнее в своих проявлениях. В жизни людей счастливых происходит обратное. После краткой скорби, за пришествием смерти, удваивается радость жизни, обостряются и расцвечаются все положительные явленья душевного света, смех звучит звонко, ласка делается более страстной и порывистой. Судьба, послав к счастливым людям на краткий миг призрак предельный, как бы напоминает им о прелести жизни, которая цветет и светит и звенит и плещет всеобъемно.

Так было в Больших Липах, где жили люди счастливые. Все ли однако там были так счастливы? Кто знает? Кто знает?

Если есть что-нибудь прихотливое на свете, это, конечно, бьющееся творческой кровью, хотящее женское сердце.

Спроси каплю, чего она хочет. Она скажет: быть росинкой, играть маленькими радугами, сделаться легкой и незримой, чуть-чуть зримой, дымкой. Подняться выше и слиться с кочующим облачком. Утонуть в темной туче, сверкать с молнией, греметь с громом, пролиться серебряным дождем, и под высокою радугой, под многоцветной, снова стать каплей, быть испитой жадным ртом земли или румяными устами цветка.

Спроси ветерок чуть веющий, чего он хочет. Он скажет: качаться, меняться, виться, летать, плясать, кружиться, закрутиться сильнее, спугнуть пылинки на дороге, повести бегущие извивные змеи по нивам, затрепетать в изумрудном танце верховного листка. Помчать облачко к облачку, башню построить из тучи, вделать в нее плиты из агата, воздушные плиты из аспида, черного сланца и яшмы, за которыми алые кроются расцветы молнии. Сделать так, чтобы молнии выбрызнули. Поиграть небесным пламенем и падающими на землю посеребренными запястьями. Шепнуть и улететь.

Спроси огонь, чего он хочет. Узнаешь: гореть и греть, гореть и жечь, сгорая, не сгорать, играть, плясать, цветиться, расцвечаться. Завертеться алым воздухом, брызнуть искрами, тихонько мурлыкать, горя, как будто там, в пламени, чем-то очень-очень доволен огненный кот. Втянуть в свое горячее притяжение то, что приблизится и может по своим свойствам быть сожжено. Гореть внизу, но рубиновые свои острия взметать кверху, и кверху посылать белый дым, голубоватое куренье, всходящее.

Спроси зверя, чего он хочет. Зверь знает одно только слово: добычи.

Спроси сердце, человеческое сердце, сердце мужчины, и, если оно захочет быть таким же правдивым, как зверь, только и найдет оно звериное слово в ответ: добычи.

Спроси женское сердце, чего оно хочет. Оно ответит: всего, что только что было перечислено, и еще другого, неожиданного.

Сердце Ирины Сергеевны, конечно, ответило бы так.

Огинский снова бывал в Больших Липах часто, и нежнее еще была его дружба с Ириной Сергеевной, чем она была когда-то. Дружба ли только? Этого никогда нельзя знать в точности. Когда женское и мужское сердца бьются близко одно около другого, от сердца к сердцу перебегают незримо духи огня, которым нравится сплетать и разрывать и снова сплетать шаткую, но прочную, пламенную пряжу. А если два беседующие ума находят, что им очень хорошо друг с другом и что они ведут, хоть и спорящий, но внутренно согласный разговор, в то время когда незаметные перебегают огоньки из сердца в сердце, самый отвлеченный разговор может привести к самым неожиданным событиям, приход которых может быть мгновенным.

Красивые черные глаза все чаще и чаще смотрели с долгой бессловной печалью. Они знали и не знали о чем-то, чего никак не может хотеть душа человеческая. Они знали и не знали, печальные глаза, потому что ни за что не захотели бы они спрашивать или выслеживать. Грусть нарастала глубокая, а в грусти, как и во всяком чувстве, когда оно переплеснет через край, столько зыбится поступков, которые, клонясь к тому, чтоб погасить терзающее чувство, даже и совершенные, свершившиеся, не определяют совершившую их душу,

захотевшую забыться в другом месте, если в месте желанном душа касается острия.

Снова в Тихоречье была буря и гроза, как когда-то. Буря быстрая и гроза летняя. А лесник был в лесу на охоте, и жены его не было дома, задержалась в Больших Липах с поручением. И в лесном домике Ирина Сергеевна и Огинский были вдвоем...

Не влияние ли это было лесного духа, что в эти самые мгновения в другом лесу, в другом отъединенном домики, молодая чернобровая вдова с любовью смотрела на красивого гостя с черными глазами, и ей нравилась грусть этих глаз, и она погасила эту грусть, зажигая другое чувство. Ветка с веткой обнимаются в лесной чаще, едва только дохнет ветер. И ветра не нужно, чтоб им обниматься. Разве так уж это много, что два существа, по иному лесные, когда им почувствовалось, что они друг другу желанны, обнимутся?

Много в лесу бывает сказок ветвей, и птиц, и зверей, и людей. Немногое из того, что бывает в лесной чаще, исходит из нее и, входя в слова, тем самым видоизменяется по существу.

Глухие лесные места встречают утро и ткут ночь, прежде чем она выткется там за лесом. И новая ночь придет и новое утро настанет, когда на небесном огниве новые будут высечены искры, чтобы разметаться им по зеленым просторам. Папоротник дышит, усеянный цветочными крапинками. Тишина такая, точно никто там никогда не бывал. Солнце встало. Трава блестит от росы. Чирикнула малая птичка и перелетала с ветки дерева на лесную лужайку. Залоснилось от солнечных лучей своей поверхностью темное лесное озеро, почти черное. Дикие утки там водятся несосчитанными стаями и так плещут, и так шумят, что их слышно издалека. Кто не знает дороги, тот сюда не проникнет. Лоси любят такие места. Вот вышел из темного леса могучий лось и идет к воде, напиться хочет. Дошел до воды, приподнял огромную голову, остановился, прислушивается. Никого. Ничего. Можно опустить голову. Никто не подкрадется сзади, пока пьешь. Лось знает. Он медленно опускает голову и пьет.

Лето идет. Лето проходит. О чем поют так долго стрекозы, когда лето переломится и греются серпы, срезая колосья?

Они поют, что лето было хорошо, что оно кончается, что истекают последние часы единственного праздника, что лето прошло и не вернется. Придет другое лето, с другой весной. Но лето, проходя, возвратиться не может.

Волшебный стаканчик разбился надвое. Со звоном разломился заветный хрусталь, и тонкие брызги его звона разметались далеко по небу и по земле.

17

Провинциальные русские города очень похожи один на другой и зданиями, и улицами, и нравами. В прежнее время сходство это было еще полнее и, пожалуй, доходило до тождества. Строго говоря, провинциальные города прежних дней были маленькими сатрапиями, где верховодили два—три-четыре человека, окруженные приверженцами, — сатрапиями иногда кроткими, чаще разнузданно-свирепыми, еще чаще соединявшими в себе в единовременном сосуществовании и в нерасторжимой цельности и кротость и свирепость.

Шушун и находившийся в его уезде Чеканово-Серебрянск, не то промышленное село, не то захудалый городок, были сразу и обычным провинциальным захолустьем, и некоторым исключением из общего правила. Дело в том, что оба эти городка были средоточием усиленной фабрично-заводской деятельности, и это определяло слишком многое в жизни и нравах, как Шушуна, так и Чеканово-Серебрянска, в особенности последнего. Это уже была не малая сатрапия, а целое множество, бок о бок существующих и самодовлеющих сатрапий, в чьих недрах совершались дела, даже для обычного провинциального города неслышанные. Чего однако не снесет испытанная русская впечатлительность, и о чем она не будет глухо умалчивать в течении неопределимого срока. Рабовладельческие нравы заводчиков и фабрикантов и чудовищные страницы их семейных хроник расцветали невозбранно целые десятки лет, пока не выявилось в ликах ужасающих вырождение не отдельных лиц, но ряда поколений и целого города.

Чеканово-Серебрянск находится всего в тридцати верстах от Шушуна и, входя как часть в его уезд, составляет с

ним одно хозяйственное целое. Стоки грязной воды с красильных и иных фабрик входили в ту же реку, что омывала оба города, засоряя целые рукава ее, создавая вонь и заставляя рыб дохнуть. Воздух замкнутой жизни с неправомерно-долгим и тяжелым трудом десятков тысяч одних и с неправосудным богатством других — своя воля, ничем неограниченная, своекорыстных маленьких тиранов, знавших как высшее благо лишь накопление денег, пьянство, распутство и картеж, — этот воздух десятки лет был сгущающимся, сплетающимся, плотным саваном вокруг обоих городов. Но Шушун был не только фабрично-заводским жерлом, в нем была еще и другая жизнь, и в этой другой жизни были среди чада просветы мысли и красоты.

Прежде всего в нем была исключительно богатая по количеству и подбору книг «Публичная земская библиотека», справедливо составлявшая гордость этого города. Значительную ее часть составляло богатое пожертвование, сделанное перед смертью неким чудаком-помещиком, имевшим страсть к собиранию разных коллекций. Руководясь благою этой страстью, он собрал полные экземпляры всех русских журналов, какие только существовали с начала XIX-го века до конца 60-х годов. Это ценное собрание послужило духовным фундаментом библиотеки, а влияние Ирины Сергеевны сделало то, что в библиотеку были приобретены все сколько-нибудь ценные писания, бывшие в эпоху реформ ходовыми, не говоря уже, конечно, о том, что произведения всех крупных русских писателей имелись в ней полностью. Эта библиотека сыграла крупную роль в том стремлении к саморазвитию, которое ярко расцвело среди молодежи города Шушуна, и в том движении чисто-революционном, которое не замедлило проявиться несколько позднее.

Почти с самого начала своей жизни в городе Ирина Сергеевна увлеклась также любительскими спектаклями, которые она стала устраивать с разными благотворительными целями. Драмы Писемского и в особенности Островского вошли правильным художественным и умственным возбудителем в старозаветную жизнь городка, где горькая судьбина правила многими жизнями и Кит Китычи разных калибров встречались на каждом шагу. У Ирины Сергеевны выявился, непредвиденно для нее самой, настоящий

сценический талант — и комический, и драматический, — и, всегда увлекаясь тем, что она предпринимала, она в течение лет создала в этом захолустье совсем недурной театр.

Настоящей общественной жизни в городке однако не было. Премьеры города — предводитель дворянства, председатель земской управы, городской голова, уездный исправник, и еще два-три человека из дворян и именитых купцов — льнули друг к другу и образовывали одно сомкнутое целое. Фабриканты и заводчики, разными кучками, образовывали свои собственные мирки. Гимназическое начальство жило также отдельной жизнью, мало смешиваясь с другими жителями города. Также и духовенство. Также и мещанство. И уж конечно, совсем отдельным многолюдным кланом жило многочисленное, главным образом заречное, рабочее население. В те далекие годы эта часть городских жителей была совершенно безгласной, и горожане, имевшие голос в жизненных вопросах, вряд ли что-нибудь знали о фабричных рабочих, кроме того, что на фабриках жарко и душно, что работают там по двенадцати часов в сутки и свыше того, что при смене гудят по городу фабричные гудки, да иногда рассказывали досужие люди, не вызывая ничего, кроме смешков, что при нынешней дачке денег рабочим Урчалов расплатился одними двугривенными, и много двугривенных оказалось фальшивыми, а умнейший Матвей Мальков, при уме обладавший и быстрой рукой, за что рабочие прозывали его Матюшка Собакин, с кем-то крупно поспорил и с обеих сторон произошло рукоприкладство.

Жили гнездами, жили ульями, жили семьями, жили в одиночку.

В глухих углах возникают особливые характеры. Так бывает в природе, так бывает и в жизни людей. Если чудаковат был тот достойный дворянин, у которого явилась прихоть составить обильное книгохранилище, которым сам он не пользовался, разве в пустячной малости, — были в Шушуне и другие чудаки. Один добрейший и добродетельнейший гражданин наполнил весь свой дом неприличными картинками. Откуда он их доставал, в таком количестве и в таком первобытном животном бесстыдстве, бог весть. Когда гости, не имевшие столь резко выраженного пристрастия, начинали стыдить и упрекать его в том, что он такой греховодник,

он отвечал всегда: «Дабы соблюсти и свою, и чужую добродетель в непочатом виде, сии дьавольства нарисованные собираю, да отвращается от них душа». При этом у него было пристрастие еще и другое. Он очень любил зазвать на вкусный обед какую-нибудь духовную особу. Близким приятелям он потом рассказывал подробно, как себя чувствовала духовная особа, и какие были сказаны слова. Он верил, что никто не сможет уйти от стерляжьей ухи с кулебякой и от живительных бутылочек, какие бы ни окружали его за трапезой нарисованные дьавольства.

Другой чудак, из тех земцев, которые считали, что расходы на земские школы — дело бросовое, имел привычку отдавать белье в стирку только раз в полгода. Не нужно пугаться, и не должно думать, что он менял белье лишь два раза в год. Совсем нет и вовсе наоборот. Он менял белье ежедневно, того же требовал и от всех членов чрезвычайно многочисленной своей семьи. Но у него на все были свои взгляды. Каждой статьи белья у каждого члена семьи было ровно по триста шестидесяти шести штук. Годы бывают не только простые, но и високосные. Это простая предусмотрительность. Не менее простая и достойная предусмотрительность заставляет человека не желать ни себе, ни близким заразных болезней. Какая же шушунская или хотя бы московская прачечная может сравниться с прачечной Лондона. Явно никакая. И раз в полгода мудрец отсылал половину всего бельевого запаса в стирку в Англию. При сравнительно очень скромных средствах какая великолепная находчивость.

Чудаки возникали не только среди тех, кто располагал скромными или нескромными средствами. Тот юродивый, который назывался в Шушуне Андрюша Кочеток, запомнился всем, видящим его хоть раз, навсегда. Поздно ночью, за полночь, Ирина Сергеевна, увлекаясь новым французским романом и нетерпеливо перевертывая при мигающей свечке оконченную страницу, вздрагивала иногда — не оттого, что героиня встретила наконец желанного, а оттого, что за окном, на глухой оледеневшей улице, слышалось звяканье цепи и глухой голос, глуше этой ночной улицы спящего города, причитая произносил неявственные угрожающие пророчества. Кто был этот юродивый? Никто не знал. Откуда и когда он явился в город? Это тоже было неясно. Юродивый, и все

тут. Никому ничего дурного он не делал, его не тревожили. Кто подаст корку хлеба, тому спасибо скажет и сыт будет. А то и без всякой еды пробудет и два, и три дня. И ходит по городу ночью, босой зимою и летом, в посконной рубахе, в посконных штанах, простоволосый, подпоясанный тяжелой веригой. Пробормочет свое пророчество. Скажет, что люди спят, а нужно просыпаться. И пропоет нескладным голосом: «Ку-ка-реку», за что и звали его Андрюша Кочеток. Позвенит своей цепью, как будто чем-то грозя или что-то этим подтверждая, и исчезнет в ночи.

Если Ирине Сергеевне случалось это слышать, она закрывала свою книгу и не могла больше читать. Она не могла тогда и спать, и долго лежала с раскрытыми глазами, в которых стоял странный испуг и медлили невысказанные мысли, которые, хоть приход их был нежеланный, придя, не хотели уходить.

18

Классическая гимназия последних десятилетий прошлого века в России, как известно, во всей своей образовательной системе была создана злыми гасителями просвещения и своей главной задачей имела вытравлять из юных умов все естественное, все природное, всякое вольное движение любопытствующего юного ума. Заполнить учащийся разум ни для чего не пригодными грамматическими ухищрениями, умертвить в нем с детских дней правильное религиозное размышление безобразными пересказами самых безобразных, жестоких и внутренно лживых побасенок, вырванных из худших мест той кровожадной тяжеловесной книги, на которой долгие века учились науке ненависти, суеверия, и умственно срезанного размышления о мире, обрывки знаний полезных дать в форме исковерканной, извратить естественно светлую юную волю и наконец выпустить юношу из школы нервно расшатанным и телесно надломленным — эта дьявольская задача исполнялась в классических гимназиях планомерно, и Шушунская гимназия не была исключением.

Хорошо было тем, кто по свойствам своего нрава умел приспособляться, сразу ухватив правильно эту громоздкую

негодную игрушку, сразу научался ею владеть, выделяя определенные часы для собственной своей, не поддельной, а настоящей внутренней жизни. Такие проходили эту уродливую школу легко и выходили из нее, чтобы перейти к университетскому знанию, довольно легко. Некоторым, конечно, помогало и то, что тот или иной из преподаваемых предметов совпадал с личными умственными наклонностями, и притом преподавался исключительно умным и благим учителем, умевшим обходить школьные правила и благополучно избегать инспекторского, директорского и попечительского дозора. Судьба других, имевших иной нрав, и обладавших природой более художественной, тем самым умственно-своеобразной и прихотливой, была гораздо более трудная. И горе было тем, кто чрезмерно любил простор полей, зеленые празднества природы, убегающей от каменных стен и душных классных комнат. Даже и при хороших способностях, иногда исключительных, такие ученики легко попадали в разряд слабых, вовсе плохих, безнадежных. И тут для них и для их семей начинались настоящия драмы, иногда запечатленные напрасно пролитой кровью.

Дети Гиреевых были подготовлены дома на редкость хорошо, да притом же они были и от природы живые и смышленые. Игорь все время своей гимназической жизни увлекался математикой и обоими классическими языками, а к концу увлекся религиозно-философскими вопросами и мыслил сначала в таком строго-православном духе, что ему гимназическая учеба была скорее забавой, чем усилием. Однако и к нему отрава пришла, и в лике наиболее грозном. Глебушка, поступивший вместе с Жоржиком в один и тот же приготовительный класс, весьма скоро возненавидел гимназию, прошел кое-как несколько классов, сделался великолепным стрелком, охотясь то с Иваном Андреевичем, то со своим крестным отцом Огинским, то с кучером Андреем, то один, — и в пятом классе тяга вальдшнепов показалась ему настолько привлекательнее экзаменов, что они для него и не состоялись, и образование его прикончилось. Что касается Жоржика, то в приготовительном классе он был первым учеником, и еще в половине учебного года, вопреки гимназическим правилам, ему была выдана какая-то похвальная грамота, чем он немало был горд, и, когда в этот день поехали катать-

ся, он держал ее в руках, боясь с ней расстаться. В первом же классе он уже был лишь в числе лучших учеников, во втором в числе плохих, в третьем был последним и остался на второй год. В четвертом классе с ним произошел внутренне перелом, и он решил во что бы то ни стало кончить гимназию, что ему удалось с большими приключениями.

Первые недели поступления в гимназию и ознакомления с новой обстановкой были для Жоржика очень занимательны. Он сразу подружился с одним черненьким гимназистиком, который был из другого городка, где гимназии не было. Через некоторое время Ирина Сергеевна взяла его к себе в дом, и эта детская дружба развивалась и укреплялась долгие годы. Коля Перов был сын русского и матери-карелки. Жоржику очень нравилось это полудикарское личико, необыкновенно честное, умное и непохожее на другие ученические лица. Уроки давались легко, Жоржик уже все знал, чему учили. Для него были только недоумением и страданием уроки Закона Божия. Уже и первый священник, которого он знал в жизни, сельский священник якиманской церкви, запомнился ему как некий лик, полный необъяснимой всегдашней враждебности. Это был полуседой, получерный желчный старик, тяжелая жизнь не располагала его расцветать улыбкой. Он и не улыбался никогда. А во время богослужения лицо его становилось особенно строгим и суровым, и та благоговейность, которой исполнялись его большие мрачные глаза, если это была благоговейность, казалась чем-то не благословляющим. Жоржик помнил при этом, что, если по окончании службы он подходил к кресту, чтобы приложиться, этот угрюмый поп Николай непременно совал ему, как бы судорожным толчком, прямо в губы свою жесткую холодную руку. Мальчику вовсе не хотелось целовать эту неласковую мертвенно-холодную руку.

Отец Миловзоров, преподавав или Закон Божий, совсем не походил на попа Николая. Высокий, толстый, подслеповатый, с жидкими рыжеватыми косицами, он ничего не имел в себе ни аскетического, ни мрачного. Он был необыкновенно благодушный и даже добрый человек, притом такой ленивый, что он не стал бы ни на что сердиться уже потому, что это все-таки требует затраты сил. Он любил неподвижно сидеть на кафедре, мерно рассказывать очередную, будто свя-

щенную побасенку, и, нюхая табак, медленно вытирать свой огромный нос большим клетчатым платком. Ученики подсмеивались над ним и, припася зеркальце, пускали в него солнечных зайчиков. Он мигал подслеповатыми глазками, чихал, понемножку уклонялся от прыгающих зайчиков, но не делал никаких замечаний проказникам. Жоржику было не смешно, а жалко его. Правда, бедняк страдал от неумолимой безжалостности малых игральщиков. Но сойти с кафедры ему было лень, и журить виновных он по доброте своей не хотел. Наконец, вздохнув, и продолжая глуповатую сказку о Всемирном потопе, он слезал с кафедры и начинал медленно ходить взад и вперед по классной комнате, а зайчики продолжали носиться за ним, но тут уже могли приносить ему лишь очень мало вреда.

Этот второй священник, узнанный Жоржиком, не вызывал в мальчике того тягостного душевного толчка, который называется отчуждением, но, конечно, и притягательной силы он из себя не излучал, и не внушал даже простой уважительности. А недальнозоркие, исполненные тупой жестокости, умственного рабства и простоватых хитростей, сказочки о рае и грехопадении, о Каине и Авеле, Аврааме и Исааке и другие образцы этой дикарской изобретательности, вызвали в чистой душе умного ребенка, уже возлюбившего мир и полюбившего любовь, — только любовь еще и знавшего, — впечатление неслыханной несправедливости, издевательства лгущего человека, неуклюжих выдумок и клеветы на синее небо, где будто бы сидит злой старик, любящий обижать и мучить собственных детей.

19

Исчезновение Ненилы из жизни Жоржика было первым настоящим его огорчением, но эта утрата, такая большая, сопровождалась таинственностью, возбудившей в душе мальчика ощущение грустной красоты, и была связана с такими его мыслями, которые были бы неправдоподобны и даже невозможны в детском уме, менее сложном и менее одаренном, в нем же были простой неизбежностью. Ему, воспринимавшему все явления мира в ритме стройной закономерности, смерть

Ненилы казалась необъяснимо нужной, и, думая о ней, он всегда чувствовал, что теперь ей гораздо лучше там, где она сейчас. Он воспринимал ее лик ушедшим, а не исчезнувшим.

Первые же дни гимназической жизни доставили ему огорчение, связанное с простым человеческим обманом, и обман этот сразу болезненно шатнул идеальную золотую дымку, через которую он воспринимал вещи и людей. Это случилось на уроке чистописания.

То был год Русско-турецкой войны, сопровождавшейся таким пробуждением русских сочувствий к братским славянским народам. Везде говорили о зверских жестокостях, которым подвергали болгар и сербов турки. Собирались деньги в пользу славян и в пользу раненых. Дети Ирины Сергеевны вместе с матерью деятельно щипали корпию, и помогали ей в приготовлении перевязочного материала, а старшие в это время сообщали последние вести, приходившие с театра войны.

На уроке чистописания, о котором идет речь, Жоржик тщательно выводил большие косвенные буквы, и немного грустно размышлял, что, когда он был в Больших Липах, он писал всегда мягким гусиным пером, таким красивым, и это было приятнее и легче, чем писать ручкой со стальным пером 86-й пробы. Маленький вертлявый человек с выпуклыми зелеными очками, учитель рисования и чистописания Кузовкин, вдруг прекратил свое хождение взад и вперед и, остановившись посреди классной комнаты, сказал, обращаясь к ученикам:

— Дети, правда, ведь скучно писать и выписывать буквы? А в это время наши братья сражаются с турками. Знаете, каждый из вас мог бы быть братом милосердия и вовсе не учиться в гимназии. Хотели бы вы быть братьями милосердия и ухаживать за ранеными солдатами?

— Хотели бы, — раздалось несколько голосов.

— Так вот. Пусть каждый, кто хочет, к завтрашнему дню приготовит об этом заявление. Возьмите каждый листок хорошей бумаги, напишите на нем крупным красивым почерком, что хочу, мол, быть братом милосердия, и принесите эти заявления мне. Я передам начальству, и каждого нового брата милосердия отправят туда, где воюют.

Большинство мальчиков остались безучастными к словам Кузовкина, некоторые сказали об этом своим родителям,

и те объяснили детям, что Кузовкин просто шутил, а может быть, хотел, чтобы они сделали сверхурочную работу по чистописанию. Ни Жоржик, ни Глебушка ничего Ирине Сергеевне не сказали и, засыпая в этот день, поздним вечером, гадали, как они будут братьями милосердия там, где такие злые турки и такие бедные и несчастные сербы и болгары. Но Глебушка поленился написать заявление.

На другой день во время урока чистописания случилось так, что один только Жоржик принес большой лист почтовой бумаги, который он выпросил у матери, и на нем твердым почерком было написано: «Я хочу быть братом милосердия и поехать туда, где сражаются, чтобы ухаживать за ранеными. Я буду ухаживать за русскими, сербами и болгарами».

Когда Жоржик подал эту бумагу Кузовкину, тот не сразу понял, в чем дело, потом вспомнил о своих вчерашних словах, несколько сконфуженно похвалил старательного ученика, в пример поставил ему 5 с плюсом, высший бал, и спокойно перешел к очередным занятиям. Если бы еще он что-нибудь сказал Жоржику. Ни одного слова.

Дома Глебушка с простодушием рассказал обо всем Ирине Сергеевне. Она была в это время занята чем-то более серьезным и ограничилась только тем, что назвала Кузовкина глупым болтуном, а на Жоржика посмотрела с нежностью и сказала: «Смешной ты мальчик, неужели ты ему поверил? Ну что бы там стали делать с детьми, где каждую минуту убитые и раненые».

Это была первая стена между мальчиком и взрослыми. Эта стена была почти прозрачная, как хрусталь, но и непроницаемая, как хрусталь. Все движения видны и по ту и по другую сторону, но, чтобы дошло от одного к другому живое дыхание, нужно пробить эту преграду. И пробить такую тонкую прозрачную преграду необыкновенно трудно. Она плотности исключительной.

Когда позднее, и гораздо позднее, обман стал подходить к Жоржику, то на цыпочках и воровски, то с грубой разбойничьей наглостью, то с ласковой девической или женской усмешкой, он, пожалуй, никогда уже не испытывал такого сильного впечатления, как этот первый раз. Ему показалось этот раз, что лица людей все стали изменившимися, и что даже цвет неба стал другой.

20

В Шушуне было несколько кожевенных заводов. В нем было также много торговцев мукой. По той улице, где жили Гиреевы, часто тянулись длинные обозы, то с кожами, то с большими, усыпанными мукой мешками. От обоза с кожами всегда шел острый, неприятный запах, распространявшийся далеко и пробивавшийся даже в дома, мимо которых ехали возы. Жители Шушуна смотрели на появление такого обоза, как на истинное несчастье данного дня. С простотой невинных жителей царства берендеев прохожие поносили вслух мужиков, сопровождавших возы с вонючими кожами, мужики время от времени изливали на прохожих поток тех изумительных бранных слов, которые женщин заставляли краснеть и делать непонимающее лицо, мужчин частью хмуриться, частью весело улыбаться, а подрастающее поколение залюбопытненно обогащать лексикон своих слов совершенно новыми речениями, чем гимназисты щеголяли между собой. Обозы мучные были более кротки в своем возникновении, но вообще неподобная брань была в Шушуне, верно осталась и доселе, естественным способом словесного соприкосновения людей между собой.

Жоржик подружился в гимназии с одним из товарищей, Колосовым, сыном богатого мучника. Он ходил к нему в гости, благо дома были почти рядом, то с кем-нибудь из своих братьев, то со своим другом Колей Перовым. Они показывали друг другу свои книжки, свои картинки, иногда играли в карты — в мельники и в весьма длинную и невинную игру, преступно называвшуюся игрою в пьяницы. В этих забавах принимала участие сестра Вани Колосова — Маша. Девочка лет тринадцати, она была голубоглаза и черноброва, личико совсем очаровательное.

Это была первая влюбленность Жоржика. Слова влюбленность он еще не знал, но слово — любить, он не только знал, а и часто произносил, не составляя в этом исключения среди своих немноголетних товарищей. Он говорил «люблю» матери, отцу, раньше няне, брату Глебушке, веселому Коле Перову. Он мысленно говорил «люблю» Маше Колосовой и, думая о ней, приходил в такое восторженное состояние, ощущал в сердце такую сладкую нежность, что им овладевала

слабость, и он должен бывал прилечь на диван и закрыть глаза. Ему тогда казалось, что чернобровая голубоглазая девочка сидит около него и говорит ему что-то ласковое.

Он никому из братьев, ни Коле Перову, не говорил ничего. Но ему хотелось знать, любит ли его Маша. И с ним, и с его братьями она была одинаково любезна.

Однажды, когда он и Колосов возвращались вдвоем из гимназии, — братья и Перов шли впереди — он заговорил нарочно небрежным и ненарочно уверенным тоном со своим товарищем. Уверенность в нем не была вполне неуместной. Не только его товарищи, но и старшие говорили с ним всегда уважительно, ведь он так хорошо учился и был первым учеником.

— Ваня, — сказал Жоржик, — я хотел тебя спросить. Маша всех нас любит?

— Да, — сказал Ваня с важностью, — любит всех.

— Меня больше всех? — спросил Жоржик с замирающим сердцем.

Ваня вдруг очень сконфузился и покраснел. После довольно длительного молчания, он наконец сказал:

— Нет, она Игоря больше любит.

— А потом кого? — спросил Жоржик, чувствуя, что он падает с горы.

— А потом, — проговорил медленно Ваня, — Глебушку, а уж потом тебя. А больше всех она любит Колю Перова.

Бедный Жоржик совершенно погас. Окончательно в городе судьба обратилась против него. Он не разлюбил Колю Перова, но к Маше Колосовой сразу охладел.

21

Вторая половина марта. Жоржик перенес корь, и только что вышел в первый раз гулять на двор, слабенький, бледненький, неуверенный в своих движениях. За время долгого лежания в постели у него ослабели глаза, и зеленый зонтик, защищая их от слишком сильного света, изменял все зрительные впечатления. Мальчик радовался теплому солнцу и возрожденному весеннему воздуху. Золотисто-рыжий петух, с высоким красным гребнем и красной бородкой, окружен-

ный многочисленными курами, яростно разрывал сор в курятнике, то и дело закидывая голову и разражаясь громким «Ку-ку-реку!». Круговые голуби деловито подбирали рассыпанные зернышки почти у самых ног Жоржика, гонялись друг за другом, ворковали, выгибая голову набок, и вдруг за одним взметнувшимся все взлетали на воздух с шелковым и как будто влажным шелестом крыл. Они летали в солнечном воздухе по кругу, белые голубки сверкали ослепительно, а иногда, против белого облачка, становились совершенно незримыми. Рыжие, хохлатые турманы, запьянев от полета и солнца, вертелись кубарем и кувыркались то через хвост, то через крыло. Потом все возвращались во двор, располагались в голубятне и мурлычащим, нежно-стонущим голосом долго ворковали. Голуби в больших числах плескали крыльями, шумели, ворковали или, озираясь, сидели молча — и на соседних крышах, и на талой дороге, давно порыжевшей и заманчиво видневшейся через полуоткрытые ворота. Голубей в Шушуне было неистовое количество, и они были совсем ручные, их никто там не обижал птица святая.

Внимание Жоржика привлекла какая-то янтарная блестка на выветренной серой стене дровяного сарая. Он подошел вплоть. На доске был темный срезанный выгиб сучка, и около него от теплоты солнца выступила крупная капля смолы и застыла. Жоржик потрогал бледненьким пальчиком янтарную бусинку, и ему томительно захотелось в усадьбу.

В доме были сборы, но не для переезда в Большие Липы. Гиреевы переезжали на другую квартиру. Ирина Сергеевна ни за что не хотела больше жить в непосредственном соседстве с фабрикантом Урчаловым, около дома которого каждую неделю по субботам происходили истории и скандалы. Недовольные рабочие, обиженные действиями фабричного начальства, приходили с жалобами к самому хозяину, которого на фабрике никак не уловишь, хозяин не выходил к ним, они хотели взять его измором, терпение изменяло, начинался гвалт, приходил старенький сержант, городовой, и честью просил шумящих разойтись. Тогда начинались уже настоящее крики и прорывалось справедливое возмущение. Иногда хозяин показывался и каким-нибудь словом умиротворял недовольных, но по большей части рабочие с криками расходились, не добившись даже и такого шаткого удовлетворе-

ния. Урчалов не был исключением из правила. На всех фабриках в городе и в уезде царило недовольство. Но среди рабочих еще не было в то время сознания своего единства, среди фабрикантов и заводчиков оно было в гораздо большей степени. Чего в них не было, это хоть какого-нибудь понимания, что без конца давить рабочих невыносимыми условиями жизни и все выжимать лишь в свою пользу — безнаказанно нельзя, и что к слепому своекорыстно возмездие должно прийти, быть может, в лике самом чудовищном и непредвиденном.

Дом, куда Гиреевы переехали, стоял очень красиво. Перед ним была большая четырехугольная лужайка, налево церковь, направо, склон вниз, дорога к Заречью, двор выходил задней своей стороной на зеленый вал, под валом — река, мельница, дальше заливные луга, широкая равнина, далекие леса. Весна была ранняя, и в начале апреля уже все зеленело.

В этом доме, где Жоржик прожил до семнадцатилетнего возраста, в самые первые дни переезда в него, он впервые увидел лик ужаса, не в самом доме, а над рекой, на большом мосту, когда по реке мчался ледоход. Узнав, что лед идет, Жоржик отпросился у Ирины Сергеевны пойти вместе с Игорем и Колей Перовым посмотреть на ледоход с большого моста. Они увидели праздничную толпу, собравшуюся полюбоваться на вспененную реку, разрушившую зимние свои скрепы, огромные льдины мчались в мутно-желтой воде и, проплывая под мостом, ломались о выдвинутый им навстречу оплот косых деревянных быков. Но, когда мальчики подошли вплоть к толпе, они увидели, что она была не только праздничная. Навстречу им шла кучка людей, несших на носилках смертельно-бледную женщину. Она была положена на носилки с явной торопливой поспешностью, ничем не прикрыта, платье на ней было растерзано, и из распоротого живота виднелись полувывалившиеся кровавые внутренности. Сзади, поодаль, другая кучка людей, вела какого-то человека, мужика или мещанина, с видом потерянным. Всклокоченный, с лицом землистого цвета, он смотрел с недоумением то на носилки, то на лица тех, которые вели его под руки, то он опускал голову и смотрел с вопрошающим недоумением на свои руки и ноги. Казалось, он не узнавал самого себя, и всего ужаснее во всей этой картине была,

быть может, не эта белая женщина с кровавым животом и уже отшедшим, хотя еще живым лицом, а расширенные глаза, полные недоумения, ужасающиеся глаза того, кто все это сделал, но более не понимал того чувства, которое все это сделало.

Мальчики пошли вслед за этим шествием и слышали повторявшиеся рассказы о том, как все произошло. Один заречный мещанин ревновал свою жену. Он подозревал, что она тайно видается с одним его бывшим приятелем. Он бил ее, раньше они жили хорошо, он стал бить ее. В этот несчастный день, подходя к своему дому, он увидел поблизости от дома быстро уходившего своего соперника или того, кого он считал соперником. Войдя во двор, он увидел жену не дома, а в огороде. Около огорода лежало несколько длинных, заостренных с концов кольев, которые он сам с утра приготовил, чтобы поставить у огорода новый частокол. Он бросился к жене, ударил ее кулаком, она упала на спину. Она упала и при падении раскинула ноги. Он захохотал, схватил ближайший кол, отбросил, выбрал подлиннее, с концом поострее, и, воскликнув: «Вот такого тебе хватит?», вонзил ей кол вниз живота и в одну минуту распорол живот. Соседи и справа и слева, как раз собиравшиеся идти смотреть на ледоход, все видели, но несчастие произошло так быстро, что они не успели помешать.

Теперь смертельно раненную несли в земскую больницу, а преступника вели, чтобы предать в руки правосудия.

Присутственные места и находившийся сзади них острог, были через несколько домов от квартиры Гиреевых. Тут же вблизи квартировал судебный следователь. А через несколько домов находилась и земская больница. И на другой, и на третий день, Жоржик видел, как преступника, закованного в цепи, водили на допрос к судебному следователю. Он видел также, как, опустив голову, сопровождаемый конвоем, несчастный ходил в земскую больницу проститься с умирающей. Родители не говорили ничего об этом с детьми, но от прислуги они узнали, как закованный стоял на коленях у постели умирающей, как он предавался отчаянию и раскаянию и как все это было страшно. «Она простила» говорили рассказывавшие. Через несколько дней она умерла.

Несчастного потом судили и осудили на многолетнюю каторгу.

— Все от темноты, — печально говорил Иван Андреевич. — И когда подумаешь, сколько препятствий ставят простой грамотности, руки опускаются.

Ирина Сергеевна пасмурно молчала.

Жоржик ничего не мог постичь в этом ужасе. Он не думал, он чувствовал. Его чувство было сжато невидной и необъяснимой безмерной тяжестью. Все взрослые, кроме близких, казались ему наряженными в страшные личины и соединенными в один огромный союз, враждебный всему, что он любил, отделенный холодом и неприязнью ото всего ласкового и ясного, в чем была его душа.

22

Событие такой исключительной важности и такой чудовищной выпуклости, оставляет глубокую болезненную борозду и в душе взрослого. В детской душе, воспринимающей все по особенному, чувствующей утренне, нетронуто и неожиданно, просыпаются вложенные в нее от природы ее особенные черты, и душа означает для самой себя, — может быть, не сказанно, может быть, в областях сокровенных, — новый день своего существования.

Глебушка никак не воспринял событие. Оно его никак не касалось и не интересовало. Его интересовало только одно. Отец обещал ему, что, если он хорошо сдаст экзамены, он будет его брать с собой на охоту. А кучер Андрей, каждый раз, когда из Больших Лип он приезжал с Иваном Андреевичем в Шушун, рассказывал Глебушке об очарованиях тяги вальдшнепов и охоты на диких уток, когда плывешь в душегубке по речному рукаву или болотистому озеру, и о многих иных лесных волшебствах.

Жоржик примолк и затих, хотя и вообще он, как отец, не любил много говорить. Но он примолк окончательно и надолго. Все ему стали чужими, все говорили что-то такое, что ему вовсе не интересно было слышать. А то, что без слов поднялось в нем, не находило никакого соприкосновения ни в товарищах, ни во взрослых.

Он полюбил выходить в свободные минуты на вал, садиться на скамейку и долго слушать однообразный певучий шум мельницы. Мало-помалу шелест близких берез, дыхание ветра, зеленый цвет холма над рекой, вид широких просторов и далеких синих далей, сливались в одно нерасторжимое целое с певучим ровным шумом мельницы, и вся эта звуковая и красочная стройность успокоительно входила в детскую душу и приобщала ее снова к той привычной для нее гармонии, которая властительно и навсегда вошла в эту душу с первых дней в деревне.

Когда раз Жоржик сидел так один на валу, между тем как Глебушка разговаривал с Андреем в каретном сарае, Коля Перов был у кого-то из товарищей, а у Ивана Андреевича и Ирины Сергеевны были гости, вдруг Жоржик почувствовал, что кто-то положил ему тихонько руку на плечо. Он оглянулся и увидел, что это Игорь. Лицо Игоря было бледное и странное.

— Жоржик, — сказал он с какой-то торжественностью, — пойдем ко мне в комнату, я тебе там что-то скажу.

Жоржик встал и послушно пошел за Игорем. В последнее время он только с ним любил иногда говорить. Когда оба мальчика пришли в комнату к Игорю, Жоржика удивило, что перед иконкой Пресвятой Девы, которую когда-то дал Игорю офеня, стояла зажженная восковая свечка, и другая свечечка горела перед иконой Николая Чудотворца.

— Жоржик, милый, — сказал взволнованным голосом Игорь. — Давай помолимся вместе о той бедной, которую убили, и о том несчастном, который убил.

Слезы брызнули из глаз Игоря, пока он говорил эти слова. Жоржик устремился к нему, ухватился обеими ручонками за его шею, поцеловал брата и тоже заплакал.

Через мгновение они оба стояли на коленях перед двумя маленькими иконками, и, лепеча вполголоса спутанные молитвы, где в заученные, священно-верные, размерные слова проскользали неуверенно, но сердечно найденные, детски верные и тоже размерные слова, два эти ребенка, скованные одним душевным порывом, и сблизившиеся с этой минуты уже навсегда, творили земные поклоны и молились неведомому, пославшему их в мир, такой страшный и непонятный.

23

Экзамены прошли не только благополучно, но дети Гиреевых отвечали образцово. Иван Андреевич и Ирина Сергеевна весело готовились к лету в Больших Липах. На лето должны были приехать гостить три младшие сестры Ирины Сергеевны из Москвы и сестра Ивана Андреевича из Петербурга с тремя своими девочками. Ожидалось много веселых шумных забав.

Но, несмотря на эти веселые сборы, Игорь несколько раз принимался говорить с Жоржиком о том, что такое собственно есть Бог и какой собственно есть ад. Конечно, эти разговоры были очень детские, но какой разговор об этом вообще не есть детский? По странному противоречию Игорь, от природы добрый и отличавшийся обостренным чувством справедливости, не только не спотыкался своей детской мыслью об острия и несообразности библейских рассказов, и не только не отвращался от них своим чувством, но, принимая так называемый Закон Божий как истинное Божеское слово, изводил изо всего этого детскую философию необыкновенно жестокую. Ему грезился мир, созданный и управляемый существом, похожим на паука. Этот страшный паук, сильный и таинственный, сидит, как паук крестовик, в самой средине своей блестящей паутины, паутинки тянутся далеко, и где они кончаются, вырастают травы и деревья, и там живут люди, звери, и птицы, и рыбы в воде. А паук ждет, чтобы к нему прилетали мухи, и питается их кровью. И когда прилетает муха в паутину, это значит, что в мире кто-нибудь умирает, к кому-нибудь пришла смерть. Только Христос и Божья Матерь могут иногда умолить паука, и тогда он бывает добрый, а не злой. Но ни Христос, ни Дева Пресвятая не могут победить ад, и в аду все так, как это изображено в страшных и мрачных картинах, нарисованных на церковных стенах.

Жоржик был слишком еще мал, чтобы воспринимать такие мысли сколько-нибудь иначе, нежели как страшную неуютную сказку. Но и через годы, когда чудовищное видение развилось и закрепилось в уме Игоря до полного наваждения, Жоржик, говоря с братом, с этим милым и умным старшим братом, слушал его слова как бред маленького-малень-

кого младшего братишки. Своим цельным чувством, влюбленным в мир, воспринимая, как в свете солнца, в лепете ветра, в пеньи птиц, в спокойных голосах людей, в деловитом мельканьи жуков и бабочек развертывается бесконечная красивая картина, и еще не сознавая, но уже чувствуя, что за всем этим гармонически звучит великий ткацкий станок Миротворчества, цельным любящим своим чувством он сполна отбрасывал от себя такие мысли, как что-то ненужное и ложное и, когда к нему устремлялось слово «ад», он не слушал это злое слово, а начинал слушать, как шумит мельница или как щебечет, пролетая, ласточка; и щебетом ласточки он молился больше, чем те, которые произносят слова молитвы.

У него однако в эту первую весну в городе родилось свое собственное представление об аде.

У каждого мальчика в семье Гиреевых была своя любимая лошадь, своя любимая корова, любимая собака, любимая домашняя птица. У Жоржика была черненькая изящная любимица, маленькая курочка-хохлаточка. Он каждый день сам ее кормил, давая пригоршню зерен и кусочки белого хлеба. Раз в жаркий день, когда другие дети играли на дворе, их шум и беготня испугали черную курочку, и она забежала в сараюшку, где кололи обыкновенно дрова. Сараюшка была смежной с амбаром, а под полом амбара, под низом пола было подполье. Пустое пространство в пол-аршина вышины, сорное пыльное пустое пространство. Жоржик заприметил, как его курочка пометалась встревоженно по сараюшке, выбежала, снова испугалась детского крика и забежала под амбар в подполье. Она долго не выходила оттуда. А Жоржик знал, что в таких подпольях водятся иногда хорьки. Обеспокоенный за судьбу курочки-хохлаточки, он лег на землю, заполз в подполье, прополз до самого дальнего края, где было почти совсем темно. Наконец он увидал свою курочку. Она была жива и здорова и, закудахтав от его голоса, раскрыла крылья и, держа их плашмя, проворно выбежала из подполья. Он видел, как, мелькнув, она исчезла там далеко, на солнечной стороне. Жоржик пополз назад, но в подполье было так жарко и душно, он от движения так переворошил сор и столько наглотался пыли, что ему стало нехорошо. Он вдруг ослабел и не мог сразу продолжать свое пресмыкающееся ис-

хождение. И тут он почувствовал, что в подполье не только нельзя встать, но и хорошенько нельзя сесть. Ему показалось, что пол амбара давит его, как верно давит крышка гроба того, кто в гробу. С безгласным отчаяньем он подумал: — «А если я останусь здесь навсегда?» Солнечная полоса была недалеко и, как казалось ему, недостижима. Звонкие голоса играющих и смеющихся детей были где-то тут, совсем близко. Но эти голоса каждую секунду убегали далеко, и никто не видел, что он заполз в подполье, каждый был занят своей игрой. «Вот это ад», — подумал Жоржик, задыхаясь от пыли. И едва он это подумал, как силы к нему вернулись и он выбрался из подполья.

Жоржик никому не рассказал об этом.

24

Еще звонко пели жаворонки, славя солнце и птичью жизнь, когда Жоржик вернулся в Большие Липы. Весна еще далеко не все свои сказала тайны, не все их шепнула подходящему прозрачному июню. По ночам допевали свою ликующую песню соловьи, песню, перевитую брызгами алмазов и заплетающую в звуки лунный луч. Пели немолчно веселые лягушки, и трудно было сказать, чья песня лучше — соловья или лягушек. В одной больше напева, несоизмеримо более переливного искания красоты и любви, но в другой больше радости жизни, цельного непрерывающегося упоения жизнью, блаженного упоевания ей.

Утром, когда солнце еще не дошло до зенита, когда золотой его огненный шар восходит все выше и выше и безгласно говорит сердцу, что можно восходить и еще, и еще, и всегда, и без конца, Жоржик прислушивался с балкона к счастливому кудахтанью кур на дворе, к звонкому пенью петухов на дворе и на деревне, и ему было так хорошо, что на глаза выступали слезинки благодарности кому-то. Эти краски, эти звуки давали ощущение, что и сегодняшний день есть полная чаша. Хорошо, все было хорошо.

Бронзовки и шмели, пчелы и пестрые мухи, жужелицы и черные муравьи — никто не изменил, все были на местах, все было в порядке.

В это лето Жоржик особенно полюбил наблюдать ящериц. Их было много, коричнево-серых, черноглазых, в расщелинах деревянной садовой изгороди. Жоржик заметил, что ящерицы очень любят солнечный свет, а в туманные дни почти совсем не показываются, — это он знал уже давно, — а так как он сам был всего веселее и радостнее, когда солнце светило ярко, он почувствовал к ящерицам такую дружбу, точно между ним и ими был безмолвный договор. «Солнечные стрелки», звал он их, мысленно с ними разговаривая. Ему очень понравилась самому эта придуманная им кличка ящериц, и, смотря иногда на довольно быстро двигающуюся по циферблату минутную стрелку стенных часов, — предмет, тоже весьма его мысли желанный, — он вспоминал своих серых любимиц на заборе, а когда целыми часами, терпеливо сидя в траве, он смотрел на ящериц, давно к нему привыкших и не боявшихся его присутствия, быстро пробежавшая за добычей ящерка казалась ему действительно быстро промелькнувшей стрелкой солнечных часов, что там на небе.

Жоржик заметил, что еще в одном он и ящерицы друзья. Они любили музыку не меньше, чем он сам. Когда Ирина Сергеевна в солнечное утро перед обедом садилась за фортепьяно, Жоржик явственно видел, что ящерицы по-особенному повертывали изящные головки и внимательно слушали.

Жоржик заметил также, что одна ящерица, которую он по приметам отличал от других, и которая никогда не выползала из своего тайного домика в бессолнечные дни, неизменно показывалась на заборе, если в такой день раздавалась музыка. Эту ящерицу Жоржик любил больше всех других немых своих собеседниц.

Другая любимая забава Жоржика была — серый ослик. Приятель Ивана Андреевича, офицер Некрасов, хваставшийся, что он родственник знаменитого поэта, на самом же деле просто армейский весельчак, ничего общего ни с каким поэтом не имевший, раненый вернулся с полей сражения в город Шушун и привез Ивану Андреевичу в подарок ятаган, револьвер и турецкого ослика. Дети прозвали ослика Серка и по очереди катались на нем. Ничего, ослик катал их, не очень прилежно, но все же трусил рысцой. Но дети придума-

ли садиться на него сразу по двое. Ничего, ослик и двоих катал, соглашался, однако, в этом случае идти только шагом. И дети убедились, что нрав у Серки серьезный и бесперемен-чивый. Когда однажды по совету приятеля — деревенского мальчишки — они решили покататься на ослике втроем, ослик сесть позволил и немедленно же вскинул задом, лягнул, и все трое полетели наземь. Жоржик любил кататься на ослике не втроем и не вдвоем, а один. Он подкармливал Серку ломтями хлеба и кусками сахара, и ослик его слушался. А когда, закинув голову вверх, Серка разражался долгим стонущим криком, Жоржик всегда думал, что ослик тоскует о своей Турции, где живут такие злые люди.

Деревенские игры с двоюродными сестрами и юными тетушками были очень приятны. Но Жоржик так был увлечен своими бабочками и ящерицами, жуками и зверьками, что все эти девические лица нимало не затронули его воображение. Он любил один бродить часами в саду. Впрочем, какой-то разговор Ирины Сергеевны с той тетушкой Зиной, у которой была хорошенькая родинка на левой щеке, разговор, при котором он случайно присутствовал, заставил его предаваться время от времени бесплодным размышлениям о том, что такое любовь. И вот раз, опять-таки в комнате этой Зины, с которой снова говорила старшая сестра, он увидел том Тургенева, раскрытый на повести «Первая любовь». Он взял книгу и начал читать. Ирина Сергеевна тотчас запретила ему, сказав, что он там ничего не может понять. Этого было совершенно довольно. На другой день все ехали в гости к соседнему помещику в имение. Жоржик состроил пасмурное лицо, и сказал матери, что у него болит живот. Мать дала ему капель Иноземцева, препротивных, и сказала: «Ну, вот, сам виноват. Конечно, наелся неспелых ягод. Мы поедем веселиться, а тебе придется дома сидеть». Этого только и было нужно мальчику. Едва тройки и пары, позванивая колокольчиками и бубенцами, скрылись в солнечной дали, Жоржик похитил том Тургенева, пошел в липовый сад, улегся на этот самый, будто больной, совершенно благополучный животик на траву около любимого своего пня с черными муравьями, и, не отрываясь, от первой строки до последней прочел «Первую любовь». Повесть ему очень понравилась, особенно то место, где мальчик во имя любимой прыгает с высоты вниз.

«Но, — подумал Жоржик с недоумением, — мама права, очень все это непонятно, и я все-таки не знаю, что такое любовь».

Через несколько дней, прочитанная ли жемчужная сказка Тургенева оказала на него скрытое волшебное действие, или верхний, самый верхний листок, затрепетавшей на самой высокой липе, толкнул в детской душе творческую основу, или иволга волнующе пела, или ветер донес с близкого луга сладкий запах розовой кашки, но только мальчик написал первые свои стихи. Конечно, они были далеко не так хороши, как звучные его стихи, прославившиеся много лет спустя, но ведь и у самых красивых бабочек бывают пренеприятного вида гусеницы. Как бы то ни было, взяв карандаш и большой лист бумаги, Жоржик ушел в липовую рощицу и там среди зеленых стеблей написал стихи, но не о любви, а о зиме.

Вьюга воет, вьюга злится,
На домах иней сидит...

Тут мальчик почувствовал, что вторая строчка звучит неладно. Не вполне отдавая себе отчет, почему это так, он мысленно сказал себе: «На деревьях снег сидит. Так лучше». Но тотчас же ему очень не понравился сидящий снег. Он подумал, подумал и решил, что иней сидеть на домах может, хоть и это не очень хорошо, а сидящего снега не бывает. Со вздохом, повертев мысленно и так и сяк злополучную строчку с инеем, он оставил ее и быстро написал все стихотворение.

Вьюга воет, вьюга злится,
На домах иней сидит,
Ветер то по полю мчится,
То на улице свистит.

Сад уж весь завален снегом,
По колени вязну я,
Ветер то кругом просвищет,
То подует на меня.

Липы голые стоят все,
Их верхушки не шумят,
И теперь уже, как летом,
Пчелы вкруг их не летят.

Вьюга воет, вьюга злится,
На домах иней сидит,
Ветер то по полю мчится,
То на улице свистит.

Жоржик перечел стихи и во всей невинности своей души подумал, что его стихотворение похоже на стихи Пушкина. Стихов Пушкина он много уже читал, и его поэзию воспринимал совершенно так же, как очарования сада, леса и поля. Показавшееся ему сходство таким образом, не только не огорчило его, но обрадовало, как его обрадовало бы, если бы его собственные стихи были похожи или показались ему похожими на щебечущую ласточку или на изумрудную золотистую бронзовку. Но «на домах иней сидит» продолжало его мучить, и он решил, что хорошо бы написать еще стихотворение, быть может, оно будет лучше. Он подумал, что стихи Лермонтова такие же хорошие, как стихи Пушкина. «Ангел», и «Горные вершины», он любил, пожалуй, даже больше, чем какие-либо стихи, которые он знал. Разве еще «Вчера я растворил темницу воздушной пленницы моей» Туманского, он знал, что это Туманского. И еще вот стихи Никитина:

Ясно утро, тихо веет,
Теплый ветерок,
Луг как бархат зеленеет,
В зареве Восток.

Это, пожалуй, лучше-лучше всего. Жоржик улегся на траву, посмотрел минутку на синее небо, закрыл глаза и, лежа на спине около щекочущих лицо травинок, стал вспоминать, как давно, когда он еще не умел читать, в яркое весеннее утро, его мама усадила около себя Игоря, Глебушку и всех ближе к себе его, Жоржика, на лавочке в липовой беседке, недалеко от садового чана, где бывают иногда такие любопытные лягушки, и читала им эти стихи. «Луг как бархат зеленеет», — прочла она тогда, и душа его наполнилась нежностью до сладости. «Луг как бархат зеленеет», повторил он про себя, и ему почудилось, что он лежит на сказочном ковре-самолете из зеленого бархата и вот сейчас полетит.

Он открыл глаза. Высоко-высоко в синем небе, выше черных свистящих стрижей, бежало над ним белое облачко, а

другое поменьше точно нагоняло, точно спешило поскорей прильнуть к нему и слиться с передовым. «„В синем небе Бог“, — часто говорит Игорь, когда он не рассказывает страшные сказки о пауке», подумал Жоржик, и вспомнил стихи Лермонтова «И в небесах я вижу Бога». «Как хорошо было бы написать такие же стихи», — прошептал он. И он написал второе стихотворение.

Когда перед грозой ныряют утки,
И крякают так громко на пруду,
Когда у бочагов синеют незабудки,
И по дороге я один иду, —

Когда летают серые вороны,
И их быстрее носятся стрижи,
Когда звучат из Якиманны звоны,
И василек синеет у межи, —

Когда я вижу: лошадь спит у стога,
И тихо все, и тихо так гумно,
Тогда в душе моей светло, а не темно,
И в небесах я вижу Бога.

Жоржику не понравилось, что и незабудки у него синеют, и василек тоже синеет, они разные, и не очень он был уверен, что нужно, чтобы лошадь спала у стога. Почему бы не кошка? Нет, все-таки лучше лошадь. Во всяком случае больше всего Жоржику понравилась последняя строка. Это вышло совсем так, как у Лермонтова.

Жоржик поспешил отнести большой лист со стихами Ирине Сергеевне. Он нашел ее безошибочно в комнате веселой Зины с красивой родинкой. Однако же, когда он сообщил, что он написал два стихотворения и прочел их, его ждало горькое испытание. Не желая поощрять в мальчике авторское самолюбие, мать сказала небрежно-холодным голосом:

— Ты написал стихи. Что же тут особенного?

Жоржик так же мгновенно увял, как тогда, когда милый призрак чернобровой и голубоглазой Маши Колосовой мгновенно отодвинулся от него через слова ее брата в недостижимые дали. Зине стало жаль его.

— Зачем ты так говоришь, Ирина? — сказала она. — Мне очень нравятся твои стихи, Жоржик.

Жоржик с благодарностью посмотрел на нее, хотя чувствовал, что она просто его утешает. И чтобы выразить свою радостную признательность, он сказал ей:

— Тетя Зина, пойдем рвать малину. Много ее, я видел, очень много поспело.

И они пошли рвать малину: белую маме, а красную всем.

Душа мальчика легко открывалась, но закрывалась еще легче. И стихов он больше не писал, ни это лето, ни в следующее, ни долго спустя.

25

Ятаган, револьвер и ослик. Эти дары были живописны, особенно золотистое начертание из Корана сверху, вдоль лезвия, дугообразного лезвия ятагана. Но не только это привез с собой раненый офицер в усадьбу Большие Липы. Поручик Некрасов уехал на войну легкомысленным весельчаком. Картишки, интрижки, рюмашка — три уменьшительные слова довольно полно определяли его досуг до войны. Но, получивши огневое крещение и собственными глазами увидев, как велась эта война и что совершалось на фоне неслышанных жертв и проливаемой несчитанной крови, — живой и честный по природе, — он научился серьезности и о многом составил такие убеждения, что говорить о них мог только с испытанными друзьями. Разрозненные страницы жуткой книги войны привез с собой молодой офицер, книги, тогда еще не написанной красными буквами. В сущности, мало он рассказывал что-нибудь нового, сравнительно с тем, что уже разнесла по городам и деревням молва, у которой сто голосов и более. Но когда рассказывает человек, сам перенесший неслышанные трудности, встречавшийся со смертью и сохранивший от этих встреч руку на перевязи и продольный шрам от вражеского острия на лице, все рассказываемое становится живым.

Страницы героизма и безумия, смелости безоглядной и рассчетов преступно-опрометчивых, бросанье несчетными жертвами по мнимой необходимости. И в то время как при-

носились эти крайние жертвы, исполинское мошенничество тех, самое название которых стало означением грабежа и кражи. Тождество слов — интендант и вор. Сонмы солдат, совершающих трудные переходы и идущих в огонь к своему крестному мигу — в сапогах с картонными подошвами. Горные тропинки, где об острые камни и добросовестная обувь обобьется, и против каменных острий — картон. Солдатские ноги, покрытые ранами, кровь на ногах, прежде чем от вражеской пули и ядра брызнет кровь из головы или сердца. Война, начатая по верному зову справедливой мысли и чувства благородного, доведенная неслышанными жертвами и невиданным героизмом до победного конца, и, однако, не доведенная до конца. Под угрозой того лживого, будто передового народа, вся история которого есть грабительский захват чужих материков, того народа, который с Петра Великого и до наших дней всегда был врагом России, злым недругом всех великих ее исторических задач, — тряпичное поведение той Двуликой Воли, которая в течение полустолетия, во вторую половину XIX века, изломала естественное русло русской жизни, извратила основные черты русского характера.

Другие келейные разговоры, придушенные вести, привезенные родными из Петербурга и Москвы, принудительно замалчивавшиеся в печати подробности того, что делалось в Третьем отделении и в других частях зловещей правительственной машины, сливались с беседами о войне, и каждая беседа выдвигала острия.

Острия остались, и, когда через несколько лет Жоржик был подростком, а Игорь уже юношей, острия перешли к ним и переплетались с их юными рассуждениями.

Одна из двоюродных сестер Ирины Сергеевны, дочь того генерала, который переводил «Небожественную комедию» Красинского, была замужем за смелым бранным героем, генералом Радецким. Но был также у Ирины Сергеевны двоюродный брат, имя которого называлось в семье лишь иногда и таинственно. Это было имя смелого и дерзавшего иначе, противопоставившего против неограниченно сильного врага прямую волю решительных, на оружие ответивших неуклонным оружием. Имя его было Валериан Осинский.

Эти два имени, возникая в юных беседах двух братьев, многое предопределили в их чувствах и мыслях.

26

На околице Больших Гумен, в самом начале выгона, стояла малая-премалая избушка, почти вросшая в землю. С двумя крохотными оконцами, бывшими чуть не над самой землей, покосившаяся, но срубленная прочно и из хорошего дерева, она походила не то на какую-то фантастическую кубышку, не то на избушку на курьих ножках.

В нескольких саженях от нее, подальше от деревни, стояла кузница. А еще немного подальше, около дороги, ведущей в деревню Михалково, рос высокий развесистый дуб, один в чистом поле.

В малой избушке жила скрюченная старушка, бывшая крепостная Клеопатры Ильинишны, Варя Косая. Она, правда, была косая, но мужики шутили про нее, что один глаз у нее косой, а другой кривой. Это было несправедливо, и было бы правильнее сказать, что правый глаз ее был косой, а левый раскосый. Видела она, однако, на оба глаза, иногда хорошо, иногда же она подходила вплоть к человеку или предмету, желая рассмотреть его. Она была притом горбатая, хотя у нее не было никакого горба. У нее была сведенная спина. Когда Жоржик, любивший с ней разговаривать при встречах у пруда или на дворе, спросил ее однажды, с невинностью ребенка, всегда ли она была такая, она сказала, что не помнит, и сколько ей лет, не помнит. Маленькая, согнутая, косенькая, раскосенькая, к земле пригнутая, в годах потонувшая, эта старушка была однако очень живая и вертлявая. Если б столько живости да в другом женском лике, каждый на деревне сказал бы: «Бой-баба». Варя Косая пасла гусей и уток досматривала, да скотину выгоняла утром в поле, препоручая ее заботам пастуха и пастушонка, он же подпасок, а вечером провожая от околицы до пруда и в хлев буренушек, комолушек, пестравок и чернавок. Этим, собственно, и ограничивалась ее деятельность. Впрочем, она помогала иногда ключнице Устинье доить коров и сбивать сливочное масло. Но это бывало лишь иногда, не то она сидела долгими часами одна в своей избушке на курьих ножках, никто к ней никогда в ее приземистую кубышку не заходил. Жоржик по любопытству своему раза два приходил к ней, но у нее было очень душно. Несмотря на тяжелый дух, бывший в ее избуш-

ке, мальчик с любопытством слушал ее странный говор-причитание.

— А, барчонок, — говорила старушка, приближая к нему свое уродливое, но и странно привлекательное лицо с насмешливыми полуслепыми глазами, и точно ощупывая его левым глазом. — Опять к старухе в гости пришел. Вот спасибо, спасибо, родимый. Не побрезговал, барчонок. А я одна тут, миленький, сижу, одна, кот со мной только. Васька мошенник, мышелов лукавый. Нынче в подполье мышь изловил. Этак-то лучше. А то весной выдумал за утятами охотиться. Ну, я его посекла маленько и раз, и два не стал трогать утят. И цыплят не беспокоит. Вижу, хорошо — понимает науку. Так нет, миленький мой. Выдумал за птичками охотиться. Дурак, думаю, дурак, ты, мурлыка. Птичка, она летучая, не то, что мы с тобой, дурачок. Мы к земле-то ровно прикованы. Мы тяжелые, а птичка, легкая она птичка. Боже устроение. Птенчика он какого-то ухватил, из гнезда птенчик свалился. Ну, я опять его посекла и больно этот раз посекла. Птичку трогать, птенчика птичьего забижать. Ах ты такой-сякой! Поучила котика. Научила, отучила.

Птички, миленький мой, для того Богом созданы, чтобы душеньке нашей не скучно было в теле. Посмотрю я, послушаю, как под кровлей касатка щебечет, и не скучно мне. Знаю, что, как помру, так и полетит душа моя вольной птицей. Хорошая птица, белая, белее, чем гуси-лебеди, душа наша человеческая, как тело отслужит свою верную службу. Красивая птица, душа. Нет, миленький, не такая она, как тело. Не раскосая она, как я.

— Ты всех птиц любишь, Варя? — спросил мальчик.

— Что ты, что ты, родименький. Да как же это всех птиц любить. Птица домашняя — хорошая. И птички-певуньи тоже. А ястреба как полюбить? За клюв да за когти разве? Злой он, ястреб. И сова злая, и филин злой. Осенью по ночам я часто их слушаю, как они ухают. И ворона тоже нехорошая, цыплят таскает. И воробьи-мошенники на поле зерно клюют. Озорники. Так их ворами и прозвали. Нет, вот курочки да уточки на них сердце улыбается. И как ему, глядя на них, не радоваться? Ты взгляни-ка, как наседка деточек своих холит и защищает. Лучше любой матери. И ястреба не побоится. Чтобы цыплят бросить, ежели ястреб нападет или ворона,

да никогда. Этого никогда и в помине не бывало. Ну, а у людей-то бывает, да и частенько. И селезень, как уточку одну присмотрит, так уж от нее и не отступит. Ни он от нее, ни она от него. Любят друг друга, льнут один к другому. А люди-то, а люди-то. И подумать, так грех один.

— Эх, миленький. Ты уж верно со мной соскучился.

— Нет, Варя. Только душно очень. Я пойду.

— Поди, поди, милый, погуляй в садике. А я прясть буду. Сижу я тут и пряду. Может, на рубаху мою последнюю пригодится.

— Прощай, Варя.

— Прощай, родимый. Господь с тобой. Спасибо, что со старухой поговорил.

Но в сад Жоржик не пошел. В кузнице горел огонь. Кузнец Порфирий, коренастый рыжий детина, весь в веснушках, весело стучал молотом по наковальне. Он готовился перековать Джигита, вороного, что заменил Джина.

«Верно, мама поедет опять кататься», — подумал Жоржик и стал смотреть, как прыгает молот по наковальне и как весело прыгают алые в горне искры и пламени.

27

А рано утром, когда спят еще люди даже в деревне, Ирине Сергеевне снилось, что на высоком дубе, растущем близко от кузницы, где железо под молотом бывает и гибким, и красным, слетелись два ворона, два старые, два черные.

Один ворон был с Юга, а другой с Севера, и одному было сто лет, а другому двести, а может быть, каждому из них было больше, чем тысяча лет. Покачались они на дубе, покаркали. Посмотрели на мир кругом. Он спал, они не спали. И важно каркнули вороны, поняв, что не спят они, когда все спят.

Поняли, выпрямился клюв у каждого, и стали друг с другом говорить. Голосом ворона, ворон к ворону стал говорить о тайне и зрении ворона.

— Что же ты видел, с тех пор как в последний мы раз говорили, черный брат с Юга? — крепко сидя на ветке дуба, сказал один.

— Да что и видеть, черный брат с Севера? — каркнул другой, сидя на ветке дуба крепко. — Видел все то же. Бились люди и люди, много их билось, и биться всегда им нужно. Разве так вот, как мы, говорить они могут? Будут они биться всегда, как будто для себя, а больше для нас. Когда на земле будет два только человека, биться они будут. Тысячи сражались. На одной стороне говорили слова на одном языке, а на другой стороне и другим языком говорили слова те же. Брали неприступную твердыню, такую, что и взять ее нельзя. Взять нельзя, а взяли. Веселили именинника. Веселился именинник, и я с ним. Попил я, черный брат с Севера, теплой густой браги, красной крови человеческой. Ну, а ты что видел?

— Видел я, черный брат с Юга, то же, что ты. Люди и люди бьются и здесь. Только меньше мне досталось красной браги, чем тебе. Здесь ее больше пьет земля. Земля обиженная. Здесь ее больше изводят зря, в тюрьмах бледнеет она, высыхает. Тоже вот бывает, веревкой сдавят кому-нибудь шею, слишком, говорят, кровь у него горяча, останавливают. А как остановится, тело и в землю, кровь зря пропадает. Мало я попил красной браги.

— Ты мало, я много. У меня голова закружилась. Сюда прилетел, а мне чудится, черный брат с Севера, что кровь и сюда за мной гонится. Говорит, чтобы пил ее, а не зря бы она пропадала. А мне уж и пить эту брагу невмочь. Так что же, брат, полетай-ка туда, на Юг, оживись, а я здесь побуду.

— Полечу. Прощай, брат с Юга. Снова слетимся на красном празднике.

— Красное, красное любо нам, черным. Слетимся на красном пиру. Прощай.

Глянули ворон на ворона знающим глазом зоркого ворона, снялись с дуба, друг от друга ни на миг не отставая. И полетели. Черный брат с Севера на Юг, черный брат с Юга на Север.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

Из маленьких комочков земли слепляет ласточка свое гнездо. Цепким клейким соком скрепляет она эти комочки, придавая им правильную форму уютного круглого домика. Мягким веществом выстелит она нутро гнезда, чтобы хорошо там было жить птенцам. И выстроенное из весенней грязи, чистое оно, гнездо ласточки.

Под кровлей человеческого дома существует и живет ласточкино гнездо. Люди любят ее щебетанье, дремотный голос этой малой черно-белой летуньи. Не хотят они весны без ласточки, не считают без нее весну весной. И она по-своему любит людей. Почему бы иначе стала она так охотно и так упорно выбирать людские жилища основой и началом своего птичьего благополучия. Но, любя людей, мало думает ласточка о том, что делается в человеческом доме под ее круглым, прилегающим к кровле этого дома, домком. Там внизу, под птичьим щебетаньем, может громко биться человеческое сердце от великого беспримерного счастья, и вероятнее оно будет сжиматься от повторной безысходной тоски. Там внизу будут ссоры, упреки и крики, перемешанные с бессмертными словами ласки и любви, всегда первыми для хотящего сердца, хоть давно уже, много раз, когда-то кем-то кому-то сказанные. Там внизу безостановочно будут осуществляться изо дня в день тяготы жизни, перемежаясь редкими праздниками. А ласточка будет щебетать, и носиться, и грезить, и ра-

доваться, и радовать, и холить своих птенцов до тех пор, как вылетев из гнезда, разлетятся они на воле в разные стороны и, встречаясь, не будут узнавать друг друга. Ибо каждая птица сполна имеет свою особую отдельную долю.

Люди живут не так. У них есть чувства, соединяющие их в длительные союзы. Семья, род, племя, народ, человечество. Много есть слов с шатким содержанием, где внутренняя связь слаба, но налагаемые словом цепи крепки. И люди, конечно, не были бы людьми, если бы они не создавали таких слов и не пытались из столетия в столетие влить в них живую воду душевной содержательности, скрепляя эти слова, легко распадающиеся, своей и чужой кровью, героизмом и грязью — цепким и клейким составом, соединяющим в целое малые темные комочки.

Но, если ласточкино гнездо всегда чистое, хоть и выстроено из весенней грязи, можно ли то же самое сказать о гнездах человеческих?

Не было счастья и не было полной правды в доме Гиреевых. Правду любили в нем и, многое обходя молчанием, лишнего не спрашивали и никогда не лгали друг другу. Но все сердца жили отдельной жизнью, сердца смотрели врозь, мало узнавая друг друга при встрече. Как птицы. Но люди не птицы.

2

В погасающий майский вечер, когда красное солнце заходило за далекими поемными лугами и делало бесконечные излучины реки Ракитовки похожими на розоватые бронзовые и позлащенные зеркала, шестнадцатилетний юноша Георгий Гиреев, которому скоро должно было минуть семнадцать, сидел на скамейке на зеленом валу над рекой. Ему не хотелось идти в свой шушунский дом, он слушал жужжание майских жуков, летавших вокруг соседних берез, он напряженно слушал однообразный шум мельницы внизу, и всей душой отдавался совсем не юношескому делу — воспоминаниям.

Правда ли, однако, что воспоминание не есть свойство юношеской души? Пожалуй, нет. Юноши легко принимают

важные для них постановления. А решившись на что-нибудь, невольно отдаешь себе отчет во всем, что тебя касается, и тогда независимо от возраста начинаешь вспоминать. В сердце Георгия возникла нежная тайна, которую он едва начал сознавать, любовь к девушке на год старше его, Лидии Волгиной, и в соответствии с этим он сделал внутренно несколько постановлений касательно дальнейшего своего поведения. Он за истекшую зиму сделался также членом некоего тайного общества, задававшегося весьма объемлющими революционными задачами. Юноша предполагал, что тайны общества могут разоблачиться, что его в этом случае схватят и сошлют в Сибирь, что немножко жутко и очень интересно. Эта мысль, во всяком случае, настраивала его на серьезный лад. Как бы то ни было, он вспоминал все, что было в его прошлом, в этих двух совершенно и безвозвратно законченных полосах, детство в усадьбе Большие Липы и отрочество частью в городе Шушуне, частью в той же чарующей, вечно пленительной усадьбе с ее садом, прудом, рекой, лугами, лесами, полями и причудливыми болотами, где красивы белые лилии и неправдоподобно изумрудны зеленые лужайки с бездонными окнами.

Как бы далеко ни уходила мысль юноши в детские дни, он видел везде в этом счастливом детстве неоглядное изумрудное царство и себя счастливым обладателем невозмутимой гармонии, маленьким властелином несчетных оазисов, желанных дней, желанных ночей, только улыбчивых человеческих лиц, радостных угаданий, малых тайн, не только малых, и тайн больших, ибо вот и теперь, мысль, ставшая уже серьезною, принимала эти детские помыслы как часть своего миросозерцания. Как бы далеко ни уходила мысль юноши в отроческие дни, главным образом в те, которые были связаны с гимназией и с городом, он видел повсюду надрыв, разрыв, неверные чувства, недолжные поступки, насилие над своим умом, над своим ищущим мышлением, лохмотья умственной лжи старших, нравственное безобразие страстей, мутного потока, который подпольно сочился и плескался кругом и не раз захлестнул и его самого.

Когда он был совсем маленький, его звали Жоржик и Егорушка. Когда в первую пору своей гимназической жизни он подружился со своим старшим братом, Игорь во время

одной лесной прогулки сказал своему братишке не то в шутку, не то в серьез: «Ты думаешь, что ты Жоржик? Ты вовсе не Жоржик. И вовсе ты не Егорушка. Ты вырос из горя, как я, Игорь. И потому ты Горик. Я буду звать тебя Горик. А когда ты вырастешь большой, если ты захочешь идти по правильному пути, ты будешь Георгий, сражающий Дракона».

Жоржику тогда понравилась эта выдумка, и он сам стал звать себя Горик. Потом, кроме Игоря, так стал его звать и Глебушка, и другие братья, и многие из товарищей, часто его звали так и отец с матерью. Да, он действительно был Горик все эти последние пять-шесть лет, и мало этот спутанный, для гармонии потерявшийся Горик походил на светлого и спокойного, внутренно и внешне пригожего юного Георгия, не того Георгия, который копьем сражает Дракона, но все же Георгия, юношу с замыслами обширными и далеко идущими.

Воспоминания проходили в юной душе отрывочно, но по мере их возникновения в них устанавливался некий связующий порядок.

Однажды в ненастный осенний вечер, когда Жоржик-Горик сидел в своей комнатке за столом и прислушивался к доносившимся из залы возгласам гостей и обрывкам музыки, с ним произошло маленькое приключение, показавшееся ему необыкновенным, а с тем, что последовало потом, казавшееся ему теперь и предвещательным. Он готовил урок по латинскому языку на завтрашний день и тосковал чрезвычайно. Ему совсем не хотелось заучивать нестерпимо-скучные параграфы латинской грамматики. Его совсем не интересовали судьбы латинских глаголов, как не интересовали только что им побежденные рассуждения русской грамматики об изъявительном и сослагательном наклонении, как ни мало не интересовали еще остававшиеся для разрешения арифметические задачи о бессмысленном промене нескольких аршин, сукна на несколько фунтов или пудов муки. Горик бодрился, постигал глагольные формы и тосковал невыносимо. Вдруг под шкафом, стоявшим недалеко от его стола у стены, послышалось тончайшее пение, похожее на пение призрачной канарейки, верно такой маленькой и слабенькой, какие бывают только в фейных сказках. Горик с удивлением посмотрел на низ шкафа, откуда доносился этот тонкий поющий

голосок, и совершенно застыл от изумления, когда увидел, что из-под шкафа выползла белая мышь. Это она и пела, приподняв кверху свою мордочку. Прекратив на минутку пение, она вползла по спускавшейся почти до полу скатерти на стол, уселась около неподвижного Горика, закинула вверх свою мордочку и опять запела высоким тонким голоском свою причудливую песенку. Посидев так на столе и не испытывая перед Гориком — правда, соблюдавшим полную неподвижность, — никакого страха, белая мышь той же дорогой спустилась на пол и скрылась под шкаф.

Эта белая мышка неоднократно приходила в гости к Горику по вечерам. Она доверчиво сидела на столе среди его скучных учебных книг и тетрадок. Иногда пела, иногда не пела. Иногда лакомилась лакомствами, которые он ей приготовлял, иногда не прикасалась к ним. Несколько раз она простирала свое необъяснимое пристрастие к мальчику до того, что взбиралась по его левой руке на плечо и, сидя так, пела свою песенку фейной канарейки. Эта дружба мальчика с причудливым зверком кончилась трагически. Однажды, когда Горик торопливо переписывал для Ирины Сергеевны роль из какой-то пьесы Островского для любительского спектакля, а белая мышка сидела около него на столе, Горик, захваченный драматическим местом пьесы, сделал резкое движение левой рукой и локтем убил певчую мышку, забыв, что она тут рядом.

Это было большое горе. И долго после этого никакого больше не было мальчику благого знака из фейного царства.

3

Другой осенний вечер из тех далеких дней, когда Горику было одиннадцать-двенадцать лет. За несколько недель перед этим родился пятый его братишка, Всева, Всеволод. Мальчик с синими глазами, очень похожий лицом на Глебушку, несколько похожий на мать, совсем непохожий на отца.

Было уже довольно поздно. В доме все спали, но Горику не спалось, он долго читал роман Майн Рида, в котором описывались дебри загадочной Мексики, и ему хотелось пить.

Он тихонько вышел со свечой в столовую. За темным окном шумела и плакала непогода. Окно, на которое он смотрел, содрогалось от налетавшего ветра, и по стеклам струились косвенные полосы дождевой воды. Ветер выл и в трубе долгим перепевным звуком, непохожим ни на какие привычные звуки, возникающие при дневном свете. О чем поет ночной осенний ветер? Почему его голос сливается в такую давящую печаль, в одно тоскующее неразъединимое целое с ночным часом, с душевной усталостью неспящего, с дрожащими косвенными тенями, бросаемыми на стену мигающей свечой, с текущими, без конца текущими, сползающими вниз по стеклу дождевыми струями и каплями, с этим послышавшимся в темноте детским плачем, беспомощным детским голосом, не умеющим сказать, что ему нужно, этому существу, неизвестно зачем пришедшему в мир, неизвестно откуда, неизвестно чьей волей?

Долго плакал ребенок, долго причитала старая няня Анфиса, заменившая в доме Гиреевых Ненилу, но бывшая лишь тусклой тенью того содержательного, красивого и сказочного, что воплощалось в Нениле. Долго стоял в ночной рубашонке, с мигающею свечкой в руках дрогнущий Горик, захваченный темной чарой и бессильный ее стряхнуть. Ему казалось, что целый мир плакал и жаловался в звуках детского плача и осеннего ночного дождя, наметаемого ноющим ветром.

Малое звено выпало из великой созвенной цепи, где все было стройно и скреплено. Вне жемчужного ожерелья, в ночной оброшенности, в мировом сиротстве, была отроческая душа, через книги ушедшая от стройности природы в растерзанный мир человеческих страстей, и плач ребенка вещал о трудности жить.

4

Почему способный мальчик, бывший при начале своего учения первым среди товарищей, быстро стал посредственным учеником, плохим учеником, последним? То, чему его учили, было ему неинтересно, и учителя были люди невидящие, и учили они тому, что было мало нужно или вовсе не

нужно для истинно-творческой мысли, и отец был почти всегда далеко, в деревне, а мать, поглощенная городской жизнью, ее развлечениями и делами, стала рассеянной с детьми, и попадавшиеся под руку книги были гораздо любопытнее, чем то, чему учили в гимназии.

В доме было много книг. И книги можно было доставать в библиотеке. И книги можно было брать у старших товарищей. Горик потонул в море прочитываемых, поглощаемых страниц. Первой его страстью были романы Майн Рида, Жюль Верна, Диккенса, Дюма. Лажечников и Гоголь, Марлинский и Лермонтов, Пушкин и безымянные повествователи старых журналов, французские бульварные романы — мальчик читал все, что только ему попадалось, читал жадно, беспорядочно, тайком, по ночам. Это было беспрерывное опьянение, нуждающееся все в новых и новых возбуждениях. Мальчик привык жить всецело в мире вымышленных событий и лиц, и только они были для него убедительными и настоящими. Как раб вина, когда он пьет и кончает бутылку, старается, зная себя по опыту, чтобы другая бутылка уже была наготове, Горик приобрел привычку иметь под подушкой наготове две-три новые, еще не читанные, книги, и, кончая одну, через несколько минут он уже потопал в другой.

Естественно, что «Три мушкетера» безоговорочно победили арифметику и разрушили цитадель задачников и грамматик, а «Молодость Генриха Четвертого» потопила все остальные нелюбезные и неприятные науки.

Спальня Ирины Сергеевны была отделена от комнатки Горика лишь нетолстою стеной. Когда, лежа в постели и при тусклом свете огарка блуждая по блестящим долинам любвей, дуэлей, измен и войн, мальчик слишком шумно перевертывал страницу, Ирина Сергеевна, услышав этот звук, произносила усталым голосом: «Горик! Жоржик! Спать пора, три часа уж». Но далее такого недействительного уговора она никогда не шла. До того ли ей было. Она сама лежала в своей постели и при свете свечи в свою очередь тоже целиком утопала в романе Жорж санд, Флобера или Шпильгагена, может быть, в новой повести Тургенева, которого она очень любила, но уж, конечно, не в романах Достоевского или Толстого, которые она всем сердцем ненавидела.

Услышав предостережение, сказанное рассеянным добрым голосом, мальчик иногда быстро гасил свечку и притворялся крепко спящим, да скоро и засыпал тревожным сном, полным сновидений. Чаще однако он продолжал чтение захватившего его романа, но перевертывал прочитанные страницы с большей осторожностью, чтоб они не шуршали.

Несмотря на то, что Горик плохо учился, он не перестал быть любимцем матери. Когда возникали неприятные разговоры с Иваном Андреевичем, чрезвычайно огорчавшимся школьными неудачами детей, или с гимназическим начальством, Ирина Сергеевна всегда старалась обелить и умягчить детскую вину. Между нею и Гориком установилась даже особая дружба. Если Иван Андреевич не слишком сочувствовал сценическим успехам Ирины Сергеевны, справедливо находя, что это отвлекает ее от семьи и, кроме того, умножает расходы, которые становились все обременительней и непосильнее для него, Горик, мало постигая это, всегда восхищался, когда видел мать на сцене он нередко переписывал для нее, тщательным крупным почерком, какую-нибудь роль из драмы Островского, Писемского или Потехина, охотно исполнял обязанности домашнего суфлера, когда она готовилась к любительскому спектаклю, и даже сам на семейном вечере, на который были приглашены все наилучшие граждане города Шушуна, с успехом сыграл главную роль в водевиле «Виц-мундир». Необыкновенное удовольствие, граничившее с самым сладким счастьем, доставило ему одно мгновение, когда, небрежно развалясь в кресле, перед ослепительной самодельной рампой, и пристально смотря на сидевших рядом в переднем ряду товарища прокурора и жену городского головы, он, разводя руками, с апломбом произнес: «Как можно в моем возрасте и в нашем положении не быть женатым!»

Совсем не удивительно было, что в третьем классе Горик закочевал на второй год. Это уж был совсем скандал. Последний ученик и оставлен на второй год, признан даже недостойным держать экзамены. Не огорчение отца, не запоздалые и совсем неосновательные упреки матери, не насмешки и сожаления товарищей, не суровые слова директора и классного наставника были при этом злополучии решающим мо-

ментом и произвели в душе мальчика целый переворот. Нет. Это было некоторое впечатление чисто геометрического свойства. Когда после летней вакации снова начались занятия, товарищи Горика очутились в четвертом классе, в другой комнате, он постиг, что они передвинулись куда-то вперед, и второклассники, к которым он относился как третьеклассник несколько свысока, тоже передвинулись и стали говорить с ним не только наравне, но иногда и пренебрежительно. Все куда-то передвинулись, осуществили какой-то узор, а он сидел на том же самом месте, он был в скучной и обидной неподвижности. Как бы ни были скучны уроки, мальчик решил учиться и вскорости стал одним из довольно хороших учеников, но гимназию уже до самого окончания он не сможет полюбить, это он знал. Все лучшие часы по-прежнему он отдавал чтению разных книг, но мало-помалу он высвободился из мути бульварных романов, увлекся творчеством Тургенева, таким стройным вообще, и таким исключительно-желанным для каждого, кто интимно знает усадьбу и все ее тонкие очарования.

Скоро на смену словесной музыки Тургенева и живописи ярких страниц Аксакова пришли живописания из народного быта и блистающий поток поэтов русских, немецких, французских и английских.

5

В Шушунскую гимназию приехал новый учитель истории и географии. Он был родом из Вологды, из бедной семьи, одет очень скромно, говорил на «о», и хоть в Шушуне тоже все окают, вологодское произношение было для шушунских гимназистов очень забавным. Очень забавным показался им и сам этот учитель Алексей Леонтьевич Полозовский, черный, коренастый, маленький, с козлиной бородкой, с монгольскими косо расставленными глазками.

Когда он должен был прийти во второй раз в классную комнату, среди ожидавших его безжалостных подростков царило шаловливое ироническое настроение. Когда раздался первый звонок, возвещавший, что ученики должны быть на местах, Горик, вспомнив имя одного из исторических героев

предстоявшего урока, возгласил громким голосом: «Пипин Короткий, потряси своей бородкой». Весь класс разразился хохотом, а один из тех товарищей Горика, которые преклонялись перед ним за его начитанность и называли его то Краснокожий, то Литератор, то Рыжий Дьявол, быстро подбежал к классной доске, схватил мел и, прежде чем успел прозвучать второй звонок, возвещающий приход учителя, успел написать на доске крупными буквами:

Пипин Короткий,
Потряси своей бородкой.

Когда Полозовский вошел в класс и сел на кафедру, он не мог не почувствовать, что в классе что-то происходит. Одни ученики во все глаза смотрели на учителя и пересмеивались, другие, не отрываясь, смотрели на классную доску. Учитель подумал-подумал, сошел с кафедры, подошел к доске, и, опершись спиной о переднюю парту, посмотрел на доску. Воцарилась долгая минута напряженного молчания. Прошла еще другая минута. Горику показалось, что прошел целый час, мучительный. Он видел, как край щеки Полозовского покраснел, как вся видимая часть его лица залилась густой красной краской. У Горика выступили на глазах слезы, так ему было стыдно и так ему вдруг стало жаль этого, ничем еще его не обидевшего, человека, который явно переживал волнение и не знал, как ему поступить. Учитель вернулся наконец на кафедру, посмотрел в журнал, и, не поднимая глаз на учеников, сказал: «Георгий Гиреев, подойдите к доске, сотрите с нее то, что там написано, и скажите, что вы знаете о Карле Великом». Горик исполнил то, что ему было указано. Учитель поставил ему четверку, сказал: «Садитесь». Долго молчал и потом изменившимся голосом сказал: «Сегодня я больше никого не буду спрашивать. Я расскажу вам подробно, какой человек был Карл Великий». И в течении всего остававшегося времени до звонка он подробно говорил, без внешнего красноречия, но с горячей внутренней силой, — он нарисовал яркую картину Средневековья, рыцарства, изобразил, как много в те далекие темные времена могла сделать отдельная сильная личность и чего может достигать челове-

ческая воля, задаваясь определенной, раз поставленной себе целью.

С того урока Полозовский стал одним из самых любимых учениками преподавателей, а Горик стал к нему относиться с настоящим преклонением, и, попросив у него однажды какую-то книгу для чтения, получил от учителя приглашение бывать у него в доме. Этот некрасивый вологжанин, так забавно говоривший на о, стал настоящим учителем Горика. Он дал ему прочесть книги Решетникова, Левитова, Глеба Успенского, эти незабываемые изображения народной жизни, он заставил его позднее прочесть целиком сочинения Белинского, некоторых Славянофилов, ряд исторических ценных работ. Когда Горик, в полночь, лежа в своей мягкой постели, с жадным наслаждением читал какую-нибудь новую книгу, ему неуютно было слушать, как гудят при смене рабочих фабричные гудки. Полозовский красноречиво изъяснил мальчику, почему так неуютны ночью фабричные гудки, почему в них мало радости и днем.

6

Другое большое влияние, которое ласково окружило проснувшуюся к правильному мышлению и благим чувствам, юную душу, исходило из вечно живой души Ирины Сергеевны. Раз, когда Горику было лет четырнадцать или около того, он катался с Колей Перовым на коньках, они смеялись и шутили, разгоряченные быстрым бегом, и гадали о том, кто кем будет в жизни. «Я буду доктором», — сказал Коля Перов. Горику это показалось прозаическим. Он выписал коньками узорный вензель на льду, ничего не ответил на вопрос товарища: «А ты?» Смеясь, измерил весь каток, обгоняя Перова, подкатился на скользящих коньках к самому краю катка, где начиналась полоса снега, наклонился к сугробу и пальцем начертил на снегу: «Писатель». Он посмотрел на это слово, возникшее на снежинках, переливавшихся под солнцем голубыми и зелеными маленькими огоньками, и слово это показалось ему чрезвычайно красивым. Коля Перов нагнал его наконец, посмотрел, что такое написал там на снегу Горик, и пренебрежительно усмехнулся.

— Ты думаешь, это так просто? — спросил он.

— Нет, не думаю, — ответил весело Горик. — А разве ты сразу научился кататься на коньках?

— Ну, это не то. Нужно иметь талант. У тебя его нет.

— Вот это мы увидим, — сказал Горик, снова убегая на коньках от товарища, и весело думая про себя: «Снежинки падают, вода замерзает, снежинка к снежинке, целые сугробы. Капля была с каплей, вода замерзла, лед стал гладкий и лед стал звонкий. А слова тоже бывают звонкие и переливаются, как снежинки, огоньками. А я найду такие слова, чтобы слово к слову шло и пело, и это будут стихи. Это будут стихи, это будут стихи, — задорно и весело повторял про себя Горик. И коньки звонко скользили по льду.

— Мама, — говорил на другой день Горик Ирине Сергеевне. — Скажи мне, какая литература самая богатая в Европе?

— Немецкая, — сказала Ирина Сергеевна.

Почему она так сказала, несмотря на свое пристрастие к французскому языку и к французской литературе? Кажется, она была тогда в полосе увлечения Шпильгагеном и заодно вспомнила Гете и Гейне, к которым была неравнодушна всю жизнь. Как бы то ни было, Горик ей поверил и немедленно принял решение. В гимназии он изучал французский язык можно было произвольно выбрать французский или немецкий, и таким образом, по гимназическому курсу те его товарищи, которые выбрали немецкий, уже три года им занимались. Он достал начальную грамматику немецкого языка Кейзера, достал начальную хрестоматию, прошел грамматику тайком ото всех в три месяца, заучил наизусть весь приложенный к хрестоматии словарь в несколько сот слов и, явившись к учителю немецкого языка, добрейшему прибалтийскому немцу Петру Карловичу Эйзерлингу, попросил позволения учиться немецкому языку вместе со своими сверстниками. Петр Карлович Эйзерлинг, величественно улыбнувшись, сказал, что это невозможно, так как он пропустил уже целых три года. Горик сообщил, что он сам занимался немецким языком, и попросил проэкзаменовать его. Через пять минут удивленный и растроганный Эйзерлинг с уважительными словами протянул мальчику свою руку и принял его в число своих учеников.

Конечно, Горик еще не Бог весть каких успехов достиг в тех изучениях, которые он сам себе предназначил, но он уже прочел, пока еще в переводе, «Фауста» Гете и стихи Гейне, частью уже читал эти произведения и в подлиннике, как с Ириной Сергеевной он читал в подлиннике стихи Виктора Гюго, Мюссэ и Сюлли Прюдома.

Два произведения всемирно славные, прочитанные Гориком в возрасте пятнадцати лет, произвели на него исключительно глубокое впечатление «Преступление и наказание» Достоевского и «Фауст» Гете. Конечно, «Гамлет» и в особенности «Макбет» Шекспира, а также «Каин» Байрона не менее остро пронзили юношескую душу. Но впечатление от романа Достоевского и философически-мистической драмы Гете первенствовали в этой юной поэтической душе. Это было не впечатление от сильного художественного произведения, это было ошеломляющее, всецело сковывающее волю и лунатически толкающее ее к чему-то абсолютно новому, жуткое и завлекательное откровение.

Как ни мало общего в двух этих произведениях по канве, по узору замысла, в них есть одна общая основная черта, увлекающая юное чувство: они оба основаны на дерзновении и на посягновении. Перейти установленную черту, и тем самым войти в новый мир, в мир запретный, в мир недозволенного и нового. Голос мыслящего, смелого «я», зовущий не останавливаться ни перед чем, говорящий, что договор с Дьяволом и самое страшное преступление, которого инстинктивно пугается и не хочет человеческое чувство, суть дверь в новый мир, в твое же собственное «я», но верховно владеющее всем внешним и наделенное новыми глазами, видящими то, чего в обычном существовании не видишь.

Когда Горик прочел «Преступление и наказание», в нем не только произошел душевный переворот. Это был как бы внешний толчок, изменивший всю его телесную основу. В течении нескольких недель он почти совсем не спал. Ночная тишина с отсутствием человеческих лиц и всех шумов дневной жизни, ночная тишина со своими бесконечными бесчисленными звездами и неуловимыми шорохами, неопределимыми тайнами, молча проходящими через бодрствующую душу, но ускользающими от определений размышляющего ума, завладевала юношей. Побуждаемый неизъясни-

мой тревогой, Горик проникал через чердак на крышу и часами сидел на ночной крыше, неотступно смотря на узоры звезд и медленное течение небесных светил, неизбежно меняющих свое положение. Почему он делал это из ночи в ночь? Он не мог бы объяснить это сам. Но в этом была какая-то необходимость категорическая. Он необходимо должен был также без конца, без конца повторять про себя, — как во время службы в церкви без конца повторяет причетник слова «Господи помилуй» — четыре магические строчки Пушкина:

Но оба с крыльями и с пламенным мечом.
И стерегут. И мстят мне оба.
И оба говорят мне мертвым языком,
О тайнах вечности и гроба.

Конечно, убийство само по себе есть наибольший ужас, какой может узнать человеческая душа. Это Горик чувствовал четко. Ничто в мире не было более противно его кроткому сердцу и стройной мысли, с детства привыкшей ваять музыкально в одно гармоническое целое природу, нежные чувства и напевно звучащие слова. Когда он встречал в какой-нибудь книге слова «убийца» и «убийство», эти слова представлялись ему до зрительной иллюзии особо черного цвета, как слова «женщина» и «женский» представлялись пронизанными нежным золотистым отсветом, наподобие тех золотых бубенчиков, что цветут так душисто около затонов. Но наибольший ужас, как нечто по существу своему наибольшее, наиболее удаленное от дневного ясного сознания, не есть ли тем самым наиболее верный путь раскрыть вечные загадки о Боге, о душе, о загробной жизни, о воскресении, о свободе воли, о правде. Конечно, поступок Раскольникова чудовищен. Но, быть может, самое чудовищное в его преступлении это то, что, решившись преступить роковую черту, он преступил ее так малодушно и невыдержанно, лишая тем самым страшную тайну возможности раскрыться и целиком разоблачить себя в его душе. Его преступление чудовищно и отвратительно еще потому, что он смешал две цели в одно, убийство, в котором есть дьяволическая тайна и сатанинское откровение, и грабеж, который есть дешевая

общедоступная низость, лишенная какого-либо внутреннего содержания. Раскольников прав, когда, говоря с Соней, он утверждает, что, кто крепок и силен умом и духом, тот над людьми и властелин, кто много посмеет, тот и прав, — что нужно только осмелиться, — и нет, не осмелиться, а найти в недрах своей души уже существующую, давнишнюю, готовую, исконную смелость, не останавливающуюся ни перед чем, если мысль велит. Но, говоря с мучением: «Я просто убил, для себя убил, для себя одного», он потому и восклицает это с мучением, что слишком поздно понял основание своего поступка, которое должно было быть сознано свершающим до свершения, и только в таком случае, в силу цельности поступка, этот поступок приобретал колдовскую силу и мог шепнуть душе заветное слово своей черной тайны, отмыкающее, как волшебный ключ, тяжелую дверь, ведущую в жуткое, но и богатое страшными единственными талисманами подземелье.

«Он не сумел, я сумел бы, я сумею, — говорил себе в эти ночные часы раненный дьявольским острием юный ум. — Посягнуть, преступить черту, опрокинуть все обычное», — повторяли горячие губы. Но именно то, что, как лунатик, Горик много ночей подряд взбирался на ночную крышу, именно этот на вид полусумасшедший поступок был правильным инстинктом самосохранения души, которую притягивала пропасть. Звездной росы, остужающей бредовое блуждание, искала разгоряченная мысль. В мерности звездных сочетаний и стройного передвижения планет бессознательно возвращала себя душа на алмазные оси, с которых на минуту соскользнула.

Звезды победили. Нет, он не хочет приобрести разгадку преступлением. Но преступить то, что должно преступить, но посягнуть, но отдаться дерзновению, но опрокинуть все обычное, но увидеть мир новыми глазами, о, конечно, он это сумеет сделать. Час придет.

7

Если роман Достоевского о преступлении поразил, но не удовлетворил юношеский ум, усмотревший в «Преступлении и наказании» неправильную постановку вопроса, двойс-

твенный характер художественной задачи, трагедия Шекспира «Макбет» явила зловещую чару преступления во всей ее демонической цельности. Не «Гамлет», с его двойственностью, а именно «Макбет» пленил юношу и показал ему трагический лик преступления в его внутреннем таинстве, в его блесках преисподней, в связной цельности задуманного, совершенного, неизбежно влекущего злое к умножению зла, роковым образом приводящего из дьявольских глубин к посягнувшему кару, но кару, встреченную гордым гордо. Роман Достоевского только разбрызгивал капли яда в юной душе и едва не вверг ее в безумие. Трагедия Шекспира, показав страшное, но в жуткости влекущее чудовище, во всем его лике полностью, этой своей художественной цельностью исцелила душевную рану, загладила душевный рубец, и коренным образом утвердила в юном сознании полный разбег двух дорог, извечно присужденных человеку и определяемых простыми словами: Свет и Тьма.

Но книгой, оказавшей решающее влияние на Горика, ставшей надолго его заветным талисманом, был «Фауст» Гете. Когда он читал первые сцены этой философской сказки, ему показалось, что вот только теперь он стал жить, он раньше всегда чего-то ждал, он раньше всегда, читая с жадной беспорядочностью, искал какого-то решающего слова, — наконец оно пришло. Захваченный поэтическим впечатлением, он воспринимал читаемое не как сказку, а как летопись. В комнате горел камин. Пламя было яркое. Гребни и острия огня казались ему живыми. Приобрести власть надо всем? Приобрести сразу, одним росчерком пера, власть превращения, власть перевоплощения? Но чего же можно желать еще больше? Он оторвался на минутку от чаровнической книги, подошел к огню, и, смотря на пляску пламени, томился неудержимым желанием немедленно написать договор с Дьяволом. Он засучил рукав и стал раздумывать, в каком месте лучше разрезать руку, чтобы написать роковые слова своей кровью.

Его удержал от этого поступка неожиданный приход Игоря, которому нужно было взять какую-то книгу. Когда Игорь через минуту ушел, Горику захотелось не писать кровью договор с Дьяволом, а читать «Фауста» дальше. Когда же он прочел драму целиком, он нашел своему поэтическому

переживанию совсем иной исход. Он отдался мечтам и мыслям, и начал писать стихи.

Обнять всю полноту знания и чувства. Охватить своей видящею мыслью весь мир, находящийся в беспрерывном творчестве. Не знать преград своему хотенью. Проникать все дальше в тайны жизни и вещества. Что может быть желаннее? Человеческая воля может достигать всего.

Старинное сказание о напряженно мыслящем и горячо хотящем волшебнике, опрокинувшем все рамки условного, и, несмотря на падения, вопреки заблуждениям, мыслью своей расшифровывающем каждое марево и достигающем задуманного, заворожило юную душу и повело ее по сложным внутренним путям.

Immer hoher mub ich steigen,
Immer weiter mub ich schaun.

Эти две строки Гете загорелись как два самоцвета в юной мысли. Горик, прочтя их, тотчас же захотел перевести их на русский язык. Подчиняясь ритму подлинника, он сказал про себя:

Должен я всходить все выше,
Должен я смотреть все дальше.

Но верный инстинкт подсказал ему, что, если немного видоизменить размер, выразительность подлинника может быть лучше передана. И он записал:

Все выше я должен всходить,
Все дальше я должен смотреть.

8

Запечатленный родник раскрылся. Стихи пришли. Откуда приходят напевные строки? Из чего ткутся стихи? Как возникает эта жажда и способность выразить чувство и мысль в коротких строках, расцвеченных рифмой? Эти строки живут и переливаются, а звучащие их окончания так же

впадают одно в другое с легким звоном и утоленьем для слуха, как малые воды ручейка с тихим звоном журчат при каждом изменении малого русла, при каждой новой излучине.

Отчего ты поешь и должна петь, новая творческая душа? Оттого ли что старшие братья, жившие прежде, многие годы тому назад, столетия, тысячелетия тому назад, обладали победительным голосом и так звонко пропели свою любовь, паденье и мудрость, что в пещерах веков должно рождаться эхо, и судьба велела новой творческой душе быть звонким откликом того, что, живя, жило воистину, тех, кто, любя, любил любящей любовью, люблением одевая любимую в цветущие звездные гроздья времени и вечности?

Или ты поешь, как кузнечик, оттого, что кругом все зелено, а солнце сверху греет и пьянит, солнце светит и жжет, создавая хмель в живом и веля ему славить себя, ибо не только мировая музыка, сладкозвучно гремящая в сонатах и симфониях, не только переплески океанов, обтекающих землю, не только зеленовейные шумы тысячеверстных лесов, поют гимн солнцу, но и малая песня кузнечика есть солнечный псалом, звучавший на земле раньше, чем хрустальные голоса птиц?

Или ты поешь оттого, что мать твоя, тебя породившая, всей душой своей была песней, была любимой и певучей, когда в недрах существа ее возникла новая грядущая жизнь?

Или эти вкрадчивые строки, певучими окончаниями проникающие в душу, надышаны цветами и ветром, навеяны тенью от облака, которое быстро бежало по синей крутизне, спеша к грозе, нашептаны девушкой, которая полюбила, но ни за что не хочет сказать, что полюбила, нацелованы женщиной, которая хотела обнять, и обняла, и опьянила, и зажглась, и зажгла, и сделала пламя певучим, посветив немного светом души на телесную страсть?

Горик знал страсть. Он узнал ее непомерно рано, тринадцати с половиной лет, и эта страсть пришла в самом дикарском первобытном лике. Но в этот майский вечер, отдавшись умственному огляду пережитого, он лишь торопливо и неохотно скользнул мыслью по тому смутному и пламенному, в чем были сплетенные руки и губы прижавшиеся к губам. Женские тени. Одна, другая, третья, несколько. Красная занавеска, опущенные ресницы, белое тело, пронзительная

сладость. Он это осудил. Этого больше не будет. Он любит впервые Лидию.

И полупогасшее небо майского вечера говорило о радости первой любви.

9

В городе Шушуне, как верно во всех провинциальных городах России семидесятых и восьмидесятых годов прошлого столетия, был некий кружок саморазвития. Членами его была сборная публика. Гимназисты старших классов, семинаристы, кое-кто из купеческих сынков, предназначенных родителями не к образованию, а к ведению торгового дела, мелкие служащие из земства, и некоторый причудливый мещанин, называвший себя Диогеном. Этот Диоген отличался от эллинского тезки тем, что был чрезвычайно тщеславен, и в ходе событий, когда мирные собрания для разговоров о судьбах России и чтения новых повестей из народного быта и вновь прибывавших в шушунское затишье подпольных изданий — «Земли и воли», «Народной воли» и подобных — сменились обысками и допросами в жандармском управлении, выказал себя отнюдь не стойким. Общее, в конце концов, с Диогеном греческим он имел лишь одно: у него была своя бочка, в которой он жил. То есть не то, что он в ней жил, но в отцовском саду он положил на бок пустую бочку, начертал внутри нее мелом несколько цитат из «Истории философии» Льюиса, и в жаркие летние дни, когда в комнатах было душно, он лежал в этой бочке и читал в ней эту самую «Историю философии», которую уже не первый год пытался постичь, но ни постичь, ни одолеть не мог никак. Дойдя до седьмого пота над каким-нибудь Эмпедоклом или Анаксименом, он выползал из бочки и усаживался на лавочке под вишневыми деревьями. Там было прохладнее. Легче мыслить. Но, если в воротах раскрывалась калитка и он видел, что кто-нибудь идет к нему в гости, он немедленно залезал в свою бочку и принимал пришедшего с философским достоинством. Внешний вид шушунского Диогена был несколько примечателен. У него было красивое лицо в стиле иконописи, длинные ру-

сые волосы, спадавшие правильными волнами ниже плеч, ходил он в весенние и летние дни босой, в синей рубахе, в синих штанах, и препоясывал себя цепью. Кроме философии и тех книг, которые ему давали развиватели из гимназистов и главный развиватель, смотритель земской больницы Причетников, он весьма любил «Четьи-Минеи».

Властолюбивый и заносчивый сын городского головы, Николай Евстигнеев, друг и приятель Георгия Гиреева, напрасно пытавшегося привить кружку саморазвития вкус к поэзии, любил говорить об истории Французской революции, настаивал на том, что все в России уже готово для Великой русской революции, и эффектно читал отрывки из Шиллера и Гюго, пленяя развивающихся гимназисток и большими голубыми глазами, и большим умением сразить собеседника неожиданным метким доводом.

Скромнее, но серьезнее его был Николай Перов, настаивавший на необходимости изучать естественные науки, и доказывавший, что без анатомии и физиологии никак нельзя понять тайны человеческого духа и установить правильное развитие ума, а без правильного развития отдельной личности невозможно установление правильных и справедливых основ общества.

Сын содержателя мрачной и огромной гостиницы, Павел Резнин, с детства видевший в принадлежащем отцу пятиэтажном «Ливерпуле» постоянные картины пьянства и разврата, развивал мысль о необходимости того, чтобы все члены кружка саморазвития были связаны определенными правилами морального кодекса.

Купеческий сын Крутицкий, специалист по изучению общинного землевладения и артели, мечтательно говорил о всеисцеляющих очарованиях социализма и о том, что русский народ уже, в сущности, на полдороге к полному осуществлению социалистического строя, нужно только идти в народ и пропагандировать, дни изжитого деспотизма сочтены.

Семинаристы, державшиеся во время собраний тесной кучкой, презрительно-враждебной и исподлобья ироничес-кой, подчеркивали, что, безусловно, необходимо в первую очередь распространить в темных людях атеизм.

Словом, недостатка в темах для бесконечных разговоров перед большим самоваром в комнате душной от множества

выкуривавшихся дешевых папирос не было никогда. Было ли во всем этом какое-нибудь здоровое зерно? Несомненно было. Юные умы в соприкосновении развивались и обострялись, и было во всем этом что-то беззаветное. Были ли в этом сорные травы? О, сколько угодно, и гораздо больше, чем здоровых зерен. Умственный цинизм, игра самолюбий, легковесная мудрость, логические вывихи, все то, что составляет неизбежные клейма каждой политической партии в каждую историческую эпоху, в изобилии развивалось и на этом малом поле. Играть в революцию было всегда излюбленным занятием русских людей из так называемого общества, из так называемой интеллигенции. И по-разному играли в нее долгие десятилетия, пока она не пришла, с ликом свирепым и тупо-зверским, совсем не оттуда, откуда ее ждали, совсем не так, как ее заклинали, вызывая.

В средине зимы 1884 года в город Шушун приехал, кем-то выписанный или кем-то посланный, не весьма славный, но довольно известный писатель-народник Нестор Аполлонович Благодельский. Его приезд послужил исходной точкой для целого ряда событий.

Избранные члены кружка саморазвития были приглашены на тайное заседание, и Благодельский сообщил им, что он послан от центральных организаций Петербурга, с предложением вступить через него в непосредственную связь с центром, постановившим, что все в России готово для революции и лишь необходимо объединить провинциальные кружки в одно целое. И Горик, и Коля Перов, и Коля Евстигнеев, и все другие заседавшие испытывали чувство высокой важности и высокой ответственности, когда, бледные, они дали согласие примкнуть к тайному обществу, задающемуся целью осуществить ниспровержение существующего порядка вещей. Средства для этого были разные, но, говоря вкратце, путь простой и путь двоякий: организовать протестующие элементы в обществе и в народе, вести пропаганду в обществе и в народе. Что важнее? Организация или пропаганда? Мнения разделились. Созерцательный Георгий Гиреев, привыкший к медленной правильности всех изменений, которые осуществляются в природе, настаивал на том, что далеко не все еще готово в России и, в частности, в Шушуне для победного явления всероссийской революции. Следовательно,

прежде всего нужна пропаганда. Надменный Николай Евстигнеев, привыкший к тому, что все служащие его отца беспрекословно ему подчинялись, и привыкший с легкостью склонять волю гимназисток по своему усмотрению, обозвал Горика постепеновцем, и сказал ему: «Ты улитка. Ты всегда и во всем должен выставить ощупывающие улиточьи рожки, и, посмотрев на действительность, немедленно забраться опять в свою уютную раковину. Все готово для организации. — Он развел руками и сомкнул их, как бы замыкая в сложенные крест-накрест руки всю Россию и все ее грядущие возможности. — Мы организуем все. Россия может стать свободной через два-три года».

Большинством голосов было принято, одобренное Благодельским постановление, что все революционно мыслящие личности организуют союз, который должен быть готов к немедленному действию, пропаганда же принимается как вспомогательное средство.

Очень ценным было признано вступление в число членов революционного общества шушунского Диогена, имевшего большие знакомства среди ремесленников и мелких торговцев. Признано было желательным скорейшее привлечение в число членов общества кое-кого из земских деятелей и служащих городской управы. Постановлено было войти в соприкосновение с фабричными рабочими и пригородными крестьянами. Благодельский передал кружку саморазвития изрядный запас подпольной литературы, которую взялись хранить у себя Горик и Евстигнеев в виду того что, если начнутся обыски, наименее вероятно, что придут с обыском в дом городского головы и в квартиру председателя земской управы. Оба революционные книгохранителя были радостно-горды выпавшей на их долю важной ролью. Завершив благополучно важную свою партийную задачу, Благодельский отбыл в дальнейшее организационное путешествие. Среди юных революционеров города Шушуна он оставил впечатление, окруженное ореолом. Лишь в троих он немного пошатнул это впечатление, нет, в четверых. Эти четверо были Николай Евстигнеев, гимназистка седьмого класса Мария Резнина, бывшая тайной невестой Евстигнеева, ее подруга Лидия Волгина, от которой Мария не имела секретов, и Георгий Гиреев, которому его друг Евстигнеев все рассказывал. Дело в том, что Мария Резнина была не

только девушка выдающейся талантливости и стала позднее артисткой, но и девушкой очень кокетливой. Во время повторных организационных заседаний революционного сообщества, Благодельский отметил ее, много с ней говорил и увлекся ею. Сказав девушке, что он хотел бы иметь с ней особый разговор, он получил приглашение прийти к ней, несмотря на то, что Евстигнеев устроил ей сцену ревности. Мария Резнина, конечно, видела совершенно ясно, что такой интересный человек, как писатель Благодельский, в нее влюблен. Своего Колю Евстигнеева она, без сомнения, не променяет ни на каких писателей и важных революционеров. Он ее желанный и она ему отдаст всю свою жизнь. И Благодельский ей нисколечко не нравится. Но он интересен, этого нельзя отрицать. Что он хочет ей сказать, она, разумеется, своим неошибающимся сердцем семнадцатилетней девушки знала. Она ему скажет «нет», но выслушать то, что он скажет ей, очень хотелось.

Благодельский к ней пришел, но, не имея дара говорить о чувствах с художественной постепенностью, и не имея вообще манер деликатных, он с внезапностью устрашающей так ураганно выразил и изъяснил свое страстное сердце, что с Марией Резниной случилось нечто вроде истерики от испуга. «Успокойтесь, успокойтесь», — пробормотал растерявшийся преобразитель исторических судеб России. Затем он быстро подошел к столу, налил из графина стакан воды, и торопливо выпил этот стакан сам. Несмотря на всю свою взволнованность, девушка не могла не разразиться громким смехом на такое несоответствие с логикой в судьбе этого стакана воды.

Конечно, ни писательские, ни организаторские достоинства Благодельского не утонули в этом нерыцарски выпитом стакане воды. Но в четырех сердцах, сохранивших про себя эту тайну, лик его несколько затуманился.

10

В маленьком провинциальном городе сохранять какую-нибудь тайну чрезвычайно трудно. Сплетни и любопытствующее исследование того, что делается у соседа в доме, и на

соседней улице, и в разных местах города, есть основное правило жизни. О существовании кружка саморазвития давно все знали, но никто не придавал этому никакого значения, ни даже местный жандармский полковник, каждый вечер игравший в стукалку с мелкими чинами своего жандармского управления, ибо не с кем ему больше было играть в карты: в Шушуне считалось неприличным поддерживать с ним знакомство, и лишь исправник изредка приходил к нему и удостоивал его честью провести с ним вечер. Не то, чтобы шушунские жители были очень революционно настроены, совсем нет, но понятие «жандарм» даже их невзыскательному уму нисколько не нравилось.

Не прошел незамеченным и приезд Благодельского. Но опять-таки мало кто этим заинтересовался и обеспокоился. Революционное действо мало двинулось вперед со времени его побывки в фабричном городке. Разве что несколько чаще стали собираться для разговоров гимназисты и семинаристы, выражавшие свою революционность главным образом тем, что во время загородных пикников, при катаньи в лодках по реке Ракитовке, истребив традиционное количество рюмок водки и наговорившись досыта обо всем и ни о чем, они хором пели «Утес Стеньки Разина».

Времена была еще патриархальные, и, когда осенью того года в городе начались обыски, некто иной, как исправник пришел к Ирине Сергеевне и сказал ей, за несколько дней до этих обысков: «Ирина Сергеевна, мы с вами добрые приятели, и я вам по дружбе говорю: не нынче завтра, как мне сказал жандармский полковник, в разных домах будут сделаны обыски. Какие-то там разговоры о каком-то там революционном сообществе. Так вы Жоржику скажите, чтоб он, если у него что есть из подпольной литературы, припрятал подальше, а лучше бы и вовсе уничтожил от греха. Городского голову Евстигнеева я тоже предупредил».

Это случилось осенью, а весной никто еще не предвидел грозы. Да и придет ли какая-нибудь гроза в смысле разгрома? Не раньше ли успеет прийти революция?

Горик с нетерпением поджидал приезда Игоря, с которым он был связан самой горячей братской любовью и которого он ценил как старшего друга и во многом учителя. Игорь был в Петербурге, на первом курсе естественного факульте-

та, и должен был вскорости приехать на летнюю вакацию. Сколько будет у них прогулок по лесам, и окрестным деревням, и по тенистым побережьям реки Ракитовки, там за Лебединым Слетом. Сколько будет разговоров о Боге, о свободе воли, о задачах мыслящей личности, о тайнах природы. Конечно, и о революции. Игорь, верно, об этом знает много и привезет какие-нибудь свежие вести.

Но до наступления лета в Больших Липах, еще этой весной в Шушуне, когда Горик почувствовал, что в его жизни началась новая полоса, у него был серьезный разговор о революции, но не с Игорем и не с кем-нибудь из членов кружка, а с Огинским.

Последние два года Огинский почти никогда не бывал в доме Гиреевых, и каждое его посещение создавало какую-то напряженную атмосферу в доме, трудно определимую словами. Все ему бывали рады, и всем казалось, хотя никто этого не высказывал вслух, что ему бывать не следует. Некая тайна, всеми сознаваемая, но никем не называемая, становилась все очевиднее. И быть может, именно оттого, что никто не называл эту тайну, каждому, кто соприкасался с ней через простое появление данного лица в доме, становилось странно и неуютно.

Огинский постучался в дверь комнаты Горика и вошел к юноше. Горик сидел один и читал по-немецки книгу Туна, «История революционного движения в России». Он очень обрадовался неожиданному гостю. Ему всегда нравился Огинский — и своим красивым лицом с синими глазами и выразительным орлиным носом, и своею вежливой достойной манерой говорить, и своими мыслями, отнюдь не повседневными, и тем, что он, Огинский, жил один, любил своих соловьев и канареек, и любил и понимал природу, как ее может любить и понимающе чувствовать кроме художника слова только страстный охотник.

— Здравствуй, здравствуй, Жоржик, — приветливо говорил Огинский. — Рад тебя видеть, давно хотелось поговорить. Все читаешь, Жоржик?

— Читаю, Сигизмунд Казимирович.

— А ты бы лучше поохотился. На вальдшнепов. Тяга великолепная. В весенней рощице куда как хорошо. Лучше, чем в душной комнате.

— Мне нравится весной в лесу. И всегда в лесу хорошо. Но убивать птиц или животных я не считаю этого дозволительным.

— Так, так. Моральный закон возбраняет, — улыбаясь, сказал Огинский. — Ну, вальдшнепам хорошо с тобой, и зайцам тоже. А как насчет людей?

— Что насчет людей? Вы хотите сказать: можно ли убивать людей? Вообще говоря, нет, но, в частности, да.

— Это когда же начинается такая частность?

— Можно убить насильника, защищая обижаемого от насилия.

— Туманно, туманно, мой милый. С насилием можно бороться по-разному, не принижаясь до насильника употреблением его предосудительных способов. Убивая кого-бы то ни было, ты не избегнешь имени и свойств убийцы. И совершив убийство насильника, ты прольешь человеческую кровь, и она обрызгает не только землю, а и твою душу. С душой, обрызганной красными пятнами, ты будешь в человеческой жизни живой ходячей заразой. Твой будто бы героический поступок по закону распространения заразы даст пример для другого, третьего и несчетного убийства. Это мы уже и видим сейчас в России. Я знаю, ты будешь говорить о деспотизме, о несправедливости, о неравенстве положений, о насилиях правительства, об исторической неправде. Все так, все так. Но пуля, и нож, и динамитная бомба не аргументы в достижении правды. Милый мой, тебе еще не минуло семнадцать лет, а смотри, у тебя уже спутались основные понятия. Возникает страшный вопрос: позволительно ли убить человека? А ты спокойно отвечаешь: вообще, нет, а в частности, да. Да не так же это, милый мой юноша, вовсе не так. Вопрос о дозволительности убийства настолько серьезный и важный, что тут можно только ответить громко и ясно: нет, никогда. Убивая другого, человек убивает себя и ходит по земле мертвый. Таких мертвых множество сейчас в России. Они в рядах правительства, и они в рядах тех, которые воображают, что они борются за приближение царства правды, между тем как они еще ужаснее, чем живые покойники, наделенные властью. Эти последние опираются на силу, и всякий, кто способен видеть и понимать, знает им цену, и тут грубое насилие, являясь в отрицательной своей цельности, никого

прельстить не может, а вызывает рост понимания, исторический рост обвиняющего сознания, которое, дойдя до определенных размеров, до необходимой степени напряженности, естественно вызовет благие перемены в общем ходе вещей. А те другие мертвецы, разглагольствующие, кровью пишущие слова вольности, дикари, скальпирующие царя, хартию вольности изготовляющие из человеческой содранной кожи, они ведь перепутали слова настоящей желанной правды с приемами систематических лжецов, с воровскими ухватками каторжной шпанки. Полные недомыслия и самомнительности, преступно надевая на себя личину апостолов, иногда и вправду являясь грозными вестниками, к сожалению, непонявшими своего истинного назначения, — эти живые мертвецы, несущие искаженную весть новой жизни, подсовывающие молодежи поддельные грамоты одноглазой мудрости, эти оборотни, не видящие несчетных следствий своих поступков, на долгое время наполнят весь воздух целой страны словами, пропитанными кровью, двуликой совестью и подпольными изворотами.

— Я не сочувствую террору, — тихим искренним голосом сказал Горик. — Я верю в слово правды, в слово сознания, во всемогущую силу слова.

— Одно слово верно, — сказал убежденно Огинский. — Слово любви. Только ему дана на Земле власть достигать достойного и делать созидающее дело. Те, которые опираются на ненависть и стремятся к достижениям проповедью ненависти, по существу своему преступники и подделыватели действительности. Я вижу, ты читаешь книгу Туна. Я ее знаю. То, что ты читаешь ее по-немецки, делает тебе честь. Но то, что ты тратишь время и портишь глаза над чтением этой немецкой дряни, — праздное занятие и даже дурное.

— Почему вы так отзываетесь об этой книге? Она очень серьезная.

— Немцы обо всем говорят серьезно. Даже о войне мышей и лягушек. Но я браню сейчас этого господина не как немца, а как историка революционного движения в России. Все такие господа, когда пишут, говорят сплошную ложь, даже в то время, когда они рассказывают точные факты. Потому что они не все факты рассказывают, то есть подтасовывают действительность. Притом же, что бы они ни рассказыва-

ли, они исходят из основной посылки, которая ошибочна. Эта посылка — революция. Все благо в революции, это альфа и омега. Революция сама по себе хороша, и всякая попытка ее вызвать, значит, тоже хороша. Рассказывают о хождении в народ, об этом позорном походе невежества, легкомыслия и слепого доктринерства, и обо всех этих расчувствованных оболтусах говорят как о пилигримах, отправившихся в Святую землю. Революции они не создали, ни те другие, пишущие свою хартию вольности кровью. Революция придет независимо от них и, если придет, то лишь для того, чтобы в миллионных размерах выявить тот яд, который они в себе носят, не взяв от них ни одного благого зерна, из тех жалких крох благого, которое у них еще есть. Каждая революция есть грязь и кровь. Каждая революция есть вулканическое извержение гнева, и огонь этого извержения есть разрушение, и дым его — торжествующее невежество и разнузданная низость. Гнев злобы не есть разрешение трудного вопроса, и ликующее бешенство толпы, — а революция есть толпа с шайкой властолюбивых коноводов — всегда топчет в грязь человеческое достоинство и человеческую мысль. Та великая бойня, которая нашла своих идеологов и называется Великой Французской революцией, в действительности есть не что иное, как позорящее людей, кроваво-черное пятно. Но там были еще характеры и некоторые мысли. Когда революция явит свое лицо Медузы в нашей России, это будет исполинская пугачевщина и ничего больше. Города превращенные в сумасшедшие дома и деревни превращенные в разбойные гнезда.

— Значит, вы все-таки думаете, Сигизмунд Казимирович, что революция придет непременно? — с любопытством спросил юноша.

— Не берусь быть пророком, но худшее совершается в истории легче, нежели благое. У меня на это особый взгляд. Я думаю, что, вообще, человеческая мысль пошла по совершенно ложной дороге. Машина есть изобретение Дьявола. То, в чем видят усовершенствование, приведет к гибели.

— Я не понимаю вас. Объясните, пожалуйста.

— Большой разговор, мой милый, большой разговор. Простота и святость человеческих отношений систематически исчезают всюду на Земле. Отторженье от благой свя-

зи с Природой все более становится правилом жизни. Машины существовали всегда, но только как необходимое дополнительное орудие. А вот уже лет пятьдесят, пожалуй, больше, как машина стала из орудия господином. Неограниченное развитие машинного производства, неизбежное развитие усовершенствования машин, создает машинные чувства. Все становится машинным. Так в Европе и Америке, так будет и в России. Простодушные деревни или вымирают или превращаются в города. Города превращаются в душные казармы и фабрики. Лишенный пастбищ, скот, согнанный на убой, воет, ревет и сумасшествует. Камень и железо, душные клетушки, фабричные трубы и компания пауков разного калибра, то бишь, господа фабриканты, в таких условиях чувства развиваются определенные. И фабрикантскую голову ничем не прошибешь, она из чугуна. Всякий дьявольский дар кажется добрым, это чтобы его взяли. А когда его возьмешь, взявшая рука отсохнет и самая душа зачахнет. Если революция придет, она придет отсюда, и тогда фабричные души по-фабричному распорядятся, как с мертвым материалом, со всем, что в человеческой жизни есть живого.

— Сигизмунд Казимирович, — с волнением сказал Горик. — Но ведь вы гораздо ближе к революционерам, чем это кажется. И потом, как возможно, каким образом это возможно? — Горик стал говорить с негодующей горячностью. — Чтобы вы не испытывали ненависти к тем, кто растоптал вашу родину, кто без конца унижает и мучает Польшу?

Огинский побледнел и встал. Он заговорил не сразу, отвечая на этот всклик. Глаза его исполнились невыразимой грусти и нежности. Такой же вопрос, произнесенный с такой же горячностью, он слышал когда-то давно из любимых уст.

— Милый мальчик, — сказал он наконец, кладя свою правую руку на плечо Горика. — Зачем ты искушаешь меня? Об этом говорить можно много, и мы когда-нибудь будем говорить. А теперь... Знаешь, что я тебе скажу? Ты за последнее время все больше становишься похож на свою мать, какой она была тогда, когда тебя еще не было на свете. Ты знаешь, как она мне дорога, и я знаю, что ты с ней дружишь и любишь ее всем сердцем. Так не огорчай же ни ее, ни отца.

Брось ты этих разных Причетниковых, Крестовоздвиженских и не путайся с ними. Ни к чему это доброму не поведет, да и недостойно это тебя. Право же, ты их всех умнее, и нечего тебе с ними делать.

— Сигизмунд Казимирович, я хочу изучать Польский язык, — сказал Горик, не зная, чем выразить внезапный прилив нежности к Огинскому.

— Ну что ж, учительница у тебя в твоем же доме, она хорошо его знает.

11

Если есть какой-нибудь несомненный признак истинной дружбы, это — рыцарское служение одного другому, верность во всех превратностях. Друг любит друга и друг верит в друга, друг всегда заступается за друга. Если один находится далеко и о нем кто-нибудь говорит что-нибудь дурное, друг неспособен допустить это, как неспособен поверить, чтобы солнце зашло навсегда или огонь стал холодным. И другу так же хорошо и радостно от присутствия друга, как любимому хорошо от присутствия любимой, только радость дружбы спокойнее и прозрачнее радости любви, она уютнее и надежнее, потому что дружба неизмеримо отдаленнее от яростного жерла ревности, которое всегда тайно соприсутствует на празднике любви. И в дружбе не кажется, что утрачиваешь свою свободу, теряешь самое ценное достоинство своей души, если один друг умнее другого, сильнее его, более завладевает дружеской душой, а сам остается более вольным и независимым. Без тайной оглядки в дружбе неограниченно переливаются из души в душу все сокровища, которые есть в одной и в другой душе, и весь мир кругом становится от такого сопричастия душ зовущим разбегом, где весело попробовать силы и коснуться испытующе бесчисленных тайн, скрывающихся в каждом уголке леса и дома, в каждом промелькнувшем лице и пролетевшей птице, в каждом острийном соприкосновении двух мыслей, в любой встрече двух звуков, двух слов.

Такой дружбой были связаны два эти брата, Игорь и Горик. Их дружба началась на утре их дней, когда, дети, они

молились вдвоем перед малыми иконками о несчастной, которая была убита, и о несчастном, на которого надели тяжелые цепи и отправили в неведомую даль на долголетние пытки. Их дружба росла вместе с ними от каждой беседы, от каждой новой книги, прочитанной вместе, от каждой прогулки в саду, где цветы и деревья учили их гармонии, от каждой долгой прогулки вдоль тихого течения реки, уводившей их своими излучинами в зеленое царство впервые увиденных перелесков, впервые услышанного воркованья тяжелого лесного вяхиря, впервые прозвучавшего в полудетском разговоре кристального слова Бог, уманчивого слова Воскресение, впервые увиденной на белом стволе лесной березы свернувшейся в пятне солнечного света геральдическим узлом внимательно глядящей змеи.

В самом раннем детстве вся потребность в дружбе, какая была в душе Жоржика, вылилась в его любовь к Глебушке. Он не перестал любить Глеба и позднее. Он сохранил к нему привязанность и потом, в годы гораздо более поздние, любуясь на эту цельную дикарскую душу, безраздельно преданную собакам, ружью, радостям леса и охотничьим утехам. Но, сын страстного охотника и выросший среди братьев, которые, кроме Игоря, все увлекались охотой, Горик охотником не стал. Он очень любил ездить на охоту с отцом и братьями и смотреть, как охотятся другие, но у него не было искушения стрелять дичь, и ему было даже неприятно взять ружье в руки. Это была инстинктивная неприязнь, которой он лишь со временем придал характер убеждения. Только три раза он соблазнился стрельбой, и все три раза больно запомнил.

Однажды Глебушка уговорил его принять действительное участие в охоте на зайцев. Когда, торопливо спасаясь от гончих, заяц выскочил шагах в двадцати от Горика на лесную лужайку, он быстро прицелился и выстрел попал зайцу в голову. Заяц был убит, но успел раз прокричать. Это был жалкий пронзительный крик, похожий на крик маленького ребенка. Когда Глебушка подбежал к Горику, поздравляя его с метким выстрелом, он стал смеяться над братом: тот настолько обрадовался своему успеху, меткому выстрелу, что смертельно побледнел. Но не от радости побледнел Горик.

Другой раз Горик захотел проверить меткость своего глаза и руки, когда осенью увидел в саду серого дрозда, сидевшего на самой верхней ветке рябины, увешанной красными гроздьями. Он приложился и выстрелил. Дрозд упал. Когда Горик поднял его, в черном глазе птицы светилась еще печальным светом жизнь, но глаз уже наполовину был затянуть тусклой пленкой, а в полураскрывшемся клюве дрозда виднелась красная ягода рябины, которую он не успел проглотить. В этом черном глазе и непроглоченной красной ягоде было что-то невыносимо-раздирательное. Горик мысленно поклялся, что он более никогда не возьмет ружья в руки.

Только один раз он нарушил эту клятву, Коля Перов и Глеб уговорили его пойти охотиться на тетеревов. Они стояли втроем на лесной полянке, когда сеттер поднял в кустах тетеревиный выводок. Глебушка стоял поодаль, а Коля Перов находился в нескольких шагах против Горика. Тяжело махая темными крыльями тетерев летел медленно и низко. Первый выстрел по уговору принадлежал Горику. Он наметился и, переводя мушку согласно с полетом дичи, видел только тетерева и мушку. Уловив секунду, которая показалась ему наилучшей, он спустил курок, и в ту же секунду Глебушка громко вскрикнул, а Коля Перов упал. Через мгновение и Горик, весь похолодев, сел наземь, ибо ноги его больше не держали. Трагедия однако не случилась. Перов упал, спасаясь от смертельной опасности, потому что дуло было направлено ему прямо в грудь, а Горик очутился на земле, поняв, что, если бы не осечка, весь заряд угодил бы в его друга, вероятно, в самое сердце.

Это был конец охотничьей карьеры Горика. Он воспринимал приметы суеверно, и случай был на самом деле очень выразительный.

И однако же метко стрелять Горик научился еще лет тринадцати, и притом из револьвера, а как известно, метко стрелять из револьвера труднее, чем из ружья. Научил его этому Игорь.

В большом деревянном доме, в усадьбе, был очень интересный чердак. Воистину это было целое заколдованное царство, уже тем приятное, что туда почти никогда никто не заходил. Из красивого узорного оконца, к которому можно

было взобраться по лесенке, виднелись далеко зеленые поля, леса, село Якиманна с блестящим шпилем довольно высокой колокольни и за селом синие дали. Чердак был обширный и представлял складочное место самых разнородных предметов, ставших ненужными на время или навовсе в течении целых десятилетий. Там были поломанные кресла, у которых сиденья были безнадежно продавлены, и тут же рядом запасные кровати, на случай приезда гостей пригодные быть вытащенными и перенесенными в ту или иную комнату; поломанные столярные инструменты, быть может, те самые, которые служили для изготовления китайских шкатулочек в честь суровой бабушки; какие-то доски вроде гладильных; какие-то неопределимые изношенные предметы, говорившие о старых временах; таинственные полуонемевшие клавикорды, которые все же, если поиграть на них, издавали глуховатые сентиментально-сладостные звуки; шкаф с выбитыми стеклами, наполненный очень старыми бумагами и разными тетрадями; огромное количество толстых томов, «Отечественные записки» и «Вестник Европы» за старые годы; наконец, ряд портретов масляными красками, цари, начиная с Екатерины Второй, изгнанные в свое время из комнат, когда Клеопатра Ильинишна уехала из Больших Лип.

Игорю по какому-то случаю был подарен тот самый револьвер, который был привезен с полей сражений между русскими и турками, ему же был подарен и ятаган. Турецкий ятаган мирно покоился как украшение на стене в комнате Игоря, а из револьвера он стрелял в цель и устраивал стрельбу преимущественно на этом чердаке. Когда Игорь и Горик научились стрелять хорошо, им наскучило всаживать пули в кружочек цели, и старшему брату пришла в голову неуважительная к литературе мысль стрелять в толстые, переплетенные по две книжки в одну, тома «Отечественных записок». Это было довольно забавно, но пули, пробив толстый переплет, заседали внутри тома. Тогда возникла мысль о преимуществе стрельбы в царей. Екатерину, как женщину, стрелки пощадили, также и Александра Первого, по некоторому пристрастию к нему Игоря, но курносому Павлу Горик прострелил лоб, а Николаю Первому Игорь прострелил сердце. Впрочем о деспотизме того и другого было при этом упомянуто лишь вскользь.

Больше, однако, чем эти забавы, Игорь и Горик любили игру в лапту и в городки, а еще больше долгие прогулки по лесам вдоль течения Ракитовки, с заходом в какую-нибудь деревню, где за пятиалтынный они получали у первой бабы, на вид почище, увесистую кринку с густым молоком и сколько хочешь ломтей свежевыпеченного душистого черного хлеба.

Во время таких прогулок всегда между братьями возникали длинные споры, и, вернее, не споры, а полюбовное разрешение разных вопросов с тщательным сопоставлением различных и резко противоположных точек зрения. Игорь был старше и более наклонен к отвлеченному мышлению. Горик, несмотря на то, что был юнее, в силу художественности своего темперамента во многом был разнообразнее, чем старший брать, и, рассматривая все в призме чисто созерцательной, умел в споре, если не побеждать логические доводы логическими же доводами, ускользать от нежеланного решения игрой в образы. Более страстный и наклонный к фанатизму, Игорь нередко вскипал от этой играющей извилистости, называл брата змеей и говорил, что у него, Игоря, одно только имя, и он в каждом рассуждении хочет одного решения, а Горик — также и Жоржик, и также Егорушка, а среди барышень и Юрочка, и в конце концов неизвестно, кто он, — во всяком случае далек от Георгия Победоносца. Горик не обижался, а смеялся на такие обвинения. Он слишком хорошо чувствовал, что для него, Горика, всегда во всем и везде звучит один голос, живущий в его собственном сердце, но слитый со всем, что зовет и манит солнцем на небе, и цветами на стеблях, и лицами людей, дышащими убежденностью, и лицами тех милых кого любишь, и певучими звуками в сочетаниях слов, и неожиданно заигравшей музыкой. И если Горик любил спор, представляющий собой лишь обмен мнений и рассмотрение вопроса с разных сторон, он чувствовал глубокую неприязнь к спору враждебному, к спору как к спору, к тому разряду излюбленного среди людей словосостязания, которое само для себя есть цель. К такому спору он всегда чувствовал не только упорную неприязнь, но и нечто вроде суеверной боязни. Он вовсе не был бесстрастен, о, нет. Очень рано он с сочувствием запомнил, прочитанные в какой-то книге слова Эразма Роттердамского: «Человек без

страсти, как камень. Никто его не полюбит, каждый побежит от него». Но чрезмерная страстность в выражении своего мнения, когда это мнение не совпадало с мнением собеседника, догматизм, доходящий до навязывания себя, это было ему совершенно чуждо. До последнего отъезда Игоря в Петербург, они были во многом совершенно согласны. Горик только не мог принять религиозного фанатизма Игоря, выражавшегося в непомерном преклонении перед Библией, мрачная исключительность которой превозмогала в уме Игоря и над Евангелием, и над чисто логическими доводами философского мышления.

С большим нетерпением Горик ждал приезда старшего брата.

12

У Ивана Андреевича была новая хозяйственная забота, пожалуй, не столько забота, сколько новая хозяйственная забава. У него в последние годы как-то ни к чему оставались излишки пшеницы, и он надумался построить небольшой крахмальный завод.

Завод был небольшой. Кроме главного мастера Федора, пожилого человека весьма закорючистой умственности, на нем работала всего-навсего одна артель в десять—двенадцать человек, причем все они, кроме мастера, то исполняли сельскохозяйственные работы, то были на заводе, и вообще все это дело было любительское, но не без некоторой внутренней политики. Крахмал со своего завода Иван Андреевич не Бог весть по какой цене продавал знакомым фабрикантам Чеканово-Серебрянска, и это давало ему возможность не порывать с ними связи, а партия фабрикантов была достаточно сильна в шушунском земстве, и без их содействия трудно было провести какую-либо желательную меру. Замученная лошадь с завязанными глазами, чтобы не скружиться, ходила без конца, погоняемая то одним, то другим работником, по деревянному круглому помосту, представлявшему собой как бы дно невысокого и очень большого чана, движением своим она вращала воронкообразный деревянный каток, раздавливая зерна пшеницы и обусловливая этим стечение

пшеничного сока в определенные вместилища. Выжатые семена пшеницы, так называемая барда, шли то на удобрение, то на корм домашней птице и скоту. А вонючая жидкость, распространяя кислый дух, — ненужный остаток превращения — стекала в канаву, на которой росла сочная крапива, и достаточно беспокоила тех, кому мимо этой канавы приходилось идти. Ирина Сергеевна находила, что вся усадьба этим испорчена. Так оно и было.

Раз под вечер, когда Игорь с Гориком сидели на крыльце и разговаривали, мастер Федор зачем-то приходил в дом, и Ирина Сергеевна попросила его вытряхнуть запасной тюфяк — ожидали гостя. Собственно это вовсе не было дело Федора, но он охотно согласился услужить барыне, и, вытряхивая тюфяк, лукаво посмотрел на барчуков, и сказал: «Вот поколотить хорошенько тюфяк, залежался он, и все зловредные миазмы из него выйдут».

— Откуда вы, Федор, знаете, что такое миазмы? — спросил Горик.

— А я всякую химию-механию знаю, — усмехаясь, ответил Федор. — Мы и «Хитрую механику» читали и еще кое-что, — прибавил он, лукаво подмигнув. — Да только все это ни к чему. Разум мутит, а понимания прибавляет мало.

— Все-таки, кто же вас навострил в вашем чтении?

— Да мало ли кто по свету ходит. А по свету я побродил. Офеней был, книгоношей. Бывало, что и проскочит среди книжек такое, что даже глаза на лоб выскочат. Пока читаешь, не весть что померещится, а прочтешь, все тем же и в том же останешься.

— Будет время, станет лучше. — И Горик сказал несколько ходовых революционных фраз, приличествовавших, как ему казалось, случаю.

Очень выразительна была в глазах Федора ирония, когда, с преувеличенной почтительностью выслушав, он ответил:

— От слова до дела далеко, и в книжных словах результат невеликий. А вы вот лучше подарите мне усадьбу, заживем хорошо с нашей артелью. А то и без нее. Прощения просим.

На том разговор и кончился.

Это маленькое впечатление, несколько раз повторявшееся, когда Горик при случае пытался заговаривать с Федором,

неуловимо слилось в уме юноши с другим впечатлением, совершенно иного порядка.

Последней осенью Глеб и Николай Евстигнеев, охотившиеся в окрестностях усадьбы не раз, были неоднократно приглашаемы деревенскими знакомцами повеселиться вместе с парнями и девками на посиделках, в той местности называвшихся — беседа. Евстигнеев и Глеб привозили угощения, орехов, леденцов, яблок. Шутили собравшиеся на беседу, угощались, смеялись, пели, плясали, играли в любовь, что было и нетрудно при юном возрасте и поцелуйном характере песен. Горику, один раз бывшему на такой беседе, показалась особенно забавной и определительной такая коротенькая песенка:

Любимая песенка,
Есть на печку лесенка.
Глазки дремлют, спать хотят,
Целоваться нам велят.
С печи на полати,
Семь раз целовати.

После песни избранная пара, юноша с девушкой в точности выполняла то, что в песне указывалось. И все песенки были в этом роде.

Два юные охотника из барчуков повеселились и три и четыре раза, но веселье чуть не привело к беде, ибо те деревенские парни, которые ходили в город на фабрику, оказались весьма ревнивыми и озорными, и после одной беседы, завершившейся воинственными действиями, Евстигнеев и Глеб, уступая превосходящим силам неприятеля, должны были спасаться быстрым отступлением: вывезла их лошадь, и вовремя.

Тем летом, о котором идет речь, Игорь, Глеб и Горик стояли раз в праздничный день на околице и смотрели, как девки и парни Больших Гумен вместе с молодежью из усадебных работников водят около пруда на лужке веселый хоровод. У Глеба был великолепный белый сеттер с коричневыми ушами и красиво брошенным прихотью природы как раз на средине спины, немножко ближе к загривку, коричневым пятном. Своим изяществом, человечески-умными глазами и редкостным верхним чутьем, эта охотничья собака, по про-

званию Верный, славилась по всей округе не только среди охотников. И в самом деле ум не так часто встречается и среди людей, — исключительно умная и красивая собака вдвойне чудо.

Как раз когда хоровод только что окончил одну из своих хоровых песен, по дороге из Михалкова показалась кучка гуляющих фабричных парней, у одного из них была гармошка, у другого плохенький бубен, на котором он однако играл залихватски. Когда парни эти проходили по деревне, Глеб увидел, что оба музыканта — как раз его враги, участвовавшие в той ссоре на беседе. И когда парни проходили совсем близко, Глеб насмешливо сказал: «Ну и бубен у тебя. Подари его на лукошко тетке Лукерье». Парень тряхнул головой, ничего не сказал, подумал и, когда уже отошел довольно далеко, обернулся и крикнул: «К Иванову дню будет много лучше».

Почему к Иванову дню? Это показалось тем, кто слышал, скорее глуповатым, а голос крикнувшего был очень злой и очень торжествующий.

Вскоре после этого Верный пропал. Как он исчез, никто не мог дать себе отчета. Чтобы он самовольно отлучился в лес, нельзя было допустить, слишком породистая и умная собака. Искали повсюду, нет его. Ждали, что появится. Слишком все его любили и потому ждали, что вдруг он вернется.

Случилось так, что в Иванов день опять на деревне водили хоровод. И снова три брата стояли и смотрели. И снова появилась кучка фабричных парней. Они были во хмелю. С ними шли девки в нарядных лентах. И гармошек было целых три, а у бубенщика был в руках большой хороший бубен, разукрашенный красными ленточками и звонкими бубенчиками. Когда чужие парни и девки проходили, все на лужку примолкли и смотрели на них. Бубен бешено играл. Когда бубенщик проходил мимо барчуков, он весь изогнулся от лихости, как пристяжная в тройке, и разудалым голосом пропел:

Мой ли бубен нехорош?
Похулили, будто скверный.
А такого не найдешь,
Самый, что ни есть, примерный.
Бубен верный, верный, верный.

Три брата Гиреевых долго стояли, молча и не глядя друг на друга. Каждый из них почувствовал, как лицо его похолодело, побледнев.

И молча пошли они домой. Оскорбление и горе было слишком велико для слов.

13

— Ты говоришь — злое дело отдельного человека, — с горячностью говорил на другой день Горику Игорь, идя с ним в лесу по течению Ракитовки. — А я тебе говорю — нет. Украсть красивую породистую и ни в чем неповинную собаку, убить ее, содрать с нее шкуру и сделать из нее бубен и притом не столько для веселья, сколько из низкой мести и подлого издевательства, — это как раз по плечу твоему честному фабричному рабочему. Любой из них охотно сделает то же самое или подобное и в прямом смысле и в переносном. Мы тут имеем дело с врагом собирательным, который, находясь в условиях жизни несправедливо плохих, — с этим я согласен, — охотнее всего, руководясь озлоблением, выкинет какую-нибудь подлую штуку. И когда он развернет снящееся тебе знамя революции, — если это когда-нибудь случится, — он два дня будет распевать песни свободы, а потом два месяца, или два года, или двадцать лет, вообще сколько ему только обстоятельства дадут времени, он будет все громить вокруг себя, истреблять правых и неправых и погребет под развалинами вековые достижения мысли.

— Откуда у тебя такой мрачный пессимизм, Игорь? Ты раньше так не думал.

— Не вечно же мне пребывать в том наивном оптимизме, из которого ты, как из пеленок, или, чтобы не обижать тебя, как бабочка из куколки, никак не можешь выбраться. Ты говоришь, крестьяне, и в особенности фабричные и заводские рабочие, — непочатое поле, где под новым серпом в миллионных числах зашелестят и сложатся в снопы золотые много зернистые колосья. Ты любишь красивые образы, которые ничего в конце концов не изъясняют и никакого вопроса к разрешению не приближают нисколько. И вот тебе на образ — образ. Фабриканты по-твоему пауки. Заступаюсь за

моих любимцев. Паук — красивое существо, из себя творит, создает тончайшую ткань паутины и, сидя в центре этой круговой паутины, будит в глядящем философскую мысль. А когда я стравливаю двух пауков, они интересны как два рыцаря на средневековом турнире и снова будят философскую мысль, говоря о дуализме человеческой души, о вечной борьбе двух начал в человеческом сознании, и еще говоря о том, что Каин и Авель бессмертны в человеческом обществе. А фабриканты твои не пауки, они всего только животы на двух ногах. Это — зло. Но не воображай, что фабричный рабочий как явление собирательное есть нечто лучшее. Нет, не лучшее, а худшее. Потому что первый живот на двух ногах имеет две жадные руки и подобие микрокефальей головы. А второй живот на двух ногах — мечтающий о пирогах желудок собирательный — имеет не две жадные руки, а как некие индусские боги, имеет их множество, но имеет при многорукости лишь то же самое, лишь одно подобие головы микрокефала. Я видел в Петербурге распропагандированных рабочих, исполненных классового сознания, видел достаточно и революционеров. Эти апостолы классовой вражды сплошь представляют собой людей малоумных. У них Дьявол срезал половину головы. Оставшаяся половина яростно торопится думать за две, и потому все мысли у них то упорно выскакивают в одном и том же неизлечимо тождественном наборе близоруких слов, то красуются в заплетающихся экивоках, напоминающих походку пьяного.

— Как бы то ни было, я знаю одно, — с твердостью сказал после раздумья Горик. — Когда по ночам, в Шушуне, я, лежа в своей мягкой уютной постели, читаю красивую книгу поэта, или роман, или философское рассуждение, мне хорошо и я утопаю в чистой мысли, в высоком чувстве. И вот в полночь на фабриках запевают свою зловещую песню гудки. Один гудок, второй, третий, они перекликаются и зовут на смену новых рабочих, которые будут стоять за скучным станком в душной, ничем не украшенной, комнате, в каком-то сатанинском чертоге изготовления ценностей, для тех, кто их готовит, ненужных. Они оторваны от всего, что желанно для глаза и души. Они оторваны от поля, от леса, от сада, они выполняют одуряющий труд, который обогащает не их, и пока я в эти ночные часы наслаждаюсь мыслью, сотни и тысячи

людей, которые по природе своей нисколько не хуже меня, и нисколько не хуже тебя, Игорь, что бы ты о них ни говорил, делают бессмысленное дело, убивающее их мысль и истребляющее их тело. Так не должно быть. Это должно быть изменено во что бы то ни стало.

— Совершенно так. Должно быть изменено и будет изменено непременно. Основной закон жизни есть изменение, как в природе, так и в мире людей. Но детские мысли, которых ты не хочешь стряхнуть, и детские приемы, вернее преступные приемы умственных подростков, духовных недорослей, лишь путают и внутренно искажают неизбежный ход изменения. Развитие отдельных сильных личностей, озаренных полнотой религиозно-философского сознания, определяет и должно определять ход жизни и выработку новых духовных ценностей. А толпа всегда есть толпа и быть иной не может, в Древнем ли Египте или в наши дни. Взгляни на все великое, что было в прошлом человечества. Посмотри на царство фараонов, на могучий Вавилон, на древнюю Иудею, на благословенное царство Израиля. Полная истина или максимум возможной для данного мига истины, открывается всегда избранным личностям, будь то Моисей или Рамзес, и они ведут за собой человеческие множества. Пока человеческая толпа воспринимает от избранников ту часть правды, которая может уместиться в сознании толпы, строится жизнь, создается то, что называют цивилизацией. Позднее, чем шире круг распространения творческой мысли, тем более она утрачивает из своей напряженности и чистоты. Золото делается разменной монетой, чистое серебро превращается в двугривенные, и эти гривенники и двугривенные стираются, становятся похожи на оловянные кружочки, да и превращаются в оловянные покривленные кружочки, — действием той алхимии, которая возникает всегда при желании сделать Божескую правду избранных умов всеобщим достоянием. Нет правды выше и Божественнее слов Христа. Но во что обратились эти единственные слова, поступив во всеобщее обращение среди так называемых христианских народов? Ты знаешь это не хуже, чем я. В лицемерие, в искажение, в пошлость, в пустую внешнюю игру. Почему? Потому что толпа всегда одна и та же, принизительница. И лживый пророк толпы всегда скажет, что все должны быть оди-

накового роста, а если кто головой выше толпы, так эту голову нужно срезать. Как был бы красив тот лес, по которому мы сейчас идем, если бы у всех деревьев срезать верхушки поровну до уровня мелкорослых осин, а заодно и все травы пообкосить с их цветами.

— По твоему рассуждению, Игорь, выходит как будто так, что все великие мысли человечества вспыхивают на краткость в немногих умах и потом бесследно погасают, а жизнь самого человечества все кружится в одном и той же маленьком круге, не более замечательном, чем круговая клетка белки?

— Не вполне так. Возникновению великого учения предшествует всегда напряженное состояние духовных поисков, период великого ожидания. И время возникновения великого учения можно сравнить с весенним цветением, когда все птицы поют и все звери любятся. За этим следует не столь краткий и не такой ликующий, но все же радостный и напряженный период созревания семян и плодов, а за этим долгая мрачная осень и долгая мертвая зима. Но, если в природе из яблонного цвета получаются очень красивые и хорошие на вкус яблоки, а из зерен ржи и пшеницы десятикратная и еще более умноженная жатва, в человеческой жизни на каждое яблоко вырастает сотня тех яблок, что растут около Мертвого моря: снаружи красно и нарядно, а внутри удушье и пепел. И на несколько колосьев целое поле волчцов.

— Это очень жестокая философия.

— Жизнь есть воплощение жестокости по существу. Если бы мы стояли на языческой точке зрения, мы должны были бы сказать, что Белбог и Чернобог борются всегда, но победы Белбога более кратковременны и менее объемны, чем завоевания Чернобога. Мы, люди, дети Хаоса и только на минуты достигаем гармонии, а природа есть царство взаимопожирания, жизнь есть на самом деле ничем не ограниченное царство всесмерти. Старое слово верно, о том, что весь мир во зле лежит. Один Христос есть неисчерпаемое обетование. Но, даже всем сердцем веря в Него, знаешь, как трудно в Него верить, как мало в нашем сердце веры. И совместить Евангелие с Библией — задача, подобная вопросу о квадратуре круга. А Библию должно принять потому, что Евангелие выросло из Библии.

— Но отдохнем-ка сейчас от наших умствований, — прибавил с грустной улыбкой Игорь. — Вон перед нами как раз наш излюбленный бивуак, достолюбезная деревенька Лаптево. Пойдем-ка испьем молока, а я еще кроме того и покурю. Хорошо, ни о чем не размышляя, посидеть в такой китайщине. Если текла эта речка Ракитовка при княгине Ольге и при Святославе, верно и Лаптево тогда стояло на том же самом месте, и те же самые честные мужички там совершенно так же, как теперь, коротали свои дни. Только Горика не было, и некому, значит, было тогда на них умиляться. Горик мой Егорий, Змей мой Горыныч!

14

Поздней ночью того дня, засыпая и никак не засыпая, Горик долго думал о Игоре. Он любил своего старшего брата и знал, что он постоянно думает, постоянно мыслит и страстно мечется от мысли к мысли, не находя душевного успокоения; знал, что под осуждающими презрительными словами у него часто трепещет самая горячая любовь и желание великого совершенства, своего и всего мира. Горику нравилось все, что говорил Игорь, даже и тогда, когда он совершенно был с ним не согласен. Ему нравился его убежденный голос, выражение его лица, странное выражение его зеленых глаз, точно смотревших внутрь, а не вовне себя, когда он оживленно говорил, и живым блеском красиво сочетавшихся с матово-бледным цветом его лица и черным цветом коротких курчавых волос. Игорь всегда рисовался Горику рыцарем мысли, предпринявшим крестовый поход во имя отыскания неведомой и вечно манящей Святой земли. Рыцарь, идущий в Святую землю, часто совершал несправедливости по пути, обижал жителей встречавшихся ему стран, и бывал нередко бранчливым и просто-напросто вздорным человеком, и часто бывал покрыт дорожной грязью и пылью. Но разве это главное или существенное в рыцаре? Главное в нем то, что он вечно смотрит в одну сторону, имеет одну цель, и цель эта священная, постоянно-постоянно носит в сердце жажду и заветную мечту, которая во всем и через все ведет его, как Вифлеемская звезда вела волхвов.

«Он смеется над мужиками, — думал про себя Горик. — А разве это не он два года тому назад слушал с глубочайшим волнением, когда я читал ему вслух поэму Некрасова „Мороз, Красный нос". А разве это не он в прошлом году заплакал навзрыд, когда узнал, что внезапно умер работник Архип, оставив двоих ребятишек, и не он ли уговорил отца не покинуть их без призора? И не он ли мечтал со мной вместе о том, как мы поступим в народные учителя, но потом оба решили, что лучше раньше окончить гимназию и окончить университет? Мы еще с ним сделаем что-нибудь очень интересное».

И вдруг совершенно нелогично, как это бывает, когда ум грезит перед сном, Горик вспомнил, как он только что приехал вначале этого лета в усадьбу. На другой день было солнечное ласковое утро, цветы и деревья сияли и переливались под широкими золотыми лучами, с утра пробежал быстрый дождик, и вся природа была освеженной и вдвойне веселой. В саду перекликались и пели птицы, на деревне перекликались чьи-то задорные и радостные голоса. Все говорило о полноте весенних сил, играющих в высокий миг своего годового праздника. Еще не умолкли весенние песни, хотя последние допевались звуковые всклики птичьих сердец, разбеги радостной мелодии любви в золотисто-зеленом благополучии. На фоне жизнерадостного щебета и чириканья воробьев выделялся веселый перепев зяблика и тонкий колокольчик щегленка, а прерывный, вспевающий и не допевающий свою песню сильный голос захмелевшего соловья, казалось, говорил за всех и за все, восхвалял счастье жизни и единение крылатых существ. Горик молча стоял в саду, и ему казалось, что это утро есть молитва мира к солнцу. Внезапно серым комиком, неведомо откуда брошенным на зеленую ветку, где сидел соловей, упал ястреб, мгновенно схватил его и мгновенно взлетел вверх, улетая с добычей при громких, испугом спутанных птичьих всkликах, звучавших растерянностью и запоздалым предостережением.

Горику показалось, что весь мир опрокинулся в его глазах в эту минуту. Так несовпадало это событие с тем, что было в его душе, что оно показалось ему каким-то кощунственным действием невидимого духа, который видел и слышал все в

его душе и нарочно захотел раздробить ее внутреннюю гармонию.

Он вспомнил, что, когда он рассказал об этом Игорю, тот молча подошел к полке с книгами, достал томик Гезиода, греческий текст поэмы «Труды и дни», и прочел вслух отрывок:

«Так говорил ястреб звонкому соловью, которого он схватил в свои когти и уносил к высоким облакам. Стонал соловей, разрываемый кривыми когтями, но ястреб сказал ему такие властные слова: „Злополучный, о чем ты стонешь? Ведь ты же добыча того, кто сильнее тебя. Туда ты идешь, куда я веду тебя, хотя ты певучий. Горе тому, кто захочет противоборствовать против сильнейшего, чем он. Лишенный победы, пригнетен он позором и скорбями". —Так говорил быстрый ястреб с длинными крыльями».

Дремотные мысли Горика неуловимо перешли в сон. Он стоял на песке в сожженной желтой пустыне. Огромный орел с длинными крыльями, до несколько саженей каждое крыло, быстро возносился вверх, неотступно смотря на Солнце, которое было не золотое, а красное, краснее мака и розы, краснее рябины и калины, краснее всего, что красно. И юноша с тревогой думал, что огромный орел, овеянный ветром пустыни и как бы дышащий напряженными перьями раздвоенного хвоста, летит вверх для того, чтобы склевать солнце.

15

Снова свежие и бодрые, с сердцами, расширенными от ласкового веянья дружбы и от горячего ощущенья воли и юности, Игорь и Горик шли в лесу. Выскочил из-под куста серый заяц, заслышав их шаги, присел на задние лапки, посмотрел на них удивленно, торопливо передними лапками начал мыть свою мордочку, повел ушами, вскочил, прислушался и со всех ног побежал из перелеска в лес. Сорока, проворно мелькая во взлете черно-белым своим перистым платьем, застрекотала и забилась в густые ветки плакучей березы. Красные цветочки липкой дремы тихонько покачивались под ветерком, которого совсем было не слышно. По верхушкам сосен и елей тянулся и переливался мерный звончатый

шелест. Звонким голосом Игорь крикнул: «Ау!» По течению реки откликнулось эхо, и несколько сорок, взлетев, застрекотали и справа и слева.

— Ты знаешь Игорь, — проговорил Горик. — Когда я стою в лесу один, и когда мы молча идем с тобой вдоль Ракитовки, но это когда мы долго молчим, мне всегда кажется, что из глуши идут неслышные для слуха, но ясно слышные для души, голоса, которых я не мог бы лучше определить, как если бы я сказал, что это песня единения. Зеленая листва говорит о беспредельном творчестве, и мне кажется тогда, что я не знаю ничего лучше, чем этот голос зеленого лесного молчания. Это как-то похоже на музыку. На целый оркестр. И золотые солнечные пятна, возникающие то тут, то там на стволах, играют в этом особенно важную роль, но какую, я не сумел бы сказать. Это как в оркестре выделяются скрипки. И в них весь голос оркестра.

Игорь залюбованно посмотрел на брата и кротко усмехнулся. Эта кроткая усмешка очень красила его, скорее строгое и суровое, бледное лицо.

— Ты поэт, Горик. Ты, конечно, будешь настоящим поэтом, и твои стихи будут жить. Но ты очень разбрасываешься, и ни на чем не можешь остановиться. Ты мне говорил как-то чуть не с завистью, что я, когда о чем-нибудь думаю, всегда смотрю в одну сторону. Быть может, это и вправду так. Ведь только тогда и видишь хорошо, когда пристально смотришь в одну сторону. А у тебя, знаешь, какие глаза? Как у мух и стрекоз и у некоторых бабочек. В глазе стрекозы двадцать тысяч граненых зеркалец, а у нашей излюбленной бабочки сфинкс и того больше — двадцать семь тысяч. Это твои сестры. У них зрение не зрение, а мозаика, они видят сразу много тысяч маленьких вселенных, и каждая им любопытна. Но, кажется, они хорошенько не видят ни одну свою вселенную. Не в обиду будь тебе сказано, по кусочкам они видят общую картину, как свет и движение, а форма — сие понятие философское — от них ускользает. Впрочем, — прибавил Игорь успокаивающим голосом, — мнения ученых расходятся. Некоторые полагают, что, так как эти мозаично зрящие летают быстро и попадают при этом как раз туда, куда им нужино, они видят отлично, во всяком случае лучше нас, которые и в рассуждении, и на прогулке нет-нет, да и в лужу или в яму.

— А что ж, Игорь, — с серьезностью сказал Горик. — Я хотел бы действительно походить на этих, как ты говоришь, сестер моих. Бабочки — самое красивое, что есть в природе, а природа, конечно, — самое красивое, что вам дано знать. Человек много хуже. А когда кончается лето, и стрекозы поют так протяжно, мне кажется, что лучше ничего нет на свете.

— Ты недавно мне говорил, что лучше стихов Фета ничего нет на свете, — с улыбкой заметил Игорь.

— Я не помню, чтобы я это говорил. Я говорил только, что его стихи музыкальнее, чем стихи Пушкина и Лермонтова. Я говорил, что он самый певучий из всех русских поэтов.

— Прочти мне какие-нибудь стихи.

— Фета?

— Нет, свои собственные.

— Хорошо. Я прочту тебе последнее. Я его написал сегодня утром. И знаешь, я почему-то подумал о тебе, когда его написал.

— Как называется?

— «Ночной мотылек».

И Горик нараспев прочел стихи.

Легкий ночной мотылек,
Веянье чьей ты души?
Белый ночной мотылек,
Или тебе невдомек,
Сколько рождаешь ты строк
В этой полночной тиши.

Здесь все объято тоской,
Ты неизвестное там.
В каждой минуте — другой,
Нет, я совсем не такой.
Ты, как из бездны морской,
Духом скользишь по цветам.

Ночью ты вызван зачем?
Реяньем меряешь тишь.
Ты непонятен и нем,
Но указуешь меж тем
Путь, предназначенный всем, —
Легкий, ты в ночь улетишь.

Игорь и Горик долго шли молча. Зеленая тишь леса ворожила и ткала воздушные ткани в их юных душах. И тусклое мерцание реки бросало в эти ткани свои отсветы, скрепляя их змеиными матовыми звеньями.

Когда Игорь заговорил наконец, он как будто говорил самому себе, и глаза его исполнились того странного взгляда внутрь, который всегда поражал Горика, а голос был тих и печален, но, мало-помалу укрепляясь, достигал минутами грозной силы.

— Счастливый, счастливый. Когда ты был ребенком, ты никогда не плакал и всегда был всем доволен. Ты был как тихая тень среди своих картинок и книжек, и ты был как счастливая бронзовка среди бронзовок и цветов в саду. И теперь, когда ты мыслишь, ты из мысли берешь только мед. Ты играешь стихом и легкой музыкой касаешься пропасти, едва в нее заглядывая. Ты, шутя наклоняешься над пропастью, не замечая, что на дне ее крики, стоны и скрежет зубовный. Ты поешь, и тебе кажется, что песня твоя сильнее, чем всемирный голос разрыва. Да, природа красива и человек много хуже, чем она. Но, пока мы на нее любуемся, в ней совершается безграничное убийство. Смерть — ее основной стержень, ее спинной хребет. Смерть — заправитель жизни и главный художник всех ее перемен, воспринимаемых как красота. Смерть — бродило хмельного напитка жизни. Ты грезишь о далекой Индии, где голубые горы, и белые лотосы, и кроткие люди, которые живут в таком ощущении всемирного единения, что никто не ест мяса, потому что к каждому живому существу они чувствуют уважение. Но эти существа поедают безостановочно друг друга, и люди уважают зверей, а дикие звери каждый год поедают людей в Индии сотнями и тысячами. Бенгальский тигр, совершающий свой прыжок, чье это изобретение, Бога или Дьявола? Если Дьявола, зачем Бог не удержит его? Если Бога, в какую пропасть падает наша человеческая мысль о благости и о жестокости? Да и зачем ходить так далеко? В ту самую минуту, когда мы говорим с тобой, в соседнем лесу, разве лисица не перервала горло зайчонку? Разве сова не притаилась в глуши и не дожидается ночи, чтобы, в темноте рассмотрев своими кошачьими глазами спящую птицу, растерзать ее? И стрекозы поют так хорошо, что тебе кажется эта песня лучшей в мире. Желтокрылая

земляная оса так не думает. Она уколет стрекозу или сверчка своим ядовитым жалом, не убьет, а только оцепенит, притащит в свою нору, и отдаст своей личинке, которая будет пожирать полуживую добычу, обессиленную, но чувствующую пожирающие челюсти.

— Смерть вездесуща, и вездесуща любовь, — сказал Горик.

— Любовь тоже имеет разные лики, — ответил Игорь. — Так как мы говорим сейчас о природе, которую оба любим, я напомню тебе, что паук после любовного соединения тотчас убегает со всех ног от паучихи, если же он не успевает это сделать, она его пожирает. А самка богомола, имеющая человеческую или дьявольскую способность, — единственную в мире насекомых — повертывать свою голову на шее по бокам и назад, иногда во время любовного объятия повернет свою выразительную мордочку назад, откусит своему Ромео голову, и начинает его есть, пока он еще с ней соединен в сладостном объятии любви.

— Ты не раз восхвалял Спинозу, — сказал Горик, чувствуя себя в душном тупике. — А не его ли это слова? «Мудрость есть размышление о жизни, не о смерти». — Sapientia non mortis, sed vitae meditatio est.

— Каждое размышление, если оно длится достаточно долго, спотыкается о скелет, — с горечью возразил Игорь. — Каждое движение мысли ведет ее через ворота смерти. Этого избегнуть нельзя. Единственное по своему величию событие в истории человечества, значение которого нельзя оценить достаточно, есть крестная жертва Христа. Он развязал тот узел, который давит человеческое горло. Когда мы смотрим душой на этот лучезарный свет, мы твердо знаем, что не пустое это слово «Смертию смерть поправ». Нет, из столетия в столетие и из часа в час нашей жизни в этом слове неисчерпаемое обетование. И если прав Иов, что человек рождается на страдание, как искры чтоб устремляться вверх, в Христе ветхий Адам сменен новым, бесконечно лучшим и Божески верным. Но крестная жертва Христа искупила лишь человеческую душу, не изменив природы и ее страшного закона, который есть беспредельное взаимопожирание. И тот же Иов с простодушием ветхого человека говорит: «Так, не из праха выходит горе, и не из земли вырастает беда». — Но это в кор-

не ошибка. Именно из праха, из самой его сущности, вырастает горе всего живого, и беда коренится в самых недрах Земли, которые полны взаимоборющихся сил, и в двух пылинках, в двух атомах, взаимно отталкивающихся, записана все та же некончающаяся повесть Каина и Авеля.

16

Осенью этого года в городе Шушуне произошли события, нарушившие мирное течение жизни. Дело было в том, что где-то около Москвы Благодельский был схвачен полицией по обвинению в государственном преступлении. На допросе он вел себя малодушно и дал некоторые указания, которые значительно облегчали как его участь, так и дальнейшие расследования, предпринятые жандармерией. Как раз в это самое время мещанин-философ Диоген Шушунский надумался наконец заняться революционной пропагандой, но чуть не первый его клиент, маленький часовых дел мастер, почиталпочитал принесенную ему Диогеном некую подпольную книжицу и счел самым подходящим снести ее по начальству. Диоген был арестован и на первом же допросе выдал все, что знал. Местный жандармский полковник сделал ряд обысков. Как раз перед началом их исправник и предупредил Ирину Сергеевну и Евстигнеевых о готовящейся грозе. Горик из упрямства не захотел убрать из своего сундука революционные издания. Ему очень даже нравилась мысль о тюрьме и Сибири. Но его друг Коля Перов как более рассудительный, не желая, чтобы какие-нибудь неприятности постигли Гиреевых, которых он любил как родных, похитил без ведома Горика всю эту литературу и спрятал в какой-то ларь в каретном сарае. Однако жандармский полковник так-таки и не посмел сделать обыск в доме двух городских премьеров, и главная добыча ему не попалась в руки. Он арестовал впрочем смотрителя земской больницы Причетникова, о юношестве же дал знать соответственному учебному начальству. Купеческий сын Крутицкий, оставшийся на свободе, пришел в жандармское управление, заявил, что ему необходимо видеть жандармского полковника, и, когда тот вышел к нему, он со всего размаха ударил его по лицу. «Это за Причетнико-

ва», — объяснил он. Его арестовали, при аресте избили, позднее он был сослан административным порядком на пять лет в одну из северных губерний. А Причетникова продержали около года в тюрьме, где, не выдержав тюремного воздуха, он и умер от чахотки.

Несколько семинаристов исключили из семинарии, с десяток гимназистов исключили из гимназии. В числе исключенных были Евстигнеев и Георгий Гиреев.

Иван Андреевич, очень расстроенный всей этой историей, решил, что Горику лучше при таких обстоятельствах посидеть в деревне, а не в городе, и поселил его в деревенский флигель. Сам он часто отлучался в город, и Горик целыми днями был совершенно один. Надо сказать, что он был необыкновенно этим счастлив. Гимназическая учеба исчезла, а любимые книги остались. И рано наступившая зима, со своими ясными днями и свежей порошей, казалась ему похожей на невесту, надевшую белый подвенечный наряд.

Он ничего не думал о будущем, он весь был в настоящем. Часы на стене мелодически отбивали течение минут, мерили счет от одного до двенадцати, и много возникало мыслей от часа к часу, чувства слагались в такие же прихотливые узоры, как разветвления морозной грезы на похолодевших стеклах окон. Очутившись в одиночестве, юноша впервые сполна заглянул в свою юную душу и увидел, что грезящее и мыслящее сознание отдельного «я», наделенного художественным мироощущением, есть высшее богатство, какого только можно желать. Игнатий Лойола говорил: «Бог и я, нас только двое в мире». Юный Георгий не знал слов Лойолы, но душа его чувствовала именно так, только он не называл то другое, что было вне его «я», словом Бог. Это слово он не произносил никогда, не из отрицания, а именно из постоянного чувствования его, но чувствования застенчивого и лелейного, не дозволяющего, в силу лелейности, называть любимого, любимое, а думая о любимом, говорить только об отдельных его свойствах, об отдельных частях великого царства, через которые светит лик любимого. Когда на зимнем небе всходило солнце, и было не по-зимнему ярко, Горик чувствовал, что в эту счастливую минуту в мире только солнце и он. Только он и жемчужный серп новой луны грезили о милом лике желанной девушки, которая далеко. Снежинки входили в эту юную

душу как вести из царства грез. Время и пространство превращались в живые сущности. Синий далекий лес, от дали воздушно-синий, будил в юном чувство краски и стройной линии, ворожил и внушал стихи. Приходила ласковая ключница Устинья, приносила самовар. Путаясь в ее платье, приходил с ней черный кот и ластился, и мурлыкал. Часы мелодично звенели, самовар пел песни, черный кот лежал у печки и, призащурив глаза, мерцал этими зелеными драгоценными камнями. По двору кто-то мерно ходил, и снег тихонько скрипел под шагами. «Как хорошо жить!» — говорил про себя юноша. И залетная гостья всех отмеченных сладостным благословением, в котором есть и проклятие, завороженных тем заклятием, в котором есть вечное благословение, медвяная жужжащая пчела-рифма превращала эти одинокие часы в сказку.

17

Счастливое отшельничество Горика продолжалось всего несколько недель. Ирина Сергеевна была нрава слишком властного и живого, чтобы оставить так глупую историю разгона юношей из учебных заведений. Она отправилась в округ хлопотать, и все юные государственные преступники были снова приняты в соответственные классы. Их только разослали по соседним городам, и каждый кончал курс на положении поднадзорного, помещенный в квартиру своего классного наставника.

Последние два года гимназии и два года университета, который Горик скоро бросил, отдавшись самостоятельным умственным поискам, промелькнули спутанно и не внесли в его душевную жизнь ничего решающего, что не было бы лишь продолжением того, что возникло уже в детстве и в ранней юности.

Только два события произвели на юношу неизгладимое впечатление. Первое произошло, когда он был в восьмом классе гимназии, в губернском городе Среднем, ранней осенью. Второе ровно через год.

Игорь давно уже удивлял своих друзей и свою родную семью странными переменами в характере и поступками, кото-

рые казались беспричинными. Естественный факультет он бросил и перешел на юридический, бросил и это, и перешел на филологический факультет. Поступил в кружок спиритов и долгие месяцы увлекался медиумическими сеансами. Проклял изучение медиумизма, как кощунственное злое колдовство. То предавался излишествам страсти, то как монах опускал глаза при виде женского лица, вел образ жизни подвижников, морил себя голодом, простаивал целые ночи на коленях в жаркой молитве. Весь ушел в изучение Библии и в невыполнимую задачу объединить в гармоническое религиозно-философское целое — жестокое Пятикнижие, все обрызганное кровью, и евангельскую повесть, напоенную словами любви и нежным духом полевых лилий.

Ворожею не оставляй в живых. Кто совершил недолжное, побей его камнями. Кто виновен в злом слове, истреби его. Кто не то поел, что должно, да истребится душа эта. Истреби, побей, убей, истреби. Эта дьявольская заповедь испещряет страницы, по изуверству считаемые священными.

Игорь снова и снова читал бесчеловечный рассказ о том, как, установляя Бога и от имени Господнего говоря, Моисей учил сынов Левииных препоясаться мечом и пройти по стану от ворот до ворот, и чтоб каждый убивал брата своего, и каждый друга своего, и каждый ближнего своего, и как пало в тот день из народа около трех тысяч человек, а Моисей сказал убийцам: «Сегодня посвятите руки ваши Господу».

Он читал дальше, как Моисей заколол овна посвящения, и взял крови его, и возложил на край правого уха Аарона (это, чтобы кровью слушал, мысленно добавлял Игорь), и на большой палец правой руки его, (это, чтобы кровью и закланием действовал, воспаленно добавляла мысль), и на большой палец правой ноги его, (это, чтобы по крови ходил и по убийству, ужасаясь, добавляло сердце). «И покропил Моисей кровию на жертвенник со всех сторон». И воспаленной мысли казалось, что с неба на землю падает длинными струями кровавый дождь.

Игорь раскрывал Евангелие, читал, как, вопрошаемый саддукеями, Иисус говорил о собеседовании Моисея с Богом при огненном кусте, и мысль его терялась, пугаясь и падая и не в силах подняться.

Когда в это последнее лето Игорь приехал в Большие Липы, он и Горик опять много и часто говорили друг с другом. Но прежняя их ласковая умственная дружба превратилась в беспрерывное умственное враждование, со стороны Игоря яростное. Чем фанатичнее говорил Игорь, тем спокойнее говорил Горик, и этим спокойствием вызывал у старшего брата вспышки проклинающего гнева. Когда Горик, под влиянием старшего брата хорошо ознакомившийся с Библией, говорил Игорю о глубокой своей неприязни к Пятикнижию и указывал, что гораздо больше религиозной красоты и человеческого чувства просветленного в других частях этой книги или, вернее, собрания разнородных и разноценных книг — в поэме высочайшего полета, зовущейся книгой Иова, в отдельных страницах пророка Исайи, Амоса и Осии, в нежной пасторали, рассказывающей о Руфи, в псалмах, в Песни песней, этом виноградном грозде, насыщенном лучами солнца, — Игорь называл его слова змеиным соблазном, говорил, что нерукотворный храм нужно весь отвергнуть или весь принять, и укоризненно указывал, что в Евангелии от Матфея Иисус, искушаемый Дьяволом, прогоняет от себя Сатану, ссылаясь как на высшую правду на слова завершительной книги Пятикнижия.

Особенный гнев Игоря вызывал Горик, говоря, что он Будду считает таким же в веках полноправным Сыном Божиим, как Иисуса Христа, и такими же Верховными Вестниками считает основателей других мировых религий, отражающих частично неисчерпаемый свет Миротворящего Духа, как отдельные цвета отражают частично красоту радуги и отдельные цветы в саду и в поле все равно суть дети солнца.

— Почему ты всегда говоришь о крестной жертве? — сказал однажды Горик Игорю. — Мне кажется, что распятие заслоняет от тебя другую красоту и правду Христа. Я вижу Его идущим с детьми и говорящим о цветах и птицах. Я вижу Его ласково разговаривающим с учениками, в то время как они идут по зеленому простору полей и среди желтых зреющих колосьев, которые им весело обрывать. Разве мы, если Тот, Кого любим, умер в лике скорби, вечно должны и видеть Его в этом печальном лике? Разве и нам нельзя думать о Нем таком, каким Он воистину же был, когда Ему было светло и хорошо, когда, излучая из себя

благословение, Он говорил слова, на веки веков сияющие радостью и жизнью? И мне кажется, что лучшее чудо, которое Он совершил, это было превращение воды в вино на празднике в Кане Галилейской. И мне кажется еще, что мировая воля, которая всем правит, для полноты нашего духовного зрения дала нам в двух разных народах, в две разные эпохи, два взаимодополняющие образца высочайшей правды, предельного человеческого совершенства, достигающего Божественности: Голгофу Христа и мирную кончину Будды.

— Каким образом? — спросил подозрительно Игорь.

— Христос умер, не довершив своей земной жизни, молодым и распятым. Сакья Муни, совершая свою жертву, отрекся от царства, от любимой жены, от любимого ребенка. Достигнув полной внутренней правды, полного единения с ведомой ему Вселенной, сделавшего его Буддой, он спокойно умер в глубокой старости, и, когда он умирал, небесные духи пели ликующую песню, а высокие деревья осыпали его своими цветами. Судьбы людей разны. Если человеку суждено страдание, вплоть до мучительной смерти за других, перед ним высоким светом и утешением стоит лик Распятого. Если ему суждено прожить долгую жизнь в полной гармонии с миром, ему светит образ Будды.

— Оглянись, оглянись, — с искаженным лицом воскликнул Игорь. — За тобой стоит Дьявол!

Голос Игоря был такой повелительный в эту минуту, а его побледневшее лицо таким властным, что Горик невольно обернулся. Он не увидел Дьявола за собой, и, пожав плечами, сказал:

— Безумие. — «Это правда безумие, — подумал он про себя. — Игорь сходит с ума».

Так оно и было в действительности.

Вскоре после того, как Игорь уехал в Москву, — он перешел в Московский университет, — а Горик в тот губернский город, где он кончал гимназию, к Горику неожиданно приехала встревоженная Ирина Сергеевна. После первых приветствий она молча показала ему полученную накануне телеграмму от Игоря: «Чудом трижды спасся от смерти. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя».

Горик похолодел, прочитав эту телеграмму. «Пришло», — подумал он.

Ирина Сергеевна уехала в Москву и не нашла Игоря на его квартире. Расспросив у его товарищей обо всех его привычках и о том, где он был последнее время, она бросилась на поиски. Ее энергия оказалась ей очень нужной. Исходив и изъездив чуть не пол-Москвы, она нашла Игоря в каком-то участке. Он был избит и связан. Сперва его приняли за пьяного, потом увидели, что он душевно поврежден, и не знали еще, что с этим предпринять. Больного отдали матери, она увезла его в тот город, где был Горик, — там была хорошая психиатрическая лечебница.

18

Поезд пришел около полночи. Была ясная осенняя ночь, когда все небо кажется залитым звездами. Горик увидел, как от поезда идет к нему навстречу Игорь, с одной стороны рядом с ним была Ирина Сергеевна, с другой один его товарищ по университету, студент Званцев, захотевший проводить его. Игорь шел и, делая размашистые движения правой рукой, безостановочно крестился. Его лицо было строго и торжественно, он смотрел поверх толпы, как бы никого не замечая. Все кругом сторонились и уступали дорогу, проникаясь удивлением и боязнью. При выходе из вокзала, пока Званцев нанимал извозчиков в гостиницу, Игорь закинул вверх лицо и, тихо сказав: «Сколько звезд!», долго-долго не отрывал взгляда от ночного неба, точно силясь что-то прочитать в нем, точно отыскивая в нем что-то с напряженностью — то, что улетело именно туда, в безграничность звездного мира, летит вон за той звездой, и за той, глубже, дальше, летит, улетает, потерялось, стерлось, исчезло навсегда.

Исчез навсегда, сломлен высокий дух и не поднимется больше. Истреблен безжалостным постановлением темных сил, неисследимых.

Когда на другой день шли переговоры Ирины Сергеевны с главным врачом лечебницы, Горик и Званцев с Игорем ходили по высокому валу, окружающему город. Было тихое солнечное утро.

В чем состоит в конце концов безумие? Игорь казался не более безумным, чем подвижник, который считает, что нужно беспрерывно креститься, и не считает должным обращать какое-либо внимание на тех, кто не видит то, что он душой своей видит совершенно четко не более безумным, чем мыслитель, который чувствует живой и убедительной лишь свою трудную запутанную теорему чем поэт, который весь живет только в чувствуемом его мыслью образе и может говорить отрывочно и особенной речью об этом образе, а о всем другом или будет молчать, или скажет бессвязные слова.

Было что-то захватывающе убедительное во всем лике безумного, и в словах его, которые он как будто говорил самому себе.

— Саваоф, Саваоф, Саваоф, безгранична слава Его, и я Его верный! Нет другого, такого, как я. Ты знаешь это, Всевидящий, и потому Ты дал мне эту власть. Я и Отец одно. Что Ему открыто, открыто мне. Все, что во мне, от Него. Я был с Ним на высотах Синая, Он лучезарный и огненный. Я был с Ним, когда Он велел Аврааму убить Исаака, и отец поднял на сына нож. Еще не пришел тогда час, чтоб отец убил сына. Но на Голгофе убил Отец Сына, ибо сроки исполнились. Кто же как не Отец убил Сына, ибо волос не спадет с головы твоей без Его воли. И вот новая жертва Отца, который ничего не пожалеет для мира, чтобы спасти его. Я жертва вечерняя, я Игорь, волосы мои черны как ночь, но ночью читаем мы звезды и знаем весь наш приговор. Кровью скреплены миры, сияющие ночью как звезды. Кровью звенит каждая минута. И если с неба идет дождь, и капли звенят, не вода, это кровь звенит, скрепляя миры и жизнь. Кровь моя нужна Всевышнему и Он возьмет ее, а я прославлюсь. Весь мир есть подножие Всевышнего, а я Его верный.

— Они говорят — безумный. Он потерял рассудок. — Игорь усмехнулся, и лукавая, и трогательная, и жалкая была это улыбка. — Безумные — они, смотрящие и не видящие слепыми своими глазами. От одного дня до другого живут они, от одной заботы до другой, от праха к праху, от пылинки до пылинки. А времени нет, есть только Вечность. Сказано было, что времени больше не будет, и вот его нет. Потому что я пришел опять и остановил все часы как ненужные. Я, вер-

ный. Проникающий до глуби звезд и до предельных малых величин, до беспредельных. Все мне позволено, я и Отец — одно. Солнце еще будет гореть, и будет казаться, что есть дни и ночи, но это лишь зрение, телесные глаза. А мои глаза умеют смотреть внутрь. Я смотрю в себя, я иду одной дорогой, и моя дорога — путь. Я — путь. Саваоф, Саваоф, этот путь — до Тебя. В Тебе все ключи, и нет кривизны замка. Еще побуду для них как солнце, они не видят Тебя. Еще немного побуду с ними, и уйду к Тебе. Ни женщины, ни друга, ни матери, ни брата нет, у меня нет брата. Я один и я с Тобой. Я уйду к Тебе. Я посмотрю в себя. Ты во мне. Я в Тебе. Саваоф, Саваоф, Саваоф!

19

Главный врач больницы, в которую поместили Игоря, разрешил Горику два раза в неделю навещать брата. Больной редко бывал буйным, но почти все время он был одержим религиозным бредом, целыми часами молился, безостановочно говорил и совсем не спал ночи. Он узнавал тех, кто приходил к нему, но, говоря, всегда говорил к самому себе или к кому-то отсутствующему, так же замечая и не замечая живых людей, как он замечал и не замечал передвижение теней на полу или смену света и тьмы. Все, о чем он думал с детства, все, что он читал и что пережил, проходило в его бреду в напряженной, спутанной, бесконечной процессии. Потерявшаяся мысль беспомощно старалась связать в одну цельность разные мысли, взаимоисключающие одна другую, доводы чистого рассудка и догматы церкви, слова Евангелия и причудливые ереси первых веков христианства, видения Апокалипсиса и собственные сны. Казалось, что он без конца убеждал и уговаривал неисчислимые сонмы призраков, которые незримо толпились около него, свидетельствуя о своей непреклонной решимости быть в розни и сеять вражду всего ко всему, тогда как ему было четко зримо, что правда одна, что дорога, которая есть путь, одна, что жертва радостна, и, если все примут жертву покорно, времени больше не будет, и Вселенная станет одной неизменяющейся, хотя изменчиво сверкающей, Вечностью,

как мельчайшие капли влаги, превратившись в снежинки, все сверкают по-разному на снежной поляне, и все вместе образуют одну огромную снежную равнину, на которой все так бело, так тихо, так спокойно. Но временами Игорь ясно понимал, что он потерял рассудок, он становился тогда мрачен и молчалив. Ему казалось, что на стенах, в обоях, возникают лица, которые на него смотрят, следят за ним, ждут. Эти лица ждали, чтобы он ушел из жизни, и внушали ему, что, если его рассудок перестал ему подчиняться, и стал независимым от его воли, он должен уйти из жизни, перестать быть таким, каким он сейчас. Приближались Святки. Больной был тихий и грустный. Он постоянно повторял, что ему хочется уехать домой, к отцу и матери. Главный врач написал Ирине Сергеевне, что он не имеет ничего против перевоза больного домой. Был назначен день отъезда Игоря в сопровождении больничного опытного слуги. Но, когда приближался час отъезда из больницы, больной ни за что не пожелал снять свой больничный халат и переодеться в свое платье. Он соглашался впрочем надеть шапку и поверх халата шубу. Было решено не применять насилия, а повезти его так, и, прикрыв сверху меховым одеялом, отложить полное переодевание до вагона. Но тут скрывалась хитрость безумного, который принял тайное решение.

Вокзал отстоял от больницы на две с половиной версты. Извозчику велели ехать поскорее, и, когда он отъехал около версты, безумный быстрым движением сбросил с себя шубу и шапку, распахнул халат и разорвал на себе рубашку. Все это было сделано с быстротой чрезвычайной и с угрожающими движениями. Служитель растерялся, ничего не мог сделать с больным, и нашелся только крикнуть извозчику: «Пошел во весь опор!» Извозчик мчал, но эту половину дороги до вокзала все время Игорь с упоением, с диким восторгом, подставлял свою голую грудь морозному ветру. По приезде на вокзал он мгновенно ослабел, и не боролся, когда его одевали. Быть может, он и сознательно уже не боролся. По-своему он знал, что то, что должно было быть сделано, уже совершилось.

По приезде домой выяснилось, что у него началось крупозное воспаление легких. Болезнь перешла в скоротечную чахотку, и через несколько месяцев он угас.

Перед смертью разум вернулся к Игорю, но он почти ничего не говорил. Ему страстно хотелось жить, и он надеялся, что, если он поедет в Сибирь, где такой здоровый воздух, такие могучие реки и леса, он поправится. Он грезил о вековых кедрах, о водах Байкала, о лесах, где бродят в первобытной вольности лоси и кабаны. Временами он тихонько плакал и говорил, что Бог мучает его, что Бог его больше не любит.

Первые пчелы жужжали около первых расцветших верб, и Страстная была неделя, когда в сельской церкви пели панихиду о юном, ушедшем в путь без возврата. Бледные и печальные, молились о нем отец и мать. Молились братья. Истово крестились пришедшие в церковь мужики, молились и они о том, кто лежал в гробу и ушел из жизни, не сделав им ничего злого, не сделав им и ничего доброго.

У Горика сжалось горло, когда, кладя земные поклоны, он вспомнил возглас брата: «Я Игорь. Я жертва вечерняя».

— Во имя чего же ты жертва? И какого дня ты вечер? Не как вечер я буду тебя помнить всегда, и не как черную ночь, хотя бы и звездную, а как Утреннюю звезду, в первый час весны над зеленым лугом.

20

— Я не знаю, что лучше и что хуже, я не знаю, что печальнее, — говорил сам с собою Горик осенью того же года, — преждевременная ли смерть юноши, вся короткая жизнь которого пронеслась как один сплошной яркий сон, как одно празднество мысли и воображения, или самовольная смерть человека, прожившего целую жизнь и увидавшего, что прожитая жизнь вся была ошибкой. Первое лучше, сколько бы ни было в этом печали.

Он говорил так, узнавши о неожиданной смерти Огинского. И он не мог понять, как человек, полный сил и так любивший жизнь, с такой легкостью расстался с ней и по причинам как будто совсем недостаточным.

Огинский разорился. Управляющий его имения в Виленской губернии так хорошо вел дела, что имение пошло с молотка. Он мог бы жить доходами со своей образцовой аптеки, но провизор, которому он доверил целиком приходо-рас-

ходные книги, не только отлично составлял порошки и микстуры, а и великолепно умел переводить цифры прихода в свой собственный карман. Этот дополнительный его талант разоблачился слишком поздно, когда дело было трудно поправить. А то обстоятельство, что два такие удара последовали непосредственно один за другим, повергло Огинского в черную меланхолию, и, став припоминать всю свою жизнь, он всю ее счел ошибкой и неудачей.

Лучшие годы своей жизни он прожил не в родных местах и порвал естественную связь с тем, что для каждого чувствующего человека дороже всего на свете. Конечно, та, кого любишь, та женщина, которая желанна, часто может заменить влюбленному сердцу родину и все, что родное, любимое с детства. Но эта любовь целой жизни, — если вспомнить и правильно взглянуть, — что же дала ему, кроме нескольких торопливых глотков счастья, всегда и навсегда отравленных укорами неспокойной совести? И не наложило ли это чувство на долгие годы тяжелый крест, упавший не только на его плечи, но, быть может, гораздо тяжелее на плечи того, кого он звал своим другом, и кто по благородству своему, по высоким качествам души, молча принял жизненное бремя, никогда не делая различия в своем отношении к сыновьям, называвшим его отцом? Видеть годы и годы, говоря со своими детьми, лица, похожие на свое, и лица, непохожие на свое, и никогда не изменить отцовской своей доброты. Не жертва ли это нечеловечески трудная, и тяжесть ее, сделавшая того, кто нес бремя, вдвойне молчаливым и печальным, не бросает ли огромную тень на все, что было светлого, что было желанно и дало лишь несколько глотков отравленного счастья?

Было ясное сентябрьское утро, когда Огинский пришел к Ирине Сергеевне и говорил такие странно-непохожие на него слова о себе и о ней, что она чрезвычайно встревожилась. Уходя, он сказал ей:

— Я еду охотиться. В наши места. В Тихоречье и Лебединый Слет. В последний раз.

— Зайдите ко мне тотчас же, когда вернетесь, — сказала Ирина Сергеевна. И вдруг, изменившимся голосом, сама не понимая, почему она говорит это, прибавила:

— Или хотя напишите мне два слова.

И когда он ушел, долго мучилась мыслью, почему она не сделала того, что она хотела сделать. Ей хотелось подойти к Огинскому и поцеловать его в лоб.

Немного стрелял дичи в то утро Огинский. Тонкий и высокий как жердь, зловещий Мишка Шагин угрюмо шел за ним и про себя говорил злые слова. С тех пор как в доме стало значительно беднее, он сильно поколебался в почтении к своему барину, почтения впрочем он никогда и не испытывал.

Огинский подошел к болоту. Он вынул из кармана карандаш и листок бумаги и написал несколько слов.

— Возьми эту записку, — сказал он слуге, — и тотчас отвези Ирине Сергеевне. Потом вернись сюда.

Мишка Шагин взял записку и сделал вид, что уходит в соседнюю деревню, где была оставлена лошадь. Но в лице Огинского и во всей его повадке было что-то такое странное, он был такой необычно торжественный, что Шагин подумал: «Нет, брат, шалишь, посмотрю-ка сперва, что ты тут будешь делать». Он зашел неподалеку в чащу, и стал оттуда смотреть.

Огинский долго стоял без движения, не шелохнувшись. Потом он осмотрелся кругом, приподнял лицо и посмотрел на солнце, сбросил фуражку, перекрестился и твердыми шагами пошел в болото, в самую топь.

— Чудит, — подумал Шагин. Хотел выйти и крикнуть, побоялся, что забранит. — Да и что мне за дело, что чудит, — подумал он. — Всегда чудил, до смертного часа чудить будет.

Но, когда Огинский зашел в самую топь и начал тонуть, он выбежал из чащи. Огинский, не видя его, поднес левую ладонь ко рту и упал. Ноги его были по колена в болоте, голова и верхняя часть тела завалилась на кочку.

Шагин опрометью побежал в деревню.

На деревне все делается не сразу. Кто про что, послали за становым, кто-то догадался послать нарочного за земским врачом и в Большие Липы к Ивану Андреевичу. Когда наконец у болота были все, кому нужно и кому не нужно было там быть, не так легко было найти желающих спасать Огинского. Кое-как наконец его вытащили из топи. Когда к нему добрались, он неподвижно лежал на кочке, и только ноги его

до половины потонули в болоте. Лицо его было обращено вверх. Он уже похолодел. Правая рука застыла в крестном знамении.

В суматохе Мишка Шагин совсем забыл о данной ему записке. Когда на другой день он нашел ее у себя в кармане, он со злобой подумал: «Буду я еще передавать теперь твои записки». И сделав из записки цигарку, он насыпал ее махоркой, и, молча посмеиваясь, выкурил. Никому и никогда он не рассказал, какую однажды он выкурил цигарку.

А Ирина Сергеевна, и тогда, и много лет спустя, думая о смерти Огинского, всегда с горечью говорила про себя: «Как мог он не послать мне прощального слова?»

Осталось неясным, вольная или невольная была эта смерть. Но вольная она была. В чужом лесу, на чужом болоте. Но разве не каждый лес для охотника родной, и разве не каждое болото манит его душу, своими птицами и цветами, своею странной топью, шатким голосом зыбкой основы, говорящим душе о начальных днях земли, когда земля и вода еще не могли и не хотели разъединиться?

С лицом, обращенным к небу, он умер, человек, захотевший умереть. И когда он, умирая, прощался со всем, что в жизни мило, в этой бледной синеве сентябрьского неба тянули и кричали долгим криком журавли, быть может, те самые, которые когда-то, когда-то, кричали долгим кликом-перекликаньем над юной женщиной, убегавшей к любимому от другого любимого.

21

Прошло пять лет. Было начало последнего безвоздушного десятилетия, замыкавшего износившийся девятнадцатый век, самомнительный, беспримерно самоуверенный и в слепоте своей нагромоздивший столько злых узлов, что благополучно их распутать, или хотя бы разрубить, не смогут и два и три новые столетия.

Изобретение Дьявола, бездушная и все же имеющая душой неограниченно развивающуюся и развивающую жадность, машина, бывшая когда-то орудием и ставшая полновластным господином, завершала свое предварительное

сатанинское действо, всюду оскверняя своим прикосновением земные и морские просторы и создавая немилосердные нагромождения людей, не оправдываемые никакой духовной задачей, нагромождения злые по существу, ибо миллионы людей, не связанные между собою ничем, кроме общности зависти и злобы, работая, совершали ненужную работу, ненужную для них, ненужную в конце концов ни для кого, кроме небольших кучек, хищнически существующих, машинных людей, механически предпринимающих машинное умножение ложных целей, ложных ценностей, неограниченное заражение воздуха дурным духом фабричных труб, дурным духом духовным, неизбежно возникающим всегда при скоплении толпищ, глупеющих и звереющих в правильном соответствии с возрастанием арифметических рядов.

Под покровом бессодержательных слов, которые хотели казаться добрыми, не будучи ничем иным, как умственной шелухой, шуршащей скорлупой давно уже съеденных или сгнивших плодов, совершалось планомерно, злое дело подготовки в исполинских размерах свирепого взрыва разрушительных сил, пиршественное заклинание к выходу из-под земли двух злейших привидений, какие только дано знать человеческому опыту, подкрашиваемых близорукой и лицемерной мыслью, двух выходцев из ада, которые зовутся война и революция.

Перед грозой бывает душная тишина. И в саду в мгновения грозного затишья обворожительно поет весною иволга, виолончельными своими переливами теша слух и утоляя в слушающем жажду освобождающей музыки. Она поет, взволнованно радуясь еще не пришедшим, но уже летящим в высях громам и молниям. Она поет, предчувственно радуясь тому, что вот-вот брызнет освежительный поток серебряных пляшущих капель. И что ей, певучей, до того, что, быть может, эта самая гроза не только очистит воздух, но и кого-то убьет, что-то истребит, что-то подожжет, быть может, сожжет то самое дерево, на котором ее гнездо, ту самую липу, в чьих ветках звучит эта птичья виолончель.

В последнее десятилетие изношенного века, в безвоздушное, когда в великой стране, раскинувшейся от моря до

моря и из материка в материк, притихли голоса, уставшие повторять одно и то же, и перестала петься песня, потерявшая в душном воздухе свою певучую основу, ослепительно-звонко и освобождающе-свежо зазвучал молодой голос Георгия Гиреева, юного поэта, нашедшего в глубине своей хотящей души, влюбленной в музыку и познавшей радость полного перевоплощения во все то, к чему она приближалась, новый зазывчивый стих, поющий о смелости, о воле, о счастье, пронизанный солнцем и являющий касанье тончайших лучей, ведущих к серпу новой луны, победный стих, похожий на поцелуй, в час мирового причастия души, которая не примирится с меньшим, как ко всему коснуться и, становясь тем, к чему приближаешься, постичь в безграничном разнообразии связующее единое, обойти всю землю от полюса до полюса и приникнуть ко всем хотящим душам, времен исчезнувших и мгновения бегущего, обнять своим понимающим любящим сознанием лик всех живых существ, творческую игру всех стихийных сил, открывающих горницы несказанные тому, кто подходит к загадкам дорогой любви.

22

На лугу, прилегающем к родному гумну, только что выкосили высокую траву и сметали ее в душистые копны. Вечер погас. Песни умолкли. Все разошлись. В темно-синем небе засветился новый серп, и редкие, дрожащими алмазными каплями, возникли звезды.

Георгий Гиреев был один. Он лежал на свежем сене, на свежей скошенной траве и, полузакрыв глаза, грезил. Долгое пение стрекоз говорило ему, что лето кончилось и что скоро на ровном темном гумне бодрящим равно мерным напевом застучат тяжелые цепы, загудит вровень с ними молотилка.

В сердце юного было спокойно и полно от этой тишины благоуханной ночи, как спокойно и полно после прошедших дождей бывает в завороженном затоне, налитом до краев.

Сколько скрывается в глазах девушки и сколько раскрывается в них, когда поцелует и обнимет она объятием любящей женщины, это он узнал, он знает. Сколько в мире дорог, как их много, уводящих и раскрывающих тайны, он предчувствует, знает. Их много, говорящих о разном, цветущих, неведомых стран, он все их увидит, узнает, так хочет, так будет, нужно только хотеть воистину. Но из каждой страны, как бы они ни были далеки, новые манящие певучие цельности, он, как связку цветов, принесет новую угаданную тайну в свой дом, чтобы новую пропеть, еще не спетую песню своей родимой земле.

Сколько скрывается в единой минуте, когда свидишься со смертью глазами в глаза, призвав ее и узнав, что она лишь коснулась тебя, но велела жить, отдала безумно-смелому часть своей исторгнутой тайны, но велела бессловесно вернуться к жизни и полностью жить, это он знал. Нет, не всесмерть наш мир, несмотря на все его противоречия, а певучая всежизнь, где для творящей ваяющей воли открыт полный простор.

Полузакрытыми глазами юноша видел новую луну, вернее, чувствовал ее, и ему казалось, что она почти рядом с его лицом, что они оба — вместе. Луна излучала свое волшебство, этот тонкий серп ворожил, и юноше хотелось увидеть ее яснее, серебряную колдунью. Но ему не хотелось повернуть голову, ему не хотелось сделать ни малейшего движения, потому что в душе его было радостно и полно, как в полной чаше.

Он то чувствовал, то не чувствовал свое тело существующим. Он то слышал, то не слышал пение стрекоз. Он спал и не спал. Но двинуться он бы не мог. И маленький паучок, быстро пробежавший по его щеке, не заставил его приподнять руку и коснуться лица. Паучок убежал своей дорогой на свежее сено. И тонкая душистая травинка, длинностебельная, иногда покачиваясь под дыханием неуловимого ветерка, иногда касалась его правого виска, но он не поднял руки своей и не отстранил ее, и, душистая, она тихонько приникала к его лицу.

Луг, и гумно, и темная громада сада, и спящий родимый дом, и поля, и лес, и небо — все стало одно. Но, хотя все стало одно, как все необъятно было одно в то время еще,

когда не считали времени и никто не разделял пространство, два разные сонма призраков стали лицом к лицу, друг против друга, и между двумя сонмами странная затеялась ворожба.

Два разные эти стана очень разнствовали числами. Одних было совсем немного, но, когда в ворожбе кто-нибудь из тех немногочисленных мгновенно исчезал, тотчас на его место возникал другой, и не умалялось число немногочисленных. Других было столько, что сонм их, теряясь вдали, сливался с краем горизонта, и казалось, что не сливался с зримой чертой кругозора, а уходил за горизонт, и нет им числа. Но временами в ворожбе целые полосы призраков великого числа исчезали бесследно, и, хоть численность их была несоизмерима с сонмом теней числа малого, не казалось, что превосходящие сгущением своим сильнее и значительнее своею чарой.

Не ангелами и не демонами были эти призраки, но свойства демонов и ангелов были и в тех и в других, возрастая и уменьшаясь то в тех, то в других, и чаще в многочисленных возникали свойства демонов, именно тогда, когда в пряже снующих теней они были всего многочисленнее.

Между двумя призрачными станами была вражда. Проходили ненадолго и благие веяния, и вид тех и других теней менялся в соответствии с тем, какое начало владело ворожбой, благое или злое. Призраки малого числа были золотые, воздушно-золотистые, как золотисто в молодой березовой роще апрельское утро. Но иногда они становились бледными, белесоватыми, белыми, как береста похолодевшей березы под наползающим туманом, как смертная рубаха, как саван, как белый снег под зимней луной. И призраки числа великого были серые и черные, но вдруг по волшебству промчавшегося резкого вихря они становились красными, ярко-пурпурными, но, чуть только вихрь отлетал от первого своего дуновения, красный их цвет становился грязным, темнел, становился черным — черней самой черной ночи, какая бывает в году только раз.

Призраки малого сонма держали в руках драгоценности неоценимые. И некоторые из них хотели хранить их только для себя, а другие хотели отдать их многочисленным.

И отдавали. Но мало что выходило из этой отдачи. Ибо призраки сонма великого не столько брали драгоценности, сколько вырывали их из дающих рук, и, вырванные из теневых рук, изменялись драгоценности в нечто чудовищно безликое. И падали тончайшие сосуды в грязь, и падали они на твердую землю, и на осколках хрусталя означалась кровь.

Ибо не все можно передать другому, даже когда всем сердцем хочешь отдать. И нельзя раскрыть цветок рукой, а незримая сила заставляет его в должный миг расцвести.

И приходили в ярость многочисленные. Истребляли они мнимых и настоящих врагов. Загрязнялись видом своим и сущностью. Весь их сонм, числа умосводящего, перебрасывая по рядам обрывки молний, засвечался из черного красным, снова чернел, отягощался, и отдаленнейшая теневая его часть, уходящая за предельную черту кругозора, казалась мятущимся хвостом исполинского змея, задумавшего черным своим цветом разломать изначально-синий горизонт.

А на месте белых привидений, только что убитых пурпурными и черными, вырастали мгновенно, в том же малом спокойно-твердом числе, золотые призраки, воздушно-золотистые, как золотым и воздушным бывает по воле солнца апрельское утро, все исполненное голоса певчих птиц.

И бодрствующий во сне, чувствуя, что новый серп светит в уровень с его лицом, но что мучительная ворожба, ведущая свою красочную пряжу между двумя призрачными сонмами, длится бесконечно, застонал.

Тогда Звездоликий, Тот, Кто есть жизнь, и любовь, и путь, Он, что есть основа всякой пряжи и хранилище величайшего и наименьшего, Он, Кто есть первый и последний, Он, Единый, что не уходит в час захода всех светил, сделал одно движение правой своею рукой, едва уловимое, и два стана призраков исчезли.

Прошло ли два века или три, прошло ли три секунды или только одна, передвинулись ли моря и принизились ли горы, или все было на том же месте, но только взамен двух призрачных станов простерлось необозримое поле колосьев. И Звездоликий, взяв новый серп, медленно пошел по золо-

той ниве, при каждом шаге наклоняясь молитвенно и срезая острым лезвием колосья, чтобы сделать из них новый хлеб, от которого утолятся все.

Теперь, как бабочка, слетая
С цветка к душистому цветку,
Сверкай, легенда золотая,
Тебя я жизнью нареку.

С мерцаньем раскрывая крылья,
Их на мгновенье закрывай,
И, здесь вкусив от изобилья,
Лети в иной цветущий край.

Повсюду будет говор слышен,
Что там, где пчел венчальный звон,
Меж белых легкоцветных вишен,
Был золотистый махаон.

ВОЗДУШНЫЙ ПУТЬ

Рассказы

ТРИНАДЦАТОЕ МАРТА

Что, Ваня, не бел, не румян,
Где, Ваня, румянец потерял?
Али на дорожке обронил?
Али красной девке подарил?

Народная песня

Так больше продолжаться не могло. Лучше что бы то ни было, лишь бы не это. Последняя степень падения и немощи. Лучше смерть. И смерть желанна. Я ждал избавления от каждого дня и каждого часа, но оно не приходило. Я ждал какой-то вести, какого-то прихода. Думал, что вот дверь откроется и мои терзания окончатся. Ничего, никого. Ничего.

И откуда ждать избавления, когда боль и ужас внутри?

Мелитта подошла ко мне.

— У тебя опять болит голова?

— Да, опять.

— Что же нам делать? Это никогда не кончится.

Она говорила с болью, и эта боль была обо мне. А я тайком переводил: если это не кончится, нужно это кончить.

Конечно, нужно. Жизнь меня толкала к решению. Каждый человек, который проходил по коридору этой гостиницы, каждый человек, который шел по улице, знал, куда он идет и зачем. Он делал свое дело, а я ничего не мог делать. Уж много месяцев, как я утратил способность работать. Да и что работать? Разве чтение книг — работа? И если б я мог читать. Но от прочтения двух страниц, иногда от прочтения

нескольких строк у меня начиналась головная боль, паутина облекала мозг, я бессильно начинал в пятый раз длинную фразу, приходил в испуг на середине ее, начинал думать об одном каком-то ее слове, снова возвращался к началу фразы и никак не мог дочитать ее до конца. Постепенно в левом виске боль становилась сильнее, и все предметы, находившиеся на столе, затеивали со мной тайную войну. Я не мог не смотреть на чернильницу и не думать, что чернил там мало и что они покрылись пылью. Но ни за что бы я не мог подойти к окну, на котором стоял пузырек с чернилами, и налить в чернильницу свежих чернил. У карандаша один конец был тупой, а другой обгрызанный. Почему обгрызанный? И кто опять положил все эти книги вверх ногами? Я не могу ни читать, ни писать, если книги лежат на столе в беспорядке. И потом мы встали поздно. Через полтора часа нужно идти обедать. Что же можно сделать в полтора часа, когда мучительно прочесть одну страницу? А за стенами опять гаммы, и скрипач никогда не перестанет играть. «Неврастения, голубчик, неврастения», — говорил мне врач и велел ежедневно приходить в свое водолечебное заведение. Но я напрасно ходил два месяца. Мне это не помогло, напротив, сделалось хуже. И я бросил лечение. Да и денег на это не было. Я уже чувствовал, кроме того, что мне помочь нельзя ничем. Глухо, но убедительно я ощущал то же самое, что чувствует зверь в лесу, которого облава окружила кольцом. Облава еще далеко, но зверь знает, что кольцо неизбежно суживается. Я перестал даже для себя определять те или иные ощущения точными словами. Каждая вещь говорила со мной безгласно, и я бессловесно говорил со всем, что было кругом. Душа обменивалась со всеми вещами — тайными знаками, но ото всего исходили одни лишь уничтожающие указания.

— Что ж, пойдем обедать, — сказала Мелитта.

Мы вышли на улицу.

В тот год была ранняя весна. Зимние метели выплакались до конца еще в феврале, а теперь уж было начало марта. Снег стаял. Было солнечно.

Мы шли, и каждая металлическая тумба неудержимо привлекала мое внимание. Мне казалось, что, если с разбега удариться об нее грудью, грудь проломишь и смерть будет мгновенной. Рассудок сейчас же начинал противоречить и

говорил, что это невозможно. Но уже следующая тумба притягивала взгляд, и казалось, что это чрезвычайно желанно — разбежаться и изо всей силы удариться грудью о металлический выступ.

Мы зашли в какой-то пассаж. Мелитта вошла в магазин что-то купить. Я остался снаружи. И пока она там была, я понял с неотступностью, что, если она не вернется, тогда я могу еще жить и ждать, что, быть может, время вернет мне прежнюю ясность мысли и я буду снова читать любимые книги, готовиться к будущему, ибо я чувствовал, что во мне целый мир образов. Я чувствовал, что или я, или она. Почему? Я не мог бы объяснить себе. Она меня любила, и я ее любил. Но с тех пор как мы поженились, что-то налегло на меня проклятием, все ясное стало запутанным, все ранее возможное стало невозможным. И эта неспособность работать, которую один я мог бы кое-как переносить, теперь оттого, что я был с ней, была совершенно нестерпима.

Прошли какие-то минуты. Немногие — и бесконечные. Напряженные, длительные. Я смотрел с суеверным чувством на дверь магазина и ждал. Моя судьба решалась. Я что-то должен сделать. Или она, или я. Дверь магазина открылась, и Мелитта вышла оттуда. Она молчала, глаза ее были опущены, красивое лицо ее было бледно. Что-то печальное и упрямое делало выражение ее лица застывшим.

Как я любил это лицо. Оно было боттичеллиевское, и одевалась она, словно одна из женщин Боттичелли. А это было давно, когда в России еще не знали Боттичелли и не говорили о нем. Не знал его и я, несведущий провинциал и не кончивший студент. Большие серые глаза с продольным разрезом, белый выпуклый лоб, светлые вьющиеся волосы, узорные красные губы. Как целовали и как любили они целоваться, эти узорные губы. И после поцелуя оставляли в сердце грусть. Мы женились против воли моих родителей, и теперь я был с ними в ссоре. Я был в размолвке и с большей частью своих товарищей после женитьбы на ней. Она смеялась метко и уничтожающе над нашими революционными замыслами, и я постепенно отдалился от кружка, к которому раньше принадлежал. Сверстники мои, хранители народовольческих реликвий, как она их называла, считали меня чуть ли не изменником или вовсе изменником. Ведь я как

раз тогда еще начал писать стихи и напечатал целую книгу их, и в них совсем-совсем не было никаких общественных тенденций. Мои товарищи радовались, что книга не имела ни малейшего успеха, и видели в этом достойную кару моего отступничества.

Мне остались верны только двое: Петька, сын кузнеца, студент-медик, мой земляк, и мефистофелевская натура, студент-юрист Фомушка, сибиряк, видавший на своем недолгом веку много людей прижимистых и потому вдвойне всегда растроганный на мою наивность и нерасчетливость. А я был, правда, робкий и мечтательный, и многое для меня было невозможным, что возможно теперь. В эти два дня, 12 и 13 марта, я видел их обоих, и они странно вплелись в повесть моей жизни.

Когда после обеда я вернулся с Мелиттой домой, мы бродили по коридору, и она как ребенок обрадовалась на только что выставленное там окно. Большое окно, которым кончался длинный коридор наш, в третьем этаже, выходило на гостиничный мощеный двор, а напротив был другой корпус гостиницы. Мы подошли, обнявшись, к окну и долго смотрели вниз. В мой мозг туманными наслоениями вошла какая-то бесформенная мысль, и все — я у окна, противоположное здание, и этот двор там, внизу, — все слилось в одну неопределимую цельность. Я не говорил ни слова и не сделал никакого движения, пока мы так стояли у окна. Но души ведь слышат друг друга — или это была простая случайность? Мелитта сказала: «Вот высоко, а если броситься, все равно не убьешь себя, только изуродуешься». Я ничего не ответил. Я даже удивился, и во мне бессильно шевельнулось: «Какое это отношение имеет ко мне?»

Мы вернулись в нашу комнату. На минутку забегал Фомушка и занес только что появившуюся «Крейцерову сонату». Она ходила тогда по рукам гектографированной. «До завтра, — сказал он. — Утром зайду. Прочтите. Да только не поссорьтесь». Он усмехнулся своей обычной насмешливой улыбкой, высокая его фигура качнулась, и он ушел.

Мы поссорились. Не в первый раз. Потому что Мелитта была ревнива, и, хотя я не давал поводов к ревности, она ревновала меня к прошлому и между нами возникали мучительные сцены. Я был наивен, и год тому назад, когда мы только

что повенчались, в первую же ночь я ей рассказал, что я любил когда-то одну польскую девушку, служанку, и она меня любила, и это была моя первая любовь. Она молчала, пока я рассказывал, и, увлеченный воспоминанием, я говорил и говорил, думая, что она слушает меня так же вольно и радостно, как я говорил, думал, что она участвует мыслью в моем далеком юношеском сновидении. Она же, выслушав, сказала мне такие слова, такие слова, такие оскорбительные слова, каких я тогда еще не знал. Это была первая наша ссора, и я понял еще тогда, что случилось что-то непоправимое, что я связал свою жизнь с той, кого я не знал, что я не должен был этого делать, что я вступил в запутанность, на дорогу рабства, которая приведет неизбежно к чему-то темному. Одна фраза в «Крейцеровой сонате», грубая фраза, как груба и цинична вся эта вещь, взбудоражила в Мелитте все темное, что в ней иногда вставало помимо ее воли. И она, такая нежная, такая женственная, опять и опять осквернила мою и свою душу бесцельным и грязным ужасом, который называется ревностью.

Последние недели веяние смерти было со мной неотступно, и ночью, когда мы были так близко друг от друга, в ней часто должны были возникать злые мысли, потому что она не видела того, что во мне трепетало безысходно, и видела лишь, что вот я холоден как труп и безответен к ее ласкам. И она, не понимая, разражалась слезами, и порою она, искажаясь, говорила мне страшные, незабываемые, несправедливые слова. И потом, разметав свою взволнованность в подобной сцене, она по-детски ласково просила меня простить ее. Я целовал ее и говорил ей ласковые слова. Она засыпала. Но я не спал. И чувствуя в ночной тиши, что завтра в этот час я буду еще холодней и печальнее, я проникался темным ужасом, и наша маленькая комнатка, в которой только что звучали безумные упреки и ласковые слова, казалась мне душным склепом, хранящим в тесноте своей всю безбрежность адских мук.

Когда, прочтя эту жестокую повесть и пережив унизительную ссору, оба, подавленные и приниженные, мы сидели за вечерним самоваром, пришел жизнерадостный Петька, и его появление на два, на три часа целебно разлучило нас, острия как будто спрятались, но все же я был так подавлен, что

веселый наш гость, товарищески меня браня, сказал мне: «Послушай, ты невозможен. Тебе ничего не остается, как прямо лечь на операционный стол: или тебя там зарежут, или встанешь как встрепанный и будешь живым».

Это было сказано на исходе одиннадцатого часа, ночью, а ровно через двенадцать часов, в приближенье к полудню, я видел близко-близко бледное лицо Петьки, и кругом были бледные лица других людей, а кто-то лежал окровавленный, и смерть спорила о нем с жизнью.

Как утром Фомушка, так сейчас Петька ушел из комнаты, и у меня сердце сжалось, когда он выходил, как будто я слышал слова приговора, и меня поразило, что и он, выходя, как-то странно качнулся.

В эту ночь мы молча легли спать. О чем могли бы мы говорить? Мы оба были слишком надорваны. И оба, притаившись, как от врага, мы молча лежали, и каждый притворялся, что спит. Но мы долго не спали, и Мелитта наконец не выдержала. «Ты спишь?» — сказала она. Но я ничего не ответил, боясь, что мы будем ссориться. И в темноте я слышал, как она горько усмехнулась, но не сказала больше ничего. И через несколько минут я услышал ее ровное дыхание. Она спала.

Я сел тогда на своей постели и долго смотрел в темноту. Мне казалось, что черный мрак безграничен, что он все растет и растет, как море во время прилива, и черные тени — не тени, а слои и наслоения — качались в темноте, подступали ко мне, окружали меня, обнимали мою голову, проходили через мою голову, как будто она была невещественна, возвращались снова и беззвучно карабкались все выше и выше. Спасения уже не было. Я утонул.

Мне не было жаль никого и ничего. Я был бесконечно далек от жалости. В этом холодном отчаянии была какая-то сила всеобнимающая. Она овладевала мной все полнее и уносила меня в безвестность, как течение уносит ладью, на которой никого нет. Жук-точильщик в стене отбивал незримым молоточком свой похоронный марш. Темнота без берегов и без какой-либо надежды обступила меня отовсюду. Просвета не было. Я утонул.

Мы проснулись на другой день раньше обыкновенного. Но около одиннадцати Мелитта еще сидела за самоваром, а я

у другого стола безуспешно пытался читать книгу Иоганна Шерра о юности Гёте. Я хорошо помню этот день 13 марта, и ничто в мире не смогло бы заставить меня забыть его. Я был в решении, которого я еще сам не знал. В торжественной и великой простоте, из которой не было узорных выходов.

Когда я проснулся, я долго смотрел тупо-внимательно и с чувством, которое было похоже на нежность к живому и желанному существу, смотрел все в одну и ту же точку — и вот так уже тринадцатое утро, должно быть. К отдушнику был привязан толстый крепкий шнурок, и он привлекал меня к себе с неудержимой силой. Мне казалось, что это так просто — попросить Мелитту сходить что-нибудь купить к чаю, а в это время сделать петлю и так стянуть ее вокруг горла. Теплая горячая радость на несколько мгновений вливалась в сердце, потом от того или иного звука, раздававшегося в коридоре, сердце сжималось, в нем снова было свинцово и холодно, и я знал, что из этого ничего не выйдет.

Но теперь, когда истекал одиннадцатый час, я сидел спокойный перед книгой, которую не читал, спиной к двери, кончавшейся сверху стеклянным четвероугольником; на нем был написан номер комнаты, и спиною своей я как будто слушал, как будто глядел, чего-то ждал, что должно прийти оттуда. Мне сделалось жутко и в то же время успокоительно, когда раздался знакомый стук, и, обернувшись, я увидел на стеклянном квадрате тень от высокой фигуры. «Вот это», — сказал я про себя и, встав, отворил дверь Фомушке. Решение мое созрело внезапно, мгновенно.

— Хотите чаю? — спросила Мелитта.

— Нет, благодарю, — ответил Фомушка. — Но пока я к вам шел, разорвал перчатку. Не почините ли? — И он наклонился с ужимкой.

Мелитта стала чинить его перчатку, он сел около нее и ласково-насмешливо начал расспрашивать ее о вчерашнем дне, а я, выйдя из комнаты, прошел коридор до окна, раскрыл его, посмотрел вниз на каменный двор, как будто считая, сколько тут саженей, посмотрел на небо над крышами, и оно показалось мне странно тусклым и бледным для этого солнечного дня и живым, словно оттуда что-то спускалось на меня, безличное, большое и враждебное. Вернулся в комнату, сел на прежнее место и, разрезав не торопясь листок бу-

маги на три равные части, стал писать. На одной написал: «В полицию. В смерти моей прошу никого не винить. Прошу похоронить меня здесь, в Москве». На другой: «Фомушка, прошу тебя, отвези Мелитту в N-скую губернию, к ее родственникам». На третьей: «Мелитта, прости меня за ту боль, что причиняю тебе. Иначе не могу. Прощай».

Так просто. Так обыкновенно. Но теперь уже нет возврата.

— Что это вы, миленький, — промолвил, усмехаясь, Фомушка, — так торжественны? Уж не предсмертные ли записочки пишете?

— Вот именно, Фомушка, вот именно, — ответил я, передразнивая его интонацию.

Но когда я встал от стола своего, мной овладел страх, что кто-нибудь из них подойдет и прочтет эти записки. Я положил на них книгу и подошел к чайному столу. Вид у меня, должно быть, был странный. И Мелитта и Фомушка смотрели на меня вопросительно и, видимо, ждали, что я что-то скажу. Но у меня не было слов. Мне хотелось поскорее уйти из комнаты, и сделалось необъяснимо трудно выйти. Я сделал несколько бессвязных движений. На чайном столе стояла коробка с конфетами. Я взял одну и положил ее в рот. В ту же секунду мной овладел страх, что у меня заболят зубы. Я налил полстакана чаю и быстро выпил его. В правом кармане у меня было серебряное портмоне, которое когда-то подарила мне мать. Я подумал: «Если, падая, я упаду на эту ногу, оно раздробит ногу, и это будет больно». Я вынул портмоне и положил его на письменный стол. «Часы разобьются, — подумал я тотчас, — нужно их вынуть». И усмехнулся про себя: «Уж теперь не нужно». Потом, подойдя к Мелитте, я молча поцеловал ее в лоб. Я никогда до этой минуты не целовал ее в лоб.

— Что с тобой? — спросила она.

Я ничего не ответил и молча пошел из комнаты, но мне казалось, что ноги подо мной подгибаются.

— Куда ты? — спросила Мелитта с тревогой в голосе.

— Я сейчас, — ответил я с расстановкой, и мой голос прозвучал для меня самого, как чужой голос пьяного.

Закрыв за собой дверь, я сделал два шага и побежал по коридору. Когда я добежал до окна, была одна краткая се-

кунда, одна малая часть секунды, которая была самым трудным из всего, что я знал в жизни. Пока я бежал по коридору к окну, меня нес ветер, чужая сила несла, не я бежал. Но в одну краткую секунду, когда нужно было сделать последний упор ногами, чтобы броситься в окно, я испытал без замедления всю бесконечную пытку, всю тяжесть величайшего решения, какое может быть в жизни человека. Но все было в вихре, и эта секунда, промелькнув, исчезла. Я уже был в воздухе. И последняя моя мысль была мучительная: я подумал, что, быть может, падая, тяжестью своего тела я убью кого-нибудь, ибо я не видел, что подо мной. А последнее мое ощущение было — красная-красная рубаха служителя, который мыл окно в противоположном корпусе гостиницы. Тут я начал перевертываться и лишился сознания. Я не почувствовал страшного падения своего на камни. Я не испытал никакой телесной боли, ибо несколько секунд я был в глубоком обмороке. И тотчас же проснулся — внизу, разбитый, с чувством, что я обманулся, что я в сети чудовищного обмана, и в мозге моем тяжелая пьяность, как будто я выпил целую бутылку водки. Я был удивлен тем, что я как будто прикован к земле. Я не мог повернуться, и левая нога моя была тяжелая и чужая. Как я узнал потом, я весь был разбит и изуродован. Левая нога моя была сломана в бедре, правая рука — в локтевом суставе, кисть левой руки разбита, левый висок рассечен и нижнее веко левого глаза разорвано. Я был покрыт кровью и грязью. Один из моих товарищей сказал мне как-то, что, если крепко нажать пальцами сонные артерии, можно себя задушить. Видя, что я не убил себя, а только изуродовал, я хотел протянуть свою правую руку к горлу, но рука лежала как налитая свинцом и не повиновалась мне. Тогда я приподнял левую руку, которая была окровавлена и болела, и прижал ее к горлу. Но вокруг меня уже стояла кучка людей, они глядели на меня с любопытством и ужасом.

— Удушить, удушить себя хочет, — сказал один из толпы и, наклонившись, грубо отдернул мою руку, схватив меня со всей силой за эту разбитую кисть: мизинец и безымянный палец были повреждены от удара.

В это самое время наверху раздался отчаянный, душу раздирающий крик. Это слуга прибежал к Мелитте и сказал ей, что я бросился в окно.

Через минуту задребезжала извозчичья пролетка, въезжавшая во двор. Меня посадили на нее поперек ее, я качал головой как смертельно пьяный. Сзади меня поддерживал дворник. Умостился еще на пролетку и городовой. Меня повезли в приемный покой находившегося неподалеку полицейского участка.

Когда меня снимали с извозчика, мне сделали страшно больно, и я громко застонал. У входа в полицейский участок стоял какой-то человек в штатском, писец или сыщик.

— Ну, ну, — сказал он грубо, — умел бросаться в окно, умей терпеть.

Меня поразила эта фраза своей странной логичностью, и я исступленно закричал:

— Да, я подлец, я подлец, я не должен был этого делать.

Человек в штатском отпрянул от меня в изумлении и в каком-то суеверном страхе. Был ли он поражен звуком моего голоса или отчаянной искренностью моей интонации, тем, что я являл себя во всей своей мгновенной беззащитности, но он отшатнулся от меня так, как будто я ударил его по лицу.

Меня внесли в какую-то полутемную комнату и положили на пол. Вбежавший фельдшер быстро осмотрел меня и тотчас вышел за перевязочным материалом. В соседней комнате раздавался голос полицейского пристава, который допрашивал о подробностях происшествия.

Ему отвечал тихий, надорванный, милый и родной, и вот уже как бы далекий и чужой голос Мелитты, успевшей прибежать из гостиницы. Лежа на полу, как брошенный комок, я впервые понял со всей ужасающей отчетливостью, что я не убил себя, а только исказил свой внешний лик, что я должен жить и еще изуродованный. Мне показалось, что потолок налег на меня, что безмерная тяжесть меня сдавила, и я закричал. Если крик Мелитты, донесшийся до меня, когда я лежал разбитый на земле под недоступно-отодвинувшимся высоким небом, был потрясающе пронзителен и полон отчаяния, — мой крик, вырвавшийся из горла моего теперь, показался мне таким чудовищным и страшным, что я мгновенно смолк. И снова за стеной говорили два голоса, один чужой, спрашивающий, другой родной, тихий, отвечающий.

Через несколько минут к зданию, где я был, подъехала карета. Меня вынесли и кое-как посадили в карете.

— Нужно покрыть, нужно его покрыть чем-нибудь, — раздался чей-то голос.

Бывший в толпе бледный Фомушка быстрым движением сорвал с себя свою студенческую шинель и укутал меня. Хотя день был солнечный, было свежо, а доктора говорили, что у Фомушки начинается чахотка, и это быстрое движение, в котором сказалась забота обо мне, а не о себе, возбудило во мне горячую любовь к Фомушке. В карету села со мной смертельно-бледная Мелитта, напротив нас сел фельдшер, и мы поехали в Ново-Е-нскую больницу.

Мне пришло в голову, что я во второй раз в жизни еду в карете. Я знал деревенский тарантас, телегу и извозчичью пролетку. Но в первый раз поехал в карете, когда ехал венчаться с Мелиттой, и второй раз ехал теперь.

Я был в безумном возбуждении и без умолку говорил. Будучи совершенно несведущ в хирургии, я спрашивал фельдшера, отнимут ли мне сломанную ногу, и говорил, что я не хочу жить без ноги.

— Зачем отнимать ногу, срастим, — говорил фельдшер, — вот пальчик на левой руке отнимем.

— Мелитта, Мелитта, ведь ты будешь любить меня и без этого пальчика, который отнимут? — спрашивал я в страшном возбуждении.

И когда она отвечала утвердительно, я начал снова просить у нее прощения и говорить о том, как светит солнце, и вспоминать, что было год тому назад.

Пальчика, однако, мне не отняли. Его срастили, но только он не сгибается.

Приехали в больницу, забегали разные люди вверх и вниз по лестнице. Мелитта сидела около меня, и, думая, что я не вижу ее, ибо на минуту я закрыл глаза, она откинулась всем телом к стене и беззвучно и жалко рыдала. На лице ее был ужас и безысходность.

Да, еще не было полдня. Двенадцать часов со вчерашнего вечера замкнулись, и я лежал на операционном столе. Петька был как раз в Ново-Е-нской больнице на лекции и прибежал в хирургическую. Яркий солнечный свет вливался в окно. Неведомые мне люди в белых халатах, белых, как саваны, осматривали меня и ощупывали, говорили между собой, говорили обо мне с той медицинской ухват-

кой, которая заставляет больного чувствовать себя уже умершим. Не с ним говорят, а о нем говорят. Слышит ли он или нет, все равно.

Что-то горячее полилось вокруг моей сломанной ноги, завладели одной моей рукой и другой, что-то делали с моим глазом и лбом. Сперва я бился, мне казалось, что мне хотят отрезать ногу. Петька меня уговаривал. Я успокоился, забылся. Смутно помню, как меня понесли через какие-то переходы, казалось мне — бесчисленные. Поднимались и опускались. Я был как в волне. Положили в полутемной комнате на кровать. На несколько минут ко мне впускали Мелитту. Она молила позволить ей остаться со мной. Она говорила, что она готова мыть пол в этой комнате, лишь бы ей позволили остаться со мной. Ее увели. Меня усыпили. Я был и не был.

Зачем даны человеку глаза, если он не может ими видеть свою судьбу? Зачем даны ему ноги его, если они идут не туда, где его счастье? Зачем его мысль ему, если она измышляет ему страдание, безысходность мучения, терзания и пытки, для которых нет слов?

Моя мысль плясала безумную пляску, кружилась, на вихрях качалась, столько стран обежала, что на жизнь бы хватило долгую. Видела лица, умершие лица, и живые лица, и не бывшие лица, те, которые, быть может, еще будут здесь или где-нибудь в ином месте, в пространстве. Потолок поднимался и опускался, прижимал мою грудь вплоть и уходил в бесконечное небо. Справа и слева вставали фигуры и долго стояли. Стояли молча, и, хотя лица их были устремлены прямо в пространство, я чувствовал, что они смотрят на меня. Пробыв возле меня известное время, они исчезали внезапно. Не вверх или вниз и не в сторону. Исчезали вдруг без направления.

Ко мне подходили врачи. Осматривали меня и выслушивали меня тут и там.

— Но мне совсем-совсем ничего не больно, — восклицал я. — Отчего мне совсем ничего не больно?

— Подождите, придет, — сказал, усмехаясь, один.

Боль в теле началась лишь через неделю. Лихорадка качала мою мысль, и я не ощущал тогда боли.

Я закрыл глаза и перестал отвечать на вопросы. Зачем они спрашивают так много и каждый повторяет предыдущего?

Врачи думали, что я забылся. Они продолжали говорить между собою. Голоса их были озабоченны. Ничего из внутренних органов не было повреждено. Травматические повреждения тяжкие, но для жизни в этом нет опасности. Выдержит ли сердце? В этом вопрос. Я понял их разговор. Мое сердце плясало бешеный танец, и было неизвестно, не поскользнется ли оно на одном из своих прыжков, не сорвется ли. Один за другим все ушли. Сердце мое плясало. Стены сходились и расходились. Не открывая глаз, я почувствовал, что я один. Не открывая глаз, я почувствовал через некоторое время, что надо мною кто-то наклонился. Я приоткрыл правый глаз — левый был забинтован. Во рту у меня пересохло.

— Испей, родимый, испей, — говорила мне высокая черная сиделка Катерина, имевшая вид сердобольной деревенской женщины.

Я снова потонул в видениях. От левого глаза в мозг устремлялись фиолетовые полосы и золотые, извивались как змеи, переливались лентами, окружали мою голову, протягивались до стен, до потолка, лизали их огненными языками, как пламя пожара, превращались в вихрь переплетающихся искр, крутились воронкой и возвращались в мой мозг. После этого голова становилась тяжелая, все лицо было окутано как паутиной, и я забывался.

Потом опять лица. Сколько лиц. И все они смотрели, но не все на меня. Некоторые проплывали совсем близко, около лица моего и даже через него, не смотря на меня. Я чувствовал их блестящий близкий взгляд. Они скользили как далекие птицы, которые, разлетевшись в высокой лазури, скользят, не шевеля крылами. Другие уставлялись мне прямо в глаза и ни за что не хотели сдвинуться с места. Можно было подумать, если бы я мог тогда думать, что лица эти существуют в этой комнате по иным законам, чем я, и что я не представляю для них, в их движении и в их бытии, никакой телесной преграды.

Так было около недели. Опасность прошла. Жизнь победила. Меня перевели из отдельной комнаты в общую камеру.

Двенадцатая. Большая казенная комната, похожая на тюремную камеру. В этой комнате было много больных. Рядом со мной лежал молодой помещик, который, возвращаясь с охоты, прозяб, и, войдя в дом, прошел в столовую, подошел к шкафу и выпил вместо рюмки водки рюмку какай-то кислоты. Потом двадцать верст скакал на тройке до соседнего города, а его все время рвало кровью. Был старик, который сломал себе ногу, поскользнувшись в собственной комнате. Веселый парень, каменщик, сорвавшийся с двухсаженной высоты, но только зашибший себе плечи и бока и вскоре выписавшийся. Почтарь, который зазевался, и тяжелая почтовая карета переехала его. Все внутри у него было раздавлено. Вскоре он помер. Был один лакей с какой-то неважной болезнью. Он потешал всю камеру своими лакейскими шутками. Были еще и другие.

Я лежал на длинной плохонькой железной кровати, прикрытый грубым серым одеялом. Над подушкой к кровати была приделана металлическая дощечка, и на ней было обозначено мое звание, мой возраст и поставлено латинскими буквами Fractura femoris («перелом бедра»). Другое шло не в счет.

Началась бесконечная пытка дней.

Мелитте и матери моей, которая приезжала ненадолго навестить меня, врачи сказали, что все пустяки, что я поправлюсь, нога срастется через шесть недель, рука, пожалуй, еще скорее, но владеть я ей не буду — сломан самый локтевой сустав. Глаз зашили, и он быстро принял прежний вид. Разрыв на лбу стянули, уменьшили его какими-то ухищрениями. От него потом остался лишь небольшой шрам. Но в главном врачи ошиблись. Потому ли, что я был беспокоен и все время вертелся на своей койке, или, вернее, потому, что я был истощен до последней степени, но только нога моя не хотела срастаться. Рука срослась, и даже недобрые чаяния врачей были обмануты, я ей владею. Нога же не срасталась и не срасталась. Это было похоже на злое волшебство. Шестидесятилетний старик, сломавший свою ногу, давно уже поправился, он ходил на костылях и должен был через несколько дней выписаться из больницы. А мне было всего лишь двадцать два года, и, однако же, во мне не было самоисцеляющейся жизни. Врачи приходили, качали головой и уходи-

ли. Я был присужден неведомым мне приговором к пытке ночей и дней, к пытке недель и месяцев.

В больнице было плохо. Сиделки были грубы. Больные были надоедливы и грубы. Но не это, конечно, было больно, хотя и от этого становилось душно. Каждый день видеть бледное родное лицо с застывшим безмолвным упреком. Каждый день ощущать невозможность встать и быть отрезанным от мира живых, которые так свободно ходят и делают все, что захотят. Каждый день бессильно отсчитывать минуты и часы, от одного часа до другого, без мысли в голове, без какого-либо чувства, кроме чувства бесконечной отчужденности от всех. И от той, кто был дорог. Она тоже была мне чужая. Из мира живых она была, а я был из мира выброшенных за пределы живого. Я тайно завидовал каждому, кто проходил по комнате на двух своих здоровых ногах. Но в то же время все, что было связано с живой жизнью, меня пугало и отталкивало. Когда предо мной начинали говорить, что вот я встану и мы уедем на лето к родным, я проникался тайным ужасом. Как будто перед мертвецом говорили, что вот мертвый сейчас встанет, принарядится и пойдет на пир. Было что-то уродливое в этом и неестественное. До отвратительности.

Мелитта похудела, побледнела, сделалась еще воздушнее. Но когда она, наклоняясь, целовала мое лицо, мной овладевал страх и суеверное чувство. Когда кто-нибудь из знакомых заходил навестить меня и говорил со мной о том и об этом, я принимал участие в разговоре, я отвечал на вопросы, но при этом испытывал бесконечное мучение: я чувствовал, что ничего этого не будет, о чем говорят, что я лгу, что все лгут и невозможно продолжать эту ложь.

Каждый день, уходя, уводил меня все дальше и дальше от всех живых. Незримо, но я удалялся от Мелитты и от тех, кто меня навещал, словно по воздушным пустыням ходил. Тосковал от бесконечности пути. Мерил, взвешивал судьбы людей. Все это без слов. В образах и в ощущениях, для которых каждое слово было бы слишком четким и грубым, а потому неверным.

В одном хождении Богородицы по мукам Пресвятая Дева говорит: «Не позволишь ли ты мне, Господи, по адам походити, по раям посмотрети?» И ответ гласит: «Все это будет по

твоему желанию». Со мною было совсем иначе, но что-то из этого. Я хотел, как рая, мертвой тишины, она отошла от меня в недоступность, а я стал ходить по адам. Эти адские области были и близко, и далеко, и вне, и внутри. Все лица, мелькавшие около меня в течение дня, отвращали меня своею чуждостью. Все люди казались мне навязанными мне адскими выходцами, ибо я никогда не хотел их видеть, таких видеть. А когда спускалась ночь, мысль моя блуждала по бесконечности, а все тело горело и мучилось. Первые недели я стонал по ночам, сжимал губы и кусал их, но против моей воли они издавали жалкие звуки. И острящий лакей в противоположном краю камеры говорил вслух: «Ишь соловей-то наш, защелкал». А сочувственная публика, состоящая из больных и сиделок, разражалась дружным смехом.

По мере того как недели уходили, я научился молчанию, и молчал не только ночью, когда все должны спать, но и днем, когда ко мне подходили с разговором. Меня не любили. То обстоятельство, что я, как бы вопреки всяким правилам, не выздоравливал и не выздоравливал, ставило меня в положение какого-то отщепенца.

Больных перевели в летнее помещение. Дни проходили и уходили. Мелитта приходила и уходила. Когда человек прикован к постели, его способность страдать, по-видимому, неограниченна. Когда же он владеет своими членами, его способность страдания есть величина определенная. Надо думать, что так. У Мелитты эта способность была на исходе. Оставалось лишь раздражение и жалость к самой себе.

Еще раз врачи убедились, что мне нужно лежать еще несколько недель в постели. Мелитта сидела около меня и ничего не говорила. Мысль о поездке на лето к родным в деревню разрушалась окончательно. Она смотрела в окно, в больничный сад. Там были красные и желтые цветочки.

— Вон уж дрема отцветает. Скоро лето кончится, — сказала она, и голова ее бессильно склонилась, как цветок, у которого стебель подрезан. Она беззвучно плакала.

Есть, однако, предел всяким мучениям. Или это только обман? Только злая шутка судьбы? Я сижу на кровати. На меня надевают халат. Мне дают костыли и учат ходить. Весь мир опять опрокинулся и стал снова другим. Мне казалось, что я вырос. И мне казалось первые минуты, что все бледне-

ет кругом, когда я встаю, все становится живым и нереальным, как в видении.

Август кончался. Но мы еще успеем захватить немножко лета. Мы были снова вдвоем, в той же гостинице. Мелитта делала разные покупки. Через несколько дней мы уезжали к родным. Мелитта улыбалась и радовалась. Она ничего, ничего не видела.

Да что же видеть и как? Я ходил на костылях по комнате, потом садился у стола и думал. Все об одном и том же. Что было раз, не может быть дважды. Вот несложная, но для меня — потрясающая мысль, которая упорно вставала в моем мозгу. Эта мысль принимала характер живого существа. Я ее видел целиком, казалось, ощупывал, касался ее руками. Что сломано, то уж не будет таким, каким было. Повторить ничего нельзя. Исправить ничего нельзя. Если у вещи отняли ее лик, ей не могут, ничто ей не может вернуть ее прежний лик. Я брал спичку, ломал ее пополам и снова и снова смотрел на нее с тайным испугом, с тайным ужасом. Я видел, что она сломана, и напрасно прикладывать конец к концу. Никакие силы не заставят их принять прежний цельный вид. Что было раз, не может быть дважды.

Оставалось дня три до отъезда. Мелитты не было дома. Я ходил взад и вперед по комнате. Пошел к столу, чтоб сесть, сделал неверный шаг, упал в кресло, больная нога моя откинулась и со всего размаху ударилась местом перелома о толстую и сучковатую ножку стола. Я почувствовал сильную боль в месте ушиба, но та холодная боль, которая сжала мое сердце, не может быть даже названа болью. Это было сознание немилосердного приговора. Это было что-то дьявольское. Тут было какое-то безымянное издевательство.

Мелитта не поверила, что я повредил себе ногу. Она привыкла к моей мнительности и заставляла меня и в этот день, и на другой, без устали ходить. И я ходил, а нога у меня была свинцовая. Потом пришлось лечь. Потом врач наложил опять повязку. И я пролежал еще около трех месяцев.

Врач утешал меня. Он говорил, что нога моя срослась неправильно и я бы всю жизнь хромал. А теперь, когда я научился смирно лежать, он обещал срастить мне ногу правильно. Так оно действительно и вышло. И теперь, когда все это в далеком прошлом, я думаю, что вторичное злопо-

лучие мое было к лучшему. Но тогда я этого, конечно, не мог думать. Я впал в окончательное отупение и жил лишь снами. Я уж не чаял больше встать никогда. Просил Петьку принести мне цианистого калия. Он не только не согласился, но поднял меня на смех и сказал об этом Мелитте. А на Мелитту нападали приступы безумия. После припадка ревности, вызванного всегда самым неожиданным поводом, она впадала в религиозный бред, призывала Пресвятую Деву во свидетельницы своих терзаний и томлений, была красива и красноречива в своих жалобах. И потом на несколько дней впадала в оцепенение. Однажды в исступлении она бросила мне в лицо коробку с булавками и иголками. Потом долго собирала рассыпавшиеся по постели иголки и булавки. На меня это не произвело никакого впечатления. Страшнее было, когда она поднесла ко мне лампу и хотела меня сжечь. Она несколько раз подносила лампу совсем близко, и казалось, через секунду бросит ее на меня. Я и дважды, и трижды остановил ее силой взгляда. Она поставила лампу на стол, бросилась на свою кровать и проплакала весь вечер.

В эту ночь мне снился сон. Я сидел у окна и глядел в темную ночь. Против окна на огромном дворе было другое большое здание, гигантская белая стена в несколько этажей со множеством окон. Эти бесчисленные окна шли рядами, стояли правильно одно над другим, и в каждом окне была свеча, и из каждого окна смотрело бледное испуганное лицо. И все они смотрели на меня. Что было в этом страшного, я не знаю. Но это было очень страшно. И я чувствовал, что я осужден.

Мне снились еще другие сны в эту ночь и в другие ночи. Меня преследовал несколько ночей один и тот же уродливый сон. Я лежал на кровати и не мог двинуться, а чувствовал, что внизу, на дворе, под самым окном, начинается что-то, что было против меня. Я видел сквозь стену глазами души, что внизу под окном мерцает грязно-красным пятном небольшая лужа крови. В ней начиналось противное движение, обрисовывался маленький человек-головастик, эта полудетская, полумладенческая голова приподнималась, начинала тянуться вверх, из лужи, на длинном змеевидном туловище она ползла вдоль стены, от этажа к этажу, выше, к

моему окну, и я видел, что этажей не три, а бесконечное множество. Но уродливое лицо головастика все ползло, тонкое туловище тянулось и становилось все тоньше, голова приближалась к окну, перегибалась через окно, несколько раз покачивалась, как бы размышляя, ползти ли дальше, и вдруг, откинувшись и всхлипнув смехом, падала вниз, в лужу, как мокрая тряпка.

Я снова ходил по воздушным провалам, возвращался на забытые тропинки, ощупывал какие-то скользкие края, мерил, измерял, считал, выслеживал, уходил, был обманут, крался за ускользающей целью и давал себе клятву, что, когда я ее достигну, когда я ее схвачу, я буду любить лишь себя. Другому было бы непонятно, что в этом было, но я знал, что так нужно, что надо во что бы то ни стало достичь одной точки, уцепиться за нее — и любить себя. Не другого. Ибо человек живет и умирает своей жизнью и смертью, и нельзя свою жизнь губить.

Мне снилась однажды победительная луна. Она была в полнолуние, но зеленоватая, как в новолуние, а не желтая, и горела очень высоко. Я сидел у окна — почти во всех моих снах было окно. Я весь был в белом и чувствовал, что лицо мое красиво. От луны исходил изумрудно-опаловый свет, и я видел каждый отдельный луч. Все вместе они составляли свет, в котором жили и переливались предметы кругом, но каждый луч был отдельно от другого, и я видел, что не может быть иначе: каждый луч жил отдельностью, и, если бы он уничтожился для другого, он лишь погасил бы этот другой луч, и на их месте возникло бы что-то иное, может быть, светлое, может быть, темное, но иное, они же оба перестали бы существовать, если бы один луч разлюбил свою отдельность. И все лучи вместе светились, и все они пели сиянием о жизни и смерти и о многом еще, о чем нельзя говорить на дневном языке.

Этот сон я не забыл, и, когда пришло время, я порвал со своим прошлым, и мне радостно в моей отдельности. Сильный и светлый, я прохожу по земле, и около меня всегда светло. Никто не мог бы заставить меня посягнуть на святыню жизни. Но все, что случается, неизбежно, и хорошо, что однажды это было.

Мелитта, Мелитта, пчела, ты когда-то больно меня ужалила, но ты также дала мне много сладкого меда. Мы потеряли друг друга безвозвратно, и мы давно уже другие в бесчисленности лиц и вещей. Но если ты можешь еще слышать, услышь меня. И услышь меня: я любил тебя всегда.

1908

РЕВНОСТЬ

Ревность давно прозвали зеленоглазым чудовищем, про зависть же говорят, что у нее желтый огонь в глазах. Не знаю в точности, как это нужно понимать относительно зависти, в прямом ли смысле или переносном, то есть в том смысле, что зависть сжигает. Но что при вспышке ревности у человека в глазах загорается зеленый свет, это мне известно доподлинно. Зеленый, зеленый, видел много раз. Так хорошо запомнил, что даже во все зеленые глаза гляжу с невольной тревогой. И потому, что мне нравятся зеленые глаза, и потому, что пугаюсь в них притаившегося там навсегда традиционного чудовища. Задремать — задремало, а ну как проснется? Ибо все зеленоглазые поистине ревнивы. Хоть этого иногда и долго не видишь.

Впрочем, у той, что сейчас мне вспоминается, глаза были серые, светло-серые. А еще у другого, у того, что сейчас мне вспоминается, глаза были светло-голубые. Пожалуй, если вспоминать, так припомнишь, что и в Черном море, как в иных морях, горит огонь маяка, и во всякого цвета глазах загорается зеленый огонь. Но почему именно зеленый? Цвет жизни. Или это потому, что, пока мы живем в этой жизни, мы вечно бродим в слепоте, а что же более слепо, чем ревность?

Может быть. Ничего не знаю. Приходит это бешеное чувство нелепо и внезапно. Вдруг словно слепень ужалит человека. И начнет метаться. Не видит, где ступает. Не видит, что берет, что роняет, что разбивает безвозвратно. Словно пьяный. Словно сумасшедший.

Я, знаете ли, ревность ненавижу и презираю. Вы говорите, что художник, как в игре в фанты, во всю свою жизнь должен

«да» и «нет» не говорить, черного и белого не называть. Это, конечно, так. А то за утверждением или за отрицанием — живой жизни не увидишь, уйдет, как песок уходит между пальцев сжатой руки. Но я ведь сейчас не как художник говорю, а просто как человек, который кое-что видел в жизни.

Я, впрочем, презираю лишь одну ревность — выявленную, а их всегда две бывает: тайная и явная. Тайная еще злее. Одна вовне ранит, другая внутрь. Одна другого ударяет и бросает в него грязью, комками грязи и крови, а другая собственное сердце жалит, точит, грызет, в слова не уходит, в речи не находит облегчения и так до смерти может извести. Известное дело тихое помешательство всегда опаснее буйного.

Вы хотите узнать, как изумруды сии загорались в глазах у сероглазой? Нет, сударь мой. Об этом мне вспоминать сейчас не хочется. Уж очень долго я в этом сияние побыл. До омерзения. До такой ненависти, что ни перед каким бы преступлением не остановился, лишь бы избавиться от этих драгоценных камней. Пусть их там сияют где-нибудь в другом месте. Я человек тихий, и не всякие украшения в жизни люблю. О голубых же глазах, пожалуй, могу вам рассказать. Голубой цвет с зеленым и близок. Как небо близко к земле. И как Дьявол любит украшать собой храмы.

Я только об одном маленьком случае расскажу. Было это в очень далекие дни. И я и мой товарищ были студентами-первокурсниками. Святки. Первые совсем свободные Святки в маленьком провинциальном городке. Вы человек столичный. Этого очарования не знаете. В смешном городке, где все наперечет, мы совсем особые герои. Студенты, во-первых, с этим не шути, а во-вторых, мы оба из числа избранников: я — сын помещика, в некотором роде краса местного дворянства, а мой товарищ — сын богатейшего местного купца, и не какого-нибудь лавочника, а коммерсанта с образованием и со вкусами. Юноши мы были начитанные, что ни слово, то Байрон и Шекспир. Тогда вкусы ведь были иные. В каждом доме желанные гости, мы, однако, не особенно удостаивали своих земляков посещениями. Избрали дом-два, ими и ограничивались. Большую же часть времени проводили — голубоглазый мой друг у девушки, которую он любил, скажем, по имени Ольга, а я у девушки, которую я не то

любил, не то не любил, по имени, скажем, Лиза. Ольга и Лиза были подруги по гимназии, но Лиза была девица серьезная и была на педагогических курсах, а Ольга нрава более светлого и веселого, ее прочили в театральные звезды, и она была в драматической школе. Все вместе мы приехали в этот городок на Святки, и проводили время то попарно, то все вместе, то я вдвоем с моим другом. Мой голубоглазый друг был весьма победительный юноша. Он уже сокрушил, впрочем не трагически, несколько девических сердец, но теперь он действительно любил, тем более что Ольга не вполне ему отвечала, любила не любила, скажет «да», назад возьмет, скажет «нет» — изводится, опять скажет «да». И долго это тянулось. Все же как будто она его воистину любила. Мне об этом, однако, больше говорила, чем ему. И он мне много о ней говорил. Всегда. Я для него был романтически верный друг. Он должен был мне исповедоваться, хотя смотрел на меня несколько сверху вниз, ибо был умнее и красивее меня и гораздо более, чем я, был отмечен чужим вниманием.

Когда Сергей — так звали моего друга — начинал говорить об Ольге, о своих терзаниях и о том, что она сразу и дает ему целую жизнь, целое счастье единственное, и целиком заслоняет от него его собственную жизнь, он был всегда чрезвычайно красив и красноречив. Я почему-то всегда мысленно называл его маркизом Позой. Он говорил мне о каждой мелочи своего романа, я же ему, со своей стороны, мало что говорил о Лизе, да он и не интересовался. Совершенно ясно, как полагал он, что мы с ней вполне предназначены друг для друга и, конечно, со временем мы поженимся. Но я не женился на Лизе. Впрочем, не об этом теперь речь.

Выпал свежий снег. Все деревья увесились новыми белыми уборами. Хорошо в деревне или в маленьком городке зимой.

Сергей написал мне записку и прислал с посыльным. Ко мне он редко сам заходил. Больше я у него бывал. Предлагает совершить поездку за город. Отлично. Выбрали и место. Я знал, что отец мой, который жил в деревне один и лишь приезжал время от времени в город к моей матери, будет в этот день как раз в городе. Лизе почему-то было нельзя с нами поехать, и мы отправились втроем. Как всегда в подобных случаях, захватили с собой немного вина, сластей. Поехали.

Все было белое и воздушное от свежего чистого снега. И белый очерк луны так свежо означался на вечернем небе. Хорошо было. Кучера мы не взяли. Ехали втроем. Сергей и Ольга были оба в задорном настроении и дразнили друг друга. Он был охотник, как и мой отец, и для него так ехать по свежей пороше — ощущение было совсем особенное, пожалуй, лишь охотнику понятное. Отъединенность полная. Ни до кого нет никакого дела, душа от людей свободна, и от далеких, и от близких, даже от самых дорогих. Ему тогда, в сущности, не с Ольгой и со мной нужно было ехать кататься, а взять ружье да собак — и в лес. И Ольга, должно быть чувствуя, что сегодня не так велика ее власть над ним, как всегда, пенилась, как вино. Того и гляди обрызнет, обожжет. Пьянить ей хотелось и пьяниться. Потому и со мной она не так как-то говорила, как обыкновенно. Ничего не было особенного, а что-то вот не так. Словно где-то за лесом свет был особенный, и на наши лица он отсвет свой бросал.

Ехали все же очень весело. Сергей надо мной трунил. Зачем, дескать, невесту свою бросил. Это слово «невеста» звучало в его голосе насмешливо. Не очень мне это нравилось, но я уже привык, что и он и Ольга, в сущности, всегда немного надо мной подтрунивали. Неловкий я был сравнительно с ними, не такой находчивый.

Мне до всего этого мало было дела, и я даже дивлюсь, как это память так верно и точно хранит все эти малые малости, бывшие давно-давно. Теперь я все это вижу так четко и так определенно могу изъяснить каждую малость, как будто я это все устраивал и сам измышлял. А тогда, хоть я и не охотник, я вдвойне и втройне был отъединенный. Смотрел на березовые стволы, на убегающий снежный путь, на голубое небо сверху, и мало мне было дела, о чем тут говорят около меня. Не слова для меня говорили, а снежное безмолвие вокруг, тихий бархатный снежный праздник, с такой углубленностью всего.

Приехали. В деревне у нас, вернее, в усадьбе, около которой ютилось пять-шесть крестьянских избенок, было два дома. Один большой, двухэтажный, с большим садом, в котором все детство я провел. В этом доме тогда мы жили всей семьей лишь летом. И флигель-особняк, состоявший всего из двух комнат и прилегавшей к нему через сени кухни. В этом флигеле по зимам жил мой отец, и пикники в его от-

сутствие всегда завершались там. Убранство, правда, было не роскошное, но тем веселее. В комнате, которая служила столовой, был достаточной величины стол, достаточное количество кресел и стульев, шкаф с посудой стоял в соседней комнате, служившей отцу спальней, а в столовой красовался другой шкаф объема непомерного — он весь был наполнен охотничьими ружьями, винтовками, патронташами и всем арсеналом охотничьих принадлежностей. Отец мой любил поохотиться, и я думаю, не меньше, чем три четверти своей жизни, он провел на открытом воздухе.

Старая Устинья, ключница, бывшая у нас в доме еще со времен крепостного права, принесла нам с погреба превосходной простокваши и варенца. Мы расставили и свои угощения, привезенные из города. Зажурчал-замурлыкал свою песенку самовар. И старая Устинья отбыла на свою людскую половину, дабы предоставить веселящихся барчуков самим себе и на досуге распивать чай из собственного своего самовара с мужиком Глебом, бывшим у нас чем-то вроде управляющего. Этот Глеб, возникающий и в дальнейшем моем рассказе, был мужчина огромной силы и, будучи не лишен некоторого знакомства с отечественной историей — мы его развивали — говорил, что, хоть он и Глеб, а брат у него Борис (не знаю, был ли таковой), но ежели к нему да явится Святополк Окаянный, так он этого Окаянного во как разделает. Нрава он был при этом тихого, но, может быть, в жизни ему и пришлось однажды свернуть кому-нибудь голову.

Голоса Устиньи и мужиков еле доносились до нас из людской. Мы пили чай, обменивались незначительными фразами, и тут вдруг налетел вихрь совсем неведомо откуда. То есть без малейшего с какой-либо стороны предуведомления. Только что я откупорил бутылку вина. Мускат-люнель. Этакая сладость. И уже предвкушал удовольствие выпить стакан этой патоки. Как вдруг Ольга, слегка поддразнивавшая Сергея, слегка помахала перед лицом своим правой своей рукой, вытянула ее, положила на стол и спросила:

— Сергей, ведь у меня красивая рука?

— Нет, — ответил тот нарочно.

Она быстро протянула руку к моему лицу и капризно сказала, обращаясь ко мне:

— Васенька, поцелуйте мне руку.

Это было сказано явно из каприза, притом же я не только не поцеловал ее руку, но что-то поучительное сказал на ту тему, что я у женщин не целую рук и что это несовместимо с моими представлениями о равенстве мужчин и женщин. Однако Сергей, побледнев, вскочил со своего места, убежал в соседнюю комнату и, мы слышали, бросился там на кровать. Ольга вдруг испугалась и серьезно и ласково позвала его:

— Сергей, Сергей, поди сюда.

Но он молчал. Я подобную сцену видел впервые, и мне она показалась глупой и унизительной. Я посмотрел на Ольгу вопросительно. Она шепнула:

— Я сейчас приведу его. — И встала с места, чтоб пойти к нему в соседнюю комнату, но в это самое мгновение он соскочил с кровати и выбежал к нам.

Я никогда не знал до этой минуты, что человеческое лицо может так меняться в такой короткий промежуток времени. Лицо его было смертельно-бледно и изуродовано судорогой, глаза светились диким зеленым светом, а коротко подстриженные белокурые волосы дыбились, как шерсть на спине у собаки, чувствующей присутствие врага. Это был не только другой человек, мне совершенно неведомый, — это было другое существо. Безобразное существо и страшное, как показалось мне тогда.

— Я тебя ненавижу, — воскликнул он, поднимая лицо свое кверху и сжимая кулаки. — Потаскушка!

— Сережа, Сережа, — услышал я голос Ольги, в котором звенела необычная ласковость.

Она бросилась в ласковом порыве к нему, но резким движением он отшвырнул ее от себя, протянутая рука ее бессильно упала и, должно быть, очень больно ударилась о край стола.

— Сергей, — закричал я, — что ты делаешь?

— Ты не знаешь, Вася, ты не знаешь, какая она, — с мучением ответил он. — Вся напоказ, все в ней нарочно.

— Вася, милый, уйдите на минутку отсюда, — пролепетала Ольга умоляюще.

— Да, прошу тебя, уйди на минутку, — сказал Сергей.

Я не знал, что мне делать. Предчувствие меня удерживало.

— Хорошо, я уйду, но действительно на несколько минут, я похожу тут, около дома, — сказал я.

— Мы позовем вас.

— Мы позовем тебя через несколько минут.

Я ушел.

Я вышел на двор. Луна поднималась, не дойдя еще до вышней точки на своем пути. Легкие облачка бежали под ней и около нее. Старый сад был весь завален снегом, и в него нельзя было пройти. Я пошел вдоль ограды по дороге, и мне странно было, как будто маленькие, тонкие голоса бесчисленно звали меня вернуться поскорее в дом, где остались эти близкие и совершенно, ну совершенно непонятные мне люди. О чем там могли говорить они? Ночь так тиха. Что между ними встало в эту белую прозрачную ночь, когда они любят друг друга и когда весь мир так похож на безгласный праздник, застывший в кристаллах и в белом бархате?

Я вернулся ближе к дому. Не знаю, сколько минут прошло, но, во всяком случае, они уже должны были бы позвать меня. Дверь из сеней на крыльцо я, уходя, оставил открытой, но та, другая дверь, ведущая во флигель, все не открывалась и не открывалась. Я близко прошел мимо окон. За ними колыхались неясные тени. Но в промерзлые окна ничего нельзя было разглядеть.

Мной овладело беспокойство — и не странно ли, к нему примешивалось еще чувство несознаваемой оскорбленности, что вот я тут должен ждать на дворе, в то время как они там, в комнате, вдвоем.

Я вошел в сени, я подошел уже почти к двери, как внезапно остановился, услышав там в комнате умоляющий жалкий голос Ольги и отвечающий ему совершенно для меня чужой голос Сергея. Этот чужой голос был пьяный, но не от вина, и в этом голосе была издевающаяся ласковость. Сергей говорил:

— Ну что же, Олечка, выбирай, из какого ружья тебя застрелить? Вот из этого? Или вон из того? А то из винтовки? Нарезная! — В его голосе была положительная нежность. — Так выбирай же. Отпразднуем свадьбу. Не пищи, — сказал он вдруг, меняя голос. — Чего скулишь, как щенок? Я тебя, пожалуй, еще прибью, прежде чем убить.

Мне показалось, что я слышу, как щелкнул взведенный курок. Я быстро подошел к двери. Но, уходя, я слышал, как опустился крючок, и знал теперь, что дверь заперта. Во что

бы то ни стало я должен туда войти. Но я знал, что, если я подам свой голос, Сергей не пустит меня, и я слышал по голосу, что он не шутит и что он успеет в этом случае застрелить Ольгу. Мысль, блеснувшая во мне, была счастливой. Я взял неожиданностью. Подойдя к двери, я несколько раз быстро и сильно постучал. И прежде чем Сергей, захваченный этим звуком врасплох, успел опомниться, Ольга, догадавшаяся, что это я, подскочила к двери и откинула крючок. Я вошел.

Действительно, Сергей был пьян не от вина. Налитые стаканы стояли непочатыми на столе. Ни Ольга, ни Сергей не прикоснулись к ним. Оба они были в беспомощной растерянности, и было видно по их одежде, что они не раз за эти минуты были в борьбе. У Ольги по левой щеке шла продольная царапина, очевидно, от падения на пол, причем она задела за что-то острое. Сергей казался упоенным готовящейся казнью, в которой он еще не сомневался. Шкаф с ружьями был раскрыт, одно ружье валялось на стульях около стола, другое стояло в ближайшем углу.

— Свидетелей желаете? — издевающимся голосом спросил Сергей, обращаясь к Ольге. Меня он как будто даже и не заметил или счел неодушевленным предметом. — Так я вас при свидетелях застрелю.

Он замкнул дверь на крючок и бросился к углу, в котором стояло ружье.

— Сергей, опомнись, — сказал я, беря его за руку. — Что ты хочешь делать? Опомнись, ведь она же ни в чем не виновата.

— Вася, — вдруг закричал он с исступлением, — ты не знаешь. Вася, милый, уйди.

— Вася, не уходи, — как эхо повторила Ольга, цепляясь за мою руку.

— А, ты говоришь ему «ты»! — закричал Сергей и, схватив ее за плечи, с силой ударил ее об пол.

Тут между мной и голубоглазым маркизом Позой произошла сцена, совсем недостойная шиллеровских героев.

— Бить женщину! — воскликнул я с негодованием и схватил его за горло.

— А, ты за нее! — ответил Сергей и в свою очередь схватил за горло меня.

Я всегда думал, что Сергей сильнее меня и более ловок. Но придало ли мне силы бешенство, охватившее меня, или сделало более ловким сознание, что, если он меня одолеет, произойдет убийство, только я был в этой схватке более силен и ловок. Я чувствовал, однако, что этого торжества хватит ненадолго, и начал теснить Сергея к двери, чтобы отворить ее. Я не знал, что я дальше сделаю, но чувствовал, что непременно нужно дотесниться до двери, откинуть крючок и распахнуть дверь. Я чувствовал, что комната враждебна и что нужно открыть дверь. У меня не было ни на одну секунду мысли о себе, но мне казалось, что каждый миг может случиться непоправимое.

Сцепившись, как крючьями, руками с Сергеем, я дотеснился до двери и, разодрав кожу на правой своей руке, ухитрился, не прекращая борьбы, откинуть крючок. То, что было дальше, было, пожалуй, более смешно, чем страшно.

Едва я откинул крючок, Сергей начал одолевать меня, и я почувствовал, что он сейчас оттеснит меня от двери. Я сделал последнее усилие, вновь притиснул его к двери, толкнул ее, она распахнулась, и уж совсем не по-рыцарски в этой нерыцарской борьбе я крикнул:

— Люди! Глеб! Сюда!

Но люди уже были в сенях, ибо слышали из кухни наши крики и шум борьбы. Они были в сенях и не смели войти. Теперь же обступили нас и умоляли не серчать и не ссориться. Всех трогательнее была старая Устинья, которая, поняв всю сцену по-своему, успокоительно причитала, что, если нас двое, а барышня одна, так ведь есть на свете еще барышни. Барышня же была ни жива ни мертва и во все время нашей борьбы, правда, очень быстрой, глядела на нас, застыв на месте, так в этой позе она была и теперь.

Это неожиданное вмешательство человечества, не входившее в инсценировку убийства, отрезвило Сергея.

— Это подло, — сказал он мне.

— Возможно, — ответил я и, приказав причитающим верным служителям уходить теперь на кухню, велел Глебу подать лошадь и сказал, что он поедет с нами.

Правда, все это было ужасно как некрасиво. Но, не зная, что еще выдумает Сергей, я даже испытывал желание велеть связать его.

Но мы мирно уселись в сани. Сергей и Ольга рядом на сиденья, я на козлах, но лицом к ним. Глеб в одну минуту нарядился в тулуп и молча правил.

Не успели мы выехать за околицу, всего саженей десять от дому, как Сергей выскочил из саней и со всех ног бросился бежать назад к дому.

— Он убьет себя, — пронзительно закричала Ольга.

— Глеб, — вскричал я, вырывая у него вожжи, — догони его и во что бы то ни стало приведи сюда.

Глеб устремился за ним, но, прежде чем он успел его догнать, Сергей, видя бесполезность и невозможность противоборства, повернул и пошел к саням.

— Под вашим благородным конвоем, — с иронией сказал он и поклонился, усаживаясь на свое место.

«Под конвоем так под конвоем, черт с тобой», — с раздражением подумал я. Быть чьим бы то ни было конвоиром вовсе не согласовалось с моим вкусом.

Вот и все, пожалуй. Мы доехали до города молча. Время от времени Сергей озирался, как человек, который только что проснулся от тяжелого сна. Потом голова его в огромной белой папахе бессильно падала на грудь. Среди ночных снегов, под высокой луной и в нашем застывшем молчание он казался мне пойманным разбойником. Он был страшен и жалок.

По приезде в город он хотел остаться с Ольгой вдвоем, чтобы говорить. Но она не захотела, и я не позволил. Тогда умоляюще он стал просить меня, чтобы я отправился к нему ночевать. Он не мог быть один. Я велел Глебу обо всем молчать и отослал его к нам в дом, а сам ночевал у Сергея. Он говорил и то, и это. Я слушал молча, как слушают больного. Что еще? Утром принесли записку от Ольги. Она писала ему, что все между ними кончено. И что же вы думаете? Он валялся на полу в судорогах, а я его утешал. Против совести утешал и обнадеживал. Потом я же, опять вступивши в права и обязанности романтического друга, ходил дважды и трижды к заупрямившейся Ольге и убеждал ее не доводить его до самоубийства. Они свиделись, но затем она ему долгий искус устроила. Целый год они были в полуразрыве. Погоняла на корде. Потом все же вышла за него замуж. И знаете, какая ирония судьбы? Вы, конечно, догадались. Это очень просто.

Я в жизни встречал ее потом раза два, через большие промежутки. Так по старой памяти будучи со мной откровенна, она рассказывала мне о том, как она его теперь ревнует. Он ее любит меньше, чем она его, или так показывает, и бес ревности переселился в нее. Не в таких буйных формах, но, как я сказал, тихое помешательство всегда бывает более опасное.

1908

ЛИВЕРПУЛЬ

Если вы думаете, что я хочу вам рассказать что-нибудь об английском городе Ливерпуле, вы ошибаетесь. В Англии я, правда, был, и неоднократно. Люблю Оксфорд и Кембридж. Жил в Лондоне. В замке Варвик видел белых павлинов, а в Стратфорде-на-Эвоне поклонился праху Шекспира. Но до Ливерпуля я ни разу не доехал, да и зачем бы я стал туда заезжать? Коммерцией я не занимаюсь, а это ведь, кажется, город исключительно торговый и промышленный.

Я хочу вам нечто рассказать про гостиницу «Ливерпуль» и ее обитателей и посетителей. Находилась эта гостиница в моем родном городе в те далекие дни, когда я кончал гимназию, вернее, был в шестом классе.

Мучительное это было время.

Я ненавидел школьные науки и школьную дисциплину. Мне хотелось выйти из гимназии, но родители не позволяли. В голове у меня возникали многочисленные планы — сделаться писателем, пойти в народ пропагандистом, отправиться к сектантам, молоканам, духоборам, штундистам, наконец, просто уйти куда глаза глядят. Пространство и ветер всегда волновали меня и звали узывчиво. Я прочел еще в это время впервые незабываемое «Преступление и наказание», и книга эта, словно ночное зарево, осветила все в душе моей тревожным светом и звала меня, толкала, гнала куда-то, точь-в-точь как зовет и гонит проснувшегося перебоем звучащий ночной набат.

Было еще одно обстоятельство, которое временами прямо с ума меня сводило. Я очень рано узнал в жизни женские ласки, слишком рано. И в то время как раз, о котором я гово-

рю, на меня нашла полоса аскетизма и желание сохранять свою чистоту. Я свое решение и выполнял уже много месяцев. Но иногда в течение нескольких дней и ночей сгорал, томился, терял волю, с удивлявшей меня непоследовательностью, совершенно неожиданно, делал не то, что хотел и должен был делать. Скажу себе мысленно: «Буду сейчас читать». И тотчас рука моя протягивается за фуражкой, я надеваю ее, хотя уже одиннадцатый час ночи, иду из комнаты и, проходя в прихожей мимо зеркала, смотрю на чужого человека, который есть я. Иду по улице, но это не я иду, а ноги мои ступают и необычно звучат шаги. Тревога в душе возрастает и мятется. Вернуться хочешь и не можешь. Идешь вперед и говоришь себе: «Не пойду». Но уж ноги отлично знают, куда идти, и идут. Вот прошел всю улицу, миновал соборную колокольню, повернул налево, перешел через большую-большую площадь, на которой в базарные дни от наехавших мужиков словно монгольское нашествие, подошел к непомерно большому для провинциального города дому — и вверх по лестнице. А на доме вывеска, размеров неестественных, издали видно: «Гостиница Ливерпуль».

Принадлежала эта гостиница довольно изумительному человеку, но с именем обыкновенным — Иван Федосеич Резнин, а об ее возникновении весьма были темные слухи, и сказывали у нас в городе под шумок, что к Ивану Федосеичу вполне пристала его фамилия.

Темные слухи гласили следующее.

Иван Федосеич был цирюльником, и была у него собственная небольшая цирюльня. Стриг и брил честь честью. Было это в весьма известном городе Нижнем Новгороде, где, как каждый знает, бывает летом знаменитая ярмарка. На ярмарке всегда — и во всех странах, фламандские художники тому свидетели — не только покупают и продают, но также играют в азартные игры, любят, сладострастием, не любовью — и любовью — и пьют, много пьют, много пьют. Около ярмарки была цирюльня Ивана Федосеича. Зашел в нее раз в жаркий, душный полдень богатый татарин. В цирюльне никого не было, лишь они двое. Через некоторое время — неопределенное — Иван Федосеич поднял тревогу. Сбежались люди, смотрят — на полу татарин мертвый лежит, горло у него перерезано, крови на полу натекло, как из барана. «Так и

так, — говорит Иван Федосеич, — зарезался. Пришел и лопочет что-то непонятное. Жарко, говорит, мне, душно. Душно мне. Проигрался. Проторговался. Взял бритву да фють. Как сноп повалился».

Ну помытарили свидетеля ярмарочного самоубийства. Следствие тянулось. Года полтора в тюрьме отсидел. Улик никаких не было. Убит или сам себя убил — кто ж тут разберет. Суд оправдал. Иван Федосеич цирюльню свою прикрыл. Из Нижнего Новгорода уехал. Сколько-то времени пропадал и тут и там. В разных городах побывал, попал в наш городок, снискавший прозвище русского Манчестера, построил исполинскую гостиницу и, должно быть, во внимание к славе нашего фабричного местечка наименовал свою гостиницу «Ливерпуль».

В «Ливерпуле» было пять этажей. В первом помещался трактир, вернее, кабак; в этом же этаже ютился и собственник гостиницы в двух просторных комнатах, так называемых номерах. «Ближе к стойке ходит во время запоя», — говорили местные остряки, ибо Иван Федосеич действительно страдал запоем и таким, что эпико-драматический этот запой, быть может, и составлял главную изумительность этого необыкновенного человека.

Второй этаж сдавался под концерты и любительские спектакли, он был самый роскошный во всем здании. В третьем этаже помещался клуб. Четвертый и пятый были номерами. Они также как бы составляли отдельные провинции, находившиеся в ведении двух сыновей Ивана Федосеича — погодков; одного звали Петром, другого — Павлом; отец так нарочно их назвал, чтобы иметь возможность всю жизнь потом время от времени, именно в период запоя, говорить богохульные остроты. Дочерей не было, вернее, «были, да все вышли», как говорил Иван Федосеич: одна померла еще в младенчестве, другую нечаянно застрелил некий пьяный охотник, третья сбежала и пропадала неизвестно где.

Иван Федосеич был человек грузный и безмолвный. Образования он не получил никакого, но любил читать Библию и со зловещей неожиданностью вставлял иногда в полупьяный разговор меткую цитату оттуда, а когда находился в бессознательности, любил декламировать наизусть стихи Пушкина, Лермонтова и Державина. «В природе четыре естест-

ва, — говаривал он, — а у нас, на Руси, четыре стихотворца. Ломоносов есть земля, без него быть мы не можем, Державин — вода, так журчит, словно как водопад. Пушкин — воздух, ветреник был. Лермонтов — огонь, не пишет, а прямо жжет стихом». Этот перечень я услышал из собственных уст Ивана Федосеича, когда я однажды шел к его сыну Павлу, а он затащил меня к себе в комнату и угощал меня водкой и беседой. Водки я не пил. В те дни я испытывал болезненное отвращение к этому напитку и испытывал глубокое презрение, смешанное со страхом, ко всем, кто себя одурманивает вином.

— Вы вот, молодой человек, — говорил мне Иван Федосеич, — говорят, литератором быть собираетесь. Так как же вы водочки не изволите откушать? Литераторы все пьяницы. Кто пишет, тот должен пить. Потому как он тогда в двойное зеркало все видит. Вы не смейтесь! Я ведь это не про то говорю, что иной раз, когда перехватишь, так двоится в глазах. Нет, это уж последнее дело. За этим черти пойдут и насекомые. Тут уж бросать нужно пить-то. Нет, я это вот про что. Сидишь это, сидишь весь день у окна и за стойкой, видишь людей, много их видишь, но все по-наружному. Примечаешь, однако, за ними и то и другое. И вот начинаешь во внутренность их заглядывать. И как это начнется, на водку потянет. Выпьешь — хорошо. Выпьешь еще — и человек как на ладони. Все видишь. Что думают, чего боятся, кто у кого что украл, кто кому как завидует, кто на что готовится, все, все. Как в святцах определю. Так вот, значит, и вам будет это пользительно. Человеческую натуру определять. Позволите? Эдемский напиток. Соизвольте откушать, Василий Митрич. Не угодно? Ну, не принуждаю. Душа человеческая вольной должна быть. А мне, мальчик, — он обращался к повару Прошке, — принеси еще вина, но не разбавляй водою трезвой.

Прошка, — собственно, не повар, а поваренок — был наперсником Ивана Федосеича. Он приносил по приказанию своего господина несчетное количество бутылок водки и сладких вин — в провинции любят эту гадость, — и разглагольствующий владыка «Ливерпуля» постепенно превращался в одержимого. Он ходил во время запоя в одном нижнем белье, будь то лето или зима, выходил в этом легком кос-

тюме на крыльцо гостиницы, спокойно и с большим даже вызовом смотрел на проходящих и проезжающих, а если случался базарный день, он показывал на мужиков, толпившихся на площади и декламировал стихотворение «Чернь».

В летнее время запой обыкновенно быстро кончался, дня в два, в три, редко около недели протянется. Жарко бывало, задыхался. Кричал не то плачущим, не то смеющимся голосом: «Разбойники, кто там есть наверху и внизу? Натопили Вселенную. С угаром закрыли. Ишь черти! С угаром. Дышать нечем. Прошка! Заморозь всех и все. Душно! Мне душно здесь, я в лес хочу».

В лес он, однако, никогда не отправлялся и испытывал даже мистический страх перед деревьями. И в пьяном состоянии, и в трезвом ему в ветвях чудились искривленные руки и искаженные лики, и, когда он купил участок земли для постройки «Ливерпуля», он первым делом велел вырубить принадлежавший к тому участку красивый старинный сад.

Так летом, говорю я, запой у Ивана Федосеича кончался быстро, и, отлежавшись несколько в постели, он снова принимал благопристойный вид и погружался в мрачное безмолвие. Зимою обстояло иначе. Никогда менее недели он не пьянствовал, а иногда на несколько недель затягивалось. Желудок в конце концов переставал принимать благодатный напиток, но против такого лукавства со стороны подчиненной животины, как говорил Иван Федосеич, он придумал средство остроумное, оригинальное и героическое. Велев кучеру заложить лошадь, он усаживался в сани вместе с Прошкой, который предусмотрительно захватывал лишнюю волчью шубу, бутылку водки и закуску.

— К святой водице, — говорил Иван Федосеич.

И кучер правил к реке.

Недалеко от мельницы была всегда большая прорубь. Доехав до нее, Иван Федосеич, трясущийся не столько от холода, сколько от запоя, раздевался донага, погружался в ледяную воду, выскакивал оттуда как подброшенный. Прошка немедленно протягивал ему рюмку с водкой, покорная животина успокаивалась и принимала без протеста алкоголь, — вторая рюмка, третья рюмка, просверкав на морозном воздухе, опрокидывались в человеческую утробу. Прошка быстро

закутывал голое грузное тело Ивана Федосеича в волчью шубу, и кучер во весь опор гнал в «Ливерпуль».

Средство это было воистину героическим; весь город дивился на Ивана Федосеича, и когда он ездил к водице, многие на него смотрели, что ему давало повод к весьма неуютным остротам. И каждую зиму так бывало хоть раз, и ни разу он не простудился. Должно быть, силен был внутри его огонь, и одно из четырех естеств природы побеждалось другим. Навсегда ли стихии подчинились человеческой воле, это для всех выяснилось вскорости.

Я сказал, что в первый этаж «Ливерпуля» я попал случайно. Я действительно, за исключением второго, где бывал иногда на театральных представлениях, посещал только пятый этаж, где жил мой товарищ по гимназии Павел Резнин, и изредка заходил в четвертый этаж к его старшему брату Петру, очень остроумному чудаку, превосходно игравшему притом на гитаре. Павел был старше меня на два года и уже кончал гимназию, как вдруг вышел из нее и решил заниматься делами гостиницы. Он, как и я, не пил водки и, говоря фанатично, испытывал презрение к пьющим. Впоследствии он сделался одним из горчайших пьяниц русского Манчестера. Старший брат тоже не пил, но, как отец, запивал. Выдерживал по четыре месяца, по пяти, по семи, раз не пил целый год. Боялся водки, когда у него были эти долгие светлые полосы. Потом утрачивал свое обычное отвращение к водке, и это бывало всегда предвестием, что он не нынче-завтра запьет. И всегда начиналось классически точно.

— Что значит одна рюмка? — говорил он. — Я хочу выпить рюмку именно потому, что я победил дьявола. — И он с побледневшим лицом дрожащими руками откупоривал бутылку — непременно должен был откупорить, из початой не пил — выпивал, брал гитару и начинал петь «Не осенний мелкий дождичек».

Сперва пение было стройным, и струны гитары играли мелодически. Потом под тем или иным предлогом выпивалась вторая и третья рюмки, и чем менее оставалось влаги в бутылке, тем более дико и причудливо звучало пение и играла гитара. Не то что совсем нестройные возникали звуки, нет. Казалось, что это играет и поет сумасшедший, который время от времени с поразительной трогательностью и тра-

гичностью возвращается к ясности сознания, с пониманием, что эта ясность продлится лишь несколько мгновений, вот-вот погаснет, вот уж гаснет, и откуда-то из пропасти, затянутой туманом, доносится последний жалобный крик.

Странное дело. Иван Федосеич и его старший сын никогда не запивали одновременно. Если на Петра нашло, уж наверно Иван Федосеич трезв и вдвойне мрачен. Ни с кем не говорит ни слова. Швырнет только Прошке: «Пьянствует там собака?» И после утвердительного ответа выжидает и три, и четыре дня, а затем велит Прошке: «Поди урезонь». Это означало, что Петра Резнина домашними средствами укрощали. Его замыкали в отдаленный номер, привязывали к кровати, давали в первый день арестного жития три рюмки водки — без троицы дом не строится; на второй день лишь две — потому что палка о двух концах; и на третий день одну — един человек при рождении своем. Засим лишь молоком отпаивали, и запой кончался.

Так же точно и сын никогда не пил, когда пил отец, но сын не мог урезонить отца и не посягал на него. «Руки коротки», — говорил Иван Федосеич. Сын и отец ненавидели друг друга, и Петр Резнин никогда не спускался к отцу в нижний этаж, а Иван Федосеич никогда не поднимался к сыну в верхнее помещение. Так и жили в раздельности. Петр вышел из гимназии совсем рано, из третьего класса. Но любил читать и с необыкновенным юмором рассказывал своим гостям, только в периоды трезвости, лучшие сцены из Гоголя или Диккенса. В той дикости, которая царит в наших фабричных городах, он являл из себя трогательный оазис, и так не повезло ему.

Никак он не мог отстать от своего недуга. Невероятные усилия воли растягивали промежутки на долгие месяцы, но в конце концов непременно сорвется. Раз он придумал устрашающее средство против самого себя. Сидя в компании друзей, — местный нотариус, учитель латинского языка, бакалейный торговец и ничегонеделатель — он дал клятву, что никогда уж в жизни он не выпьет более ни рюмки. Те стали оспаривать. Тогда он сказал: «Если запью, вы можете меня выпороть». Друзья хохотали: «Хорошо, хорошо». Но бакалейный торговец, привыкший в торговле вести дело дотошно, потребовал, чтобы он дал расписку. Петр Резнин дал рас-

писку, уполномочивавшую поименованных подвергнуть его телесному наказанию в виде сечения розгами, если он, Петр Резнин, выпьет хотя рюмку водки. Через семь месяцев он запил. Добрые друзья, придя, по обыкновению, вечером послушать сцены из «Пиквикского клуба», застали его за бутылкою портвейна. Виновный пытался казуистически доказать, что он не нарушил обещания, данного в документе, но друзья были неумолимы. Они призвали на помощь Прошку и высекли Петра Резнина. Бакалейный торговец вместе с Прошкой и ничегонеделателем держал Петра, учитель латинского языка стегал его, а нотариус сидел перед бутылкой портвейна и, прихлебывая вино, записывал длительность пауз, длительность экзекуции, точное число ударов и все слова, которые были кем-либо при этом сказаны.

— Ему же потом пригодится, — говорил нотариус, — потешит нас остроумным рассказом.

Петр Резнин не захотел, однако, из этого события сделать юмористический рассказ для друзей. Он исчез из нашего города. Пропадал с полгода. Я его встретил случайно через несколько месяцев в соседнем городе. Он был в самом жалком виде уличного пропойцы. Мне рассказывали, что он уже давно ничего не ест, а только пьет. Я убедил его младшего брата съездить за ним. Тот отправился за ним, вытрезвил его, и теперь Петр Резнин уже несколько месяцев как был дома, на своем четвертом этаже.

Та ночь, о которой я говорить начал, та ночь, в которую я опять пошел в «Ливерпуль», была проклятой. Так казалось мне тогда. Так мне кажется и теперь. Бывают проклятые люди и места, бывают и мгновения проклятые.

Я шел, подавленный внутренним отвращением к самому себе. Вот что случилось со мною в тот день.

Уже несколько суток как я задыхался от жажды ласк, и все, к чему я ни прикасался и о чем ни начинал думать, вызывало во мне мысли и желания, повергавшие меня в отчаяние. «Этого не должно быть, — говорил я себе. — Ты сказал, что этого больше не будет, — повторял я себе мучительно. — Этого не должно быть». В голове был туман. Я чувствовал себя раздраженным и униженным. Вечером я сидел рядом с младшим братом и помогал ему готовить уроки. Это был милый мальчуган лет двенадцати-тринадцати. Я любил его веселый

нрав и понятливость. Повторяя ему в третий раз начатую фразу, конец которой я забывал, я вдруг впервые заметил, что у него очень белая красивая шея. Я прикоснулся к ней пальцами и сказал: «Какая у тебя белая шея!» Он не обратил на это никакого внимания, а я не мог отнять пальцы от его шеи, они чувствовали теплоту и нежность кожи, и понемногу все сильней и сильней сжимали детское горло. Наконец братишка сделал испуганные глаза и крикнул: «Мне больно!» И словно горячая волна пробежала в моем мозге. Я отдернул руку с испугом, почувствовав, что мне неудержимо хочется сжать пальцы совсем крепко.

Я шел теперь по спящему городу и испытывал глубокое унижение перед самим собой оттого, что во мне могло шевельнуться подобное чувство. Я хотел видеть своего товарища Павла. У него был такой открытый характер, он так ясно на все смотрел, мне инстинктивно шептал какой-то голос, что я должен пойти к нему и говорить с ним.

Я вошел в пятый этаж, дошел до его комнаты. Дверь была неплотно прикрыта, и я увидел, что он, одетый, лежит на диване и спит. На столе около дивана горела лампа и лежала раскрытая книга.

Я тихонько вошел к нему и закрыл за собой дверь. Сел на кресло около дивана. Павел не проснулся.

Когда я подходил к «Ливерпулю», меня поразил своими зловещими перекладинами шестой недостроенный этаж гостиницы. «Пять чувств нам иметь полагается, — сказал однажды Иван Федосеич. — И в „Ливерпуле" у меня пять этажей. А умные люди говорят, что есть у нас шестое какое-то чувство. Так вот я и шестой этаж пристрою». И начал строить. Сказано это было летом, а теперь, по зимнему времени, постройка оставалась в незаконченности.

«Почему на меня так действуют самые простые вещи? — подумал я, припоминая перекладины незаконченной постройки. — Ведь не виселица же там. Недостроенной этаж — и только. И почему мне приходят в голову такие низкие мысли, как то, что было сегодня вечером?»

Павел крепко спал. Я смотрел на него упорным, тяжелым взглядом, и мало-помалу мной стала овладевать одна неотвязчивая мысль. Ворот рубашки был расстегнут у Павла, и я видел его шею. Что такое есть в шее признательного? Если

бы тихонько приблизить к этой шее пальцы и изо всей силы сжать их, он не успел бы, вероятно, проснуться, а если бы проснулся, не смог бы вырваться. Несколько судорожных движений, и он лежал бы еще более неподвижно, чем теперь. И можно было бы так же незаметно спуститься с высокой лестницы, как незаметно ни для кого сейчас взошел на нее в этот ночной час. А он лежал бы, лежал бы здесь.

— Вася! — вдруг вскрикнул Павел, и с судорожным движением проснулся и сел на диване.

Я сидел перед ним неподвижно, я не менял своей позы с той минуты, как вошел в комнату.

— Что с тобой, Павел? — спросил я.

В его глазах было ускользающее выражение сна, который погасал. И, еще раз вздрогнув, он сказал:

— Не знаю. Что-то страшное мне снилось. Ты давно здесь?

— Нет, только что пришел, — сказал я.

— Ах, у нас такие ужасы, — проговорил Павел. — Петр, ты ведь знаешь, уже целую неделю пьет, а сегодня что-то совсем неожиданное. Отец запил.

— Он запил теперь? — воскликнул я с таким инстинктивным ужасом и изумлением, как если бы ночью засветилось солнце рядом с месяцем.

— Да, — протянул Павел, — и что-нибудь выйдет. Я чувствую, что из этого что-нибудь выйдет такое...

Но он не успел выговорить свое предположение. Мы услышали раздавшийся под нами в четвертом этаже пронзительный крик. Затем шум борьбы, звук падающих стульев, чьи-то быстрые шаги: кто-то убегал и за ним гнались. Мы выскочили в коридор, выбежали на лестницу, куда убегали шаги; они убегали дальше, и несколько человек пробежало перед нами по направлению к неконченой стройке.

Произошло следующее. Пьяный Иван Федосеич послал Прошку урезонивать старшего сына. Но тот не только не пожелал урезониваться, а спустил Прошку с лестницы. Тогда Иван Федосеич пригласил к себе своего приятеля, частного пристава, угостил его водкой и угостился сам.

— Что ж это такое? — говорил он. — Человеческой душе вольной быть полагается. Хочу пью, хочу не пью, а он слу-

шаться должен. Рабом ли будет отец сына своего? Пить хочу. А он чтоб эту музыку бросил. Пойдем его арестуем.

Частный пристав и Иван Федосеич взошли на четвертый этаж, захватили врасплох Петра — кто же мог думать, что отец поднимется в верхнее помещение? Схватили его, но у него от страха, от ненависти и от запойного возбуждения вспыхнула такая судорожная мощь, что он расшвырял по комнате обоих представителей домашнего и общественного порядка вместе с их приспешником Прошкой, бежал от них и с ловкостью лунатика, идущего по закраине крыши, балансировал теперь на одной из перекладин и посылал сверху своим врагам невероятные проклятия.

В эту минуту подошли мы, но, прежде чем мы успели что-нибудь сказать или сделать, Иван Федосеич закричал:

— Слезь сию минуту, проклятый! В тюрьму засажу! До каторги доведу. Слезь! Я сам за тобою иду.

— Иди. Ну, за мной! — вскрикнул Петр и, прыгнув, ринулся в пролет.

Убился, конечно. Так разбился, что и узнать было нельзя. Схоронили.

Иван Федосеич из-за такой малости запой свой не прекратил, напротив, усилил. И на похоронах не присутствовал.

— Четыре вещества в природе, — говорил он, выпивая рюмку за рюмкой. — Моему разлюбезному сыну — вечная ему память, как полагается, — разлюбезному моему сыну пришла в голову фантазия скакнуть в вещество воздуха. Полное имел право. Душе человеческой полагается быть вольной. И потому как познал он вещество воздуха, правильно, чтоб теперь он познал вещество земли. Вечная память! — И он начал новую бутылку.

Обитатели «Ливерпуля» вскоре соприкоснулись с достоверностью и других двух естеств природы. Законченно все произошло.

Иван Федосеич сильно закрутил. Дошло дело до обычного упрямства непокорной животины. Выбрасывает благодеяния алкоголя, да и все тут. Классический репертуар прикосновения к святой водице. Все по правилам. Прошка стоял у проруби с водкой и волчьей шубой. Но на этот раз Иван Федосеич по причинам, оставшимся в неразъясненности, не вы-

скочил из проруби с такой бодростью, как будто его оттуда подтолкнули, а как камень ко дну пошел. Под лед, в синюю воду.

Бросились за баграми и разными разностями. Спасти хотели, лед в разных местах рубить начали. Да что толку? Бессмыслица. Вода и подо льдом течет. Отнесло.

Полежал в святой водице до водополья. А как вскрылась река, мужики-огородники нашли его распученное тело. Выбросила на берег полая вода около огородов...

Вы спрашиваете, что сделалось с «Ливерпулем»? Боюсь показаться дидактическим, но и малую правду нужно всю до конца рассказывать, похожа ли она на правду или нет, все равно. «Ливерпуль» достался моему товарищу Павлу Резнину. Прошку он выгнал вон. А через некоторое время «Ливерпуль» сгорел. Подозревали Прошку в поджоге, но точных доказательств не было. Павел Резнин отстроил здание заново, но, будучи человеком простым, с ясным взглядом на вещи, он не помышлял ни о шестом чувстве, ни о шестом этаже. Огромный пятиэтажный дом со множеством окон, выходящих на базарную площадь и на задний двор, до сих пор красуется в моем родном городке. Но имя гостиницы не захотел повторять Павел Резнин. Оно сгорело в естестве огня. И ныне там, где был «Ливерпуль», победоносно существует «Бирмингам».

1908

ПРОСТОТА

Из длинной летописи

Прикованный долгой болезнью к постели, я очень затосковал, и припомнились мне тени из далекого прошлого. Призраки людей, которых я знал в детстве и юности или о которых слышал от близких. Захотелось узнать, услышать о них что-нибудь, а в родных местах я не был уже давно. Написал самому близкому человеку, какой есть на свете, — своей матери, — и она мне ответила. Я спросил ее: «Что ты помнишь о матери отца моего, о которой я знаю только, что незадолго до освобождения крестьян от крепостного права она приковала

своего сапожника Ваську Беглого к стулу за то, что он однажды отлучился в питейный дом?

Жив ли столяр Григорий, по прозванию Культяпый? Когда он прострелил себе руку?

Что ты помнишь о том припадочном, с которым сделалась падучая от угрозы сдать его в рекруты? Имя его забыл.

Где теперь страшивший меня в детстве Трофим, изба которого была рядом с нашим огородом и о котором говорили, будто он кого-то убил?

Где теперь красивая Марька?

Где веселая Пашка, с которой я играл в детстве?

Жива ли еще Варя Косая, столь похожая на добрую колдунью?»

На все вопросы я получил ответ.

«Бабушка Клеопатра Ильинишна была красавица, умница и крепостница. Наш сосед по имению князь Ухтомский, человек манерный, не раз говаривал, что Клеопатра Египетская, конечно, более знаменита, но наша Клеопатра Ильинишна, бессомненно, более красива. Она сама, помню, говорила: „Два губернатора за мной ухаживали, а мелких чинов — несть числа". Ей сказали в 1869 году, что я ее хочу отравить. И она об этом написала Оле, сестре мужа, за границу. А когда Оля умерла, то мой муж и твой отец, который ездил к ней и привез ее гроб в наше имение Большие Липы, нашел у нее в шкатулке письмо Клеопатры Ильинишны, где она пишет, что Лизанька, мол, за ней лучше родной дочери ухаживала и что на Лизаньку наклеветали. Она и умерла на моих руках, а дочь и сын прибыли тогда, когда она уже была без памяти. Приехав в квартиру нашу потихоньку от старшей дочери, к которой уехала от нас, она, убедившись, что на меня налгали, упросила доктора Левицкого заехать за ней, как будто для катанья, и возвратилась ко мне, бросилась целовать мои руки и просить прощенья. Можно ли было не простить умирающей? Она меня до своей смерти не отпускала от себя. Васька же Беглый, правда, был человек негодный, но, приковав его к стулу, бабушка слишком погорячилась. Да и ни к чему все это оказалось, потому что со стулом своим он таки ухитрился вовсе сбежать из усадьбы и пропал без вести. А через два года освобождение пришло. Уж не знаю, застало ли оно его в живых. Говорили, что, как сбежал он из усадьбы,

зашел со своим стулом в полынью и утонул. Не знаю, правда ли это так было.

Столяр Григорий очень был хороший человек, Хотя тоже любил выпить. Умер он только недавно от рака у нас, в усадьбе Большие Липы. Очень бедняга мучился. Возила я ему чай, сахар, конфеты и варенье. Жена его Марфа, верная себе, все живет у холостых, и сейчас у учителя гимназии; руку он себе прострелил за год до уничтожения крепостного права, я же вышла замуж в год освобождения крестьян, то есть в 1861 году. Мне рассказывали, что он ни за что не хотел идти в солдаты, взял ружье, отпросился на охоту да на опушке леса и выстрелил себе в правую руку. Два пальца совсем оторвало, а у оставшихся трех, изуродованных, доктор по половинке ампутировал. Я ведь тебе об этом когда-то говорила. И все же, несмотря на это уродство, — ты помнишь — всегда он был хорошим охотником и отличным столяром.

Федя припадочный жил лет шесть у нас в Больших Липах. Бабушка хотела его наказать за какую-то провинность, хотя он был ее любимцем из дворовых. Велела разбудить его ночью, и ему сказали: „Вставай, Федя, — говорят, — в город тебя повезут, в рекруты сдавать“. А он как услышал, так об пол хлоп и давай биться. С тех пор на него по временам и находила падучая. Пугал он меня во время припадков, но очень любил. Когда, бывало, напьется, его запрут в сарае, а он подкопает землю и ляжет у меня под окном и поет свои импровизации:

Был у Паши,
Был у Даши,
У прекрасной
У Дуняши.
Подушечка моя
Заиндевела,
Одеяльце в слезах
Потонуло.

Потом его взяли в Шулигинскую богадельню, где он, несчастный, и умер. Меня он звал „милая барышня“, так как я ему давала иногда мелочь.

Трофим из Больших Лип, муж беззаветно любившей его Афросиньи, как говорят, убил у себя в кабаке человека. Нашли кровь на досках, под полом. Но, хотя он сидел в тюрьме, как-то выкрутился, да и хлопотали за него, в том числе и я, так как очень мне было жаль Афросинью. Он был не человек, а зверь, и летом во время покоса у нас, в Больших Липах, он в остервенении сломал грабли и острым концом воткнул Афросинье в руку. Слышим ужасный крик, видим — бежит Афросинья, окровавленная, и кусок грабель торчит из руки. Я и сейчас этого забыть не могу. Были у нас гости, и товарищ прокурора, к которому я бросилась с просьбой защитить Афросинью, с иронической улыбкой сказал, что между мужем и женой никто не может быть судьей. И она же приходила и бросалась мне в ноги, прося за мужа. Да, ужасное было время.

Бывшая красивая Марька, дочь Онисима, которой было два года, когда я вышла замуж, часто у меня бывала в комнате. Я ее умывала и играла с ней как с куклой. Славная была девочка, милая, ласковая, подарила я ей куклу, которую она называла „барыня Лизанька". А потом, как подросла, оказалась она большой негодяйкой. Пришлось отпустить ее из дома от срама. А она, негодная, словно желая отблагодарить за все, что для нее в ее детстве я сделала, называла меня за глаза, как я слышала, „кукла Лизанька". Этакая бессовестная.

Пашка была сначала кормилицей, после незаконного ребенка, затем вышла замуж и совсем сбилась с толку. Даже и рассказывать не хочется, что теперь с ней. Всему городу известна.

Варя давно умерла в своей избушке, которую я с отцом твоим подарила ей. За коровами она ходила и за гусями до самой смерти, а было ей, когда умирала, ни много ни мало девяносто лет. На один глаз она была слепа, а на другой немного видела. С коровами она разговаривала на каком-то своем особенном коровьем языке, а с гусями по-гусиному. И никого в свою избушку не допускала. Коровы, говорила, тварь Божья, благая, молоко дают, никого не забижают и много добрей, чем люди. С ними говорить — душе отрада, а с людьми разговаривать — душе надсада, ни Богу свечка, ни черту кочерга. И гуси, говорила, белые, как душенька наша, либо серые, как в сумерки бывает, когда уж спать можно ид-

ти и спокой знать. Умерла она совсем одна. Стучали к ней, стучали, дверь пришлось взломать, видят — лежит мертвая, и кот ее любимый около нее сидит на стуле. В подполье потом кубышку у нее нашли, и в кубышке двадцать семь рублей денег. И для кого берегла? Избушку ее отдали новой скотнице, да та не захотела в ней жить. Боязно, говорит. По ночам все шорохи какие-то. Так и стоит теперь пустая. На самой околице, где два дуба растут».

Лежа в своей постели и ожидая неправдоподобного выздоровления или достоверной смерти, я спрашиваю себя, зачем жили все эти люди в ужасающей простоте своего существования? Жили и живут. Как мухи летом. И я смотрю на окно, а по стеклу ползают, и звенят, и жужжа бьются настоящие мухи. И я им завидую, потому что у них есть крылья, а я лежу прикованный к постели. Но в то время, как я им завидую, мухи бьются об окно и им хотелось бы вылететь, но некому прийти и раскрыть окно.

ВАСЕНЬКА

Васенька был мальчик тихий и кроткий, он любил цветы, букашек, бабочек, читал книжки или гулял в саду, и, казалось, дьявол нигде не подстерегал его.

Васенька был третьим братом в семье, где было семь сыновей, и все друг на друга похожие, хоть злые языки говорили, что мать у них одна, а отцы все разные. Злые языки впадали в излишество. Семь сыновей, и все погодки, старший уж юноша, Васенька — мальчик, а самый младший еще в колыбельке. И когда в доме бывали гости, — а в сущности, когда там не бывало гостей — вечером под звуки рояля четыре старшие брата и трое детей соседских водили в зале хоровод и весело распевали: «Семь сыновей — все без бровей». А гости смеялись. Ибо действительно в этом доме у детей странные были брови: у всех, как у Мефисто, приподнятые, но у темноволосых чрезмерно отчетливые, а у светловолосых почти безволосые, и вдруг у светловолосых, оттого ли, что пылью лицо покроется, или от особой игры света и теней брови, за минуту безволосые, становились тоже особенно от-

четливыми. И дети водили хоровод, а взрослые сидели по углам, и у них свои были беседы и забавы.

Дом был большой, деревенский — сколько бы гостей ни приехало, всем место найдется. И гости приезжали. Хозяева были хлебосольные. Устроить обед или ужин было для них первое удовольствие. И в лесах было много дичи, а в реках и в прудах рыбы. И два другие имения только для того и существовали, чтобы поставлять всякую живность в эту веселую усадьбу и чтобы все доходы с них, наработанные почерневшими руками, превращались в забаву и смех в этом большом доме. Смех был в зале и в гостиной от умных разговоров и острых шуток. Смех проходил по коридорам, перемежаясь с извилистым смешком. И сдавленный смех раздавался в спальнях, которых было много. А иногда откуда-то доносился плач, тихие звуки рыдания. Но это было редко. И кто бы это мог быть? Дети никогда не плакали. На них не обращали никакого внимания, но им от этого лишь было весело, и их было так много, что они друг в друге находили все, что нужно.

Васенька был не в пример другим. Он иногда играл со всеми и в прятки, и в снежки, и в горелки, и в мяч, во все игры домашние и вольные, во все игры, летние и зимние, и в чет и нечет, и в белое и черное. Но играл он неохотно и редко, а больше сидел в своей комнатке за книжкой и еще больше был в саду, на лугу и на опушке леса.

— Ты чего, Васька-кот, все один бегаешь? Мышей, что ли, ловишь? — грубо спрашивал его двоюродный брат, солдат, только что пришедший с войны.

Но Васенька безмолвно уклонялся и от грубого вопроса, и от нежелательного общества. Мышей он не ловил, но вопрос ему не нравился и очень не нравилось слышать прозвище Васька-кот. Было гораздо приятнее, когда сероглазая мама, расчесывая свои волосы, говорила ему иногда: «Васенька, ты куда уходишь? Посиди у меня, помурлыкай немножко». Но это редко случалось, что сероглазая мама так с ним говорила. Она совсем не была нежной с детьми. В ее сердце нежность была слишком близко от страстности, и ее нежность вспыхивала не в обществе детей. Отец был нежнее, но он боялся показывать нежность к детям, у него были злые сомнения. Впрочем, к Васеньке он относился как бы с отде-

льностью. У Васеньки на правой ножке было круглое родимое пятно, словно малое солнышко, и такое же родимое пятно было на правой ноге у отца. Ноги у людей, однако же, скрыты, и, быть может, это не редкость — родимое круглое пятно на левой или правой ноге?

Книжки у Васеньки были с картинками. Были там дикари, путешествия, охота за бизонами, острова, где живут черные, корабли, которые летают по воздуху и плавают под водой, тигры и змеи, скрытые клады, колодцы, в которых серебро вместо воды, и говорящие птицы, и говорящие насекомые, подумать, подумать. В одной книжке, очень интересной, но только с очень плохонькими картинками, Васенька прочел, как медведка звонила в колокольчик и сзывала на бал майских жуков и жуков-могильщиков. Это поразило Васеньку чрезвычайно. Он знал, что майские жуки поднимают долгий гул и звон, когда летают вкруг молодых и старых берез, он очень любил также черных бегунов, и изумрудных бронзовок, и быстрых жужелиц, у которых бронза надкрылий темновато-желтая, но он никогда не видал живой медведки, хоть знал, что в саду есть одна норка медведки, и никогда не знал, что по вечерам медведки скликают гостей колокольчиком. И два и три вечера он уходил в сад, ложился у пня березового, около которого должна была появиться медведка, ждал и молил кого-то или что-то, чтоб сегодня уж она пришла непременно. Но медведка так и не пришла.

Что ж, много и другого всего есть. Васенька очень любил ночных бабочек. В мае, когда цветет сирень, много летает по вечерам около балкона, где кусты лиловой сирени и белой сирени, много летает желтых и белых бабочек. Хорошо смотреть на них, они вьются, как в танце, улетают и возвращаются, перепархивают с ветки на ветку, как птицы, порхают, порхают, дрожат цветочными крылышками, и сирень живет особой ночной жизнью и так пахнет нежно — надышишься, потом не уснешь. А однажды на сирени Васенька поймал мертвую голову. Ему было немного страшно, но он был очень рад. Один только раз он увидел и поймал мертвую голову. Он отдал ее старшему брату, а тот посадил ее на булавку и потом за стекло, где уж много было ночных и дневных бабочек.

В болотных прудках плавают черные быстрые плавунцы. Хищно поднимаются и опускаются в воде. У Васеньки была большая банка, он наловил туда плавунцов, положил в воду землицы и стеблей, набросал дождевых червей и мух. Но плавунцы все скоро околели, и из банки долго был дурной дух.

Гораздо счастливее было с тритонами. Черненькие, смешные, с оранжевым брюшком, они жили в этой банке целое лето, а к осени Васенька снова их отпустил, бросил их в родную лужицу.

Всего таинственнее были ящерицы. Они такие быстрые и зоркие, их почти невозможно подстеречь и поймать. Жили они в расщелинах забора, что шел вокруг сада, грелись на солнце, ловили мушек, показывались порой в неурочный час, чтобы слушать музыку, потому что ящерицы любят музыку, и были такие осторожные, что прятались при малейшем шорохе. Однако у Васеньки хватало терпения и ловкости выслеживать и подстерегать их целыми часами. Потом быстрый прыжок, меткий взмах руки — и красивая гибкая ящерка трепещет в детских пальцах. Он никогда их, однако, не мучил, как не мучил никаких животных. Поймает — и отпустит на волю, подержав в руке и посмотрев на ящерицу совсем близко. Иногда же уносил их к себе в комнатку, и много на своем веку видавшая банка становилась тюрьмой и замком ящериц. Там возникали малые гроты, вырастали малые-малые сады, неподдельные травки зеленели, и ящерица мелькала, ловя мушек.

Раз было совсем чудесно. Васенька поймал очень толстую ящерицу. Совсем легко поймал, почти взял, ей было трудно бегать. Он не мог понять, почему она такая толстая, был взволнован неожиданностью и сообщил о своем приобретении старшему брату, что делал весьма редко, не любя никому показывать свое царство.

— Она брюхата, — сказал брат. — У нее скоро будут дети.

Васенька ждал с замиранием сердца и все боялся, что дети у ящерицы родятся, когда он будет спать. Но дети родились днем, через два дня, в яркое солнечное утро. И как волшебно. Ящерица снесла пять прозрачных яичек. В них, как в стеклянных вытянутых шариках, лежали свернутые в клубочек премаленькие ящерята. Полежали минутку, стекловид-

ная преграда порвалась, и в гномных гротах высокой банки появилось пять самых маленьких созданьиц, какие только видел в своей жизни Васенька.

В саду и прилегавшей к нему липовой рощице было много цветов, не только посаженных, как маргаритки, анютины глазки, жасмин и резеда с гелиотропом и лиловыми левкоями. По краям песчаных дорожек, расходившихся правильными линиями, ютился трогательный подорожник, на лужайках сочная цвела заячья капустка, желтели-синели иван-да-марья, алела дрема, которой стебелечек, если под подушку положить на ночь, так во сне тот, кто мил будет, привидится, пахучие, палевого цвета болотные стебли росли, а раньше всех по веснам на канавках синели незабудки и солнечно золотились одуванчики и лютики. У каждого цветка есть своя сказка, она слышится, когда долго и молча глядишь на цветок. У каждого цветка свое личико, улыбка своя, ласка, привет, взгляд, который притягивает, в каждом цветке поцелуй, бабочки и летят к ним целоваться.

И детская душа к ним шла, детские пальцы не рвали цветов, иногда лишь касались их — так, потрогать хотелось, нежности коснуться цветочной.

Магическая банка с тритонами и ящерицами, листки и мухи, цветы и бабочки, где ваш кроткий серенький котик, зачем не удержали его с собой, зачем не усыпили его, не убили, чтоб так замурлыкал он и больше его не было, не знал бы он, что значит бархатные лапки, уснул бы и только мягкий пушок бы остался, словно с одуванчика, да несколько искр блестящих, несколько маленьких искорок.

«Семь сыновей — все без бровей». Песня крутилась и смеялась. Семь сыновей. «Чьи, чьи?» — пропиликала ночная птичка. «Чьи, чьи?» — пропищала мышь в стенной дырке. «Семь сыновей — все без бровей». Гости смеялись. Один из них, новый, даже пожалуй, слишком.

«Ну, дети, спать пора». Позабавили. Позабавились. Разошлись. Уснули.

Васенька, было сказано, не в пример был, по-особенному. Он уходил в свою комнатку и ложился спать, как и другие дети, но через час, через два просыпался, зажигал свечку и читал книжку. Сегодня ночью он проспал дольше обыкновенного, потому что вечером много танцевал, и проснулся,

когда уже кончили ужин внизу и все гости разошлись спать. Вечер был на славу, и столько было гостей, что даже в большом доме не всем хватило места. Младшего брата Васеньки, который был еще в колыбельке, перенесли на эту ночь в комнатку к Васеньке, а в детской поставили большую кровать для нового гостя. Около колыбельки легла на полу няня малютки, крестьянская девушка всего шестнадцати лет, — Любовь ее звали, Любка. А рядом с ней улеглась пришедшая к ней ночью пошептаться служанка такого же возраста или немного постарше, Поля, Пелагея.

Когда Васенька проснулся, зажег дымившую свечку и начал читать повесть о том, как живут краснокожие, все кругом спали, весь дом спал, но неясная тревога чувствовалась в комнате, и Васеньке казалось, что в соседней комнате, где положили нового гостя, раздавался тихий шепот. Пустяки. Какой шепот? Ведь он же один там. Новый гость один. Васенька читал, и любопытствующая мысль его торопливо и осторожно бродила по пещерам, заглядывала во впадины гор и земных пропастей, блуждала по морям, медлила на островах и вновь заглядывала с любопытством в звериные норы и в земные пропасти. «И тут он схватил женщину, или женщина схватила его». Эти слова он прочел в книге, а в то же самое мгновение ему почудился за соседней стеной смех. Васеньке сделалось беспокойно и от призрачного звука, им услышанного, и от этих непонятных слов. «И тут он схватил женщину, или женщина схватила его». «Собственно, что такое женщина? — вопрошал себя Васенька. — Ведь они такие же, как мы, только у них платье другое, и еще есть какая-то разница». Ему об этом что-то непонятное один крестьянский мальчишка сказал. Или это был двоюродный брат-солдат? Кажется, и тот и другой. «Что-то вот там, — размышлял он, — где у меня животик и ноги, у них не такое, а другое».

Ему захотелось спуститься на пол, подойти к тому месту, где спали Любовь и Поля, и, приподняв у той или другой рубашонку, посмотреть, что же такое есть женщина. Ему было любопытно и страшно, и в то же время то, что делали на острове красноцветные, охотившиеся за быстрым зверем, было ему не менее любопытно. Хотелось читать дальше и хотелось подойти туда, где спали Любовь и Поля. Ему казалось, Васеньке, что это совершенно просто можно сделать, так ти-

хонько, так тихонько. Они не услышат, он посмотрит, узнает и так же тихонько вернется на прежнее место. И будет снова читать. Ну хорошо, сейчас, вот только еще одну страницу нужно прочесть, пройти пещеру сейчас.

Тут в колыбельке раздался детский плач, и две юные няни проснулись. А Васенька более уже не проходил по пещере вместе с красноцветными, а опустив книгу, вдруг сделавшуюся неинтересной, загасил свечу.

Спать он, однако, не мог. Детский плач скоро умолк, но Любка и Поля шептались, а потом тихонько стали пересмеиваться.

Васенька снова зажег свечу и стал читать. Но в то время как мысль его длила нить начатого повествования, слух его с неясным беспокойством следил за ровными ритмическими движениями, раздававшимися в соседней комнате, совершенно непонятными тихими повторными звуками, словно там кровать была живая и немножко поскрипывала. И эти две девушки на полу, Любка и Поля, так хохотали, уткнувшись в подушку, что больше читать было нельзя.

— Поля, — сказал Васенька шепотом, и сам удивился звуку своего голоса, — чего вы хохочете?

Поля встала с пола и села к нему на кровать.

— А ты чего не спишь, безбровый? — сказала она и близко заглянула ему в глаза своими черными глазами с их черными ресницами и четко очерченными черными бровями.

— Поля, — сказал Васенька дрожащим голосом. — Что у вас, у женщин, там? — И он показал своей ручонкой на то место ее тела, которое обожгло его мысль любопытством.

Помирая со смеха, Поля припала головой к его подушке, потом снова приподняла ее, и, отдернув его одеяльце, сказала:

— А у тебя что там? — И, тронув детский стебелек, смеющаяся и сияющая, она зажгла в детской душе огонь, который горит в мире с первого мгновения мира и горел в нем, когда мира еще не было.

Любовь лежала на полу одна и глядела блестящими глазами.

Одно мгновение нас делает другими, и тот, кто стал другим, часто не подозревает, что он уже навеки стал другой.

Васенька спал. Ему снились улетающие белые птицы, и он плакал во сне. Но в саду, за стенами дома, не было ни белых, ни черных птиц. Там шелестели старинные липы, пролетала темно-серая сова, да в полях серый жаворонок уж готов был проснуться и запеть свою весеннюю песню солнцу.

Так много гостей уж никогда не было в большом доме. Детская колыбелька только раз была в Васенькиной комнатке. Любовь и Поля были далеко, за стенами. Васенька о них и думать позабыл. Жгучий вопрос, вставший в детском уме, более его не тревожил. Он снова жил своей душой среди шелестящих страниц и среди шелестящих деревьев. Но в земные пропасти он уже заглянул, заколдованные пещеры втянули его в себя, хоть пока ни он, и никто кругом ничего об этом не знали. Тонкий хрусталик детства разбился, но росинки, загоравшиеся с каждым утром в чашечках цветов, не были слезами об этом, не были слезами о нем, как не слезы — эти дождевые капли, что текут без конца по оконным стеклам, желтоцветной, красной, темной осенью.

1908

НА ВОЛЧЬЕЙ ШУБЕ

Вьюга шумела с вечера. Замела, занесла в усадьбе все окна. И без того уж они были промерзлые, так что дивно было глядеть на их узоры в лунную ночь и в лунный вечер. А тут еще эта метель. Разрисовала окна узорами погустевшими. Один в одном, один на другом, светят, уходят, возвращаются, ни один не повторится, каждый — другой, а все вместе сплелись — ни конца ни начала им нет.

К утру потеплело. Выпал новый белый снег. Много снега. Так свежо, и бело, и пушисто. Нарядился весь мир в свою зимнюю тайну, всеобнимающую. Недвижны деревья, увитые хлопьями. Глядят они белыми виденьями и на дворе и в саду. А в лесу повеселели звери от потеплевшей, свежей тишины. И игривыми, спутанными вдавленностями закрутился заячий след, от леса до поля и от поля до леса.

Хозяин усадьбы был охотник. Он жил в усадьбе один, а семья его была в городе. И в тот вечер, когда свистела вьюга,

его не было в его отъединенном доме, а когда выпала свежая пороша и наметились звериные следы, он вернулся из города в усадьбу и привез с собой любимого своего сына. То был рыженький мальчик, десять ему было лет, уж пошел одиннадцатый. Рыжий мальчик не охотиться хотел с отцом, а играть в снегу, и играть в теплой комнате, и смотреть на картинки, что висели по стенам в пустынных комнатах, и до забвения смотреть на ледяные узоры.

До забвения? Нет, он все потом помнил, четко и ярко. Когда он пристально смотрел на морозные окна, у него начинало рябить в глазах, и слезы бежали, и в затылке была странная не то мучительная, не то сладостная боль. И слезы потом переставали бежать, и боли не было, а была только радость неожиданно-сложного и все умножающегося в своей лучезарности, все более праздничного видения. Мальчик видел цветы и деревья, сад и леса, зверей и людей, птиц и бабочек — все, что он видел когда-нибудь и там, за окном; но там, за окном, все это было и светлое, и темное, а здесь, в расписной морозности, все было только светлое. И здесь, в тишине и отделенности, ему виделись еще, помнится, новые существа, каких он за окном не видел, а лишь смутно видел иногда во сне. И за окном все всегда было в разорванности, все всегда в чем-нибудь, во вражде или в несогласии, а здесь, на окне, на узорах, в узорах все было слито вместе, не смешиваясь, а только сплетаясь, как это бывает на длинной-длинной ленте, которую развертываешь.

И он глядел.

Он глядел, а когда уставал, выходил на убеленный двор, подходил к саду, но выйти туда было нельзя — слишком глубоки были сугробы; выходил за ворота и подолгу стоял на замерзшем пруду, где в разъятой проруби зябли, но все же радовались воде смущенные зимой утки и гуси.

И так весь день, пока светило солнце. А когда, осмелевши к вечеру, Луна воздушно пролила свои утишающие очарования, он как будто вступил в оцепеневший хорал молчания, воли его уже вовсе не было, и он смотрел без конца на лунные узоры, на морозные цветы, все еще и еще расцветавшие.

Отец с утра ушел на охоту. К вечеру хотел вернуться. А вот все его не было.

Уж вечер превратился в ночь. Рыжий мальчик один поужинал. Большие стенные часы над ним тикали: тики-так, тики-так. Вправо, влево, тики-так. Вправо, влево, вправо, влево. Тики-так, тики-так. А когда час преломлялся, раздавался один мелодический удар, один ударяющий звук. А когда час замыкался, звенело и семь, и восемь, и девять.

Пробило десять. Больше ждать было нельзя. Нужно было ложиться спать.

Отец придет потом, позднее. Отец придет, когда уже будет совсем ночь. Когда все будут спать. Когда и он будет спать, рыжий мальчик, на волчьей шубе, в виду зажженного огня.

Пришла старая ключница. Это она приносила мальчику поесть, и она же должна была постелить ему постель. Волчью шубу вместо постели в той же самой комнате.

Хозяин усадьбы, где было весьма небольшое количество комнат, не жаловал посетителей и нарочно устроил так, что гостям, если таковые являлись, негде было ночевать. Не делал он исключения и для своих собственных детей и не любил их посещений. Лишь этот мальчик с золотистыми волосами, так непохожими на черные его волосы, был всегда ему мил, он радовался его присутствию в своем отъединенном доме, привозил его к себе из города и, если отлучался, как теперь, приказывал старой ключнице хорошенько накормить барчонка и уложить его спать вовремя в столовой на волчьей шубе, и печку зажечь, чтобы было тепло и чтобы можно было мальчику потешиться огнем.

Волчья шуба была огромная и причудливая. Целых пять волков распростились со своей волчьей жизнью, чтоб она могла быть сделана, и весь мех был очень хороший, светло-серый, с беловатым оттенком, каковой весьма ценится знатоками. Эти пять волков погибли по-разному. Двое были убиты на охоте, двое были отравлены, последний же был пойман в капкан и, изуродованный челюстями западни, был умерщвлен в усадьбе. Самые красивые и сильные были два первые — волк и волчица. Убил их он сам, этот охотник, в собственном своем лесу, в одном из бесчисленных северных лесов, где много было топких болот по окраинам и на пересеке, и в отдельной раскинутости между чащей и чащей. Он раз подстерег эту волчью чету на краю большого болота, близ

опушки смешанного леса, в ясное предзимнее утро, когда уже топи подмерзли в дыхание сцепляющего холода. И волка убил он метким ударом, словно сам был его счастливым соперником, а как целился в волчицу, рука ли ему изменила или глаз, но только он ее лишь ранил, и не бежать она от него пустилась, а с невероятной быстротой устремилась на него. Добил он ее уж в рукопашной, ножом, но, прежде чем затянулись смертной поволокой глаза волчицы и прежде чем недвижно забелели ее оскаленные клыки, белизна этих острых клыков глубоко пронзила убивающую руку, и шрам от звериного укуса остался на всю его жизнь.

В ту зиму охотник из-за прокушенной руки долго не мог охотиться, а волки доставляли много беспокойств по хозяйству. Потому он и прибег к яду и капкану. Был выбран на овчарне подросший ягненок, его зарезали, содрали с него пушистую белую шкуру, в нежном теле сделали много малых колотых ран и в эти надрезы положили стрихнину. На отравного снова натянули его шкуру и бросили возле болота, между лесом и усадьбой. Два волка были найдены умершими в столбняке, со членами, исковерканными судорогой, с головой, искривленно притянутой к спинному хребту. Их трупы валялись на значительном расстоянии друг от друга, но в искривленностях своих и во всем положении скомканного тела и закинутой головы и обнаженных оскаленных челюстей было столько сходства, что как будто они в миг умирания в самой исступленности подражали друг другу.

Кто говорит, что оставалось еще три волка из свирепствовавшей стаи, кто говорит, что один. Неизвестно. Верно только, что ни один, ни три яду не захотели и что один волк был захлопнут в капкан, раздробивший ему передние лапы и захлестнувший ему вокруг шеи металлическую петлю. Когда его привезли в усадьбу, деревенские мальчишки из людской долго тешились над пленником, хоть он еще устрашал рычанием и полузадушенный. Сам охотник долго смотрел на него, словно почему-то не решался его убить. Потом его прирезали.

Причудливая шуба из пятерного меха была скорее украшением, чем предметом необходимости. Охотник надевал ее лишь иногда поверх другой теплой одежды, когда он ехал куда-нибудь очень далеко и во время очень лютых морозов.

А так, обыкновенно, эта шуба служила лишь для дивования немногих посетителей уединенной усадьбы, да вот иногда молчаливый рыжий мальчик спал на ней.

— Ну, родимый, спи. Печка топится. Вот как барин вернется, огонь прогорит, и закрыть ее можно будет.

Попричитав еще немножко и набормотав немало разных приговоров и добрых пожеланий, старая ключница, похожая на всех сказочных нянь, ушла себе восвояси забыться мирным сном и, выходя, ласково посмотрела на мальчика своими добрыми подслеповатыми глазами. Она видела лишь детское спокойно-пригожее личико. Чудной барчонок, который все молчит. Лунная ночь, быть может, больше видела этого мальчика, и белая луна, быть может, смотрела прямо в его душу со своей пустынной опрокинутости, с кругового застывшего купола.

Впрочем, ключница, прежде чем уйти, заметила некоторый непорядок. В барские покои с людской забежал кот Васька. Красивый кот, блестяще-черный, с круглым белым пятном на самой середине груди.

— Кис-кис. Пойдем на кухню, бездельник, — говорила старая ключница. Но ни приманчивое «кис-кис», ни другие призывы и понуждения не соблазнили бархатного зверя к выходу из этой теплой комнаты. На зовы он мурлыкал, от касаний уклонялся, уходил не торопясь то в один угол, то в другой, и возвращался упорно на одно и то же место, между волчьей шкурой и печкой, поближе к огню. Покрутил так по комнате старую ключницу, и наконец, махнув рукой и еще раз пожелав барчонку спокойного сна, она плотно притворила дверь и ушла к себе.

Рыжий мальчик лежал на волчьей шкуре и, закинув руки за голову, смотрел на игру огня. В целом мире он был один. За окном была белая лунная ночь, и высокое колдующее светило лучезарно проплывало по лазурным морям и временами утопало в разнообразных облачных затонах. Тишина безграничная свеивалась с неба на землю, и все деревья, окутанные снегом, становились все более и более притихшими от этого захватывающего света, неоглядность снежного царства все поглощенней прислушивалась к струившейся напевности лунных лучей. Эта музыка безмолвия и световых внушений проникала и в безгласную комнату, где был молчавший

ребенок, молчавший зверь и тихонько шелестевший красный огонь. Самый звук тиканья стенных часов стал углубленней и мелодичней, и тени, плясавшие около печки, как будто вели бесконечный хоровод. На стенах были наивные картинки, снимки со старинных расписных ковров. Картина мироздания, первые дни в раю, Ева, глядящая на спящего Адама, ликующий Адам, перед которым в менуэте проходят парами все звери Мира, в то время как он каждому дает своим вскликом имя, и поэма укушенного и съеденного яблока, после чего следует изгнание, и долгая летопись всяческих переодеваний человеческих тел, и, наконец, картина Страшного суда.

Мальчик, как он ни был еще мал, все уж это знал наизусть, но любил нет-нет да и взглянуть на ту или другую картинку, связать с ней, таким образом, менявшиеся в нем тайные мысли.

Но теперь он смотрел на огонь, который, тихонько шумя и потрескивая, являл бесконечность мгновенных ликов, неисчерпаемость красных, желтых, оранжевых, и синих, и голубых, и лиловых оттенков. Временами мысли в нем путались, и он весь перевоплощался — вон в ту или вот в эту пляшущую цветовую фигуру. Эти блестящие саламандры, перебрасываясь с одной головни на другую, на каждой принимали иную форму, с каждым обрубком дерева обнимались по-иному, но каждый после плясок и объятий саламандры в горенье уменьшался, таял, алея, и потом, в этом закованном, стесненном костре ярко вспыхнув, рушился книзу, ближе к золе, которая теперь была горячая, но, конечно, станет холодной и седой.

«А что же еще? — думал мальчик. — Еще дым выходит поверх крыши и тает в воздухе без следа. А в комнате становится все теплее, и весело смотреть на искры и на красные ленты огня».

Но мальчику сделалось скучно при мысли, что для того, чтобы в печке горел такой красивый огонь, нужно, чтобы кто-то с топором и пилою был в лесу, и чтобы падали срубленные деревья, и чтобы распиливали и разрубали красивые, статные деревья. И ему пришло также в голову, что этот бархатно-черный кот, так сверкающий своими зелеными глазами, подстерегает мышей и душит их, совершивши меткий

прыжок. А мальчику нравились мыши с их торопливыми шажками и с их тонким шуршанием за обоями.

Когда он подумал это, кот поднял голову и посмотрел на мальчика блестящими глазами, как будто он слышал его мысль. Рыжий мальчик поманил его к себе.

И бархатные лапки, бесшумно ступая, пошли от огня к волчьей шубе, и стройное кошачье тело стало извивно ластиться и прижиматься к ребенку, покрытая шелковистой шерстью красивая звериная голова с полузакрытыми глазами, изумрудно мерцавшими, прижималась к детской руке, круглое белое пятно на груди было как малый лунный диск, мурлыкающее горло повертывалось и так и эдак, издававшая искры спина выгибалась под тонкими детскими пальчиками, торопливо повторявшими ласкательное движение и беспричинно дрожавшими, а длинный пушистый хвост безостановочно двигался.

Зеленоглазый мурлыка становился все веселей и беспокойней оттого, что эта малая рука гладила его. Он обращался к ласке всем телом своим, прижимался к руке вкрадчиво-требовательно, совсем неожиданными поворотами. Мальчик гладил эту шею, эту спину, эти гибкие бока, этот трепетный, пушистый живот, и вдруг остановился, вздрогнув от чего-то непонятного. Здесь, вот здесь было нечто неожиданное для ощущения, малый магический жезл, и в сердце у рыжего мальчика сделалось горячо и тревожно, а зеленоглазый зверь, мурлыкая и трепеща, стал с лаской тихонько кусать остановившуюся в изумлении руку. И вдруг мальчик почувствовал, что и в нем самом произошло какое-то странное, неожиданное изменение, совершенно для него непонятное, и ему стало тревожно, и желанно, и горячо. Полузакрыв свои глаза, он видел перед собой что-то блестяще-черное, и чувствовал, что на него неотступно смотрят мерцающие глаза, изнутри горящие зеленым светом, и слышал мягкое прикосновение пушистости, и слышал далекое тиканье часов, и видел далекое зарево, словно где-то на много верст впереди горела и сгорела целая деревня.

Дремота окутала детский мозг. Свет и цвет, очертания и звуки — все слилось в одно неразличимое целое, в котором было баюканье, тревога, сладость и забвенье. Мальчик уснул так крепко, что даже не слышал, как, тяжело ступая, хотя

стараясь делать возможно меньше шума, мимо него прошел отец, вернувшийся с охоты. До белого утра он не слышал ни одного из звуков, которые еще раздавались вокруг него в этой ночной комнате и в других комнатах, ибо отец как будто вернулся не один. Огненные саламандры, уже давно прекратили свою искристую пляску, и заслонка, прикрывши круглое печное жерло, устремила теплый воздух из потемневшей печки в комнату. Погасли и свечи, горевшие в старых канделябрах. Зашла и луна за тучу, хотя белую, но слишком густую, чтобы можно было светить. Закрылись и зеленые звериные глаза. Все источники света погасли. Но во всю эту ночь, в оцепенении тьмы, рыжему мальчику снилась бесконечная снежная равнина, и по ней с горящими глазами волк и волчица убегали к крайней черте горизонта, где виднелось зарево от сгоревшей деревни.

1908

СОЛНЕЧНОЕ ДИТЯ

Тринадцать лет

У древних мексиканцев, как и у древних бретонцев, 13 было число священное. Мне всегда нравилось это число, потому ли, что в душе моей с детства было всегда противоборство по отношению к общепринятым мнениям, а в обыденности нашей принято думать, что 13 есть число зловещее, потому ли, что 13 есть воистину число вещее и значительное для меня. 13 марта, много лет тому назад, родилась в одном доме девочка с черными глазами, которая, через пути свои пройдя, стала моей женой. 13 марта в жуткий для меня год я призвал к себе смерть, но смерть даровала мне жестокую пытку, и ужас чистилища, и полное возрождение для новой жизни. 13 мая в солнечной стране, в год, повлекший за собою ряд блестящих звезд мечты, я узнал вольное счастье, такое, какое судьба дарит неожиданно. Число 13 продолжает время от времени чаровать мне с неизбежностью — мне и моим любимым. И вот мне хочется усмехнуться и сказать: «Необманно два года скучал я о Моне Лизе, улыбающейся Моне Лизе, и я вернулся из Рос-

сии в Париж в полночь 13 декабря нового стиля, а еще в Берлине утром 13-го я с волнением прочел, что Джиоконда не хочет больше скрываться в сумраках и снова желает улыбаться людям и сводить с ума толпу».

И еще мне хочется усмехнуться и сказать: «Тринадцать лет тому назад, в туманное утро в холодном Петербурге, в великий день Рождества, у меня родилось Солнечное Дитя. Таинственная Солнечная Звездочка, подтвердившая солнечность своего происхождения».

Она родилась, когда души пели лучезарный гимн, прославлявший Светлого Ребенка, того, что стал Спасителем темных душ. Она родилась как святочное утро, в красном пожаре зимнего солнца, в серых дымах, разорванных властной зарей. Она родилась в малой комнатке, в тесном домике, и спаяла светлым звеном две души, любящие одна другую, но вечно взметенные своей разностью. Она родилась как рождается редкий цветок, на который хочется смотреть еще и еще, и каждый, кто смотрит на этот цветок, сам расцветает улыбкой и солнечной радостью. Ибо она родилась — посланная в мир для золотых сновидений, как одна из бесчисленной свиты Того, Кто ребенком уже носит скипетр и повелевает мирами.

Для чего родится тот или иной ребенок, знаем ли мы? Мы ничего не знаем, мы можем только верить. Но когда сердце благословляет новый стебелек, и стебелек смотрит благословляюще зелеными своими глазками, и тянется к жизни, радуясь и радуя, и расцветает веселым светлым цветком, зовется веселые глазки, или троицын цвет, или сон изумруда, или шепнет: «Я незабудка — так ты не забудь меня».

Мое Солнечное Дитя так же любит цветы, как и я. Любит все травки, всех зверей, все живое. Я спросил: «Как растут и колдуют травки?»

Солнечная Звездочка мне отраженно улыбнулась и ответила: «Весной, когда, пригретые солнцем, под землей просыпаются травки, они сперва совещаются, можно ли вылезти из-под земли. Решив, что уже время, они начинают расти. Они работают в темноте, думая только о тепле и солнце, которое ждет их наверху. Наконец они вырываются на воздух.

Тут, сперва ослепленные солнцем, они останавливаются, а потом продолжают расти.

Некоторые, маленькие, стараются пролезть незамеченными, другие, наоборот, толкая муравьев и мошек, тянутся все выше и выше, стараясь достигнуть солнца.

Они пьют своим маленьким корешком сок и влагу, которую находят в земле, и стараются сделаться больше, выше, думая, что вот, вот — достигнут солнца.

У каждой травки есть свой солнечный эльф, который со снегом проникает в землю и там выбирает себе зерно, заботится о нем, и как только из него выйдет маленькая зеленая травка, он торопит ее выйти на землю, рассказывая о чудной весне, о цветах, о солнце.

Когда травка выйдет на землю, он оберегает ее от ее врагов и только просит ее подняться скорее к солнцу.

Летом травка уже перестает расти, а только заботится о своих зернышках. Когда они падают, травка желтеет, а эльф, плача, прощается с ней и уносит зерна в другое место, где и сеет их зимой. А когда из них выйдет травка, он снова помогает ей расти.

А другая травка, умирая к осени, думает о своей жизни, об эльфах и радуется, что какая-нибудь другая травка наверно достигнет солнца».

Другая травка, и другая травка, и еще другая травка. Ах как трудно расти из земли, из-под темных глыб. Но травка, и травка, и много травок создают изумрудный ковер. И если б не было этой радости зеленых травинок, не знать бы нам наших песен весенних и весенней любви, и расцветного июня, и веселого сенокоса с звонкими косами.

Милое Солнечное Дитя, ты даешь мне радость жизни и находчивым своим сердечком, подсказывающим тебе верные слова, учишь меня ничего не бояться в мире и смело петь песни, по-прежнему звонко петь песни.

В моей жизни, быть может, и много серого цвета, страшного, мышиного, сумеречного, неверного серого цвета. Но мне пришло однажды в голову, что и соловей серого цвета.

Соловей — серый. Я горько усмехнулся, когда подумал это. Я вспомнил, что в детстве я любил золотистый цвет канарейки, как люблю его до сих пор, как люблю желтые цветы акации, и золотые тюльпаны, и божески прекрасные бубен-

чики свежих купальниц. Я вспомнил также одного из любимцев детства, птичку первозимья, красногрудого снегиря, который так загадочно светился мне алым своим огоньком на уснувшем снежным сном кусте холодевшей сирени.

И я спросил Солнечную Звездочку: «Скажи мне, ты знаешь, быть может, почему снегирь красный, канарейка желтая, а соловей серый?»

Снова блеснула мне ласково Божья Звезда, и вот какой ответ услышал я, изумивший меня и обрадовавший: «Когда в начале мира Господь сотворял птичек, Он выпустил из рая снегиря, канарейку, соловья и сказал им: „Вот у вас всех серые перышки. Полетайте по миру и выберите себе каждая по одежде, в которой вам будет лучше жить на земле“.

Птички послушались, и каждая стала высматривать, какая краска лучше для ее перышков.

Один только соловей не думал о своей краске и летал, восхищаясь миром.

Когда Господь под вечер позвал к себе птичек, соловей вспомнил, что не выбрал себе краски.

Сказал Господь канарейке: „В какой одежде хочешь ты летать по земле?“

Она ответила: „Я хочу быть солнечного цвета“».

ДЕТИ

Их было трое: рыжеволосый мальчик с изменчивыми глазами, зеленоглазая девочка с каштановыми волосами и совсем маленькая девочка с глазами голубыми и с волосами светлыми, как лен. Да, все трое капризники и причудники. Глаза голубые, как лен, и волосы паутинисто-светлые, как лен. Глаза изумрудные, как травинки весной, и волосы, как цвет осенних листьев, золотисто-каштановые.

Глаза еще, и самые причудливые глаза, то черные, как ночь, то сияющие, как утро, то неверные-неверные, как море, — и волосы огненно-золотые, словно матовое золото, немного потускневшее.

Братишка, сестренка и сестренка. Смеются, смотрят друг на друга и вступают в тайный заговор против старших.

Они знают, что отец и мать, хоть и любят друг друга, постоянно ссорятся. И не то что ссорятся, а так просто, препираются. Это слово «пре-пи-раются» сказал старший мальчик. Средняя сестра нашла его несколько непочтительным. А младшая сестренка стала им играть как камешками. Препи, при-пи, пи-ра, пи-ра, пираются.

И три смеха звучало, тонкие, веселые, детские, звонкие.

Тайный заговор их был таков. Когда старшие позовут их и скажут, что елка уже готова, мать и отец, наверно, о чем-нибудь заспорят. Все ли свечи сразу зажигать или одну за другой, постепенно. Пропеть ли веселую святочную песню в начале праздника или несколько спустя. Водить ли хоровод детям с другими детьми слева направо или справа налево. Мало ли о чем можно поспорить. Лишь бы охота к тому была. Ну вот они и поспорят. Потом у отца будет обиженный вид, а у матери слишком красные щеки. Но они оба добрые и милые, только им непременно нужно спорить. Потом отец начнет говорить какие-то непонятные слова и будет читать непонятные стихи, а мать будет смотреть в другую сторону, и встанет, и отойдет подальше. Потом гости будут все около матери, а гостьи около отца. А детям будет скучно, и будут их игры какие-то невеселые.

Но сила заговорщиков иногда превозмогает. Рыженький мальчик решил перещеголять своего родителя и, найдя где-то три песенки, которые ему понравились, он подговорил сестренок, чтобы каждая пропела одну песенку, а он первый прочтет самую длинную. Возьмет, наберется храбрости, выйдет вперед и прочтет. Он знает, что все удивятся, а когда девочки пропоют еще свои песенки — и вдвое все удивятся, и будет всем весело, и можно будет со смехом плясать и слева направо и справа налево. Так плясать, что даже все куколки на ветках елки тоже будут плясать и прыгать. И качаться и качать свечечки.

Как удивительно точно могут предвидеть дети. Елка была разукрашена, и свечи зажжены. Гости были в полном сборе. Или вот, пожалуй, что не в полном или чересчур полном. Отец находил, что кого-то не хватает, кому положительно было бы уместно присутствовать. Мать находила, что даже есть лишние. Конечно, это не было сказано вслух, но некоторые мысли и не сказанные звучат громко. И дети и взрослые

собрались на праздник, а в воздухе как будто паутина то тут, то там возникала, цеплялась, заставляла браться руками за лицо, заставляла морщиться или принужденно улыбаться.

И вот, правда, настала минута, когда одна гостья попросила хозяина дома прочесть какие-нибудь стихи, ибо он любил стихи и сам писал их. Он поговорил, поотказывался, и потом с довольным недовольством в голосе сказал:

— Право, не знаю, подойдут ли мои стихи к общему настроению. Я перечитывал сегодня канон — молебен на исход души. Очень мне понравились слова: «Каплям подобно дождевнем, злые и малые дни мои, летним обхождением оскудевающе, помалу исчезают уже...» И я переложил их в стихи. Читаю:

Подобно каплям дождевым,
Подобно как восходит дым,
Подобно быстрым искрам горнов,
Подобно зернам, в час, как жернов
Круговращением своим
Поет: «Дробим, дробим, дробим!»
Все дни мои, крутясь в смятенье,
Скудея в летнем обхожденье,
О, злые малые мои
Крупинки в алом бытии,
Уж не поют о наслажденье,
А день за днем в своем паденье,
Подобно каплям дождевым,
Из слез, из слез рождают дым.

Гостьи и гости наперерыв хвалили стихи. Хозяин был недоволен и доволен. Хозяйке стихи чрезвычайно не понравились. Детям, игравшим в сторонке и на минутку притихшим, они были просто непонятны. Лица старших им в эту минуту не нравились. И очень им понравилось, что рыженький мальчик, похожий на китайского фарфорового божка, вдруг вышел вперед и с бледным лицом, с горящими глазенками, красиво изгибаясь, весь точно танцуя, сказал:

— Я тоже хочу прочитать стихи.

Все изумленно обернулись и стали смотреть на мальчика, но он, не смущаясь, прочел нараспев:

Над речкой берегите мост —
Во все проедете концы.
Не разоряйте птичьих гнезд —
Там птичек малые птенцы.
Но, если вырастут птенцы,
Польется песнь во все концы.
Не разоряйте птичьих гнезд.
Смотрите, сколько в небе звезд,
И между них как много тьмы.
Без пенья птичек грустны мы,
А с птичкой лес — как светлый сад,
Поет все лето до зимы.
И в небе тоже говорят,
И в небе тоже звездный сад.
Чуть здесь нам птичка запоет,
Звезда на небе за звездой
Встает, как цветик золотой,
Цветет и свет к нам сверху льет.
А песни нет — и мало звезд.
А песня есть — звезда горит.
Звезда горит и говорит:
«Не разоряйте птичьих гнезд».

Матери рыженького мальчика эти стихи понравились гораздо больше, чем стихи о дождевых каплях. И дети, чужие и свои, смотрели ясными глазенками. А шаловливый мальчик взял своих сестренок за руки, улыбнулась зеленоглазка, усмехнулась голубым цветочком младшая сестра, и стройная девочка с глазами изумрудными пропела:

Кто затопчет подорожник,
И нарочно, — тот безбожник.
По дороге проходи,
Все же под ноги гляди.
Если в солнце васильками
Нива смотрит как глазами,
К василечку василек
Заплети себе в венок.
Но не рви цветы напрасно,
В цвете небо смотрит ясно.
Не сгущай же в небе мрак,
Тьмы довольно там и так.

И едва зеленоглазка умолкла, девочка с глазами, как лен, и с волосами, как светлые паутинки, пропела:

Христос родился — славьте, славьте,
Христос безвинный — не лукавьте,
Христос с Небес — его встречайте,
Он на Земле — его венчайте,
Христос есть ветвь — ее храните,
Христос цветок — его любите,
Христос озяб — его укройте,
Христос глядит — о, пойте, пойте.

Если бывают в мире чудеса, в этот святочный вечер случилось по прихоти детей маленькое и даже большое чудо. И отец и мать были светлые и счастливые. И гости и гостьи были такие, что лица их нравились детям. А дети шумели, кричали и веселились, точно целый выводок перволетних птиц. И водили хоровод слева направо и справа налево. И куклы на ветках елки совсем стали безумненькие от радости. Качались-качались, плясали-плясали. Наконец некоторые даже гореть стали. Тогда елку повалили, огонь погасили, конфеты все сняли, подарочки раздали, елку опять поставили, зажгли на ней новые свечи, тоньше, белее и выше. И стало в комнате точно в церкви.

А ночью, когда и свои, и чужие дети уснули, каждый в собственной своей постельке, белые призраки скользили около детей, и так тихо, как падают снежинки в лунную ночь и в звездную ночь, слышался, слышался, еле слышался шепот:

Спите, дети, в темный час
Звезды думают о вас.
Говорит звезде звезда:
«Будьте светлыми всегда».
Говорит звезда звезде:
«В Бога веруйте везде».
Если страшен волчий глаз,
Бог заступится за вас.
Звездам Бог велел в ночи
С неба детям лить лучи.
Спите, дети, в темный час
Звезды думают о вас.

ПОЧЕМУ ИДЕТ СНЕГ

Нас было семь за столом, семь, как в балладе. Хозяйка дома, высокая и красивая дама, которая всегда куда-нибудь торопилась и никогда никуда не попадала вовремя, ибо, спеша к чему-нибудь, неизменно зацеплялась своим сочувствием за что-нибудь другое и, желая приласкать верную собаку, конечно, сажала к себе на колени кошку.

Ее подруга, довольно еще молодая девушка с пышным наименованием, дарованным ей судьбой, Перпетуя Ханенкопф, деятельная членица общества «Приутайная хижина человекомудрых», в котором по средам и пятницам члены и членицы общества читали доклады о человеческих возможностях, надеясь развитием тайных сил человека нарушить все законы возможности.

Родственница хозяйки, тихая и кроткая молодая женщина русалочьего лика. Ее за любовь к молчанию и невмешательству дети прозвали Ирина Молчальница, чем она не была недовольна, а скорее, обласкана.

Юная девушка Женя с быстрыми черными глазками, смешливая, умная, быстрая, как зверек, и нежно-румяная, как недоспелая брусника, Женя, влюбленная в мир, и в себя и, ну конечно, еще в кого-нибудь.

Еще более юная девушка, которая, не будучи грузинкой, называлась Тамарой, чаще — Тамарик, лучезарная юница шестнадцати лет, еще ничем не отравленный цветок. Полувзрослая малютка, которую мать напрасно заставляла читать драмы Ибсена, ибо она предпочитала убегать на пруд и удить карасей или кататься на коньках, если была зима.

Капризная Вероника, златоволосая девочка девяти лет, жадными глазенками своей вечно трепещущей и хотящей души уже успевшая заглянуть во много цветов, и звезд, и человеческих глаз и коробок с конфетами.

И наконец, я, вечный беглец от самого себя, тоскующий о далекой-близкой, ненавидящий мужское, обожающий женское, чем и объясняется, что за столом, кроме меня, не было никого, кроме светлых носительниц женского лика на Земле, более исполненного тайн и недоговоренностей.

Ценя многогранную игру кристалла, я люблю, находясь в обществе нескольких людей, вдруг задать какой-нибудь воп-

рос, заранее обеспеченный ответами присутствующих. Сколько раз я ни играл в эту игру, всегда бывало интересно, и непременно в одном ответе или даже в нескольких просвечивало сияние настоящего угадания. Это неизбежно. Ибо здесь затрагивается заложенная в нас глубоко и проявляющаяся во всех первобытных народах страсть к загадке.

И вот я, седьмой, попросил шестиугольную медвяную келейку отдать мне скрытый мед. Я спросил: «Почему идет снег?» Я попросил, чтобы каждый ответил, вернее, каждая из бывших со мною, заглянувши в себя, ответила, почему есть в мире снежинки, почему идет снег.

Хозяйка дома пожелала ответить первая и тотчас начала, взволнованно и как бы оспаривая незримого собеседника, говорить о весне, потом сказала что-то длинное о лете, добралась наконец и до осени, но так-таки ничего не сказала ни о зиме, ни о снеге и предоставила говорить за себя Ирине Молчальнице.

Но Ирина Молчальница взглянула на меня своими русалочьими глазами и, оправдывая свое наименование, просвирелила: «Я ничего не знаю».

Тут юнейшие соскучились, и обе, сначала Вероника, а за ней Тамара, сказали, что они хотят пойти к себе и каждая напишет ответ. Они были отпущены.

Влюбленная в мир и в себя Женя усмехнулась и сказала, что по снегу хорошо идти в собольей шубке, и, если снеговой водой умыться, лицо весь день бывает румяное. Она лепетала также о том, что очень весело бросаться снежками и попадать сразу в нескольких. Она намекнула также, что она чья-то невеста и что подвенечное платье красиво, а оно цвета снега. Я не мог с ней не согласиться. Я нашел только, что, если действительно она будет в подвенечном платье, ей хорошо было бы вплести в волосы две красные розы. Но все это имело лишь косвенное отношение к моему вопросу.

Я воззвал к большему чувству метода и порядка. Я хотел точности ответа, и Перпетуя Ханенкопф, улыбаясь загадочно и выдвинув губы вперед, педантически ответила мне: «Снег идет в мире потому, что на небе был острижен первый белый кот».

Большинство присутствовавших нашло ответ неудовлетворительным и непонятным. Первым обвинением Перпетуя

Ханенкопф была самодовольно уязвлена, вторым — самодовольно обрадована.

Я нашел ее ответ, напротив, любопытным и заключающим в себе с ее или без ее ведома совершенно определенный смысл. Кот, кошка — зверь сладострастия. Шерсть, как и человеческие волосы, не только самозащита тела от холода и иных враждебных условий жизни, но и одно из колдующих зачарований, устремленных полом к полу. Потому чрезмерно пышные волосы возбуждают в другом или страстную влюбленность, или глубокое отвращение. И влага — стихия страсти, дождь — мировой символ сладострастия. Застывшая влага облака, рождающего снежинки вместо капель дождя, может внушать такой замысел, как этот обстриженный белый кот. Только для чего она его обстригла, нежно-педантическая Перпетуя? Не остригла ли она его оттого, что, будучи соучастницей «Приутайной хижины человекомудрых», она и в свои чувства ввела ножницы, холодное режущее железо, которое вообще натворило много зла, как о том повествует «Калевала».

Мне хотелось не аллегории, а образа, где мысль была бы лишь сияющим соприсутствием, а не убивающим охлаждением и явственным скелетом. Образ дала мне маленькая Вероника, ибо детям открыто больше, чем взрослым. Она принесла две страницы, исписанные крупным твердым почерком. И, отдавая свое разъяснение «Почему идет снег», она успела мимоходом дернуть за рукав Ирину Молчальницу и похитить две сверхсметные шоколадки, которые уже таяли в ее розовом ротике.

Я прочел: «Это было давно, давно, когда на земле не было снега. Каждое время года одевало землю. Весна одевала ее молоденькой травкой, Лето цветочками, а Осень — красными, бурыми и желтыми листьями. Только бедной Зиме нечем было приукрасить землю. Деревьям было холодно и неуютно. Они сердились на Зиму и бранили ее. Но одна маленькая девочка спасла Зиму от брани деревьев. Случилось это вот как.

В одной деревне жил мужик, у него не было детей, и жена его очень горевала. Наконец у них родилась дочь. Мать недолго прожила от радости. Когда она умерла, ее муж взял

другую жену. Эта женщина оказалась очень злой, совсем обратное тому, что думал мужик. Она больно била бедную сиротку и наконец до того взбесилась на бедняжку, что в одну зимнюю ночь, когда отца не было дома, выгнала ее из дома. Залилась девочка слезами и пошла куда глаза глядят. Услышала она, как деревья бранят Зиму, и ей стало жалко Зиму, и она стала молиться Богу. Она молилась, чтобы Бог сделал из нее что-нибудь, что могло бы укрыть деревья. И Бог услышал ее молитву.

Девочка вдруг пропала, а вместо нее явилось белое облачко, и из него посыпался снег».

Едва я кончил чтение этой удивительной сказочки, родившейся в детском уме, озаренном минутой наития, как в комнату вошла торжествующая Тамарик и принесла свой ответ на вопрос.

Я прочел: «В далекой Лапландии жил большой белый олень. Он жил в лесу со своими детьми и ел серый мох. Он заботился о своих детях и, чтоб не было холодно, не пускал мороз в свою страну. А так как у него были крепкие рога и быстрые ноги, то в его стране было тепло и не было зимы.

Но однажды к оленю пришел шаман и сказал ему: „Иди в мои владения. Там, у дерева Совета, тебя ждут уже все звери“. Олень пошел за ним. Но только он ушел из своих лесов, как услышал плач своих детей. Это зима пришла без него и заморозила землю. Маленькие олени не находили серого моха и кричали от голода. Олень поднял уши, остановился и, узнав голосо своих детей, сказал шаману: „Я вернусь. Я слышу, дети мои кричат. Я вернусь, или они умрут от голода“. Но шаман ответил ему: „Нельзя терять время, когда все звери ждут. Скажи мне, что ты можешь сделать для своих детей, не возвращаясь домой, и я помогу тебе“. Олень сказал: „Я хочу согреть землю и воскресить серый мох“. Шаман поколдовал и тронул его волшебной палочкой. Тогда олень стал тереться о ствол большой сосны. Поднялся ветер, и с оленя стала падать его белая шерсть. И ветер понес ее, и рассеял, и укутал ею землю.

Под белым покровом ожил мох, и дети оленя нашли его. Теперь зима и холод не были им врагами. У них был серый мох, и они могли жить».

И детская сказка и полудетская легенда показались мне очаровательными. Всем стало радостно и красиво от них. Но внутренний голос во мне, голос далеко-близкой, добавил: «Во второй сказке больше взрослости в изложении. И взрослость — в меньшей жертве».

Конечно, так. Ребенок или все возьмет, даже отнимет у другого, или все свое отдаст другому. В этом ребенок полубог.

Однако нужно было и мне дать какой-нибудь ответ на поставленный мною вопрос. Но, считая, что две девочки уже разрешили его мастерски, я дал ответ уклончивый — прочел сонет, где последовал примеру хозяйки дома, которая всегда куда-нибудь торопится и никуда не попадает вовремя. Я только был немного последовательнее и, не споткнувшись на Осени, дошел до Зимы. Я прочел «Весь круг».

Весна — улыбка сердца в ясный май
Сквозь изумруд застенчивый апреля.
Весенний сон — Пасхальная неделя,
Нам снящийся в минуте древний рай.
И лето — праздник. Блеск идет за край
Мгновения, чрез откровенье хмеля.
Пей, пей любовь, звеня, блестя, свиреля.
Миг кончится и вымолвит: «Прощай».
И торжество при сборе винограда
Узнаешь ты в роскошной полноте.
И, гроздья выжав, станешь на черте,
Заслыша сказ, что завела прохлада.
И будет вьюга, в белой слепоте,
Кричать сквозь мир, что больше снов не надо.

Я вышел на улицу. Было свежо, но не холодно. Крупными мягкими хлопьями падал белый снег. И весь окруженный белою Вселенной с крутящимися хлопьями, я ощущал мир таинственно-прекрасным. Я видел снег тысячу, много тысяч раз, но — в этом своем лике — никогда не пойму и не узнаю, почему идет снег. Я могу только пытаться построить внешние истолкования самого явления, но не знаю и не вижу его таинственной сущности и его отдельной неизбежности. Ведь природа безгранична в своих творческих прихотях, в образовании разных ликов своих дум, своих чувств, своей

музыки, своей воли. На острове Самоа нет снега никогда. Значит, и в целом мире он мог никогда не возникнуть. Если ж возник, это было нужно так. Почему же идет снег?

Я думал о древней индусской книге «Браманас». Там говорится, что основа всего бытия есть жертва, неизбывная, неисчерпаемая жертва всего во имя части. Божеского во имя звериного и человеческого, совершенного во имя несовершенного.

Я думал о нашей «Голубиной книге», где та же мысль, о Книге глубинной.

...Белый свет у нас зачался от хотенья Божества,
От великого всемирного Веления.
Люди ж темны оттого, что воля света в них мертва,
Не хотят в душе расслышать вечность пения.
Солнце красное — от Божьего пресветлого лица,
Месяц светел — от Божественной серебряной мечты,
Звезды чистые — от риз его, что блещут без конца,
Ночи темные — от Божьих дум, от Божьей темноты.
Зори утренни, вечерние — от Божьих жгучих глаз,
Дробен дождик — от великих, от повторных слез его,
Буйны ветры — оттого, что есть у Бога вещий час,
Неизбежный час великого скитанья для него.

«Жертва была первее всех, — поют индусы. — Владыка создания есть жертва. Тело Владыки существ, члены его суть песнопенья. Дух его жертва».

И когда мы уходим в нашей жизни все дальше и дальше от своего Первоистока, нам все менее и менее слышен первоосновный голос Мира. Потому и я в своем сонете, и многочитавшая приутайщица, и хорошенькая невеста, прикоснувшись к тайне Мира, лишь скользнули по ней. А два милых ребенка, детство и юность, коснувшись тайны, тотчас увидели в магическом зеркале своей первичной свежести глубокую правду Мира.

Не потому ли, что эта правда должна быть сохранена в Мире от гибели, мы, сильные, замерзаем в лютые морозы и гибнем, а маленький зеленый стебелек, который должен расцвесть под солнцем для очей видящих и даст бабочке цветочной пыльцы, а пчеле — радость меда, а может быть, большому сильному человеку — радость зерна, этот стебелек, что

можно стереть, уничтожить легким движением руки, не гибнет в свирепом холоде и спокойно спит, дожидаясь в сугробе своей весны?

Цветите же, малые стебельки. Расцветай, Вероника.

ЛУННАЯ ГОСТЬЯ

Посвящается С. С. Прокофьеву

То, что было со мною в ночь ущербной Луны, случилось действительно, но что это было, я не могу понять до сих пор, сколько бы я об этом ни думал.

С вечера играла музыка. Она играла еще и поздней ночью. В смешном старинном бретонском местечке, где все жители похожи на бродящие воспоминания прошлого, в «Океанской гостинице» был бал. На большой веранде, в мавританском стиле, весело танцевали влюбленные пары. Я ушел домой и лег спать, но спать мне не хотелось. Издали доносился знакомый с детства напев вальса, возникали качающиеся звуки танго, и скрипки дразнили, и флейты истомно уводили слух до волнующей близости к какой-то желанной высоте, но напев только приближался к ней и каждый раз, уже вот-вот почти достигнув ее, падал.

Я вспоминал свое детство и юность. Мне всегда хотелось танцевать, когда мне приводилось быть в бальной зале, но из застенчивости я никогда этого не мог сделать и, томясь, долгими часами смотрел на счастливых, которые весело кружатся в танце. Я вспоминал прозрачную березовую рощу, летнюю светлую ночь, июнь моей жизни, нежную и такую грустную июньскую влюбленность, очерк милого лица, все бывшее, засветившееся, ушедшее. Я вспоминал свои странствия, мерную качку океанского корабля, невозбранную тишь и отъединенность звездных ночей в открытом океане, когда, уплывая от покинутых, без конца своей душою ткешь тончайшие лунные нити мечты, уходящие в хрустальную даль.

Мне вспоминалось также, как совсем недавно тот молодой композитор, который написал «Скифскую сюиту», играл мне органную фугу забытого старинного мастера Букс-

техуде. Исполненный строгой молитвенной красоты, напев идет широко и спокойно, как будто вырастает внушающая ясную благоговейность высота готического собора. В одном полногласном повороте музыкального напева возникает отдельный, как бы человеческий голос, и певучая душа старинного мастера, потерявшегося в столетиях, говорит другой душе через века, что, любя, любишь воистину, что любовь сильнее смерти и в ней есть та же самая великая простота свершающегося неизбежно и проходящего через преграду времени и места так же спокойно и просто, как прямой луч луны, будто бы мертвой, светит и светит нам в просторах неба, в голубой раме тысячелетий.

Я заснул.

Долго ли я спал, не знаю, но несколько часов, это я, проснувшись, четко ощутил. Мне приснилась та, кого я любил в июньской светлой мгле моей жизни. Ее звали Мария. У нее были голубые глаза и длинные русые косы. В те далекие дни мы оба любили друг друга, но я все только хотел сказать ей, что я ее люблю, и каждый раз, когда сказать было можно, я говорил себе: «Завтра». Но завтра не пришло, потому что жизнь разъединила нас, и последнее мое воспоминание о любимой было воспоминанием о голубой грусти в красивых молчащих глазах, в которых любовь светит любви и ждет, чтоб к любви подошла любовь. Вот она снова стояла передо мной, та же, но только более бледная. И я рванулся к ней, и я протянул к ней руки, она протянула свои бледные руки, и тонкие ее пальцы ласково коснулись моих волос и задрожали. «Любишь ли ты меня?» — воскликнул я и проснулся от ощущения поцелуя на моем лице.

Было тихо и светло в моей комнате. Я забыл перед сном закрыть ставни, и ущербная Луна, окруженная редкими, но четкими звездами, светила прямо в мое окно, около которого холодным серебряным светом ворожило большое зеркало трюмо. Я лежал неподвижно на спине и весь был в ощущении поцелуя, который я чувствовал на своем лице. Вдали несколько раз перекликнулись предутренние петухи. Музыка бала давно уже смолкла. Но в слух мой, переливно журча теневым тончайшим напевом, без конца, без конца струилась воздушная, тишайшая, но звучащая музыка. Я спросил себя мысленно, не сплю ли я. Нет, я не спал. Музыка, доходящая

из непостижимой дали, из пространственных идеальностей, из пределов, для которых нет слов, из беспредельного, безбрежного, лилась, переливалась, менялась, качала выражения, замедлялась, торопилась, снова медлила, выпевала долгую сладостную сказку.

Кто бывал в весеннюю ночь в саду Трокадеро, в Париже, тот знает, что там есть звенящие мелодические лягушечки, которых трудно увидеть, но можно слышать. Более тонкого хрустального призрачного звука я никогда не слышал ни в каких голосах природы. Когда я был ребенком, у меня была маленькая шарманочка, размером не больше табакерки и даже меньше, и играла она только три маленькие мелодии. Я любил ее тонкий кристальный звук. Так вот, музыкальная размерность звуков этого детского органчика все же слишком вещественна в сравнении с тремя звенящими нотами этих садовых гномов, а три звенящие их ноты все же слишком вещественны в сравнении с теми теневыми высокими переливавшимися звуками, которые бесконечной вереницей вливались в мой слух.

Я скоро заметил, продолжая оставаться совершенно неподвижным и не решаясь шелохнуться, что, когда в тонком течении звуков возникал такой поворот, который меня не насыщал, а лишь томил, я внутренним движением воли изменял поворот напева и делал так, что призрачная, но четкая тонкая музыка пела то, что я хочу, пела так, как я желаю. Я управлял этим певучим током, и он разрушил в моей душе все преграды обычного.

Меня мучила сильная жажда. На ночном столике стоял стакан с водой. Перед сном я выкурил несколько лишних папирос. Жажда побуждала меня протянуть руку, но я боялся сделать это движение. Мне казалось, что я спугну призрачную мелодию. Я все-таки протянул руку, выпил полстакана и осторожно поставил стакан обратно. Волна звуков колыхнулась от моего движения. Напевный меняющийся непрерывный ток качнулся куда-то в сторону, точно меняя русло, но через несколько мгновений он снова струился там же и так же, как это было раньше.

В комнате пахло цветущей кашкой, сладким духом трилистника. Я без конца слушал теневую музыку. Я чувствовал себя нежным и юным. Я полновольно управлял потоком те-

кучей гармонии. Потом гармония овладела моей волей и потопила меня. Это она уже силой своей внутренней певучей законности качала меня и баюкала, уносила меня и качала, облекала меня голубыми и синими тенями, отсветами нежно-зелеными и матово-серебряными. Пела, держала, качала, уносила, унесла.

Я опять заснул.

Но сон мой так неуловимо слился с тем, что только что было со мною, что как будто я не засыпал. Я чувствовал себя во сне лежащим неподвижно на спине. И так же светила в окно ущербная Луна, окруженная немногими четкими звездами, и опрокинутый лик ее отражался в холодном зеркале. И так же звучала непрерывная музыка, только она была теперь громче и торжественнее, необъяснимым образом переходя в лунные отсветы и снова делаясь только музыкой.

Сон перешел в новый сон, как краска вечернего облака переходит в новую краску и как зеркало отражает углубленную видоизмененную зеркальность, где то же не есть то же.

Без какого-либо приближения извне около зеркала явилась Мария. Точно она уже давно была здесь, в моей комнате, но только раньше она была невидима и вдруг стала зрима. Она стояла перед зеркалом, не смотря на меня и ломая тонкие бледные руки, в немой безутешности она была бесконечно грустна. Я смотрел на нее, и мне было бесконечно грустно. Печально покачав головой, она вошла в зеркало, в его глубь, как входит беспрепятственно в глубь зеркала отражение. Зеркало в то же мгновение превратилось в длинную серебряную бальную залу, и там возник снежно-белый серебряный звездный вихрь. Влюбленные пары кружились в пляске, руки сжимали руки, тело касалось тела, скользящие ноги ускользали по кругам в одной воле, в одном желанье, в одном напеве, в едином счастье. И только Мария была грустна, и тот, кто кружился с ней, был печален, с выраженьем в затуманенных глазах бесконечной грусти о недосяжимом.

Внезапно в потоке гармонии возник на секунду один короткий резкий звук, как будто что-то где-то упало. Воздух наполнился сладко-истомным запахом трилистника. Точно где-то близко было целое поле, целый луг только что зацветших стебельков розовой кашки.

Зеркало опять стало матово-серебряным холодным зеркалом. Я лежал неподвижно в своей постели, а вблизи предо мной, но не подходя ко мне вплоть, стояла Мария. Она смотрела на меня, и ее голубые глаза были расширены, а вся она была такая белая, такая воздушная, что, пристально всмотревшись в нее, я вздрогнул. Через белое, почти совсем прозрачное ее тело, прикрытое призрачной одеждой, просвечивались звезды дальнего неба, и видно было, как малые тучки плывут к ущербной Луне.

— Мария, Мария, — шептал я безутешно. — Я люблю тебя, любимая.

Мария тихонько покачала головой, и в голубых ее глазах отразилась разлука, бесконечность разлук, несосчитанность грустных мгновений, звеневших и отзвеневших.

Я закрыл глаза в отчаянии, и в остром знании непоправимого я утонул в темном беззвучном бездонном океане.

Я проснулся поздно. Потянувшись за часами, я увидел наполовину недопитый стакан с водой, и у меня было ощущение, что те же самые губы, которые прильнули с поцелуем к моему лицу во сне, коснулись на миг и этого стакана. В комнате был запах трилистника.

Я встал и подошел к трюмо. Мне хотелось непременно открыть его. Там все было в обычном порядке. Только флакон с духами «Трефль» стоял полуопрокинутый, и коробка со старыми письмами, помешавшая ему упасть вовсе, была облита легкой струей духов.

Что это было, я не знаю, но это было.

1921

БЕЛАЯ НЕВЕСТА

1

Внутренний опыт одного человека непохож на внутренний опыт другого человека. Мы проходим те же самые полосы света и тени не одновременно, и потому те же самые горы, леса, и поля, и моря отражаются в разных душах по-разному. Зрачки отдельных душ бесповторны — это единственные зеркала, от-

ражающие единственную движущуюся картину мира, хотя всемирное равенство душ не выдумка, а точная истина. Каждая душа пройдет свой исчерпывающий опыт, который сравняет ее с другой душой, в свой час и на своем месте. Не сказал ли ты свое первое «люблю», когда тебе было семнадцать лет? Но я мог сказать и, быть может, сказал свое первое «люблю», когда мне было девять или пять лет. А наши «люблю» пришли из одного источника, из одного первородного жерла, у которого, в его щедром изобилии, есть одна первоосновная прихоть. Именно в силу своего безграничного изобилия оно хочет, чтобы каждое живое существо прошло через все, чтоб узнать все и этим еще и еще обогатить все.

Мы воплощаемся бесконечно, и смерти нет. В междупланетных наших скитаниях мы по-разному восходим на те же ступени и в разный час. Вот почему есть люди, весьма умные, которые могут себе внутренне нарисовать только бесконечность, и есть другие, не менее умные, быть может, которые могут вообразить только конечное. И первые нередко думают о вторых, что они, говоря о конечном, только притворяются, а другие, вторые, думают о первых, что, говоря о бесконечности, они только выдумывают. А объяснение их разногласия лишь в том, что они одновременно смотрят на Мировые Часы с двух разных точек внутреннего опыта, как бы с двух разных точек времени и места. И один правильно видит шесть часов дня, а другой половину двенадцатого ночи.

Не будем спорить друг с другом, а будем слушать друг друга. Это гораздо любопытнее. Мы узнаем много новых граней или хоть одну новую грань в нашем собственном многограннике, называемом душой. Я буду слушать каждого. Но послушайте сейчас меня. И верьте, что, если я что-нибудь утверждаю, я вижу в душе свое утверждение так четко, как видят на горизонте восходящее солнце и совсем близко затрепетавшие в утреннем ветерке, серебристые листья тополя.

2

Когда в человеке проснется его настоящее внутреннее я, оно может снова покидать его на большие или меньшие сроки времени, но оно будет властно возникать в нем снова. Оно

может и не покидать человека, однажды проснувшись в чувственном цветном тумане. То истинное мое я, которое не покидает меня уже давно, проснулось во мне ровно полстолетия тому назад, когда мне было четыре года. Оно меня покидало, или было во мне в скрытом лике поздней, когда я узнал первые торопливые праздники страсти. В юности, когда я искал разной правды и когда я столько тосковал и целовался, и поздней, когда я узнал ревность и гнев, я часто бывал совсем иным, чем мое настоящее «я», которое, как самый верный, никогда не обманывающий друг, ведет со мной сейчас постоянную свою внутреннюю беседу. Это необманывающее «я», лучезарно изъяснившее мне мир и меня самого, проснулось во мне, когда мне было всего четыре года, в яркий летний день, в моей родной усадьбе, где я навсегда научился любить солнце и зеленые просторы природы.

В нашем двухэтажном деревянном доме, где всегда было много родных, и много гостей, и много прислуги, которая более или менее ничего не делала, мне была особенно мила старая ласковая няня, когда-то вынянчившая моего старшего брата и жившая у нас как член нашей семьи. Мне всегда нравились в этом обветшавшем морщинистом лице лучистые глаза, в которых неизменно светилась только одна ласка. Я вспоминал ее позднее как благое видение, когда я читал страшные сказки или предо мной рассказывали что-нибудь жуткое. Ни брюзжанья, ни воркотни, ничего, что так естественно связано со старостью. Она была воплощением тишины и ласковости.

Однажды в летний день, когда солнце озаряет так обворожительно розовые гроздья китайской рябинки и липкие листья трепетных тополей, я заметил, что в доме какое-то особое настроение среди старших, совершенно не согласное с этими золотыми полосами солнечных лучей. Когда мне что-нибудь не нравилось, я всегда, и в эти ранние годы, и потом, молча уходил от того места и обычно попадал в сад. И этот раз я вышел из дому, но, прежде чем я попал в это утро в сад, со мной случилось то, что я называю моим внутренним пробуждением. На дворе, между погребом и амбаром, была пустая избушка. В ней никто не жил. Почему, я этого никогда не спрашивал, и никогда позднее мне никто ничего о ней не рассказывал. В то утро, выйдя на двор, я заметил, что около пус-

той избушки в каком-то недоумении стоят мои братья и несколько деревенских мальчишек. Я подошел к ним и что-то спросил. Не помню, кто из мальчиков мне сказал тихим и таинственным голосом:

— Там старая няня.

Я спросил удивленно:

— Зачем она там?

Все кругом посмотрели на меня молча, и я видел по лицам, что мне ничего не хотят говорить, потому что я чего-то не смогу понять. Я молча подошел тогда к низкому окну избушки. Оно было неплотно прикрыто. Я заглянул в щель и увидел. Няня лежала неподвижно, вся почерневшая и распухшая. Ее глаза, которые я так любил, были закрыты. Ласкового взгляда не было. Не было того, что была она сама. Это лицо было чужое. Это была не она. Это было что-то тяжелое, душное, что-то напоминавшее о ней, но неверно напоминавшее о ней, потому что вся она была одна живая улыбка и тихая ласка. Мне сделалось так душно и невыносимо, как будто на меня налегла огромная тяжесть. И я понял.

Но я понял это жуткое новое совсем не так, как понимали его те мальчики, которые были старше меня. Я пошел от них прочь, я пошел прочь от этой избушки, и кто-то вдогонку мне сказал тихим голосом:

— Умерла.

Я шел по своей любимой садовой дорожке и чувствовал, что солнце жарко греет, и бронзовки в гроздьях китайской рябинки особенно зеленого цвета, и пчелы, осы и шмели жужжат особенно громко, не так, как всегда. Мне казалось, что я в первый раз увидел, как красивы желтые и белые бабочки. Я в первый раз чувствовал, как красив и ласков мир, как все в нем слито в одно связное празднество. Конечно, я не говорил себе тогда вот этих слов, но чувство это помню с четкостью совершенной. Я был в эти мгновения один в мире, сияющем, звонком, стройном и цельном, в котором смерти нет, а есть одна только вечно торжествующая жизнь. Между мною и теми другими, беспомощно стоявшими около маленькой избушки, была прозрачная хрустальная стена, делавшая нас друг для друга недосяжимыми. Так я чувствовал тогда, и так я чувствую себя теперь, через пятьдесят лет, когда кто-нибудь передо мной говорит о смерти как о смерти,

как о чем-то конченом и непоправимом. Нет, нет, я-то знал хорошо тогда, что няня вовсе не умерла. Она ушла куда-то далеко, а то, что осталось в маленькой избушке, было нечто другое, совсем не она. Далеко и близко была она, совсем тут, рядом. Не могла умереть и не умерла эта ласковость взгляда, который не знал ничего, кроме любви. И где она сейчас, я не знаю, но существо, которое давно прошло все дороги гнева и ненависти, в стройном лике совершает где-то новую светлую дорогу. Я это знаю так же твердо, как знаю, что завтра взойдет солнце.

3

Слыша такое мое утверждение или подобное, собеседники не однажды говорили мне, что или я не люблю жизнь и оттого так говорю, или я никогда не видел приближения смерти и оттого так говорю. Неверно и то и другое. Я люблю жизнь, как птица любит воздух, рассекаемый ее легкими крыльями. Я люблю жизнь, как цветок любит солнечный луч, каплю росы, брызги дождя и собственную душистую цветочную чашечку. Я люблю жизнь, как тот, кого любят, мучают, но любят, любят. И в течение жизни, которая знала величайшие трудности, я не раз испытывал предельную боль, телесную и душевную, но никогда я не мог разлюбить жизнь, и ощущаю ее как нечто глубокое, красивое и предназначенное. И смерть была близко около меня несколько раз в жизни, но она прошла, лишь коснувшись меня и не задев.

Я хочу припомнить все те случаи, когда смерть подходила ко мне, в разных ликах, от самого незначительного до самого грозного.

Через год после того праздника сознания, о котором я рассказывал, летом, когда мне было пять лет, я дважды мог лишиться жизни. И от первой встречи с той, кого боятся, у меня осталось лишь воспоминание о нежно-изумрудном свете, а от пережитой второй встречи — ощущение жуткого и завлекательного полета в вихре.

В моих родных местах встречаются бочаги, овальные, продолговатые прудки, вырытые самою природой. Около них всегда цветут незабудки и растет осока, а на зеленоватой влаге качаются желтые и белые кувшинки. Золотые бубен-

чики делают самое приближение к ним торжествующим праздником. Когда я раз пришел к одному из таких бочагов, в нем купались деревенские мальчишки. Найдя, что это соблазнительно, я разделся и присоединился к ним. Пожалуй, точнее было бы сказать, что присоединиться к ним мне не удалось этот раз. Бочаги эти неглубокие, но для меня тот прудок с покатым дном был вполне достаточной глубиной. Я в одно мгновение куда-то скатился и, не умея плавать, очутился на дне вверх лицом. То краткое время, которое я, захлебнувшись, был в этой малой глубине, показалось мне каким-то волшебством. Глаза мои были открыты, и я увидел зеленое подводное царство. Сверху над этим влажным изумрудом чувствовалось что-то другое, огромное, иного цвета и уже недосяжимое. Все это длилось, конечно, лишь несколько секунд, и мое зеленое видение кончилось тем, что какой-то мальчишка сильной рукой выбросил меня на берег. Я видел с тех пор зеленые просторы всех пяти частей света и даже шестой, Океании, но такого странно-воздушного волшебного изумруда, который я на мгновение увидел, когда я был в полной близости к потоплению, я, пожалуй, не увижу больше никогда.

Другой случай произошел так. Мой отец был страстный охотник, и, когда он возвращался домой, это было настоящим праздником для нас, мальчиков. Когда его плетушка въезжала в ворота, мы уж знали, что вся она до краев полна дичи, так что ему почти негде сидеть. И у кучера на козлах, который тоже был лихой охотник, лицо всегда светилось торжеством победителя. Когда экипаж останавливался, мы весело бросались к отцу, целовали его, и тотчас каждый выбирал себе птицу понаряднее, каждому предоставлялось взять птицу, чтобы поиграть ей. Братья мои были существа нетерпеливые, да может быть, и художественный вкус их был менее разборчивый, чем мой. Быстро схватив кто тетерева, кто куропатку, они разбегались по своим углам. Так было и в этот день. Но птицы ведь бывают весьма разные. И, забравшись в плетушку, я не торопился с выбором. Отец уже ушел в дом. Кучер Андрей прикрутил вожжи к закраине козел и тоже куда-то отлучился. Я сидел в плетушке среди множества убитых дичин, любовался на перья с отливом и не знал, какую выбрать птицу. Лошадь, которая была в упряжи,

прозывалась за вздорный нрав Козлом. И вот в то время, когда я предавался художественной нерешительности, другая лошадь, старая и белая, неподалеку щипавшая траву сзади плетушки, несколько сбоку, вздумала покататься по траве. Нашел ли на Козла обычный стих своенравия, или краешком глаза он плохо рассмотрел, что это за белое движение сзади него, но только он рванулся, помчался по двору и, в одну минуту вымахнув из ворот, пронесся вдоль пруда по деревне и уже мчался во весь опор по дороге к лесу. Я держался за что-то и каждую минуту мог вылететь на дорогу. Козел мчался. Быть может, он в конце концов устал бы, успокоился, и тем дело кончилось бы. Но на беду, узел, прикручивавший вожжи к плетушке, распутался, они соскользнули вниз, конец их запутался около оси, и, как мне объясняли потом старшие, они быстро должны были дернуть лошадь, так что она сделала бы резкий поворот вправо, экипаж опрокинулся бы, и я, конечно, был бы убит на месте. Я этого не понимал так ясно, как мне потом рассказывали, но чувствовал, что дело совсем не ладно. Однако роковой поворот швырком не совершился, и спас меня от него человек со странным именем И-ро-ро.

Откуда в наших глухих местах был человек с таким экзотическим именем? Был у нас честный пастух Родион. Как свойственно многим русским людям, он иногда запивал. Тогда он бросал свое стадо, разгуливал по лесам и полям, радовался на свои могутные плечи и, если видел какую душу живую, показывал издали свою увесистую длань и громко возглашал ликующее «и-ро-ро». Мужики во многих местностях относятся к пастухам с насмешливостью и иронической покровительственностью. Пользуясь таким хорошим предлогом, наши мужики прозвали Родиона И-ро-ро. И вот, на мое счастье, этот И-ро-ро так вовремя загулял и так удачно со мной встретился. Он шел навстречу мчавшейся лошади, возглашал свой вакхический клик, и как раз в то мгновение, когда вожжи начали закручиваться роковым образом, он на полном скаку схватил лошадь под уздцы; она два-три раза рванулась и стала. Торжествующе горланя, мой спаситель отвел лошадь обратно в усадьбу, а я сидел ни жив ни мертв, чувствуя себя в чем-то очень виноватым. Мать объяснила мне дома, в какой я был опасности, и сказала мне, что я

сам во всем виноват. Отец взглянул на дело иначе. Он велел отпрячь Козла, его заперли в конюшне, и мой кроткий отец, всегда такой добрый, собственноручно отхлестал несчастную лошадь арапником. Я слышал жалобное ржание лошади. Я опять скрылся в свой сад, но этот раз вовсе не чувствовал гармонии мира. Я дивился недоуменно на несправедливость старших и размышлял, как было интересно то, что со мной только что случилось. Мне казалось, что я качался на жутких качелях и с замирающим радостным сердцем взносился высоко-высоко.

4

Если ребенок не размышлял о смерти, когда она прошла около него и могла увести его в новое неведомое, быть может, это не только не странно, но так и должно быть. В детстве мы полны еще тех неуловимых и облекающих душу тайн Вечности, из которых мы только что вышли для этой жизни, как звезда, совершившая круговорот, возвращается в свое первичное лоно. В детстве мы без слов знаем многое из того, к чему потом целую жизнь мы пытаемся, и часто напрасно, приблизиться лабиринтной дорогой слов. В детской душе есть много великого доверия к тому отчему лону, связь с которым она чувствует кротко и полно, когда она нежно любит первую травку, первую весеннюю муху, весь зеленый кругоем мира, свой родной дом, своего отца, свою мать, — любит так, как можно любить только в детстве.

Труднее с доверием спокойствия думать о запредельном в юности, которая полна взметенности мятежа. Еще труднее — и как жутко трудно — думать о самовольном уходе в неведомое. Если есть что-нибудь действительно жуткое — это мысль о посягновении на живое существо, и, быть может, в каком-то смысле убить себя еще более преступно, чем убить другого, хотя убить другого — самое большое преступление. В моих словах противоречие, я не умею их объяснить, но я чувствую так, как я говорю.

Когда мне было лет шестнадцать, я рассуждал однажды со своим товарищем, Косаревым, о бессмертии души и достоверном характере Вечности. Мы погружались и погружались с ним в мыслительные полеты. Вдруг лицо его поблед-

нело от внутреннего волнения, глаза засияли каким-то неуютным блеском, и он воскликнул:

— Но зачем же тогда жить? Нужно поскорее уйти туда!

Я почувствовал тогда невыразимую жуть от его слов. Эта мысль увела его. Кончив гимназию, он поступил на филологический факультет и отдался изучению философии. Все дни он читал, все ночи предавался разгулу. Через год он отравился цианистым калием.

Другой мой товарищ, Рубачев, умные глаза которого я сейчас вижу через десятки лет и который напоминал мне всегда Базарова, полюбил свою двоюродную сестру, которая тоже полюбила его, но, когда он сказал ей о своей любви, в девической своей застенчивости она что-то ответила ему так неявственно, что произошло роковое недоразумение. Он понял, что он нелюбим. Будучи необыкновенно сильным и крепким, он достал огромную дозу сулемы, и совершилось непоправимое. Но сулема, если ее принять слишком много, причиняет лишь внутренние поранения и вызывает рвоту, а не убивает. Он тяжко захворал и тогда узнал, что он любим. Он молил врачей спасти его. Несколько дней он был между жизнью и смертью, и после неверно примененной ванны умер от разрыва сердца. Девушка сошла с ума.

Юность часто знает самовольную смерть. Белая Невеста любит юных женихов.

Она посетила и меня, когда мне было двадцать два года, но не увела меня, а только открыла мне часть своей тайны. И если я дорожу этим внутренним знанием, оно и досталось мне достаточно дорого, если припомнить эти давнишние телесные и душевные пытки.

Кто посмотрит на меня, хотя бы внимательно, он не заметит ничего особенного в моем внешнем лике. Разве обратит внимание на косвенный шрам на левом виске и, быть может, найдет, что походка моя несколько странная, улетающая, как сказал один мой приятель. Никто не сможет рассмотреть, что я ранен жизнью. Обе ноги мои были сломаны в бедре, кисть левой руки разбита, правая рука сломана в локте, левый висок пробит. Юные силы и искусные руки хирурга победили все это. И далекое событие, жуткое и грозное, кажется мне неправдоподобным страшным сном. Неправдоподобен и, однако, таинственно-необходим был мой поступок.

Чтобы убить себя, я бросился в окно с третьего этажа. Неправдоподобным и таинственно-необходимым было душевное побуждение, вызвавшее этот поступок, сопровождавшийся полной душевной ясностью. Только великодушная юность способна на такое разумное безумие. Я любил красивую женщину, и она любила меня. Мы связали наши жизни, она была моей женой. Нежная и любящая, с нежным именем Лариса, она любила меня и была любима. Но она постоянно терзалась ревностью, хотя для этого не было никаких оснований. И жизнь наша слишком часто была пыткой. Это было не все. У меня было сильное нервное расстройство, лишавшее меня способности работать. Я не мог ни читать, ни писать от непрекращавшейся головной боли. И это была пытка для нас обоих. Если б я был старше и спокойнее, я, верно, понял бы, что нам нужно расстаться, что расстаться гораздо проще, чем то, что я замыслил. Вместо того чтобы уйти от любви, которая была пыткой, я решил совсем уйти из жизни и не мучить более собою ту, которая меня любила и мучила меня своей любовью.

Весна, выставляется первая рама,
И в комнату шум ворвался...

В тот день, когда выставлена была первая рама, в то солнечное утро, когда в коридоре гостиницы, где я жил, была выставлена зимняя рама и раскрыта весенняя, этот ликующий солнечный весенний шум и свет позвали меня и побудили к поступку, который, в конце концов, быть может, был самым великодушным, самым безумным и самым творческим по своим неожиданным последствиям. Я бросился в окно с разбега, и только в самую последнюю секунду, перед окном, я в молниеносный миг почувствовал, как много порывается в душе человека в минуту прощания с жизнью и как трудно добровольно или недобровольно отдать свою жизнь.

За полчаса перед этим, когда решение было уже принято мной, я спокойно стоял у того рокового окна и смотрел на весеннее небо. Хотя утро было яркое, небо скорее было бледное, бледно-голубое, местами совершенно белесоватое. Я смотрел на небо и чего-то внутренне искал. Но безглагольное небо не давало мне никакого ответа, не подавало никако-

го знака. Безмерная непроницаемая белесоватость внушала мне только, что я сам должен распутать тот узел, который завязался, а если распутать его нельзя, я должен разорвать его без колебаний. И я разорвал свой узел.

Когда, весь изломанный и разбитый, я лежал, очнувшись, на холодной весенней земле, я увидел небо безгранично высоким и недоступным. Я понял в те минуты, что моя ошибка — двойная, что жизнь бесконечна и что, если бы смерть пришла ко мне, я все равно очутился бы на том же самом месте, в такой же трудности, в необходимости распутать тот же узел или разорвать его, но распутать или разорвать совершенно иначе. В долгий год, когда я, лежа в постели, уже не чаял, что я когда-нибудь встану, я научился от предутреннего чириканья воробьев за окном, и от лунных лучей, проходивших через окно в мою комнату, и от всех шагов, достигавших до моего слуха, великой сказке жизни, понял святую неприкосновенность жизни. И когда наконец я встал, душа моя стала вольной, как ветер в поле, никто уже более не был над ней властен, кроме творческой мечты, а творчество расцвело буйным цветом.

Нет, я недорого заплатил за это свидание с Белой Невестой.

5

Странное существо человек. Я знаю, что после той полноты переживания, которая была мне суждена в юности, я никогда более не посягну на свою жизнь. Но играл я жизнью и смертью после этого неоднократно. После того как я трагически узнал высоту и ощущение собственного тела, перевертывающегося в воздушном полете вниз, у меня естественно развилось то чувство, которое называется страхом высоты. Когда я в первый раз после годового лежанья в постели пошел с товарищами в театр, мы, не располагая деньгами, взяли, конечно, места на галерке. Едва я сел на свое место и увидел большую освещенную и переполненную зрителями залу внизу, мной овладело какое-то паническое чувство. Ясно понимая вздорность своего пыточного чувства, я не мог освободиться от ощущения, что все ярусы, кончающиеся вверху галеркой, сейчас обрушатся, увлекая меня в своем падении

вниз. Я четко ощущал воздушное пространство как коварную, враждебную, подстерегающую сущность. Я думаю, что в этом мучительном и жалком чувстве есть нечто общее с тем зловражески заколдованным внушением, которым облекается все существо птицы или кролика, когда они неудержимо тянутся к готовой их пожрать пасти змеи. Это чувство, в ослабленной степени, но достаточно выразительное, возникает во мне и теперь, когда мне приходится стоять на обрыве или спускаться по узкой горной тропинке. Но, с детства привыкши думать, что человек, уважающий себя, не должен иметь ни перед чем чувства страха, я много раз заставлял себя всходить на высоту, с которой мне было трудно сойти, и несколько раз во время своих путешествий в Египте, в Мексике, в Индии, мог упасть в пропасть. Каждый раз я испытывал такую острую душевную пытку, что каждый раз я давал себе внутренне клятву: «Больше никогда». Но я забывал свою клятву при каждом новом случае. И каждый раз — было ли это на узких ступеньках полуразрушенной пирамиды Уксмаль, увенчанной взнесенным стеблем агавы, или на осыпающемся горном срыве над храмом Дейр-эль-Бахари, где ворожат имена Изис и Озириса, — думая, что мне не досягнуть уже вот этой сияющей картины внизу, я чувствовал всю зеленую и золотую пленительность нашего мира, всю желанность жизни в этом стройном, связном мироздании; я чувствовал острое отчаяние разлуки, но только разлуки, только преждевременного отлученья, слишком скорого расставанья, но не смерти, ибо смерти нет.

Я не раз уплывал также в открытое море, слишком далеко, дальше, чем могли вынести мои силы. Я чувствовал грозную, жуткую силу глубины подо мной, но я ощущал ее в любую минуту как силу уводящую, завлекающую, вбрасывающую меня во что-то неведомое новое, но не как силу, истребляющую меня. Один раз во время бури на океане я спасся лишь чудом. Я расскажу об этом, но сейчас мне вспоминается другое, совсем маленькое по стечению неуловимых причин и, однако, почти кончившееся отравлением белладонной.

Я жил тогда в Брюсселе, и в душе у меня было очень смутно. Сердце мое влеклось к той, которая была со мною, и влеклось к другой, которая была в Париже и ждала меня.

Я был все время своей душою и тут и там, и там и тут. Это было невыносимо, но и мучительно-сладостно. Я был в жизни и вне жизни. Однако я был совсем живой, и вовсе не хотел расставаться с жизнью. Не помню по какому случаю мой знакомый бельгийский врач за несколько дней перед этим прописал мне пилюли из белладонны, по две пилюли в день. У меня к врачам нет никакого почтения, никогда не было, потому что в жизни я видел гораздо больше их неуменье, чем уменье, и потому, что у врачей очень неприятная манера разговаривать, составляющая обычное свойство людей умственно ограниченных. И вот ночью, когда я не мог спать от настойчивых и неразрешимых мыслей, мне вспомнилось почему-то, как мой толстоватый бельгийский врач, прописывая белладонну, усиленно подчеркивал ядовитый характер этого снадобья и говорил внушительно, чтобы я никак не более его принимал, чем по две пилюли в день. Я насмешливо подумал про себя: «Там полкоробки. Что если я проглочу все это сразу? Любопытно». Я согласен, что, как ни ограничен был мой врач, а может быть, и любой врач, кроме искусных хирургов, моя мысль в ту минуту была вздорной, преступной и совершенно глупой. Белладонна была проглочена, и весьма скоро я почувствовал, что я холодею и засыпаю. Я мгновенно понял, что, если я засну, я больше не проснусь. Только не спать. Это я чувствовал отчетливо. Тревожным стуком в стену соседней комнаты я разбудил ту, которая была со мной. Она пришла в ужас от моего вида и в еще больший ужас, когда я ей сказал, в чем дело. Она стала немедленно отпаивать меня чаем, кофе, вином. Но я продолжал чувствовать, что я холодею, что руки мои уже охвачены онемением и стали чужие. Мне явственно казалось, что, когда эта ползущая волна охлаждения, уже захватившая мои плечи, дойдет до сердца, оно остановится. Но я чувствовал в то же время, что мое тело не есть я, что душа моя все-таки свободна от него, и, что бы со мной ни случилось, не есть мое внутреннее «я» это холодеющее мое тело. Это состояние продолжалось часа три, пока искали доктора, будили его и пытались ему внушить, что случай очень серьезный. Спать и выспаться — тоже дело очень серьезное. Когда наконец мой бельгийский врач окончательно проснулся и был в полном обладании своими пятью чувствами, он пришел ко мне и дал мне какое-

то исцелившее меня зелье. Но раньше он успел сказать классическую формулу, которая, быть может, является самым интересным во всем этом приключении. Когда посланная служанка рассказала ему, в чем дело, он спросил, сколько времени тому назад это случилось. Узнав о часе, он философически сказал:

— Ну, если он еще не умер, то теперь уже не умрет.

И он поспал еще добрый час.

6

То, что я рассказал сейчас, есть лишь маленькая случайность, не вполне понятная для меня самого, мгновенная причуда сердца, которая могла разрешиться непоправимостью. Такая причуда или подобная может возникнуть и в ином сердце, и мы можем совсем не подозревать, где она нас подстерегает. Но внезапное возникновение крайней опасности вызывает во мне не испуг или растерянность, а спокойную радость самообладания. Это странно, потому что, вообще говоря, я часто бываю очень несдержанным.

Много лет тому назад, помню, я бродил по ночному Парижу вместе с моим другом Максимилианом Волошиным. Мы были в Halles'ах и между прочим зашли в тот известный погребок, который называется Cabaret des Innocents, а также Au rendez-vous des Assassins. Он, говорят, недаром называется «Местом свидания убийц». Туда, кроме обычной публики, приходят и разные темные персонажи, вроде апашей, у которых на совести достаточно разных деяний подсудного разряда. Во всяком случае, рядом с той главной комнатой, где поют и пьют, имеется всегда наготове полицейский сержант. Мы сидели в душном накуренном погребке и, весело болтая, угощали подсевших к нам женщин. Я поставил около себя бутылку с вином и с особенным удовольствием наливал стаканы направо и налево — я люблю, чтобы около меня веселились, когда я веселюсь. Несколько поодаль, но недалеко от меня, в полном одиночестве сидел молодой апаш. Когда знаешь ночной Париж, узнать апаша очень легко. Впрочем, он очень скоро ни у кого не оставил сомнений относительно того, кто он. Он не был пьян, но притворялся для каких-то целей захмелевшим. Он сидел, опершись на обе ру-

ки и почти совсем закрыв глаза. Он мне казался любопытным, но что-то меня удерживало от того, чтобы предложить ему стакан вина. В нем что-то происходило. Я это безошибочно чувствовал по неуловимому магнетическому току. Вдруг, когда я только что налил повторные стаканы ночным красавицам, он приоткрыл глаза, быстро протянул руку к моей бутылке и, звякнув своим пустым стаканом, налил его до краев. Я молча посмотрел на него и, сделав неторопливое движение рукой, отставил бутылку. Мгновенно в припадке самой белой ярости он схватил бутылку и, размахнув ей, как томагавком, изо всей силы швырнул мне ее в голову. Не задев меня, она пролетела около самого моего виска и с треском разбилась о стену. Все присутствующие застыли в ужасе. В ту же минуту перед нами стояли сержант и гарсон, прибежавшие из соседней комнаты.

— Что случилось? Что случилось? — лепетал испуганный гарсон.

— Что случилось? — ответил я. — Совершенно ничего. Бутылка разбилась. Подайте мне другую.

Лица кругом прояснились. В то же мгновение я быстро опустил руку в карман, и апаш отшатнулся, думая, что я потянулся за револьвером или ножом. Это было не так. Я молча вынул портсигар и молча, с учтивостью безукоризненной, предложил ему папироску. Ошеломленный, он взял папиросу и неловко ее закурил. В это время служитель подал новую бутылку вина.

— Я отставил бутылку, потому что я имел намерение сам вам налить, сказал я, обращаясь к апашу и подливая вина в расплескавшийся стакан.

Апаш встал и, едва прикоснувшись к стакану, притворно или искренно пошатываясь, вышел вон. Французы, бывшие около, начали говорить мне какие-то комплименты. Французы, как известно, любят законченность движений. Но мой друг Макс, мудро восприняв, что достаточно в свой час искусить судьбу однажды, сказал мне:

— Пойдем отсюда.

И мы ушли.

— Я бы на твоем месте радовался, что твоя голова не проломлена, — сказал мне Макс.

Но я радовался на другое. Я не мог допустить, чтобы апаш на таком близком расстоянии мог промахнуться. Наверно, он не хотел меня убить и лишь хотел увидеть малодушный страх этого красовавшегося перед ним иностранца. Но страха не было. Это, кажется, была некоторая довольно своеобразная дуэль, и я не чувствовал себя побежденным. Конечно, он не промахнулся, промахнувшись. Он мог, однако, по-настоящему промахнуться, и вряд ли тогда мне удалось бы рассказывать то, что я рассказываю.

7

Несколько похожий случай был со мной совсем недавно в Москве. После большевистского переворота разумные жильцы того дома, где я жил, в одном из арбатских переулков, соорудили в складчину железный занавес для ворот, чтобы можно было, заперев ворота, замкнуться как в крепости. В железном занавесе была лишь узкая калитка с опускным оконцем, ворота были наглухо замкнуты. Однажды вечером, уже успев позабыть, сколько раз в неделю обстрела Москвы мне пришлось побывать под ружейным и орудийным огнем, я подходил к своим железным воротам и заприметил, что против них стоят двое молодцов товарищеского лика, один — солдат с разбойничьим лицом, другой некостюмированный разбойник. Они стояли, препирались и оскверняли целый мир ругательствами. Я пришел в неосновательный гнев и, проходя мимо них, уже подходя к калитке, произнес неосторожное и совершенно бесполезное слово.

— Проклятые ругатели, — сказал я, — придет час, и будет для каждого из вас петля.

В эту же самую минуту за мной послышался выстрел, и револьверная пуля звякнула над моей головой о железные ворота. Я шагнул в калитку и пошел по длинному двору, не ускоряя шага и ожидая второго выстрела. Его не последовало. Я улыбнулся и потрогал рукой свое сердце. Оно билось совершенно ровно. «Мы кое-чему научились за неделю большевистского зверства», — подумал я. Нет сомнения, очень многие научились совершенно не бояться пули, с тех пор как она стала ежеминутным устрашением.

8

Я хочу вспомнить еще один случай, когда я совсем близко был от ухода из этой жизни, в гуле и грохоте грозового океана.

Это было в полосе Атлантики в Soulac-sur-Mer, где всегда такой сильный красивый прилив. Вилла, в которой я проводил лето вместе с моей женой, девочкой и подругой моей жены, находилась у самого моря, в пустынном месте, и называлась певучим именем Ave Maria. Нам неоднократно говорили, что купаться против нашей виллы нельзя, даже запрещено. Никто, однако, ни разу не мог объяснить мне, почему нельзя, и мы купались, впрочем, никогда не заплывая далеко. Было грозовое утро, когда океан был особенно красив, со своими исполинскими вспененными волнами. Несмотря на то, что мои домашние удерживали меня, говоря, что в такую бурю опасно купаться, я пошел один на радостное свидание с волнами. Подруга моей жены пошла в тревоге смотреть на мое купание. Я дал слово, что я не заплыву дальше, чем наше обычное, крайнее место, где после довольно значительной глубины было сравнительное мелководье. Эта милая Таня П., меня провожавшая! Она шла как осужденная, а я весело шутил. Она была дорога мне, и я был ей дорог. Видя ее несчастное встревоженное лицо, я повторил, что я не уплыву слишком далеко и что я умею хорошо плавать. Волны ударяли меня, но я удачно их рассекал, и, уплывая, несколько раз опускался в воду совсем, нырял, чтоб попробовать, не доплыл ли я до мелководья. Не знаю, какое странное затмение могло внушить мне и моим наивную мысль, что в этой бурной приливной воде я смогу найти мелководье. Весь уровень океанской воды ведь передвинулся. Я почувствовал, что мне пора возвращаться. Я повернул и стал плыть к берегу. Волны возрастали с непостижимой быстротой, это были уже огромные валы, и они меня захлестывали. Время от времени за высотой пробежавшего вала меня не видно было с берега. Провожавшая меня была одна на всем пустынном побережье. В грохоте волн и свисте ветра я услышал пронзительный женский крик. В то же мгновение я почувствовал что-то странное. Несмотря на все мои усилия плыть скорее, я увидел, что медленно и неуклонно линия берега не приближается, а отдаляется от меня. Я подумал, что это ошибка зрения, утомившегося от ветра и бесконечных

брызг. Нет, медленно и неуклонно линия берега уходила. Тогда я вдруг вспомнил и догадался, почему в этом месте опасно было купаться. На известном расстоянии от берега было боковое течение, которое уносило меня теперь в открытое море. Я понял, что я потерян, что жизнь кончилась. Я не испытывал ни страха, ни горя. Это была глубокая спокойная грусть, но только грусть. Женский голос, полный отчаяния, доходил до меня как будто из далекой дали через грохот океана. Чувствуя бесполезность усилий, я все-таки плыл или, вернее, старался плыть. Я смотрел на уходящую виллу и в первый раз подумал с пронзительной ясностью, что ее название Ave Maria — слово молитвы. Мне это показалось вещим и прощальным. Я подумал с сожалением, что моя жена, эта стройная черноглазая Катя, сидит сейчас за столом и пьет чай. Я не выпью этого чаю. Я вспомнил, что в моей комнате на ночном столике лежит раскрытый, лишь до половины прочитанный английский томик, сказочный роман Райдера Хаггарда. Я не дочитаю этого романа. Я подумал о далекой любимой, о других далеких любимых. Я их больше не увижу здесь.

Вдруг среди гула и грохота я услышал шорох, около меня, сзади, неземного свойства огромный шорох. Я оглянулся, и сердце мое на секунду остановилось от ощущенья жути и восторга. Как раз надо мной исполинский вал, вспенясь, ломался. Его верхушка под пеной была зеленого сверкающего цвета, и весь он походил на огромного морского змея. Это оттого, что он ломался, был тот изумивший меня шорох, заставивший меня обернуться. Я мгновенно понял, что мне нужно вобрать в себя столько воздуха, сколько только может поместиться в легких. Едва я успел это сделать, как сломившийся вал ударил меня в затылок и в спину и, погрузив в глубину, завертел меня как кубарь, и дугообразным взмахом выметнул меня снова на океанскую поверхность. Я успел опять вздохнуть, и новый вал ударил меня и дугою выбросил к верхним волнам. Ошеломленный, ослепленный, я несколько раз под повторными валами, уже не столько набирая в себя воздуха, сколько хлебая соленую воду, завертелся кубарем и вдруг увидал, что берег недалеко. Мне не пришлось долго изображать из себя пловца. Еще несколько мгновений, и вспененные широкие валы выбросили меня на прибрежье. Я едва мог дойти домой и несколько дней был в полубреду.

9

И все-таки смерти нет. Она есть, но она не то, что о ней думают. Ее не нужно искать, но ее и не нужно бояться. Когда ее зовешь, она не приходит. Когда от нее бежишь, она настигает. Кажется, что за беглецом образуется вертящийся ток ветра, который ее привлекает. Она приходит внезапно. Она всегда приходит неожиданно.

Мне очень нравится одно арабское предание. Соломон сидел в своей царственной пышности на царском своем престоле. Около него сидел его любимый приближенный. Вдруг среди всей этой пестрой толпы, которая была вокруг, выделился один человек вида чужеземного, с очень пронзительным взглядом. Он стал приближаться к престолу, неотступно смотря на приближенного. Тот встревожился и спросил царя Соломона:

— Кто этот человек, который смотрит на меня?

— Это не человек, — со спокойной усмешкой сказал Соломон. — Это ангел смерти, и, когда он приходит, он всегда приходит за кем-нибудь.

— Молю, молю тебя, — в торопливом испуге воскликнул приближенный. Почаруй своим волшебным перстнем и сделай так, чтоб я очутился в Индии.

Соломон кругообразно повернул свой перстень, и приближенный исчез, он очутился в Индии. Когда ангел смерти подошел к престолу вплоть, Соломон спросил его:

— Зачем ты здесь и почему ты так строго смотрел на моего слугу?

— Я здесь, — отвечал ангел Смерти, — потому, что, много прослышав о твоем великолепии, я хотел по пути взглянуть на тебя. А на слугу твоего я смотрел не строго. Я только дивился, как же это он здесь. Ибо свыше я получил повеление вынуть из него душу в Индии.

10

Не вода, не огонь, не гроза, не пропасть приближают к Белой Невесте, и не оружие, скованное рукою человека. И огонь, и гроза, и вода, и пропасть только сказали мне, что она есть.

Но не высота, обещавшая срыв, и не горою идущий грозовой океан, облекший меня всей своей властью, дали мне почувствовать, что она тут, рядом. Не единственное в своем волшебстве явление грома и молнии говорит мне о ней. Все это только показывает свежую красоту мироздания или, оборотившись враждебным чарованием, являет дрогнувший лик мира. Я чувствую Белую Невесту, когда один, в великой безглагольности глубокой ночи, я смотрю на Млечный Путь. Я знаю тогда, что она обворожительна, тихая освободительница, и все мне ясно. Она шепчет мне, что она не обманет, только она одна. Она уведет меня к новому, неиспытанному и к свежей встрече с теми, с которыми, хоть прощался, не успел проститься, потому что и нельзя прощаться с теми, с кем связан внутренней тайной любви, долженствующей снова привести любимых лицом к лицу.

Когда все спят, я смотрю на безграничность Млечной Дороги, я смотрю на родные звезды, раскинувшиеся дружными, светоносными водоворотами на север и на юг и на другие стороны света. Бестелесная рука нежным освежением ложится тогда на мой разгоряченный лоб, и я слышу явственно там, в звездной тишине моей души: «Я приду. Я не обману тебя. Но это я говорю тебе: живи».

1921

ТРИ РАСЦВЕТА

Драма

ЛИЦА ПЕРВОЙ КАРТИНЫ

Е л е н а.
Ю н о ш а.

Золотистое утро Весны. Время — около полудня. Лес, покрытый нежной зеленью. Множество разных цветов, голубых, синих, золотистых, желтых. Слева, в глубине, обрывистый берег озера, которое виднеется за лесом уходящею вдаль зеркальностью.

Е л е н а и Ю н о ш а, оба на утре своих дней, с красотою скорее апрельской, чем майской, веселые, смеющееся, проходят по лесной прогалине, образующей передний фон, наклоняются, срывают цветы, подбирают стебель к стеблю, бросают цветы, ищут новых садятся, снова встают, уходят, возвращаются, ускользающим взглядом смотрят друг на друга, но как будто все время видят не друг друга, а только весенний лес кругом и грезы собственного сердца.

Е л е н а *(с пучком фиалок в левой руке, между которыми есть один желтый цветок, говорит нараспев).*

Есть растение, зовется золотым дождем,
На богато-желтых гроздьях бабочки садятся,
Меж его тройчатых листьев, мотыльки на нем
Любят, любятся, влюбляют, тройственно пьянятся.

Ю н о ш а. Кто научил тебя этим словам?
Е л е н а. Я не знаю. Сами пришли ко мне.
Ю н о ш а. Ты говоришь неправду.

Е л е н а. А что такое правда?

Ю н о ш а. Ты знаешь сама.

Е л е н а. Ты думаешь? Нет, не знаю. Да и ты не знаешь, хоть говоришь о ней.

Ю н о ш а. Солнце светит — это правда. Цветы цветут, — это правда. Я тебя люблю — это правда.

Е л е н а. Солнце зайдет — где же тут правда? Цветы отцветут — где же тут правда? А слово «люблю» я не понимаю.

Ю н о ш а. Ты красива, Елена, ты красива как Мир. Я счастлив, когда я гляжу на тебя. Мне хочется глядеть еще и еще. Я хочу быть с тобой. Близко, рядом, всегда. Я не знаю ничего лучше тебя. Вот, что есть любовь.

Е л е н а. Если так, то я все люблю. Мне хочется быть в лесу — он красивый. Я хочу глядеть на Небо — оно синее. Я хочу, чтобы лес кончался — на опушке его видны дали. Я люблю голубые цветы и ищу золотистых, воздушно-желтых. Я все люблю.

Ю н о ш а. А меня?

Е л е н а. Ты умный и глупый.

Ю н о ш а. А меня?

Е л е н а (*шутливо*). Немножко. Так, чуточку.

Ю н о ш а (*грустно*). Ты все смеешься надо мною.

Е л е н а. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Мне хорошо с тобой.

Ю н о ш а. Я хотел бы с тобой быть всегда. Не видеть ничего, кроме тебя.

Е л е н а. Я не знаю ничего, что бывает всегда. Мне нравится, что все изменяется. Ты любишь яркие краски? Ах как я люблю их! Цветы и краски. И в радуге — все они, без счета. Но разве радуга — всегда? Ты же знаешь, как и я. Чтобы она засветилась на несколько минут, нужно, чтобы долго тянулись тучи, такие темные, и чтоб гром гремел, и чтобы молния сверкала, страшно так, и чтоб дождь шел. А потом — листы зеленые и цветы, голубые и желтые, нежные растения...

Есть растение, зовется золотым дождем,
На богато-желтых гроздьях бабочки садятся...

Ю н о ш а. Да, но кто ж тебе сказал эти слова?

Е л е н а. Постой, я тебе расскажу. Когда я была совсем еще девочкой...

Ю н о ш а. А сколько тебе лет, Елена?

Е л е н а. Право, какие ты смешные вопросы предлагаешь. Ты старше меня, а мне кажется, что ты маленький мальчик, которому нужно рассказать что-нибудь занимательное. «Сколько лет». Начинаю я жизнь каждый день, — каждый день умираю. Я не такая, как другие. Иногда мне кажется, что я жила всегда. Люди кругом меняются, плачут, страдают, смеются, болеют, умирают, — а я всегда одна и та же, и всегда в душе у меня ясно. Точно я гляжу на все через высокое окно. Или точно передо мною зеркало, и там, за спиной моей, тени приходят и уходят, а я гляжу в светлую-светлую зеркальную глубину. Как хорошо, как хрустально, и красиво, и ласково-холодно. Я молода как утро, и я душой своей — не умом, а душой — помню то, что было тысячи лет. (*Замолкает*).

Ю н о ш а. Говори, милая. Я слушаю тебя.

Е л е н а. Когда я была совсем маленькой девочкой, я любила уходить одна из дому, и днем, когда солнце такое яркое и птицы поют среди ветвей, я ложилась в траву, на лесной опушке, закрывала глаза и видела новый мир, он был такой же, как этот, но только лучше. Небо глубже, трава зеленее, цветы нежнее и воздушнее. В мире, который я видела закрытыми глазами, не было ни одного резкого звука, и самые яркие краски не были тревожащими. Мне чудилось, будто с высокой горы беззвучно падали серебряные воды. Они упадали в озеро, в котором никогда не было волн. Светлая водная равнина, вольная, без конца спокойная.

Ю н о ш а. Как это, вон там?

Е л е н а. Нет, то было лучше. В том нельзя было утонуть. По нему проходили какие-то призраки, они шли к далекому замку, который возвышался из серебряных вод, а он был золотистый и всходил до самой синевы. Когда я долго на него смотрела — так, душой, с закрытыми глазами — в этом замке раздавалась музыка. Тихая, красивая как Небо, далекая как вечерняя звезда. Я была в них, в этих радостных звонах, они окружали меня отовсюду, я была в них — и они во мне.

Ю н о ш а. Как странно изменяется твое лицо. Мне кажется, что я вижу тебя через прозрачную, недостижимую преграду.

Е л е н а. Когда я так грезила на лесной опушке, ко мне наклонялись какие-то призрачные лица. Я видела блестящие зрачки, и мне казалось, я куда-то ухожу все дальше и дальше,

все глубже. Я читала тайны душ. В моей душе возникали слова, и кто их говорил, не знаю. Кругом было молчание. А слова пели в моей душе.

Юноша. Ты так и узнала эти строки о цветке, что зовется золотым дождем?

Елена. Да, так. Близко-близко было от меня чье-то лицо. Я помню золотистые волосы, и светлые глаза, которые менялись. Они были как морская волна, голубовато-зеленые. Но когда лицо приближалось ко мне, они темнели. И они казались совсем черными, когда лицо совсем наклонялось ко мне. Он ничего мне — я говорю он, потому что я, как сейчас, помню это лицо — он не говорил мне ничего, он только пристально смотрел. Но я все читала, что было у него в душе. Мне было радостно и уютно. Мы оба так верили друг другу, — точно брат к сестре вернулся из-за дальнего моря. Точно снова ум понял, что раньше понимал, но забыл. Точно вся я стала легкая, вся стала как воздух и свет, — и в одно и то же время была всюду и была там, где мне было так уютно. Весь мир превратился в один золотой сон. Ото всего исходило сияние. Длинные гроздья цветов, душистых, как желтая и белая акации, откуда-то тянулись ко мне, качались, хоть ветра не было. И бабочки порхали, голубые и желтые, такие веселые, узорные. Все смешалось. Я слышала, как трепещут маленькие крылышки. Хотела открыть глаза, а они не раскрывались. Хотела встать — и не могла. Солнечный луч, широкой полосой, захватил меня, обнял, и точно не пускал. А строки пели во мне... «Золотым дождем... Золотым дождем»...

Юноша. А потом?

Елена. С тех пор я всегда их помнила. Я их часто вспоминаю, когда я вижу что-нибудь красивое. Лицо, в котором, свет, или весенние цветы, нежные лютики, или небо, на котором одно только облачко, по краям золотое.

Юноша. Ты очень любишь эти строки?

Елена. Очень.

Юноша. А что в них — ты знаешь?

Елена. Я не умею этого рассказать. Я их вспоминаю всегда неожиданно, и в душе у меня тогда так прозрачно и радостно. Точно весенний ручеек только что разбил свои льдинки и журчит по камешкам. Спешит, бежит, спешит, бе-

жит. И последние льдинки звенят. Нет, я не знаю, что в этих строках, но, когда я их вспоминаю, мне кажется, что в них весь мир.

Юноша (*наклоняясь к Елене*). Елена, поцелуй меня.

Елена (*отстраняясь слегка*). Ты опять об этом. Зачем тебе это нужно?

Юноша. Я люблю тебя. Поцелуй меня, милая.

Елена. Ты совсем как моя мать, которую я схоронила. Ей тоже непременно хотелось, чтобы я целовала ее. Я ее очень любила, но мне не хотелось ее целовать.

Юноша. Какой ты безумный, жестокий ребенок!

Елена. Но мне, правда, хорошо с тобой. Ты мне нравишься. А только целоваться мне не хочется. Давай лучше собирать цветы.

Юноша. А потом?

Елена. Я не знаю «потом», я знаю только «сейчас».

Юноша. Хорошо, давай собирать цветы. Я хочу всего, чего хочешь ты, Елена. Ты хочешь голубых цветов или золотистых?

Елена. Знаешь, милый, ты не сердись на меня. Но я, правда же, не умею желать многого. Люди такие странные и чужие мне. Даже ты. Они все чего-то хотят, чего никак нельзя хотеть, гонятся как безумные за призраками, но и самые призраки хотят сковать. Им хочется, чтобы облачко было вот такое, именно такое, а оно ведь хочет быть другим каждую минуту, и всегда меняет очертания. Ты не принуждай меня. Когда голос мой внутри велит мне быть иной, чем я теперь, я буду иная. А раньше — невозможно.

Юноша. Я хочу того, чего хочешь ты.

Елена. Мне хорошо с тобой. Я чувствую, что мы, как дети, и что это быстро пройдет. Ты не увидишь. Но сейчас хорошо. Пусть будет это сейчас. Милый, кто свободнее сейчас, чем мы с тобой? Разве только ветер да птицы, у которых — крылья. Давай собирать цветы. Я бросила незабудки. Они такие наивные. Я не хочу больше фиалок. Они грустные и цвет их какой-то прощальный, предельный. Я хочу золотистых желтых цветов. В них солнце, лучи, в них радость. Вот в этих — какое торжество весны! Одуванчики. Нежные. Я их люблю с детства. Каждый желтый цветок — точно радостная весть оттуда, из чертогов солнца.

Ю н о ш а. А потом они отцветут, и будут седые.

Е л е н а. Я тебе сказала, что не хочу «потом». Я хочу вон тех цветов, лютиков. Каждый из них — точно маленькое солнце. И какое свежее у них дыхание. В них и золото огня и влажность свежей воды. Когда я гляжу на них, во мне что-то тихонько поет.

Ю н о ш а. Да, лютики красивые. Но только они ядовитые.

Е л е н а (*после минутного молчания*). Так скоро ты уже забыл свои, свои же слова. Не ты ли говорил мне, что цветы цветут и солнце светит. А когда я на мгновенье так радостно забыла, что цветы отцветают и солнце заходит, то мне об этом торопишься напомнить. Я больше не хочу быть с тобой.

Ю н о ш а. Милая, прости меня. Но мне было больно. Это оттого.

Е л е н а. «Лютики ядовитые». Но они не отравляют меня. Ты отравляешь мои мгновения и изменяешь их красоту.

Ю н о ш а. Тебе не жаль меня. Ты знаешь, что я тебя люблю, и ты говоришь, что я тебе нравлюсь, но ты не хочешь подарить мне один поцелуй. А я за тебя отдал бы целую жизнь.

Е л е н а. Ну, хорошо. Если ты так этого хочешь. Только жизни мне целой не нужно. Мне довольно одного цветка.

Ю н о ш а. Какого? Скажи. Я его тебе найду.

Е л е н а. Он и близко, и далеко. Вон там, под срывом, в воде есть белая лилия. Если не боишься и можешь, сойди по обрыву и сорви ее мне.

Ю н о ш а. Боюсь? Вот слово. Я сейчас ее сорву.

Е л е н а. Ты, быть может, не знаешь. Там очень крутой спуск. И лилия растет у самого края, а край у срыва скользкий и покатый. Ты, пожалуй, упадешь.

Ю н о ш а. Нет, милая, я сорву тебе твой цветок и узнаю счастье.

Е л е н а. Смотри, утонешь. Там глубоко.

Ю н о ш а Я иду к воде.

Е л е н а. Принесешь мне лилию, я тебя поцелую.

Ю н о ш а. Как хорошо мне! Точно весь мир изменился.

Е л е н а. Мне тоже хорошо. Пойдем вместе. Я подожду тебя здесь наверху и буду смотреть на тебя сверху.

Ю н о ш а. Я люблю тебя.

Е л е н а. Ну, иди. Люби.

Ю н о ш а. Белая лилия! Сейчас! (*Спускается по обрыву и исчезает за скатом. Елена приближается к краю обрыва слева и, перегибаясь, глядит вниз, четкая красивым своим профилем*).

Е л е н а. Он скользит. Цепляется. Он спускается все ниже.

Ю н о ш а (*за срывом*). Елена!

Е л е н а. Я здесь, наверху.

Ю н о ш а (*за срывом*). Я сейчас дойду до края.

Е л е н а. Я жду тебя. Он все ближе и ближе к воде. Он сейчас дойдет. Он скользит, но не боится.

Ю н о ш а (*за срывом*). Елена! Я люблю тебя. — Елена!

Е л е н а. Что, милый?

Ю н о ш а (*за срывом*). Я сейчас сорву твою белую лилию.

Е л е н а. Он склоняется к воде. Он тянется, тянется. Он сейчас прикоснется к цветку. Он весь искривился. Он на самом краю. Он на скользком краю. Он скользит. Он коснулся цветка. А! (*Пауза*). Он упал! (*Длительная пауза. Елена выпрямляется, как бы вырастает, и отвращается всем телом от обрыва*). Утонул. Я так и знала.

ЛИЦА ВТОРОЙ КАРТИНЫ

Елена.
Любящий.
Призрак жизни.
Девушка-роза.
Девушка-мак.
Девушка-гвоздика.
Девушка-дрема.
Девушка-рубин.
Девушка-коралл.
Девушка-плакун-трава.

Налево — старинный замок, среднее пространство — садовая лужайка, направо — группа деревьев, образующих чащу. Повсюду — множество красных цветов. Час предзакатный. На Небе воздушность розовых, алых, и густо-красных тонов.

Елена и Любящий (выходят из чащи деревьев и, пересекая лужайку, медленно приближаются к замку).

Любящий. Я люблю тебя. Я люблю тебя, Елена!

Елена. Зачем ты говоришь слова любви как будто произносишь слово угрозы?

Любящий. Но, Елена, ведь я же люблю тебя.

Елена. Ты сказал, ты говоришь. Но я слышу в твоих словах не ласку, а гнев.

Любящий. О, Елена, ты меня мучаешь. Ты не можешь не понимать, что я жду от тебя признания.

Елена. Разве все нужно замыкать в слова? Ведь я с тобой.

Любящий. Милая, любимая, вся душа моя благодарит тебя за это. Я дрожу от счастья, видя тебя. Но я и дрожу от боли, потому что со мной ли ты или не со мной, ты каждую минуту ускользаешь от меня.

Елена. Я не могу быть иной. Я всегда такая, какой мне суждено быть. Ты знаешь, что я всегда одна и та же. И ты знаешь, что я только с тобой чувствую себя не мертвой.

Любящий. Каждый раз, когда я иду на свидание с тобой, я чувствую себя богом, которому принадлежит Вселенная. Каждый раз, когда я ухожу, мне кажется, что, нищий, я падаю в безмерную пустоту. Ты говоришь и не говоришь. Ты любишь и не любишь. Ты моя и не моя. Я в отчаянии. Я не могу больше ждать. Я люблю, я слишком люблю тебя.

Елена. Я не умею сковывать свои ощущения со словами. Но, если ты этого непременно хочешь, я могу сказать, что во мне.

Любящий. Скажи, скорее.

Елена. Быть может, ты сам пожалеешь, что так торопишься к словам.

Любящий. Каждое твое слово есть луч для меня.

Елена. Есть странный цветок, который зовется — любовь в тумане.

Любящий. Ну?

Елена. Ты думаешь, что все цветы любят свет? Ты не знаешь. Цветок, который зовется любовью в тумане, боится именно лучей.

Любящий. Он умрет от лучей?

Елена. Он умрет.

Любящий. Сколько других цветов! Есть розы, гвоздики, шиповник и маки. Есть красные лепестки, напоенные лучами и кровью.

Елена. И кровью.

Любящий. Это цвет жизни.

Елена. Мы живем в таком странном мире, что цвет жизни совпадает в нем со цветом смерти.

Любящий. Елена, не мучь меня больше. Я устал от слов.

Елена. Больше слов не будет. Мы уже убили словами тот цветок, который был мне дорог. Слушай. Ты уйдешь сейчас и придешь сюда, когда солнце зайдет за край горизонта. Я буду

ждать тебя. Если я почувствую, что в душе моей цветут те яркие цветы, в которых ты видишь цвет жизни, ты будешь счастлив, как бог, которому принадлежит Вселенная. Но, если... если под красными красками потухающего неба не раскроются в душе моей красные цветы, ты упадешь навсегда в безмерную пустоту. Я не знаю, нравится ли мне алый цвет.

Любящий. Тогда в мире порвется чья-то жизнь.

Елена. Быть может, две. Зачем предугадывать? Иди.

Любящий. Я приду!

Елена. Я буду ждать тебя. Ты придешь. (*Любящий делает правою рукой прощальный жест, наполовину приветственный, наполовину напоминательный, и уходит, огибая Замок.*)

Елена. «Я приду». Быть может, было бы вернее сказать: «Я уйду навсегда». Ты не знаешь, чего ты меня лишил. Ты не знаешь, куда ты идешь. Но день должен уходить к ночи.

Елена входит на террасу Замка, садится и смотрит на лужайку. Призрак жизни вырастает перед Еленой, возникая перед ее глазами как бы из некоторого темного пятна. Свет на время делается более тусклым, чтобы в конце вспыхнуть еще роскошнее красными тонами.

Призрак жизни. Елена! (*Елена вздрагивает, но сохраняет молчание*).

Призрак жизни. Елена, я снова прихожу к тебе, и снова и снова ты кого-то убьешь — не ножом, не ядом — красотой. Сколькие погибли из-за тебя. Вспомни. Ты живешь как колдунья. Ты живешь на Земле не подчиняясь земному. Ты привлекаешь сердца — и отбрасываешь их. Время не имеет над тобой силы. Ты не знаешь жалости. Ты безжалостна, потому что ты чудом своего существа остаешься бесконечно все той же юной... А, юной девушкой, с прозрачными глазами! Я говорю это с бешенством! Я говорю это как убитый, которому на несколько секунд дали власть говорить о том, кто его убил. Кто его убил и как убили. Отняли жизнь, затмили небо, землю сделали тюрьмой. Я хочу мести! Я отомщу тебе той же гибелью.

Елена. Ты еще любишь меня. Ты, Призрак.

Призрак жизни. Елена, я люблю тебя. Я сам себя убил, я сам умертвил все возможности, захотев того, чего не-

льзя желать. Я — раб страсти, я — тень, я — призрак. Но ты скажи мне, кто ты, Елена?

Елена. Я — жизнь, и я — смерть, ты знаешь. Я убиваю своим безучастием, но ты же ведь знаешь, что только мною жизнь жива.

Призрак жизни. Я знаю. Ты была тогда красивой и юной, когда красное зарево освещало безумье троян и эллинов. Ты была красивой и юной, когда из крови растерзанного вепрем Адониса родился цветок анемоны. Ты глядела неразгаданно, когда за тебя шли биться с неверными рыцари. Ты была всегда. Ты была всюду. Тобою движутся миры. Тобою вечно живет и обновляется жизнь. Без тебя нет и не было бы жизни. Все звезды только для тебя. Но зачем же нельзя с тобою слиться? Зачем ты ускользаешь каждую секунду от тех, кто тебя любит больше всего? Ты взглянешь — и тебя нет. Ты сделаешь мгновение красивым — и за это месяцы и годы мучений. В моих словах не мой лишь голос, а вопли тысяч и тысяч тех, которые умерли в отчаянии. Я люблю тебя, но любовь и ненависть — одно. Я хочу вечно любить тебя и быть счастливым, или убить тебя своей ненавистью. Я убью тебя, Елена.

Елена. Если бы в тебе стонала вся Вселенная, ты не мог бы убить меня, потому что жизнь, и тайна жизни, бессмертна.

Призрак жизни. Но ты умрешь!

Елена. Я исчезаю — и возникаю. Мне умереть нельзя. Во мне есть тайна, которой не коснется никто. Я должна быть такой, какая я всегда. Вот сейчас выйдут из Замка семь девушек, и будут — как цветы, и будут говорить мне о цветах. Я буду глядеть на краски и буду слушать созвучия. Быть может, я и опять полюблю красный цвет, как любила его где-то когда-то. Быть может, не полюблю, и вместо жизни вдруг возникнет смерть. Колесо должно кружиться, ткань разноцветностей должна создаваться, пусть шумит станок, и тянется длинная нить. Тени мелькают, но я бессмертна. Если же я уйду от этого замка, я буду безмолвно сидеть у других окон, близ других дверей и цветов.

Призрак жизни. Елена, и ты будешь убита! (*Исчезает.*)

Елена. Как однообразны сердца людей. Мне хочется созвучий, звонких свободных строк.

Семь Девушек, каждая в одежде, соответствующей ее наименованию, выходят из замка, и под звуки тихой струнной музыки, звучащей в отдалении, безмолвно ведут хоровод. Постепенно, музыка смолкает, и Девушки говорят, нараспев все вместе, гармонично перебивая друг друга и произнося строки так, что одна Девушка подхватывает кончающуюся строку, произносимую другой.

Семь Девушек

Мы цветы, цветы, цветы,
Мы живем для красоты.
Светлым сном,
Ночью, вечером, и днем
Для мечты
Мы в цветении живем.
Мы цветы, цветы.

Утром, в полдень, в час ночной,
Под ущербною Луной,
При звездах,
В ярких солнечных лучах,
В темноте
Мы в нарядных лепестках
Сердцем рвемся к красоте.

Красный, желтый, голубой —
Три расцвета пред Судьбой,
В них несчетность разных снов,
Несосчитанность тонов,
Все цветы,
Изумрудность всех листов,
Пышный праздник красоты.

Пред победой белизны
Дышут сны.
Мы цветем,
Для мгновенья мы живем
И поим, пьяним мечты,
Жизнь и смерть к любви зовем,
Красота — цвета — цветы.

Девушки снова ведут хоровод, опять звучит тихая струнная отдаленная музыка, через несколько мгновений она снова замолкает, и Девушки опять говорят строки.

Семь Девушек

В каждом миге — свой завет,
Повторенья мигу нет.
О, живой, живи,
Все скорей своим зови,
Что тебе дарит свой свет.
Ярче всех — цветок любви,
Яркий жаркий красный цвет.

Семь нас, Девушек, смотри,
Солнце жжет, и ты гори,
Сердце, где живет мечта,
Семь нас, Девушек, и мы,
Перед тем как темнота
Все смешает в царстве тьмы,
Позабыли все цвета.

Помним только, что для нас,
Перед тем как час погас,
Есть завет,
Свет заката, красный цвет.
Сердце, быстрый миг лови,
Раз цветет цветок любви,
Миг пройдет — возврата нет.

Девушки садятся, лицом полуобращенные к Елене: Девушка-роза, Девушка-мак, Девушка-гвоздика, Девушка-дрема рядом, на дерновой скамейке, Девушка-коралл — у ног их с левой стороны, Девушка-рубин — у ног их с правой стороны, Девушка-плакун-трава — одна, на земле, поодаль ото всех, с лицом склоненным, как тот, кто плачет.

Семь Девушек

Время уходит, время не ждет,
Скоро уж солнце в море потонет,

Прежде чем солнце зайдет,
Прежде чем ночь нас во мраке схоронит,
Снова расскажем друг другу, кто мы,
Будем как дети,
Вспомним, о, вспомним о красочном свете,
Будем сильнее уродливой тьмы.

Девушка-роза

Мой миг летит, мгновенна греза,
Зажгутся скоро янтари,
Не будет многодневной роза,
Она лишь знает две зари.
Заря рассвета и заката
Во мне рождает все мечты,
Но кратки ласки аромата,
Минутна пышность красоты.
Царицей розой сад украшен,
Люби же, сердце, нежный свет,
Уж ночь глядит с небесных башен,
Расцвету грез возврата нет.

Девушка-мак

Красным маком пышно поле,
В красном маке — сладкий сон,
Я живу на вольной воле,
Вижу землю, небосклон,
Опьяняясь, опьяняю,
Сновидения — мой мир,
Слишком помню, слишком знаю:
Сон окончен — кончен пир.
Снов, зажженных красной краской,
Ярко светит череда.
Сердце, пей, упейся сказкой,
Сны проходят без следа.

Девушка-гвоздика

Я гвоздика луговая,
Мне желанен алый цвет,
Я горю, пылая, зная,
Что для грез возврата нет.

Я вбираю луч горячий,
Вижу солнце, вижу луг.
Сердце, будь как я — иначе
Свет уйдет — он гаснет вдруг.

Девушка-дрема

Темнеет чаща леса,
Тяжелый мрак печален,
И тучи — как завеса,
Но есть просвет прогалин.
Вдруг раздастся тьма,
Расцветет дрема.
Лес украшен мной,
Я цветок лесной.
Проползет змея,
Зашуршат листы,
Но цветут цветы.
Сердце, будь как я,
Расцвети и ты.

Девушка-рубин

Лишь для красного огня,
Лишь для алого рассвета,
Лишь для пламенного дня
Можно зиму знать и лето,
Знать и осень, и весну,
Бесконечность измененья,
Ожиданье, утомленье,
За минуту за одну
Можно мучиться несчетно
День за днем, за годом год, —
Лишь поверить безотчетно,
Что за мукой счастье ждет.
Долго в царстве гор ждала я,
Меж камней как между льдин,
Дождалась я, твердо зная,
Что дождусь, чего ждала я,
Вот, зажглась любовь, пылая,
Талисман ее — рубин.

Девушка-коралл

Только любовью в безбрежности моря,
Мыслями мыслям сочувственно вторя,
Только любя,
Позабывая в мечтах про себя,
Только любовью над пропастью бурной
Можно взлелеять оазис пурпурный,
Остров кораллов над бездной морей,
Где поняла я, что чувство бездонно,
Остров кораллов, где сонно, влюбленно,
Дышет любовь до скончания дней.

Все шесть Девушек, сидящих рядом, тесно прижимаются друг к другу и опускают глаза. Раздается отдаленная музыка. Девушка — плакун-трава медленно поднимает голову и, продолжая сидеть на земле одна, выпрямляется, скорбная, но и торжествующая. Музыка вдруг обрывается. Шесть Девушек меняют положение, вздрогнув, и все смотрят на Девушку-плакун-траву.

Шесть Девушек *к Седьмой*

Отчего же ты молчишь одна?
Отчего же ты не вспоминаешь?
Не зовешь и сердце не пленяешь?
Красный цвет, как мы, и ты ведь знаешь!
Или мысль тебе иная в этот яркий час видна?
Иль ты солнце разлюбила и душа твоя темна?
Иль мечту твою пленили ночь и желтая луна?

Девушка-плакун-трава

Странно слышать мне хваление
Торопливости минут,
Если долгие мучения
За восторг минутный ждут.
Странно видеть соблазнение
В том, что быстрый миг не ждет:
Так известно мне мучение,
Что во тьме одно мгновение
Дольше, чем под солнцем год.
И безумные, бесстыдные

И неверные слова
Отвергаю — как обидные,
И дрожит плакун-трава.
Что вы сделали, без жалости
Опьяняя так мечту,
За одну лишь вспышку алости
Вовлекая в темноту?
Знаю, знаю, краска страстная
Расцветает и во мне,
Но в глуши болот — ужасная
Мысль не гаснет, что напрасная
Боль во всем: в душе, на дне.
Лес вам, луг и горы черные,
Море, поле, сад, слова,
Но в повторности позорные
Не войдет плакун-трава.
И с мучительною радостью
Ожерелье ваших слов
Я бросаю, с этой сладостью,
С этой горечью их снов.
Я видала умирающих,
Достигающих до дна,
Не хочу я снов пленяющих, —
Что мне солнце, в красках тающих,
Что мне желтая луна.
Ваша греза безотчетная,
Ваша страсть лишь миг жива.
Но навеки — глушь болотная,
Век дрожит плакун-трава.

Встает и, обменявшись долгим взглядом с Еленой, уходит в чащу деревьев.

Шесть Девушек (*вставая, уходят, не смотря на Елену, вслед за Седьмой Девушкой, и пониженным голосом договаривая свои строки*).

Солнце в морской неоглядности тонет,
Темные пропасти Солнце хоронят.
Ночь наступает, окончился час,
Свет еще светит, но вечер погас.

Е л е н а глубоко вздыхает и вытягивается как бы вослед ушедшим Девушкам, потом откидывается назад и роняет голову на правую руку, прижимая к ней и закрывая ей свое лицо.
Л ю б я щ и й возвращается оттуда, куда ушел, и подходит к Елене, сохраняющей свою позу.

Л ю б я щ и й. Елена?

Е л е н а (*вздрагивая и поднимая голову*). Ты пришел!

Л ю б я щ и й. Солнце зашло, Елена.

Е л е н а. Я смотрела на красные цветы.

Л ю б я щ и й. Елена, я люблю тебя.

Е л е н а. Я видела красные цветы.

Л ю б я щ и й. Елена, жизнь моя, радость, счастье...

Е л е н а. Как прекрасны, как они желанны, красные цветы.

Л ю б я щ и й. Люблю тебя.

Е л е н а. Больше нет красных цветов!

Л ю б я щ и й. Елена!

Е л е н а. Красные цветы бессильны!

Л ю б я щ и й. Елена, Елена, я лишаюсь рассудка. Что говоришь ты? Я люблю тебя. Что говоришь ты о цветах? Я люблю тебя.

Е л е н а. Ты убил тот цветок, который я любила. Я увидела взамен его красные цветы. Красный цвет — желанен. Но, когда умирает желание, красный цвет — грубый цвет, тяжкий цвет, гнетущий. Ты отнял у меня мой воздушный цветок. Красные цветы ужасны. Уйди! Уйди!

Л ю б я щ и й. Елена, ты губишь сейчас и погубишь две жизни.

Е л е н а. Я не жалела себя — и мне не жаль тебя.

Л ю б я щ и й. Но я люблю, я хочу тебя.

Е л е н а (*вставая быстро*). Прочь!

Л ю б я щ и й (*выхватывая стилет*). Я убью тебя.

Е л е н а (*спокойно*). Я жду.

Л ю б я щ и й (*отступая на шаг, ударяет себя, и падает*). Я люблю тебя.

Е л е н а (*после долгого взгляда*). И это любовь!

ЛИЦА ТРЕТЬЕЙ КАРТИНЫ

Елена.
Поэт.

Голубая комната. Убранство изысканно-простое и строгое. Спереди, слева, длинный диван, подобный саркофагу. Высокая лампа, с золотистым светом, восходит от пола, как стебель тонкий, но кончающийся пышным цветком. Направо, в глубине, большое окно из цельного стекла. Ночь. В окно виден горный пейзаж. Высокие горные вершины, увенчанные сплошь белыми снегами.

Елена и Поэт, тесно обнявшись, сидят на диване, лицами полуобращенные к окну.

Елена. Милый, любимый, скажи мне, где же мы с тобой? Я так ведь этого и не знаю. И я не знаю, что со мной. Ты меня околдовал.

Поэт. Ты меня заколдовала, Елена. И такого счастья, как ты, красота, я не знал до сих пор никогда. Но я знаю, что с нами и где мы теперь. Мы с тобой в моем родовом замке, на далеком Севере, овеянном сагами. Мы с тобою в полярных областях, близ горных вершин, живущих молчанием, и близко от великого моря, где со звоном стоят и плывут высокие льдины, в которых не раз были затерты мертвые корабли.

Елена. Ты увлек меня ото всех, но мне радостно было идти за тобой. Ты не такой, как все, и, когда я тебя слушаю, мне кажется, что я в хрустальной лунной сказке. Я счастлива как в детстве. Мир отодвинулся. Мы с тобой в зачарованном царстве.

П о э т. То же самое и со мной. Все отошло от меня, и я чувствую только тебя. Тебе легко и радостно со мной, как в сновидении, где все сбывается, чуть только о чем подумаешь. А мне хорошо как тому, за кого другой, более красивый и вещий, чем он, говорит его словами о желанном, читает угадчивым голосом то, что жило в душе, но искало слов, то, что было цветком, но ждало расцвета, что было внизу, подо льдом, виднелось, но было сковано, а теперь прошло через прозрачную преграду, вышло на волю, к счастью, к жизни, к новой, не бывшей еще, радости — видеть себя, глядеться всем ликом в чистую манящую зеркальность.

Е л е н а. О чем бы я ни заговорила, родной, ты всегда находишь самые верные слова.

П о э т. Когда я говорю с тобой, моя душа обнимается с твоею, и это ты говоришь через меня. Я гляжу в твои глаза. Твои глаза — бездонность. Твои глаза чаруют, в них Вечность, они завладевают мной. Ты глядишь на меня, и мир отделен от меня. Ты как будто все ближе ко мне, ты во мне, ты — я, и я — ты. Я тону в красоте. С высоты ко мне льются хрустальные звоны. Мы с тобой вознесены в призрачные страны, в которых все воздушно, как белые хлопья облаков. Одна душа переливается в другую. Облако сливается с облаком. Белизна с белизной, и эфирность с эфирностью. Очертания легко вовлекаются одно в другое. Призрачные края сливаются. Родное льнет к родному. Два становится одно. Это счастье, любовь, неожиданность. Это лунная сказка в лазури, где лишь несколько крупных дрожащих звезд, меж которых узорно царит семизвездие.

Е л е н а. Ты говоришь, и мне кажется, что я в голубых гротах, где сиянья сливаются с ответными сияньями. Ты говоришь, и все сердце мое со сладкой болью устремляется к тебе. Во мне звучат струны. Я вся — как арфа, но это твое прикосновение создает во мне напевность. И мне страшно, что она кончится. В ней такое счастье. Я хочу еще звуков, еще, милый, говори.

П о э т. Я мысленно прохожу всю дорогу своей жизни, и вижу, что все в моей жизни было лишь смутным приближением к тебе. Я искал и не находил! Я был безжалостным. Я топтал и отбрасывал, когда то, к чему я приближался, обманывало своим ликом мою душу. Я не знаю, что такое жа-

лость, потому что, принося с собой целый мир, отдавая в себе другому целое небо, все возможности, я невольно хотел такой же цельности в другом. Но полноты всех звуков и отзвуков я не находил нигде. Я через минуту обладанья, как через непрочный мост, который, пропустив путника, обрушивается, отходил, безвозвратно, от души и тела, которыми владел. Между мной и тем, кому я только что отдавал все сиянья своих глаз, вдруг вырастала широкая холодная река. Я был снова один по эту сторону, а обман оставался на том берегу. И, если ко мне доносились крики и мольбы, в которых звучали рыдания, я не отвечал на них, потому что знал, что это безвозвратно. И холодная река, убегая к безгранному морю, хоронила в себе отраженья минут, хоронила порою весь ужас сердечных кипений, которым так и не дано было вырваться наружу сполна.

Елена. Я слишком хорошо это знаю.

Поэт. Когда я увидел впервые тебя, я сразу узнал, что с тобой нас не разлучит холодная преграда. Ты взглянула на меня — помнишь? — когда я гордо бросил презрительное слово одному из тех ничтожных, вся жизнь которых проходит в том, что они сплетают путы для того, что рвется на волю. Твои глаза радостно блеснули, и так странно ты на меня взглянула, как будто душа твоя близко подошла к моей, и доверчиво — бесстрастно, но крепко, — поцеловала мою душу. Ты слегка склонила набок свою голову и заглянула мне прямо в глаза. Так склоняет набок свою головку певучая птичка, когда солнце тепло скользнет по ее горлу, издающему самые вдохновенные звуки. Я подошел к тебе — и это было не первое свидание, а радость желанной встречи после долгой-долгой разлуки.

Елена. Я полюбила тебя с первого взгляда.

Поэт. Наш последний миг будет как первый. В любви нет времени и нет «раньше» и «после». В любви, когда ее найдешь, узнаешь всем радостным сердцем эту безумно-сладостную достоверность, что вот так, как сейчас, будет и еще, и много, и еще, и всегда. Но, прежде чем я нашел тебя, я прошел по змеиностям несчетных дорог. Они жестоки, дороги любви. Один из великих людей Севера, чьи слова находят отклик в тысячах и тысячах сердец, горько и верно восклик-

нул, что дороги любви наполнены цветами и кровью, цветами и кровью.

Елена. Милый, зачем ты говоришь об этом? Мне больно. Я тоже знаю, что такое красный цвет. Я знаю все, о чем думают и думают красные цветы.

Поэт (*встает*). Цвет страсти, цвет гнева, цвет негодования, убийственный цвет, даже в тот миг, когда в нежном оттенке он — ласковый цвет стыда.

Елена. Милый, не нужно. Ты видишь, он уже разъединил нас. Ты ушел от меня, едва мы о нем заговорили. От нас навсегда отдалился этот кошмар красных цветов. Мне ласково и нежно в твоей голубой комнате. Мне сказочно и радостно видеть сквозь это огромное окно царство вершинной Белизны. От лампы струится золотистый свет, в нем ласковость детской сказки. Но погасим лампу и впустим к нам лунный свет.

Поэт, подходит к лампе и уменьшает ее пламя. Несколько раз вспыхнув, лампа гаснет. Наклоняясь к Елене, он целует ее в лоб, они оба, обнявшись, подходят к окну. Комнатой постепенно завладевает голубовато-зеленоватый свет луны. Молчание.

Елена. Лунный свет до нас доходит, но луна еще далеко. Она взойдет сегодня позднее.

Поэт. Я уже чувствую ее ласки на твоем и на моем лице. Ты стала еще воздушнее и нежнее.

Елена. Когда мы приближались к этим горам, она была серебряной. Когда мы были в самой тесной запутанности ущелий, она светила нам как золотая чаша, из которой пьют сладость индийские боги. А вчера она утратила часть своего золота. И сегодня она будет ущербной.

Поэт. Она красива всегда, от начала до конца. Как любовь.

Елена. Я жду, чтобы она глянула на нас через окно.

Поэт. Посмотри, как спокойны горные вершины. Они живут луною и молчанием. Я гляжу и вспоминаю о том, что было в безызмерно далеком прошлом нашей Земли. Гении Луны когда-то низошли сюда оттуда, и это от них у нас человеческий наш лик. Они отбросили от себя лучистую тень, и эти светлые призраки облекли нашу страстность. Они за-

мкнули нашу бурю и все стихии нашей крови в эфирно-легкую одежду красивых стройных тел. Мы на Земле, но мы небесные. Нам дала свою воздушную загадочность Луна. Оттого-то мы так любим ее, когда мы любим. Оттого мы ждем ее возникновенья, когда мы счастливы, как счастливы сейчас, или когда мы жаждем и ждем сочетаний влюбленности. Оттого наше море безумствует, и волны тянутся к луне, когда нежный полумесяц пронзит глубокую лазурь своим серебряным намеком.

Елена. Луна отдала нам свою жизнь, а сама умерла? Я часто об этом думала. Ей хочется снова и снова быть живой. Она живет, но как привидение и зовет к жизни ночные травы, чтобы вдыхать их аромат, и зовет на свидание всех влюбленных, чтобы выпить жизнь из неосторожного, и сиянием своим сделать румяное лицо бледным, убить земное и сблизить нас этим колдовством с призрачными странами неба.

Поэт. Луна — любовь, а в любви и жизнь и смерть сливаются в одно.

Елена. Луна всегда посылает мне странные сны. Я скажу тебе, что мне снилось вчера. Но только скажи мне раньше опять те строки, которые ты вчера говорил мне. Вчера, в полночь. Когда последняя боязнь ушла. Растаяла как дымка тумана над водой.

Поэт. Те строки о золоте сна?

Елена. Да. Но только сядем опять, как мы были раньше. Пойдем.

Поэт. Пойдем. Луна сейчас заглянет к нам в окно.

Они садятся на прежнем месте, на диване, и тихо сидят, обнявшись, в полосе лунного света. В течение их разговора, медленно с левой стороны возникает, против окна, между снежных гор, странная над дымным одиноким облаком, ущербная Луна.

Елена. Мне кажется, как будто что-то ласковое нас опять сковало. Опять, как вчера. Я люблю тебя, милый. Как мне радостно, что я вся — твоя, вся — ты.

Поэт. Я опять как во сне. Цепи золотого сна. Ты спросила меня вчера, что больше всего меня волнует напоминанием о таинстве любви. Я сказал тебе. Не лес, не горы, не люди, не

музыка, не звезды, не солнце, а луна. Царица облачных просторов и полночных трав. Луна, своим внезапным появлением взметающая в душе целую бурю воспоминаний непостижных.

Луна, когда она сверкает
Над морем, жаждущим лучей,
Или над лугом возникает,
С его качанием стеблей,
С его шептаньем, замираньем
Неуловимых ветерков,
С его колдующим влияньем
Влюбленно-дышащих цветков.
Луна, когда она так низко,
Что сердцу кажется земной,
И шепчет девушка: «Он близко!
О, что он сделает со мной?»
Луна, венчальница смущенных,
Боящихся самих себя,
На свадьбе мыслей позлащенных,
Где сладко он жесток, любя.

Молчание

Елена. Я жалею, что я не могу тысячу и тысячу раз встретить тебя опять впервые и сказать тебе впервые «Люблю», и отдать себя впервые тебе, тебе, единственное мое счастье.

Поэт. Елена, ты не знаешь, что этот замок заколдован? Быть может, мы уже никогда не уйдем отсюда.

Елена. Если не умом, я сердцем знаю все. Я не боюсь ничего, кроме разлуки с тобой. Ты, как волшебное зеркало, в котором я в первый раз вижу себя, и вижу, что я красива.

Поэт. Этот замок – горный чертог душ, влюбленных в красоту. Кто, любя в нем, любит не сполна, тот может и должен уйти отсюда, спуститься опять вниз, в долины, с сердцем полусчастливым от изведанной радости, и полуразбитым от оконченности счастья, и от стыда своей неполноты. А тот, кто, любя в нем, любит сполна, холодеет, и становится белым призраком, и никогда уж не может возвратиться к земному, не будет больше знать унижения, но никогда и не узнает ро-

зовой улыбки земного утра. Он будет вечно в царстве белизны и в таинстве лунного света. В зеленых гротах меж голубых цветов.

Елена. Родной, любимый, ты все время читаешь в моей душе. Я хотела рассказать тебе свой сон. Слушай. Ты поймешь. Я видела море синих душистых цветов, каких никогда еще не встречала, и среди них тебя и себя. Мы стояли, утопая в душистой живой синеве. Сверху сыпались, окропляя наши лица росой, эти странные синие цветы. Между ними мелькали знакомые лица, знакомые призраки несли нам синие цветы и торопливо исчезали. Ты стоял с закрытыми глазами, и лицо твое с каждым мигом преображалось, каждый миг становилось все озареннее. Казалось, ты видел, видел то, чего я еще не вижу, но вот сейчас увижу. Ты все прозрачнее. Все тоньше преграда. Синий дождь цветовой все обильнее. Я закрываю на мгновение глаза. Вдруг у тебя вырывается безумный страшный далекий крик. Цветы раздвигаются, и мы, упав друг на друга, летим в бездонную, черную, но блистающую своею чернотой, пропасть. Я проснулась, но ты был около меня. И я знаю теперь, почему это счастье смешалось со страхом.

Поэт. Скажи.

Елена. Мы больше не выйдем из этого замка. Мы сами заколдовали себя. Мы умрем для земного, и миг перехода страшен для души, которая скована телом. Но мы навсегда, навсегда соединились. Можно ли жить земным, когда изведал любовь. Милый, единственный, ты, который понимаешь и любишь все, ты, который нашел и сразу увидел меня, ты не уйдешь больше от меня, как не уйду от тебя я. Мы связаны нашей свободой и таинством любви. Нас обвенчала луна.

Они теснее обнимаются, и, озаренные лунным светом, кажутся, как бы слитыми в одно, двумя призраками. Прямо перед ними, за огромным окном, возникает между гор луна.

Поэт. Я всю жизнь тебя ждал, и буду любить тебя здесь и повсюду.

Елена. Я тебя полюбила, и только с тобой узнала, что значит дышать.

П о э т. Ты чувствуешь, это место, этот час, эти чары пьют нашу кровь.

Е л е н а. Я отдала бы тебе тысячу жизней, и рада быть с тобой везде.

П о э т. Мы уснем, но проснемся. Мы здесь уснем, но пробудимся не здесь.

Е л е н а. Горные вершины и лунный свет сохранят нас и память о нас.

П о э т. Я чувствую, что я все ближе и ближе к тебе.

Е л е н а. Милый, я холодею.

П о э т. Ты вся стала воздушной и бледной, ты с каждым мигом все прекраснее.

Е л е н а. Я стыну, о, счастье. Я гасну — в тебе. Ты — лунный. Я люблю тебя.

П о э т. Голубые цветы цветут. Мы вместе. Ты — все. Я люблю тебя.

Царство великого Молчания.

СОДЕРЖАНИЕ

СОНЕТЫ СОЛНЦА, МЕДА И ЛУНЫ

ГОЛУБАЯ ПОДКОВА

ПОД НОВЫМ СЕРПОМ

ВОЗДУШНЫЙ ПУТЬ

ТРИ РАСЦВЕТА

Константин Дмитриевич
Бальмонт

Собрание сочинений в семи томах
ТОМ ПЯТЫЙ

Редактор *А. Полбенникова*
Художественный редактор *А. Балашова*
Корректор *Г. Кузьмина*
Компьютерная верстка *А. Павлов*

Подписано в печать 12.01.10 г.
Формат 84 ×108 $^{1}/_{32}$. Бумага офсетная.
Гарнитура «Петербург». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 27,72. Уч.-изд. л. 26,96.
Заказ № 0925310.

Книжный Клуб Книговек.
127206, Москва, Чуксин тупик, 9.
www.terra.su



Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного электронного оригинал-макета
в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат»
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97

Литературное
приложение

ОГОНЁК

www.terra.su

ISBN 978-5-904656-87-4

9 785904 656874